

# ЛЕВ КУЗЬМИН

## ИЗБРАННОЕ





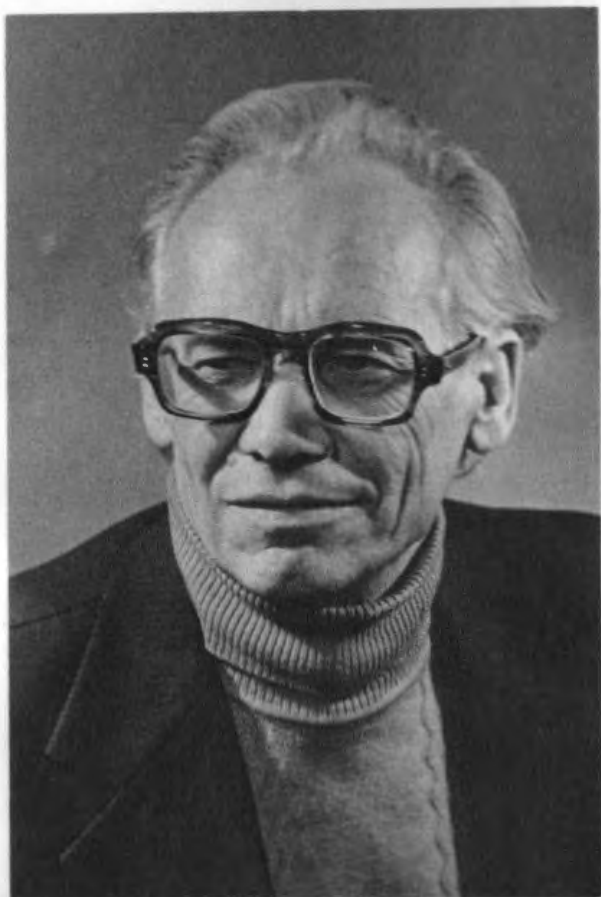












*N. J. Zeman*



ЛЕВ КУЗЬМИН

**ИЗБРАННОЕ**

ПОВЕСТИ  
И  
РАССКАЗЫ

ХУДОЖНИК В.ЧАПЛЯ

84(2Рос=РҮс)6

ББК 84Р7  
К 89



К 4803010201—280 227—89  
M101(03)-89

ISBN 5—08—000517—3

© Состав, иллюстрации.  
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1989



Читать новую книгу редко кто начинает с предисловия. А то и вовсе обходится без него. Я тоже принадлежу к людям, которым не терпится сразу заглянуть в середину книги. Но тем не менее предисловие я всё же пишу, всё же надеюсь, что оно будет прочитано. Моё желание — добавить к удовольствию, которое читатель получит от рассказов Льва Ивановича Кузьмина, сведения о нём самом: каков он, почему пишет так, а не этак, почему выбрал себе читателями детей, а не взрослых.

Было это два десятка лет назад. В редакцию «Мурзилки», где я работал, наведалься писатель Виктор Петрович Астафьев. Кроме своих рассказов, он передал нам стихи мало известного тогда Льва Кузьмина. То были сказки — занятно придуманные, ясно, просто написанные. И журнал начал печатать их одну за другой. Поэта-сказочника мы ещё не видели и пытались представить его себе. Думали: чем-то он должен походить на героев своих стихотворений. На Звездочёта, который спасал каждую неосторожную звёздочку, на Чудака, посеявшего голубое зерно. К тому же чуть-чуть сказочное было и в имени-отчестве автора. Вспоминались чудесные жители из сказок народных — Котофей Иваныч, Михаил Иваныч; а тут — Лев Иваныч...

Но когда Лев Кузьмин приехал из своего города Перми в Москву, мы увидели совершенно обыкновенного человека. Однако потом, по мере того как выходили его новые книги со стихами, рассказами и повестями, необыкновенное в нём становилось всё явственнее — это необъятная доброта к детям.

Добрыми прикидываются многие — и писатели, и не писатели. Слыть добряком выгодно. На деле же под красивыми словами о доброте часто скрывается равнодушие. Мне по душе доброта, утверждаемая в книгах Льва Кузьмина; она у него — деятельная.

В книге «Избранное» напечатаны сочинения прозаические. Но читатель, думаю, поверит мне, что герои всех произведений Льва Кузьмина, в том числе сказок-стихов, творят хорошее, доброе не походя, а в поте лица своего.

У них не только отзывчивое сердце, но и работающие руки. Что толку жалеть кого-либо на словах и ничуть не помочь делом? А помочь делом сможет лишь тот, кто дело знает, лишь тот, кто умеет работать и от работы никогда не уклоняется. Верная служба Льва Ивановича детям состоит в том, что талантом своим — то забавно, то с печалью, то

радостно — он внушает им главную истину: основа и доброты, и вообще всей жизни — труд:

«Смех детям нужен. Но человеку, если он не дурачок, даже в пору своего первоначального становления одного смеха мало. Детство — не замкнутая навсегда в себе пора; детство — подготовка входа в длинную, сложную, бывает, даже горькую жизнь. И вход в эту жизнь с привычкой лишь потреблять весёленькое может обернуться трагедией. Таких трагедий мы имеем уже множество. Так вот: детская литература, если она разумна, и должна готовить ребёнка к тому входу. И не только комиксовую, разухабистую развесёлость тот входящий должен в себе содержать, а Доброту, Веру, Уверенность, Сострадательность. Посмеиваясь, походя, этих качеств в маленьком человеке воспитать невозможно».

«Избранное» Л. И. Кузьмина выходит к 60-летию писателя. И все эти годы, за исключением младенческих, он работал, работал, работал. Жизнь его можно назвать трудной. Однако трудная — вовсе не значит плохая.

Был такой случай у Льва Ивановича. В пятидесятые годы осваивались целинные земли Казахстана. Дикая степь превращалась в пшеничное поле, на бескрайних просторах создавались совхозы, строились посёлки. Строителем-прорабом там работал будущий писатель. И вот в первую целинную зиму Лев Иванович вдвоём с трактористом оказался в неожиданной беде. Возвращались к своему строительному «штабу» из долгой, дальней поездки. В пути застала глухая морозная ночь. Начался жестокий бурая. Заметённая снегом дорога исчезла, горючее в баках кончилось, трактор заглох, помощи ждать было неоткуда. Уже простились с надеждой на спасение, как вдруг сквозь метельные вихри увидели жёлтую точку. В ночи на окошко в затерянном на стокилометровом пространстве хуторке женщина поставила лампу, а женщину разбудил плачем больной ребёнок... Случайность эта спасла детям их писателя.

Родился Лев Иванович Кузьмин в 1928 году в деревне Задорино, Парфеньевского района, Костромской области. Мать, Фаина Андреевна, была учительницей. Отец, Иван Иванович, выходец из задоринских крестьян, был рабочим на железной дороге, погиб от несчастного случая совсем молодым. Маленьким мальчиком будущий писатель очень часто и подолгу жил в лесной деревушке Городище у тётки матери, Августы Андреевны Широковой. «Бабушка Астя, — вспоминает Лев Иванович, — никакого сходства с прославленными бабушками из русской литературы не имела. Не слышал я от неё ни одной сказки, ни песни, вечно она была в беготне, в колготне, в колхозных и домашних трудах. Она



потеряла в гражданскую войну мужа, одна воспитывала сына и дочь, и никогда я не слыхивал, чтобы она кого-то наставляла, кого-то учила, как правильно жить. Трудилась, билась с утра до ночи за эту жизнь, вот и всё. Но тем не менее большинство хорошего, если оно есть во мне, я занял, кроме мамы, ещё и у неё. У неё и у её детей — Нины и Геннадия, которые были значительно старше меня. Геннадий ещё до войны начал работать трактористом и часто брал меня с собой в поле, даже иногда ночью. Это он и приобщил меня к первой моей профессии. Запах распашанной борозды, тёплая дрожь тракторных рычагов под моими ладонями мне снятся ещё и теперь».

Подростком Лев Иванович жил у матери, учительствовавшей на станции Николо-Полома Северной железной дороги. Началась война, отчима взяли на фронт. В семье было двое малых ребятшек. Мать с утра до ночи в школе. Заботы о детях и хозяйстве легли на плечи мальчика. Об этой поре читатель узнаёт сам из повести «Чистый след горностая».

Размышляя о жизни писателя, хочется обнаружить обстоятельства, побудившие его выбрать свою нелёгкую литературную профессию, или хотя бы намётки пути к ней. Вряд ли и сам писатель назовёт эти обстоятельства со всей определённой. Возможно, решающую роль сыграла тут учёба в Ленинградском строительном техникуме, куда Лев Кузьмин поступил в 1946 году.

«Редко теперь кто может представить себе, насколько удивительным, насколько хорошим оказался для деревенского, в общем-то, всё ещё малограмотного парнишки город Ленинград, — рассказывает Лев Иванович. — В Ленинграде, послеблочном, всё ещё голодноватом, холодноватом, я впервые встретил людей, которые по-настоящему, профессионально рассуждали о литературе и впервые объяснили мне, что литература — не только талант, а и труд, труд, труд. Эти люди, среди них преподаватель техникума Е. В. Ковалёва, как могли, поддерживали меня, и вскоре я напечатал в Пушкине (в бывшем Царском Селе), в тамошней газете, свои первые стихи. Помню, как встал ранним утром вместе с воробьями и толкся у газетного киоска в ожидании местной, маленькой, в половину нормального формата, газеты. Редким прохожим я сам, должно быть, казался полунормальным, настолько я чего-то боялся. От перепуга даже не решился купить второй экземпляр, чтобы послать маме».

В ленинградском пригороде, в Пушкине, одновременно учась в техникуме, Лев Иванович работал на восстановлении музеев, разрушенных немецкими фашистами. «Работал я

лепщиком, потом строительным мастером. Помню, как в пустом, опалённом, испоганенном нерусскими надписями Лицее вдруг стало снова светло, чисто, как открылись там комнатки Пушкина и его друзей, как восстановлена была зала, где юный Пушкин когда-то читал стихи старику Державину. Была у меня в том городке даже своя отдельная жилая каморка рядом с Александровским парком, рядом с деревянным домиком А. С. Пушкина, и из всего моего светлого — это время самое солнечное».

Вот ведь как, дорогой читатель! Солнечным временем Лев Иванович посчитал время голодное, холодное, полное трудной работы, а не время, когда его книги издают лучшие в стране издательства, когда есть у него и почётное звание, и правительственные награды. Странно ли это? Нет, несколько не странно. Сытость, обеспеченность, уютное благополучие ещё не делают человека счастливым. Вот и для мальчика Борьки из повести «Малахай», думаю, солнечным, радостно памятным днём на всю дальнейшую жизнь будет день, когда он и дедушка Ложкин расстались с яблоками, так долго бережёнными, так нужными им самим.

Желая счастья детям, Лев Иванович предполагает, что у кого-то есть горести, печали, нелады в семье, в школе, и во всех своих повестях и рассказах описывает средство от невзгод. Он открыл его для себя, на себе с детства испытал. Средство это — содружество маленького и взрослого. Не каждый взрослый может стать опорой ребёнку, его проводником в сложном, противоречивом, бывает, в изуродованном нашем общежитии. Но есть среди взрослых и множество отзывчивых, надёжных, сильных людей. «Ищите их!» — советует писатель, советуют это герои его произведений.

Если кому-то такой друг нужен, но пока ещё не нашёлся, он может считать своим верным товарищем Льва Ивановича Кузьмина с его добрыми книгами.

*Анатолий Митяев*

**ЧИСТЫЙ  
СЛЕД  
ГОРНОСТЯЯ**

ПОВЕСТИ





# ПРИВЕТ ТЕБЕ, МИТЯ КУКИН!

## 1

Старая бревенчатая школа темнеет среди голубых мартовских снегов. На покатую, сугробную, всю в длинных сосульках кровлю падают лёгкие тени сосен. По внешней погоде снег с влажных веток обрушился, деревья стоят лохматые, а над ними — синь, солнышко и кучевые прохладные облака.

В этой деревенской школе интернат для детей-ленинградцев.

Ленинградцы ждут здесь конца войны вот уже второй год. К сельскому тихому житью, к глубоким снегам ребятишки давно привыкли, как давно и крепко привыкли друг к другу.

Здание школы небольшое, и жильцов тут немного. Все они — малыши в возрасте от пяти до девяти лет. И только двое — Елизаров и Кукин — чуть постарше. Единственная воспитательница и учительница ребят, маленькая решительная женщина в старомодном пенсне, Павла Юрьевна, занимается с Елизаровым и Кукиным отдельно, по программе третьего класса. Таким своим особым положением оба мальчика гордятся, держатся всегда вместе, даже кровати-раскладушки в спальне у них стоят рядом. Но всё же полного равенства в этой дружбе нет. Кукин находится у Елизарова в некотором подчинении. Правда, в подчинении добровольном. Он очень уважает Сашу Елизарова. Уважает за высокий не по годам рост, за умение произносить по утрам звонко и весело, на всю спальню, английское приветствие: «Гуд мorning!», за удивительную начитанность, за ловкость в драке, если таковая случится с деревенскими, ужасно напористыми в бою мальчишками, уважает за всегдашнюю справедливость, за нежадность и за



многое, многое другое, даже за причёску «чубчик».

Причёска кареглазому говорливому Елизарову очень идёт. Он храбро её отстоял перед Павлой Юрьевной, когда всех мальчиков стригли наголо, «под ноль».

Митя Кукин отлично понимает, что всех этих замечательных качеств у него самого нет и, наверное, никогда не будет.

Митя знает, что он хотя и силён, и крепок, да слишком низкоросл. Он знает, что его круглое девчоночье лицо некрасиво залепили веснушки, что в случае чего сдачи он дать никому не может — ему для этого надо рассердиться. А сердиться Митя не умеет совсем. Нрав у него добродушный, покладистый, как у дворового щенка.

Но это всё мелочи. Главная причина преклонения Кукина перед Елизаровым та, что у Саши есть отец, а у Мити отца нету.

А вот было время, когда и Саша Елизаров начал считать себя сиротой. Начал считать вот почему. Сашин отец — фронтовик, раньше на свою ленинградскую квартиру письма присылал часто, но когда Сашу перевезли в интернат, когда Сашина мама ушла на фронт, потому что была военным врачом, то письма от отца приходиться перестали. Они не приходили долго, почти целый год. От мамы, из окружённого фашистами Ленинграда, весточки были тоже редкими, и Саша очень волновался, а про отца думал, что он погиб. Думал, но не верил. И Митя вместе с ним тоже не верил. Митя говорил:

— Вот погоди, Сашок, однажды утречком ты проснёшься, и на тумбочке у тебя будет лежать письмо...

И так оно всё и случилось. Прошлой осенью, как раз в день первого сентября, Саша проснулся, глянул, как всегда, на тумбочку, а там — письмо. Настоящее треугольное воинское письмо!

Митя письмо тоже увидел. И хотя письмо было не ему, но он обрадовался так же, как будто письмо получил сам, и побежал вместе с приятелем по всей школе, закричал:

— Ура! Сашкин папка нашёлся! Сашкин папка нашёлся! Он в госпитале раненый лежал!

А потом вдруг на душе у Мити сделалось ни с того ни с сего неприятно. Он затосковал, кинулся в тёмный чулан, под чердачную лестницу, обнял там связку берёзовых черенков для метел и — заплакал. Заплакал от жалости к себе.

Он заплакал потому, что у него, у Мити Кукина, отец уже никогда не найдётся. Отец у Мити никогда никуда не пропадал, он просто давным-давно умер, когда Митя был ещё маленьким.

А вот мать и сестрёнки у Мити живы, но тоже куда-то исчезли. Случилось это в самые первые дни войны.

До того как началась война, жил Митя с матерью и с двумя сестрёнками, Дашей и Машей, недалеко от Ленинграда, в совхозе «Дружная горка», и когда началась эвакуация, то все они поехали в товарном, переполненном людьми поезде на Урал.

Но Митя до Урала не доехал. Доехал он только до какой-то ленинградской сортировочной станции. На этой станции поезд стоял долго: была жара, всем хотелось пить. И Митя взял пустой чайник и, никому ничего не сказав, пошёл к водонапорной колонке за водой.

У колонки шумела толпа. Все лезли, кричали, толкались. Митя тоже стал пробиваться к самому крану. И когда пробился, и набрал полный чайник, и пришёл на перрон, то на том месте, где стоял его поезд, увидел только пустые рельсы. Поезд ушёл, увёз неизвестно куда маму, увёз Дашу и Машу, и Митя остался один с полуведёрным чайником в руках.

Потом к Мите подошла чужая тётя с крас-

ной повязкой на рукаве, стала выпрашивать что да как, и на другой день Митя оказался в детском эшелоне и вот приехал сюда, в интернат.

Чайник тоже здесь. В нём разносят чай во время обеда, и малыши называют его: «Митин чайник».

Под лестницей Митя плакал недолго. Других укромных местечек в интернате нет. Саша быстро его разыскал, вошёл в темноту, услышал жалостное Митино сопение и сразу всё понял. Он погладил Митю по спине, по испачканной в пыли курточке и сказал:

— Не плачь, Митя. Вот увидишь, найдутся и твои, как нашёлся мой папа... Тут главное: терпеть, терпеть и — вытерпеть. Ты же сам так говорил.

## 2

Письма Саше Елизарову стали приходить чуть не каждую неделю, и в один прекрасный день Павла Юрьевна положила на Сашину тумбочку не всегдашний помятый треугольник, а настоящий конверт.

Он был твёрдый, довольно толстый, и в правом углу на нём была напечатана зелёная крошечная марка с портретом колхозницы в летней косынке. По всему было видно: в конверте находится что-то очень важное.

Павла Юрьевна, наверное, думала так же. Она положила письмо и стала дожидаться, когда Саша его распечатает. А Саша конверт осторожно разорвал, и оттуда выпала большая, с глянцевым блеском фотокарточка.

Саша так прямо и вцепился в неё. Он ведь столько времени не видел отца, что уже и забывать стал, какое у него лицо, какие у него глаза. Но как только глянул, так отца узнал сразу, в одну секунду. Узнал несмотря на то, что на карточку отец

снялся не один, а с товарищем и, кроме того, отпустил усы. Небольшие усы, но густые и очень пышные.

Товарищ отца был тоже усатый, но чуть помоложе и улыбался так, что лукавые глаза его совсем защурились, а из-под чёрных усов блестяли великолепные белые зубы.

Отец и его товарищ стояли в обнимку, оба весёлые. И стояли они не просто так, не где-нибудь, а прямо на палубе корабля у стального поручня. И по этому поручню, по краешку железной палубы, видной на фотографии, было совершенно понятно: корабль этот — боевой! И стоят на нём Сашин отец и его друг тоже в полной боевой морской форме. Да мало того что в форме, а на кителях у них у каждого с правой стороны выпукло поблёскивают по новенькому звёздному ордену. Наверное, ордена только что получили.

На чистой белой стороне карточки было написано синим карандашом:

«Саше Елизарову от капитана второго ранга С. Елизарова и от лейтенанта Н. Бабушкина.

Враг будет разбит, победа будет за нами! Пусть Гитлер



помнит Сталинград, пусть помнит красных моряков на Волге!»

Павла Юрьевна как глянула на фотографию, так сразу похлопала по карману стёганой безрукавки, вынула тонкое, в блестящей оправе пенсне, зашипнула пружинками переносицу и, отнеся от себя фотографию на всю длину руки, произнесла:

— Ох, Саша! Какой у тебя геройский отец... Сразу видно — сталинградец! И лейтенант Бабушкин тоже герой, хотя о своих подвигах они ничего не пишут... Ты, Саша, когда станешь посылать ответ, не забудь поздравить с наградой товарища капитана и товарища лейтенанта от всего интерната и от меня лично.

Она положила фотографию, повернулась к окну, глянула в оконное стекло на себя, как в зеркало, почему-то вздохнула и быстро пошла к двери. А Саша крикнул ей вслед:

— Напишу! Обязательно напишу.— А ещё он громко добавил: — Май-о-о!

И это на языке североамериканских индейцев значило: «Хорошо! Прекрасно!»

Саша умеет разговаривать не только по-английски, а почти на всех языках всего мира. Правда, из каждого он знает лишь два-три словечка. Он выучивает их не по учебникам, а вычитывает из приключенческих книг, но всё равно Павла Юрьевна однажды назвала его полиглотом. Назвала при всех, и все интернатские жители сначала смутились, потому как подумали: слово это ругательное. Но когда Павла Юрьевна объяснила, что так называют людей, знающих много иностранных языков, то и Митя, и все малыши стали уважать Сашу ещё больше.

Ответ на письмо с фотографией Саша послал в тот же день. Написал ли он там капитану Елизарову и лейтенанту Бабушкину привет от Павлы Юрьевны — неизвестно, а вот про Митю Кукина



написал. Он сам прочитал эти строчки Мите вслух. Строчки были такие:

«У тебя есть друг, и у меня есть друг. Его зовут Митя Кукин. Ему десять лет, и у нас с ним всё вместе. Мы бы с ним тоже снялись на карточку, да фотографа у нас тут нет, и у Мити Кукина никого нет — ни отца, ни матери. А есть у нас только заведующая Павла Юрьевна, завхоз Филатых и петух Петя Петров. Когда был мороз, Митя прятал петуха под свою кроватью, а ещё Митя колет дрова для кухни, носит воду, а я ему помогаю. Так что снять на карточку нас некому, не обижайся».

Капитан второго ранга Елизаров, конечно, не обиделся. Более того, он и сам в ответном письме прислал Мите поклон, а лейтенант Бабушкин приписал ниже капитанских строчек большими буквами: «Привет тебе, Митя Кукин!»

Митя как увидел приписку, так сразу выхватил письмо из Сашиных рук, отбежал в сторону, прижал письмо к животу и чуть не криком сказал:

— Что хочешь делай, Сашок, а письмо отдай мне! Хочешь, я тебе за него свою новую шапку на твою старую сменяю?

— Не надо мне твоей шапки, — ответил Саша. — Что я, буржуй, что ли, на письмах наживаться? Если надо, так бери...

И вот с тех пор письмо с лейтенантским приветом Митя носит всегда в нагрудном кармане курточки и перечитывает его не меньше чем по два раза в день: утром, после подъёма, и вечером, перед сном. А когда на сгибах появились дырки, Митя подклеил их варёной картошкой и газетной бумагой, и опять аккуратно сложил письмо, и опять убрал в карман.

Митя и сам бы послал лейтенанту Бабушкину письмецо, да начинать переписку первым всё не решался. Писарь он был никудышный, очень боялся наделать в письме ошибок и тем самым ис-

портить у лейтенанта Бабушкина о себе впечатление. Митины успехи за партией не очень-то велики. Он хотя и старается, и плохих отметок у него почти не бывает, но и хорошие проблёскивают редко.

— Середнячок ты у нас, Митя... — нет-нет да и скажет Павла Юрьевна, когда ставит ему очередную тройку в дневник. Ставит, вздыхает, но и тут же спохватывается, начинает утешать: — Ничего, ничего. Порою способности приходят позже. Так случалось со многими умными и впоследствии очень знаменитыми людьми. Главное, чтобы человек был надёжным. А ты, Митя, — человек вполне надёжный. Ты у нас, можно сказать, мужчина в доме! Без тебя с нашим хозяйством мы бы не знали, что и делать...

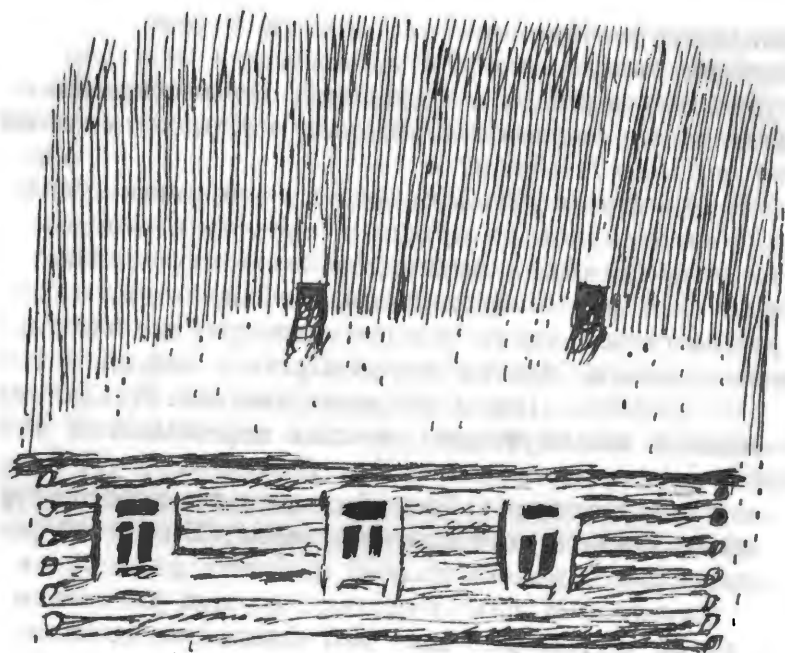
От таких речей Митино конопатое лицо расцветает, белёсые ресницы над зелёными глазами начинают смущённо и в то же время радостно трепетать. Ведь всё, что говорит Павла Юрьевна о Митиных заслугах, — правда.

Как только кончится урок, как только Павла Юрьевна поднимет со стола медный колокольчик с надписью «Дар Валдая» и звякнет им, так Митина круглая, словно шарик, фигурка в затёртом казённом пальтеце и в пушистой шапке-ушанке скатывается с крыльца во двор.

А белый двор усыпан по мягкому, подталому снежку рыжими сосновыми иглами. А сосны над головой стоят чуть не до неба. Воздух сладок, свеж, пахнет по-весеннему ветром, и здесь Митя чувствует себя на полной свободе. Он здесь хозяин положения, и даже сам Саша Елизаров попадает волей-неволей к нему в подчинение.

Митя хватает с поленицы топор, ставит на попа чурбан-кругляш, — бац! — бьёт по нему наотмашь, и чурбан разлетается на две половинки.

А Саша тоже берёт топор, тоже ударяет по кругляшу, но «бац!» у него не получается. Чурбан



как стоял целёхонек, так и стоит, а лезвие топора глубоко вязнет в сырой древесине.

— Кар-р-рамба! — ругается по-иностранному, кажется по-итальянски, Саша. — Как хоть ты всё это делаешь? Научи!

И Митя учит. Подсказывает, что лезвие топора надо нацеливать не прямо, а чуть-чуть наискосок, что ударять надо резко, без всякого страха, но Саша всё равно при ударе побаивается, трусит промахнуться, удар у него выходит не тот, и в конце концов Митя говорит Саше:

— Ладно... Потом натренируешься. Давай подтаскивай мне чурбаны, я сам переколю. У тебя силы много, да сноровки нет. Это потому что раньше, у себя дома, тебе работать по хозяйству не приходилось, а мне приходилось... Но ты не расстраивайся и не обижайся! Зато ты учишься вон как здорово. И сам учишься, и мне помогаешь. Вчера за сочинение мне бы, Сашок, и тройки не видеть, если бы не ты.

И так всегда. Саша держит первенство по книгам, по учёбе, может придумать какую-нибудь развесёлую игру, а Мите больше нравится колоть дрова, откидывать от крыльца снег, таскать воду на кухню, и всю эту не очень лёгкую, мужскую работу он выполняет с удовольствием.

Снег, сосны, поленница в снегу, стук ведра о край деревянной бочки напоминают ему далёкую «Дружную горку», напоминают родной дом.

В такие минуты ему кажется, что нет на белом свете никакой войны. Ему кажется, что вот он сейчас обернётся, а по скрипучей снежной тропинке к нему торопливым шагом идёт мать. Она молодая, стройная, очень красивая, на ногах у неё чёрные валенки с калошами, на ней узкое, в талию, пальто и чёрный с алыми цветами платок, а щёки от быстрой ходьбы и зимнего воздуха у неё тоже алые, они так и горят. Мать подходит к Мите, наклоняется к нему, ласково прижимает

его лицо к своей щеке, и щека у неё сначала приятно холодная, пахнет морозцем, но быстро становится такой тёплой, что у Мити от этого тепла вдруг сладко и немножко больно сжимается сердце.

Мать говорит: «Умница! Работничек мой! Сейчас тебе помогу».

А следом набегают сестрёнки — Даша и Маша. В длинных шубейках, в толстых платках, они, маленькие и неуклюжие, как медвежата, барахтаются рядом в сугробе, им весело, а потом они кричат: «И мы поможем! И мы!»

И каждый раз на этом месте своих воспоминаний Митя взаправду оборачивается и взаправду видит, как с гамом, шумом, с толкотнёй к нему бегут по тропке малыши — все они в серых одинаковых пальтишках, все в серых одинаковых шапках — и кричат:

— И мы поможем! И мы!

Но эти малыши — не Даша с Машей. И торопится за ними по хрустящему снегу не мама, а Павла Юрьевна. И Митя грустно вздыхает, но потом думает: «Хорошо, что хоть у меня есть они, вот эти ребята и Павла Юрьевна. А потом, может быть, и мне повезёт, как Сашку, а потом, может быть, и мои мама с Машей и Дашей тоже скоро найдутся...»

### 3

Охотнее же всего Митя Кукин возится в сарае, который из-за древности просел на все четыре угла и подслеповато щурится на интернат из-за сосен одним узким, прорезанным в толстом бревне оконцем.

Сарай интернатские с гордостью называют: «Наш конный двор!», но живут на «конном дворе» только белохвостый, с обмороженным гребнем петух Петя Петров и одна-единственная лошадь Зорька.



Зорьку ленинградцам подарил сельский Совет. Подарил под конец нынешней зимы. Получать Зорьку ходил завхоз Филатыч, и это событие запомнилось детям надолго.

О том, что Филатыч сегодня должен привести лошадь, дети знали заранее, и все толпились в комнате девочек у двух широких окон, выходящих на поле, все смотрели на дорогу. Смотрели почти весь день и всё никак ничего не могли увидеть.

Но вот по вечерней поре, когда солнышко уже садилось и от закатных лучей снежное поле впереди интерната, крыши деревеньки на краю поля и вся санная дорога на этом поле сделались алыми, кто-то крикнул:

— Ой, смотрите! Конь-огонь!

А другой голос подхватил:

— Конь-огонь, а за ним золотая карета!

Митя присунулся к окну, глянул и тоже увидел, что от голубого морозного леса по дороге рысью бежит золотой конь. Он бежит, а за ним не то скользит, не то катится удивительная повозка.

Под косым вечерним светом она и в самом деле кажется позолоченной. От неё и от коня падает на алые снега огромная сквозная тень, и на тени видно, как странно устроена повозка. Внизу — полозья, чуть выше — колёса со спицами, а над колёсами — плоская крыша, как это и бывает у всех сказочных карет. А всего страннее то, что седока в повозке не видно. Конь по дороге бежит словно бы сам, им никто не управляет.

Дети кинулись в коридор к вешалке, стали хватать пальтишки, чтобы увидеть торжественный въезд золотого коня в интернатские ворота. Кто-то запнулся, упал. Кто-то из малышей заплакал, боясь опоздать. А рослый Саша протянул руку через все головы, сорвал с вешалки свою и Митину шапки, и они первыми выскочили во двор, на холод.

Золотой конь уже приворачивал с дороги к

распахнутым воротам. Конь входил в темноватый под соснами двор интерната, и был он теперь не золотым, а мохнато-серебряным. На его спине, на боках, на фыркающей морде настыл иней.

— Тпр-р-р... — донеслось изнутри странной повозки, и повозка остановилась у крыльца, и это оказались всего-навсего обыкновенные сани-розвальни, а сверху саней возвышалась летняя телега с откинутыми назад оглоблями и с неглубоким дощатым кузовом.

— Тпр-р-р! Приехали... — повторил голос, и на снег из широких саней, из-под телеги, медленно вылез бородатый Филатыч. Лоб, щёки, нос у него от холода полиловели. Маленькие, по-старчески блёклые глазки радостно моргали. Он прикрутил вожжи к высокому передку саней и, заметая длиннополым тулупом снег, прошёл к самой голове лошади. Он ухватил её под уздцы, победно глянул на толпу ребятишек и с полупоклоном обратился к заведующей:

— Ну вот, Павла Юрьевна, принимай помощницу. Зовут — Зорькой. Дождались мы с тобой, отмаялись!

Он дружелюбно хлопнул рукавицей Зорьку по сильной, гладкой шее. Зорька фыркнула, вскинула голову. Павла Юрьевна отшатнулась, на всякий случай загородилась рукой. Она — человек городской, питерский — лошадей немного побаивалась. Но потом укрепила пенсне на носу потвёрже и медленно, издали, обошла Зорьку почти кругом.

Обошла, встала и, довольно покачивая из стороны в сторону головой, восторженным голосом произнесла:

— Как-кой красавец! Это намного больше всех моих ожиданий...

Она опять повела головою, выставила вперёд ногу в растоптанном валенке и широким жестом ладони показала ребятишкам на Зорьку:

— Вы только посмотрите, товарищи! Это же

великолепный конь! Вы согласны со мною, товарищи?

— Согла-асны... — нестройным хором протянули «товарищи», все разом утёрли озябшие на холоде носы, а Саша Елизаров сказал:

— Буэнос бико!

Эта фраза должна была означать по-испански: «Славный зверь!»

Филатыч засмеялся:

— Да что ты, Юрьевна! Разве это конь? Это просто кобылка по-нашему, по-деревенскому, да ещё и жеребая... С приплодом, так сказать.

Павла Юрьевна удивлённо глянула на старика и осуждающе нахмурилась:

— Ну-у, Филатыч... Что за слова? При детях!

— А что «слова»? Хорошие слова... Кобылка она и есть кобылка. Скоро нам жеребёночка приведёт... махонького. Гривка и вся шёрстка у него будут мягонькие, так и светятся, так и светятся, словно обмакнутые в солнушко... Жеребёночки всегда рождаются такими.

Ребятишки, услышав про жеребёночка, счастливо засмеялись. А Митя шагнул к лошади, протянул ей раскрытую ладонь. Лошадь опять мотнула головой, звякнула железными удилами, как бы освобождаясь от уздечки, за которую держался старик. Филатыч узду отпустил, и Зорька ткнулась мягкими, нежными губами в ладонь Мити. По ладони прошло тепло. Митя так весь и задрожал от радости и ответной нежности, а Филатыч удивился:

— Вот так да! Признала мальчика... А мне сказали: «Маленьких она любит не шибко». Ну что ж! Если разрешит начальство, быть тебе, парень, в конюхах, в моих заместителях. А то я один-то теперь не управлюсь.

Митя, не отнимая от Зорькиных губ ладони, с такою надеждой и мольбой глянул на «начальство», на Павлу Юрьевну, что она сразу закивала:

— Да, да, да! Пусть будет, пусть будет. Я всегда говорила, Митя Кукин — человек надёжный, и лошадка это, видно, тоже почуяла.

Вот так вот и началась Митина дружба с Зорькой, которая сразу стала самой настоящей кормилицей и поилицей всего интерната. На Зорьке возили дрова, воду, на ней ездили на полустанок Кукушкино в пекарню за хлебом и там же, на полустанке, забирали почту.

Раньше всё это Филатыч доставлял в интернат с великим трудом на случайных колхозных подводах, а теперь лошадь была своя, и хозяйственные дела у Филатыча пошли веселее.

А дел у старика было полно. Он не только ездил в Кукушкино, он выхлопатывал в дальнем леспромхозе для интерната лес на топливо; подшивал ребятишкам «горящую, как на огне», обувь; чинил столы, скамейки, парты; латал обрезками фанеры и тонкими дощечками разбитые окна — и как он со всем этим управлялся, понять было невозможно. Ведь у него и у самого в деревне было какое-то хозяйство. Это он, Филатыч, в первую военную зиму, когда с питаньишком было из рук вон плохо, когда отощавших ребятишек чуть ли не ветром качало, а сама Павла Юрьевна совсем было слегла, это он, старый Филатыч, спас от гибели весь интернат.

Он пешком, с палочкой, дошёл до всего сельсоветского начальства, дошёл даже до райкома, и в интернат стали каждый день безо всяких перебоев отпускать из колхоза молоко и прислали целый воз овощей для приварка. А пока шли хлопоты, Филатыч сам на своей спине в котомке перетаскал из дома, из деревни, в интернат почти все собственные запасы картофеля и поддерживал этим картофелем ребятишек и Павлу Юрьевну до тех пор, пока не наступили времена получше. На робкий вопрос Павлы Юрьевны, не трудно ли ему, он однажды только и ответил:

— Мы, матушка, Павла Юрьевна, крестьяне... Нам без трудностей нельзя. Мы к трудностям привычны сызмальства. А окромя того, я к этому делу Советской властью приставлен, так, значит, и должен его выполнять.

Когда же Павла Юрьевна сказала, что за картошку интернат ему заплатит, то Филатыч страшно рассердился:

— И не выдумывай! И не смей! Не возьму... Это я, считай, в фонд обороны внёс. Нынче вон каждый трудящийся человек всё до последней крохи на оборону сдаёт. Наши деревенские на целый боевой танк собрали. Я тоже на танк вносил... Так что, мне теперь и за это денег требовать? Эх ты... Павла Юрьевна! А ещё питерская... Обижаешь, матушка, меня.

Павла Юрьевна даже покраснела:

— Простите, ради бога простите! Я ведь только и хотела сказать, что вам очень трудно со всеми нашими делами одному управляться.

— Ничего,— отмахнулся Филатыч.— Как-нибудь управлюсь...

Но и всё равно он очень обрадовался, когда ему стал помогать Митя Кукин.

Когда завхоз увидел, как ловко и заботливо мальчик ухаживает за лошадью, наделяет её сеном, носит ей с кухни в бадейке подогретую воду, чистит по утрам соломенным жгутом, то научил мальчика ещё и запрягать лошадь и стал брать Митю с собою в поездки, а в недалёкий путь отпускать и одного.

Запрягать Зорьку было не очень трудно. Она сама помогала Мите. Она сама продевала низко склонённую голову с поджатыми ушами в подставленный хомут, а потом голову вскидывала, и хомут оказывался у неё на груди, на месте. Только вот затягивать хомут супонью — тонким ремешком — было труднее. Тут надо было, стоя на земле на одной ноге, другою ногою упираться



в клешню хомута и тянуть ремешок изо всех сил на себя, а росту для этого у Мити не хватало. Даже у Саши не хватало. Но и тут Митя приспособился. Он стал подкатывать к лошади чурбан и управляться с этой подставкой.

И вот возится Митя рядом с лошадьёю, закладывает ей на спину войлочный потник и седёлко, лезет за пряжкой подпруги под круглое, как бочка, очень тёплое, всё в крупных выпуклых жилках брюхо, и Зорька не шелохнётся. Она терпеливо ждёт, она лишь подрагивает от щекотки всей кожей и доверчиво косит на Митю добрым блестящим глазом. Рядом с ней Мите хорошо. Митя разговаривает с Зорькой и чувствует, что лошадь понимает его. Он даже показал ей однажды и прочитал вслух письмо с приветствием от лейтенанта Бабушкина, и Зорька бумагу обнюхала, и одобрительно фыркнула, и мотнула головой.

А когда Митя рассказал ей про своих сестрёнок и про свою маму, то Зорька положила ему на узенькое, слабое плечо свою тёплую большую морду, тихо щекотнула пушистой верхней губою Митино ухо и вздохнула вместе с мальчиком.

#### 4

В один из мартовских деньков Митя собрался по распоряжению Филатыча к ручью за водой. Собрался он вместе с Сашей, а ещё за ними увязался самый маленький житель интерната — мальчик Егорушка.

Времени было за полдень. С южной стороны крыш капало, тонкие сосульки отрывались от карниза школы и со звоном шлёпались в мелкие лужицы на утоптанном снегу. Интернатский петух Петя Петров ходил вокруг лужиц, любовался на своё отражение, хлопал крыльями и восторженно орал. Ему откликались через дорогу, через поле деревенские петухи.

Митя вывел из конюшни Зорьку, впряг её в оглобли, не спеша запряг. Потом вскочил в сани, утвердился на широко расставленных ногах между пустой бочкой и передком, дёрнул верёвочными вожжами и, стоя, подкатил к школьному крыльцу.

Мальчики — Саша и заплетающийся в длинном пальто Егорушка — подбежали следом. Они несли вёдра.

С крыльца спустился Филатыч в красной распоясанной рубаше и с рубанком в руках. Не выпуская рубанка, одной свободной ладонью он ощупал на спине Зорьки войлочный потник, проверил, удобно ли потник положен, подёргал тугой ремень чересседельника, посмотрел на лужи, на солнышко.

— Теплынь! Надо бы нынче к ручью самому съездить. Как бы не разлилось... Ты, Дмитрий, вот что: ты на лёд нынче лошадь не загоняй, а встань с бочкой на берегу. Понял? Ну вот и ладно... Ну вот и езжайте. Завтра проверю сам, а сегодня времени нет.

Саша с Егорушкой бросили вёдра в сани, вскарабкались верхом на бочку. Митя, радуясь, что едет за главного, без Филатыча, громко чмокнул губами, и Зорька легко понесла сани по дороге.

Водовозная дорога сразу от школы уходила в лес. Она ныряла под мощные корабельные сосны, и снег под соснами был ещё по-зимнему чист и крепок. Под соснами держалась прохладная тень, но там, где прямые, с тёмно-коричневыми, словно пригорелыми, низами деревья разбегались просторней, там всю тенькали синицы. В голубом прогале неба ласково и призывно каркал одинокий ворон. А ещё выше, в самой бездонной синеве, громоздились белыми башнями невесомые, почти неподвижные облака.

— Шарман! — сказал, сидя на бочке и задрав кверху голову, Саша, и это должно было означать по-французски: «Красота!»

А Егорушка тоже огляделся, потянул носиком сосновый воздух, распахнул ещё шире и так всегда изумлённые, в длинных ресницах, ореховые глаза и сказал:

— Хорошо-то как...

Потом подумал и добавил:

— А у меня завтра день рождения!

Митя, который стоял в передке саней и держал вожжи, сразу обернулся:

— Сочиняешь, Егорушка? Опять?

Митя знал за Егорушкой такой грех. Егорушка попал в интернат совсем маленьким, не помнил, когда у него день рождения, а справить этот день ему очень хотелось, и малыш придумывал его себе на каждой неделе по три раза. Но теперь Егорушка замотал головой и сказал:

— Нет, не опять... Это я раньше сочинял, а нынче Павла Юрьевна сказала. Мне знаешь сколько будет? Вот сколько!

Егорушка выпростал из длинных рукавов пальцы, отсчитал шесть и высоко поднял обе руки.

— Ого! — сказал Саша. — По-английски это будет «сикс». Выходит, тебе подарок надо...

— Надо! — радостно согласился Егорушка. — А какой?

— Ну вот, сразу «какой». Поживём, увидим. Потерпи до завтра.

— Потерплю, — ответил сговорчивый Егорушка. — До завтра терпеть недолго.

А Митя не вытерпел. Он дёрнул вожжами, взглянул на мерно колыхающуюся спину лошади, послушал, как она ладно похрупывает подковами по сыроватому дорожному снегу, и опять обернулся:

— Хочешь, Егорушка, я тебе дудочку сделаю? Ивовую... На два голоса. Я это, брат, ловко умею. Вот приедем к ручью, выломаю подходящий прут и дома вечером сделаю.

— Сделай! — оживился Егорушка, поднёс к гу-

бам воображаемую дудочку и, сидя на бочке, заприговаривал: — Тир-ли, тир-ли, тир-ли!

Мальчики засмеялись. А Зорька топала да топала по узкой дороге, и вот корабельные сосны кончились, дорога сбежала по некрутому склону вниз и пошла по долинке, заросшей ивняком и ольховником.

Мартовскому солнцу тут раздолье. Ветер в долинку почти не залетает, тени от кустов прозрачны, и внешнее тепло здесь проникает всюду. Сугробы во многих местах уже протаяли до болотных кочек, а на ивовом прутье надулись глянцевые почки. Они вот-вот лопнут, и тогда по тонким веткам разбегутся, как цыплята, ярко-жёлтые пушистые соцветия.

Егорушка напоминает:

— Митя, прутик не забудь сломить.

— Не забуду,— говорит Митя, останавливает лошадь и спрыгивает в снег. Он топчется под ивой, сгибает упругую ветку. Митины следы сразу темнеют, набухают водой.

— Надо бы нам надеть кирзовые сапоги. Промокнем,— думает вслух Саша. А Митя сламывает прут, внимательно осматривает его и опять залезает в сани.

## 5

Когда подъехали к ручью, то увидели, что за прошедшие сутки там ничего не изменилось. На широко раздавшемся в этом месте ручье, на льду, по-прежнему лежит пронзительно-яркий снеговой покров, по снегу тянется накатанный санями подъезд к проруби; а с того берега от густых ельников к проруби-оконцу протоптана узкая тропа. Её пробили за зиму лоси, они ходят сюда на водопой почти каждый день.

Мальчики, как наказывал Филатыч, оставили Зорьку на берегу, взяли вёдра, побежали к оконцу. Здешний берег был низкий, почти вровень со

льдом, и они сразу обнаружили, что самая кромка льда и снег на ней — мокрые. Влажная полоска растянулась в обе стороны, но нешироко, и её перескочил даже Егорушка.

Вокруг проруби снег был тоже сырой, жёлтый. А в самом отверстии вода, как в ледяном колодце, поднялась до краёв, и вот это было уже большой новостью. Раньше вода стояла гораздо ниже.

— Я говорил, промочим валенки,— опять сказал Саша.

— Ничего. Приедем, высушим. Ты, Егорушка, в мокрое не лезь,— сказал Митя и далеко перегнулся, поддел ведром красноватую, с болотным запахом воду.

— Смотри-ка, ещё вчера была чистая, а сегодня уже нет,— удивился Егорушка.

— Торфяники оттаивают,— догадался Митя и почерпнул второе ведро. Он передал его Саше; мальчики, тяжело нагибаясь, потащили вёдра к берегу. Егорушка, размахивая длинными рукавами, засеменил сзади.

Мокрую полоску у берега перепрыгнуть с полными вёдрами уже не удалось, через неё прошлёпали напрямую. Потом выбрались к бочке и опрокинули вёдра над широкой прорезью. Вода с шумом ухнула в тёмное, круглое нутро. Саша всунул туда голову, посмотрел:

— Едва донышко скрыло, охо-хо...

— Первый раз наливаешь, что ли? — засмеялся Митя и побежал обратно.

Сходили они так, от берега к проруби и от проруби к берегу, пять раз. Все уплескались, в сырых валенках стало хлупать, воды в бочку принесли десять вёдер, а надо было — пятьдесят.

Саша опять заглянул в прорезь, опять вздохнул:

— Так до вечера будем таскать!

Митя отпыхнулся, спросил:

— А что делать?

— Давай подгоним Зорьку к самой проруби, как всегда.

— Что ты! Филатыч не велел...

— Не велел, не велел,— недовольным голосом передразнил Саша.— Он не велел, если лёд слабый, а лёд — не слабый... Вон сколько раз ходили туда-сюда, а он даже и не шелохнулся.

— Это под нами не шелохнулся, а под лошастью, может, и шелохнётся. Что тогда?

— Пустяки! — сказал Саша.— Глянь!

Он перепрыгнул мокрую закраину и стал из всех сил подсакивать на ледовой, зимней дороге. Снег, уплётанный из вёдер, просел под ним, но дальше Саша не проваливался.

— Слышишь? Гудит даже! Во какая крепчина! Лёд здесь, наверное, намёрз до самого дна: тут мелко. Поехали!

— Поехали,— махнул рукой Митя. Ему и самому не хотелось таскать вёдра с водой до позднего вечера.

Но Зорька на лёд не пошла. Она остановилась у самой закраины, неудобно налегая на хомут, опустила вниз длинную морду, втянула тёмными ноздрями запах талого снега, всхрапнула и резко попятилась.

— Бойтся... Не пойдёт,— сказал Митя и бросил вожжи в сани.

— А ты её за уздцы, за уздцы! Она за тобой пойдёт. Она тебя слушается,— посоветовал Саша.

Егорушка тоже поддакнул:

— Она, Митя, тебя всегда слушается. Она за тобой пойдёт.

Митя взял Зорьку под уздцы и, подражая Филатычу, заприговаривал:

— Ну что, Зоренька? Ну что, матушка? Ну что боишься-то? Пойдём, голубонька моя, пойдём...

И Зорька пошла.

Саша закричал по-американски: «О'кей!»,



Егорушка засуетился по берегу, замахал руками: «Пошла, пошла!», а Митя уже перескочил мокрую закраину и, пятась и отставив свой туго обтянутый серыми штанцами задок, тянул Зорьку за собою. Он не давал ей опустить голову, глянуть вниз, и Зорька вдруг вся как-то странно, по-собачьи, присела, ржанула, и вот мощным прыжком ринулась вперёд.

Митя успел увидеть летящую на него лошадиную мускулистую грудь, край хомута, обтянутый ремённым гужом торец оглобли, но тут его ударило прямо в лоб, он полетел кубарем, прочертил щекой по зернистому снегу, и в глазах у Мити потемнело.

Он услышал рядом такой треск, будто весь белый свет начал колотиться на куски и падать вниз, рушиться. Где-то у самых ног страшно зашумела вода, жутко заржала лошадь.

«Тонем!» — подумал Митя и забился, забарахтался. Но голые пальцы хватали не тёмную воду, а холодный мокрый снег.

Он стиснул сочащийся ком, присунул к лицу — в глазах стало проясняться. Митя медленно, шатаясь, поднялся.

Белый свет оставался белым. По-прежнему светило солнце. Но в трёх шагах от Мити, у самого берега, зиял бурый, бурлящий пролом, и там в ледяном крошewe билась Зорька.

Вода, перемешанная с торфяной грязью, летела во все стороны, она достигала Зорьке выше груди. Зорька старалась подняться на дыбы, вскинуть передние ноги в шипастых подковах на кромку льда, но наклонённые с берега сани с бочкой пихали её оглоблями вперёд, прижимали к ледяной кромке, и она всё никак не могла выпростать ноги из-под этой кромки, лишь билась об неё хомутом, грудью, коленями, обрезалась до крови.

На берегу заполошно бегали Саша с Егорушкой. Они то хватались за сани и тянули их изо



всех сил назад, то тянуть отступались и бежали смотреть на рвущуюся из оглобель Зорьку, а потом опять принимались тянуть сани, да силёнок у них для этого не хватало.

Митя стоял на захлёстанном грязью снегу, на льду, и с ужасом видел, что лошадь тоже смотрит на него.

Метаться она перестала, только вся вздрагивала. Вода шла вокруг её шеи крутыми воронками, и Зорька тянула к Мите мокрую морду, и огромные, от страха косящие глаза её, как показалось Мите, были в слезах.

И тут Митя заплакал сам. И, шлёпая по мокрому снегу, побежал на берег.

— Спятить надо Зорьку, спятить! — захлёбываясь от слёз и горя, крикнул он Саше с Егорушкой, зашарил в санях, стал искать вожжи, чтобы спятить Зорьку: заставить её саму вытолкнуть тяжёлые сани с бочкой на берег.

Но вожжей в санях не было. Они давно соскользнули в воду, и Зорька замяла, затоптала их под себя.

Митя повалился лицом на бочку, на руки:

— Ой, что делать-то-о? Ой, беги, Сашка, к Филатычу-у!

— Что ты! — испуганно сказал Саша. — Лучше давай сами как-нибудь.

— Не сможем сами, не сможем... Давай, беги!

А Саша затоптался. Нести к Филатычу свою повинную голову, да ещё в одиночку, ему вдруг стало страшно, и он сказал:

— Пусть Егорушка бежит. Он на ногу лёгкий, в два счёта домчится.

— Точно! В два счёта домчусь! — пискнул Егорушка и, обрадованный тем, что хоть как-то да может в беде помочь, припустил по дороге к интернату.

Митя поднял голову, посмотрел вслед Егорушке, вздохнул и побрёл на лёд.

Тёмная вода по-прежнему бурлила вокруг лошади. Наверху виднелась только прядающая ушами Зорькина голова под дугой да широкая мокрая спина со сбитым на бок седёлком. Зорька теперь даже и не дрожала, а её всю било и трясло. Даже нижняя губа у неё ходила ходуном, обнажая жёлтые, сильно стёртые зубы.

— Простудится... — опять всхлипнул Митя. — Сама насмерть простудится и жеребёночка застудит. Давай, Сашка, хоть как-нибудь её распряжём, что ли... Может, без саней она и выскочит?

— Может, и выскочит, — развёл руками Саша, — да как её распряжешь? Сам под лёд ухнешь.

— Пусть! Пусть ухну... Так мне, дураку, и надо, — перестал плакать Митя и вдруг изо всех сил дрыгнул ногой, сошвырнул валенок, сошвырнул второй валенок, стянул с плеч и бросил пальто и, медленно переступая по льду в толстых вязаных носках с розовыми дырками на пятках, стал подходить слева, сбоку к лошади.

Саша подобрал Митино пальто да так с пальто в руках и стоял, растерянно смотрел, что будет дальше.

А Митя, не доходя с метр до края пролома, пригнулся, напружинился и руками вперёд прыгнул к лошади. Он упал животом ей на спину, Зорька присела. Митины руки и ноги оказались в воде. Но Митя так и остался лежать поперёк лошади и стал распутывать руками в бурлящем потоке широкий ремень чересседельника, завязанный вокруг правой оглобли.

— Упадешь... — пробормотал Саша, а Митя уже распутал чересседельник, развернулся на спине лошади, сел на неё верхом и, обняв за дрожащую мокрую, но тёплую шею, опять опустил руку по самое плечо в ледяную воду и начал шарить по Зорькиной груди, по низу хомута, — искать ремешок супони.

Зорька сразу поняла, что к ней пришла помощь. Не рвалась, не взматывала головой, а только тихо и протяжно постанывала.

Ремешок супони раскис, разбух. Митя на ошупь тянул его, рвал ногтями. Рука от холода онемела, рубаха с этой стороны намокла до самого ворота, но вот ремешок поддался, клешни хомута разомкнулись.

Зорька дёрнулась, яркая, расписная дуга вылетела, стукнула Митю по голове, и ладно, Митя успел вцепиться в жёсткую конскую гриву, а то полетел бы вслед за дугой в тёмный поток.

Саша со стороны увидел, как Зорька мощно вздыбилась, развернулась на задних ногах и, обрушивая с себя сверкающую на солнце воду, с висящим на гриве мальчиком, вымахнула на лёд. Она проломила его, опять вымахнула и вот уже, хромая и волоча за собой вожжи, выбежала на берег.

Там она остановилась. Митя скатился на снег и кинулся осматривать Зорьку. Дышала она шумно и тяжело, ноги её дрожали. Вода капала с длинного хвоста, с гривы, под раздутым животом нелепо висело седёлко.

— Прости меня, Зоренька, прости...— опять было заплакал Митя, да тут подбежал Саша, подал валенки, пальто, сказал:

— Оденься.— Потом бодрым голосом добавил: — Вот видишь! За Филатычем можно было и не посылать. Если бы не послали, никто бы ничего и не узнал.

— Ну да-а... ф-фиг бы не узнал...— едва выговаривал Митя, его самого трясло не меньше Зорьки.

6

А Филатыч был уже близёхонько. До смерти перепуганный Егорушкой, который ворвался в школьную столярку и не своим голосом завопил:

«Зорька тонет! Зорька тонет! Одну дугу видно!» — старик только и успел, что накинуть на себя полушубок да схватить у школьной поленницы длинную жердь, и так вот, без шапки, и бежал с этой жердью по дороге.

Старик бежал не быстро, ему не хватало воздуха. А Егорушка трусил рядом, всё наговаривал:

— Митя не хотел, а Сашка сказал: «Поехали!», Митя не хотел, а Сашка сказал: «О'кей!»

Филатыч на Егорушкины ябедные слова не отзывался, не мог. Только выбежав из леса в долинку и увидев на берегу распряжённую лошадь, сказал не то с облегчением, не то с испугом:

— Ох!

Но ходу старик не убавил. А как бежал, приседая на ослабевших ногах, так на той же медленной скорости и подбежал к лошади.

На мальчиков он сначала и не взглянул. Он обежал, оглядел мокрую Зорьку, кинул ей на спину свой полушубок, а потом наклонился и увидел её сбитые, сочащиеся кровью ноги. Увидел, весь побагровел, шея и лицо стали у него почти такими же красными, как его распоясанная рубаха, и он медведем пошёл на мальчиков.

— Ах-х вы... — занёс он высоко руку, и Митя покорно сжался, а Саша отпрыгнул, побледнел, закинул назад голову и, словно отодвигая от себя старика ладонями, запомахивал ими, забормотал:

— Но, но, но... Вы не очень, не очень! Мы ведь не нарочно.

— Ах, не нарошно! Ах, не нарошно! — дважды проревел Филатыч, и опустил руку, и кинулся к Зорьке, отстегнул вожжи, согнул их втрое, вчетверо и вытянул Сашу пониже спины.

— Вы что! — взвизгнул Саша, отбежал и, держась рукой за то место, закричал: — Драться, да? Драться? Не имеете права! Я отцу напишу! Он вам покажет! Он — капитан, а вы... А вы — эксплуататор!



— Кто? — изумлённо раскрыл рот Филатыч и даже бороду с засевшей там стружкой выставил вперёд.

— Эксплуататор!

— Это почему же? — ещё больше изумился Филатыч.

— Потому что дерётесь... Трудящихся бьёте.

Филатыч опомнился, опять встряхнул вожжами:

— Ах, вот оно что! Трудящих бью... Да будь ты, Сашка, моим родным внучонком, я бы тебе ещё и не так ижицу прописал! Я бы тебе показал эксплуатацию трудящих... Вон по твоей трудящей милости лошадь-то колотит всю. Насквозь простыла. А она ведь — мать! От неё жеребёнка ждали.

Митя с Егорушкой, услышав про жеребёнка, заревели в голос. Филатыч глянул на них, грозно нахмурился, хотел им тоже сказать что-то этакое,

да махнул рукой и взялся за съехавшую в передок саней бочку.

Он качнул её раз, качнул другой, толкнул изо всех сил, и бочка, накренив сани, расплёскивая с таким трудом натасканную воду, покатилась на снег.

Даже не дав мальчикам и подступиться к саням, Филатыч сам выдернул их из-под берега на ровное место, взял в руки жердь, подцепил не успевшую уплыть под лёд расписную дугу и стал запрягать Зорьку. Делал он это всё молча, лишь сказал запряжённой лошади:

— Но, милая... Давай потихонечку к дому, давай.

Сани тронулись, бочка осталась на берегу. Старик, придерживая длинные вожжи, пошёл за пустыми санями.

Митя робко поравнялся с ним, дотронулся до вожжей:

— Дяденька Филатыч... А дяденька Филатыч... Давайте я.

Но Филатыч на мальчика даже и не посмотрел. Он сказал сердито:

— Отойди. Снимаю я тебя с лошади... Старших не слушаешься, приказу не подчиняешься...

## 7

Во двор интерната въехали, как с похорон. Впереди везла пустые сани Зорька, сбоку шагал нахмуренный Филатыч, сразу за санями плелись Митя с Егорушкой, а позади всех, задрав кверху голову, шагал крепко обиженный Саша.

У самого крыльца тюкали деревянными лопатами, проводили ручки интернатские малыши, им помогала Павла Юрьевна. Она увидела медленную процессию, удивилась:

— Филатыч! Что за странный вид? А где бочка? А где у вас шапка? Ничего не понимаю.

Старик повернул Зорьку к воротам конюшни, буркнул:

— Что наш вид? Вы лучше на лошадь гляньте, на ноги. Вот там — вид.

Павла Юрьевна глянула и ахнула. Ребятишки тоже ахнули, повалили толпою вслед за санями. Егорушка, размахивая руками, с ужасом и восторгом, округляя свои ореховые глаза, принялся рассказывать малышам подробности.

А Саша с Митей — боком, боком — взошли на крыльцо, шмыгнули в сени, в раздевалку, смахнули прямо на пол мокрые одёжки и валенки и, печатая босыми ногами по крашеному полу мокрые следы, кинулись в тёплую, по-вечернему сумеречную, спальню. Дальше им от своего несчастья бежать было некуда.

Летом, конечно, можно скрыться в лес, в поле, и прилечь там в ласковую, мягкую траву, и плакать, плакать, пока горькая, тяжёлая боль на душе не размякнет и не станет тихой сладостью, но по снежной поре куда побежишь? Некуда. Только в спальню.

Только и утешения, что забиться под одеяло, и лежать там в душной тьме, и вздыхать, и хлюпать потихоньку носом, и жалеть себя так, как никто никогда не пожалеет; но и всё равно ждать, что вот наконец-то не вытерпит Павла Юрьевна, подойдёт, тронет тебя за плечо и негромко скажет: «Ну, ладно, ладно... Надеюсь, это в последний раз».

Но когда Павла Юрьевна в спальню прибежала, то сказала совсем другое. Она перепуганно крикнула:

— Мальчики, вы тонули? Вы искупались, мальчики?

Митя, стараясь вызвать к себе как можно больше сочувствия, зашмыгал носом ещё шибче, кивнул под одеялом головой, а Саша, тоже из-под одеяла, пробубнил:

— Это не я искупался, это он искупался... Он Зорьку спас.

Про вожжи, про Филатыча Саша решил молчать. Ему было противно и думать про эти вожжи, не то что говорить, и он только и повторил из-под одеяла:

— Это я Зорьку чуть не утопил, а Митя — спас!

Но Сашино рыцарское признание Павла Юрьевна как будто бы и не слышала. Она смахнула с мальчиков одеяла, пощупала сухой прохладной ладонью Митин лоб, затем Сашин лоб и по-докторски сказала:

— Внутрь — аспирин, к пяткам — грелки и два дня — вы слышите? — два дня лежать в постели.

— Как два дня? — всколыхнулся Митя. — А Зорьку лечить? Ей надо ноги забинтовать и внутрь тоже дать чего-нибудь надо!

— Лежи, лежи, — сказала Павла Юрьевна, а в приоткрытую дверь спальни просунулись любознательные малыши и запищали:

— Её уже лечат! Её уже бинтуют. Сам Филатыч бинтует... Ох, он там и ру-га-ит-цаа! На чём свет стоит... Говорит, за это дело кому-то наверняка отвечать придётся.

— Вот видите, что вы натворили, — уже не по-докторски, а тихо, по-домашнему, произнесла Павла Юрьевна. — Остаётся вам ещё заболеть, тогда совсем — ужас.

Она заставила мальчиков проглотить по горькой таблетке, сама принесла с кухни две горячие резиновые грелки и два стакана тёплого молока. Молоко она поставила на тумбочку, грелки сунула мальчикам под ноги и, выпроваживая широко раскинутыми руками набежавших в спальню малышей, кивнула Мите с Сашей от двери:

— Лечитесь. Обо всём завтра поговорим.

Мальчики остались одни. Дверь затворилась,



и Саша вдруг состроил неприятную рожицу, сделал вид, что поправляет на носу, как Павла Юрьевна, пенсне, и вслух передразнил:

— Во-от видите, что вы натворили, мальчишки...

Он спустил ноги с кровати, хлопнул кулаком по подушке:

— Эх, Митька! Ухожу я отсюда! Больше нет моего терпеньюшка.

— Куда? — удивился Митя и тоже вскочил, сел.

— На флот, Митенька, на флот! К папе на корабль. А здесь пускай Филатыч других вожжами порет, только не меня... Не могу я его больше видеть, Митёк!

— Ты что? — удивился ещё больше Митя. — Он тебя вовсе и не порол... Он тебя только шлёпнул разок, да и то сгоряча. Меня знаешь как мама шлёпала?

— То мама, а то Филатыч. Нет, всё равно, Митька, я убегу.

Саша лёг на кровать, закинул руки за голову, призадумался, потом опять сел и зашептал, косясь на дверь:

— Ведь меня, Митя, теперь задразнят. Егорушка всем разболтает про вожжи.

— Пусть болтает, Егорушка всегда чего-нибудь болтает. Он маленький. А за тебя Павла Юрьевна вступится.

— Вступится? Нимало! Она сама Филатыча боится, всё ходит за ним да приговаривает: «Ах, какой вы умелый! Какой вы старательный! Ах, как это вы всё успеваете!» Станет она из-за меня с Филатычем ругаться... Фигушки!

— Если надо, станет. Она справедливая.

— Справедливая? А когда я сказал, что ты лошадь спас, она что ответила? Ничего! Только таблетку сунула. Да это ещё пустяк! А вот погоди, когда Филатыч тебя и в самом деле не допустит

до лошади, так Павла и пальцем не пошевелил. Скажет: «Зорькой Филатыч распоряжается, ему и решать!»

Последние слова прозвучали убедительно. Митя испуганно притих. А Саша так раскипятил себя, так раскипятил, что уже и взаправду верил: обижен он тут до последней крайности и нет ему другого выхода, как бежать. Бежать к отцу.

Причём ему как-то и в голову не приходило, что отец отсюда за сотни километров. В голове у него ясно и почти осязаемо вставали только две картины: вот этот интернат с обидчиком Филатычем и красавец корабль с улыбчивым, добрым отцом. Длинные километры тут не имели никакого значения. Они пропадали для Саши за словом «бежать». Надо бежать, бежать, бежать — и вот прибежишь прямо на отцовский корабль, прямо на капитанский мостик.

Не пешком, конечно, бежать. Саша понимал, что бежать — это значит ехать на поезде. Но и поезд ему рисовался уже где-то рядом с великолепным кораблём. Главное было сейчас: уйти из интерната, добраться до полустанка Кукушкино. А полустанок всего в двух часах пешей ходьбы — в общем, тоже пустяк! План созрел вполне ясный. План — вполне достижимый. Нужен только попутчик, одиночества Саша ни в чём не терпел. Он сполз на самый край постели, протянул через проход руку, дотронулся до Мити:

— Давай вместе, а?

Митя, занятый грустными думами, не понял:

— Что вместе?

— На корабль... К папе.

— Нужны мы там! Ерунда всё это.

— Ничего не ерунда! Мы там знаешь кем станем? Юнгами станем. Бескозырки выдадут и ремни с пряжками... А там, глядишь, и винтовки дадут. Отец добрый!

Митя насторожился, поднял голову:

— Лучше бы автоматы...

— Что же, можно и автоматы. Отличимся в боях, дадут и автоматы. Да что автоматы! К пулемёту приставят! Как в песне: «Так-так-так! — говорит пулемётчик. — Так-так-так! — говорит пулемёт». Драпанём, Митька, а? Драпанём?

Митя промолчал, но Сашины разговоры на Митю начали действовать. У Мити у самого на душе скребли кошки. Правда, обиженным он себя не считал, да зато из головы не выходили слова, выкрикнутые Филатычем на берегу возле дрожащей Зорьки: «От неё ведь жеребёнка ждали!» А «ждали» — это совсем не то, что «ждём». «Ждали» — это значит: ждали, да не дождались, и жеребёночка теперь никогда не будет.

И жеребёночка не будет, и сама Зорька, если заболит, пропадёт, и за всё это придётся отвечать ему, Мите Кукину. Филатыч вон так и говорит: «Отвечать кому-то придётся...» А кому? Ясно кому. Безо всяких объяснений понятно.

Мите вдруг вспомнился здешний, из районного села, однорукий милиционер Иван Трофимович, который иногда, по пути, завозит в интернат почту и каждый раз по настоящему приглашению Павлы Юрьевны выпивает на интернатской кухне огромную кружку чая с маленьким кусочком сахара. Сахар в интернате — драгоценность. Крохотный, в полнапёрстка кусочек — весь дневной паёк Павлы Юрьевны, и гостю это известно. Кусочек он берёт деликатно, двумя пальцами, и, топорща рыжие, жёсткие усы, откусывает крепкими крупными зубами от кусочка чуть-чуть.

Потом он кружку перевёртывает, кладёт на неё так и не съеденный сахар, поднимается, оправляет единственной рукой ремень с кобурой и говорит Павле Юрьевне басом: «Спасибочки! Премного благодарен за угощение!»

И вот этот милиционер Иван Трофимович и предстаёт теперь перед испуганным Митиным во-

ображением. Мите видится он не на кухне, а на высоком интернатском крыльце.

Вокруг крыльца стоят все интернатские мальчики, все девочки, стоят Павла Юрьевна с Филатчем. Вид у всех скорбный. А Иван Трофимович выводит его, Митю, из школы на крыльцо. Выводит, кладёт на Митино плечо тяжеленную ладонь и приказывает на всю улицу: «Ну, Митя Кукин, отвечай теперь за свой проступок перед всем честным народом!» И Митя отвечает. Он утирает рукою слёзы, кланяется с крыльца на три стороны и трижды говорит: «Прости, народ честной! Прости, народ честной! Прости, честной народ...»

Митя даже головой помотал, чтобы прогнать от себя эту жуткую картину, а потом с горя и тоски взял с тумбочки стакан с молоком, разом его выпил и, не вытерев молочных усов, с полунadeждой, с полусомнением спросил:

— Да-а, ты-то вот к отцу побежишь, а я к кому?

Саша оживился:

— Так к лейтенанту же Бабушкину! Он же тебе привет прислал! Он тебе и тогда привет прислал и ещё, может быть, собирается прислать. Ведь я про тебя, Митёк, туда на корабль раза три ещё писал... Не веришь? Честное пионерское! Но в случае чего отец и двоих примет... Жалко, что ли? Где один, там и два.

И чтобы наверняка решить дело, чтобы не дать Мите отступить, Саша отбросил в сторону всякое рыцарство и пустил в ход запретный, но верный приём. Он отвернулся, нарочито громко вздохнул:

— Что ж, конечно... Если ты трусишь, я тебя не зову.

Этот коварный вздох решил всё. Принять на себя обвинение в трусости Митя не мог. Он подумал, помолчал и тихо произнёс:

— Ладно. Как ты, так и я. Когда бежать-то?

Бежать мальчики решили в полночь, когда уснёт весь интернат, когда в первый раз пропоёт петух Петя Петров.

— Нет лучшего сигнала для побега, чем петишиный крик,— сказал Саша.

А перед тем как интернат уснул, перед самым отбоем, мальчики слышали: к ним в спальню приходил Филатыч. Они слышали его, но не видели. При первом звуке его бубнящего в коридоре голоса, ещё до того как открылась дверь, они закутались в одеяла с головой, притворились крепко спящими, и Филатыч потоптался у кроватей, поскрипел половицами, сказал негромко вслух: «Пушай спят, завтра поговорю!» — и ушёл.

— Слыхал? — высунулся наружу Саша. — Слыхал? Завтра опять с ним беседовать придётся.

— Отвечать придётся,— вздохнул Митя и теперь сам сказал: — Скорей бы Петя Петров пропел, скорей бы полночь.

А потом Саша и Митя лежали под одеялами и слушали, как дежурные принесли в спальню и поставили им на тумбочку ужин, потом слушали, как в спальню пришли все остальные мальчики и, стараясь не мешать «больным», стали потихоньку укладываться. Видно, Павла Юрьевна их строго предупредила, а то бы тут ещё целый час стоял шум, гам, в воздухе свистели бы подушки, раздавался бы писк, хохот, а потом кто-нибудь чего-нибудь рассказал бы весёлое, и в тёмной спальне все бы ещё долго кисли от смеха.

Но сегодня все уgomонились быстро. Только в ближнем от Мити углу немножко пошептался со своим соседом Егорушка.

— У меня завтра день рождения. Мне Митя дудочку обещал сделать.

— Какой тебе день рождения! — ответил сердитым голосом сосед. — Какая тебе дудочка, когда кругом больные! И Митя болен, и Саша болен, и Зорька в конюшне стоит под тулупом больная.

Егорушка озадаченно помолчал, подумал, потом почти громким голосом сказал:

— Так ведь день-то всё равно будет!

— Будет, будет, — согласился сосед. — Перестань разговаривать, а то Павла Юрьевна придёт.

Малыши замолчали, но Егорушка ещё долго ворочался, видно, переживал: будет у него завтра день рождения или опять не получится.

Митя тоже переживал. В голове у него теперь всё перепуталось: и Зорька, и жеребёночек, и Егорушкина дудочка, и неведомый, далёкий корабль. Митя устал от этих переживаний и вот незаметно уснул.

## 8

Сколько он проспал — неизвестно. Может, три минуты, а может, три часа.

Разбудил его Саша.

— Вставай, Петя Петров кукарекнул.

Митя открыл глаза, увидел в окне светлую холодную луну и сразу вспомнил, что вот сейчас, что вот прямо в эту же минуту надо вылезать из тёплой постели и выходить в ночь, в тьму, и бежать под этой стылой луной неведомо куда, и ему сделалось жутко.

Но Саша прошептал:

— Дрейфишь?

И Митя свесил голые ноги с кровати, стал одеваться.

Саша свою куртку уже натянул и теперь засовывал в карманы хлеб, лежащий на тумбочке рядом с нетронутым ужином.

— Провиант на дорогу. Надо бы и кашу прихватить, да не во что... Давай, пошли.

Осторожно ступая босыми ногами по гладким прохладным половицам, они выскользнули в тёмный коридор. Саша остановился возле комнатухи Павлы Юрьевны, приложил ухо к двери. Там было всё спокойно, и мальчишки принялись ощупью



разыскивать на вешалке свою одежду. Пальто и шапки нашарили сразу, а валенок под вешалкой не было. Там ничьих валенок не было.

— Вот так раз...— едва слышно выдохнул Саша.

Но Митя сообразил:

— Так мокро ведь было. Вся обувь на кухне сушится.

Пришлось открывать дверь на кухню. Дверь, к счастью, не закрипела. Вышла заминка только с самими валенками. На тёплой плите их стояло так много, что выбрать впотьмах свои собственные было невозможно.

— Натягивай любые,— скомандовал Саша,— лишь бы по ноге пришлись. Теперь всё равно.

— Теперь всё равно...— согласился Митя.

И вот они сняли в сенях с дверного пробоя тяжёлый крюк, тихонько вышли на крыльцо, и навстречу им хлынул холодный, лунный свет, протянулись по синему блескущему снегу резкие тени сосен.

Мальчики замешкались у крыльца. Но тут к ногам их упала сухая сосновая шишка, мальчики вздрогнули, припустили во весь дух к воротам.

Они выскочили на проезжую дорогу и побежали по ней в ту сторону, где хмурился на краю поля под звёздным небом ночной лес.

На опушке у первых ёлок Саша остановился, посмотрел на тёмные, теперь далёкие окна школы и сказал:

— Адью! Прощай!

А Митя ничего не сказал. Митя даже не помахал варежкой. И не потому, что ему было всё равно, а потому, что он боялся заплакать.

Потом они помчались дальше и бежали до той поры, пока у обоих не закололо сердце. Тогда мальчики пошли быстрым шагом и всё посматривали вперёд, всё ждали, когда покажутся крыши полустанка.



Влево, вправо они не глядели. Смотреть по сторонам было страшно. Подсвеченный луною, мартовский лес был угрюм. В нём что-то вздыхало, скрипело, нащёптывало; в нём, должно быть, оседали в глубоких оврагах напитанные талой водою снега, но мальчикам думалось: там кто-то идёт, крадётся и вот-вот выйдет косматой тенью на дорогу и преградит им путь.

Мальчики схватились за руки, опять помчались изо всех сил.

А тусклый кружок луны всё катился и катился по небу; он то забегал за острые макушки елей, то вновь выбегал, а затем его накрыло облако, и вокруг стало ещё мрачней. Саша, боясь, как бы Митя не раздумал и не повернул назад, принялся расписывать вслух будущую жизнь на корабле:

— Как заявимся, Митёк, так первым делом отрапортуем: «Юнга Кукин и юнга Елизаров для прохождения военной службы прибыли!» Вот папа и лейтенант Бабушкин обрадуются так обрадуются! Они ведь там по нас наверняка соскучились.

— Скажешь тоже... Соскучились! — сомневается Митя. — Лейтенант меня и в глаза не видел.

— Мало ли что не видел. Всё равно соскучился. Моряки знаешь как по берегу, по семье скучают? А ты станешь как сын или как брат.

— У него, может, свой сын есть?

— Нету! Если бы он был, так лейтенант бы тебе привет не послал. Он бы своему сыну послал... Нет, Митёк, он сразу тебя признает и даже к себе в каюту жить возьмёт. Ты хоть когда-нибудь в каюте на корабле бывал?

— Откуда же...

— А я, Митенька, бывал. Правда, маленьким, ещё до войны и многое позабыл. Но вот одно — запомнил. Есть там такое круглое окошко, иллюминатор называется. Стекло в нём толстое, чистое, а за стеклом — синее небо. А море тоже синее.

И волны в борт корабля под самым окном этим тихонько нашлёпывают: шлёп-шлёп... шлёп-шлёп... Они нашлёпывают, а в каюте на столике, на белой салфетке стоит стакан с компотом. Компота в стакане совсем немного, в нём чайная ложка, и она тоже негромко названивает: звень-звень... звень-звень... Правда, хорошо? Правда, шарман?

— Хорошо-о,— кивает Митя.— Да только, я думаю, компотов там сейчас никто не распивает, а все стоят на своих боевых местах и смотрят: где враг.

— А я про что? И я про то же! — сразу, не задумываясь, переключается Саша.— Мы тоже будем смотреть. С мачты будем смотреть. Нам бинокли выдадут.

— Раньше ты говорил — автоматы.

— И автоматы, и бинокли, и ещё пистолеты!

— Ну, пистолеты вряд ли... Пистолеты бывают у командиров.

— Не только у командиров. Когда к нам на ленинградскую квартиру забежал в последний раз от папы матрос с запиской, у него, у матроса, на ремне висел пистолет. Вот такой! Большущий... Маузером называется.

## 9

Мальчишки шли, разговаривали, а хмурый, полный тревожных шорохов лес между тем кончился, и за последним поворотом с горки они увидели белеющие в ночи поля, тёмную прямую насыпь железной дороги и постройки долгожданного полустанка за ней.

Построек было немного. Крохотный деревянный вокзал с дежуркой, сарай для инструментов и длинный, в сугробах по самые окна барак, в котором квартировали дорожные рабочие и служащие.

Невдалеке от полустанка, среди полей раскинулось большое село по названию тоже Кукушкино. Его спящие избы и высокие вётлы сливались в один тихий тёмно-серый остров: там даже собак было не слышать.

А вот в окне дежурки мерцал огонёк. Слабое пламя керосиновой лампы освещало склонённую к самому столу чью-то голову в нахлобученной шапке. Хозяин шапки навалился лбом на составленные стопой кулаки — не то крепко спал, не то дремал.

— Дежурный по разъезду. Ты его не бойся. Он только к поездом и выходит,— сказал Митя, потому что бывал тут не один раз во время поездок с Филатычем на сельскую почту и в пекарню за хлебом.

Мальчики осторожно прошли мимо окна. Митя посмотрел вдаль, в сторону убегающих в темноту рельсов, и вдруг обрадовался:

— Смотри, смотри. Зелёный светофор зажёгся. Значит, поезд близко.

— Якши! — по-турецки и весело подхватил Саша и тут же, немедленно, взял командование в свои руки: — Ты, Митёк, зря не зевай. Ты делай, как я... Когда придёт поезд, ты смотри под вагоны, ищи собачий ящик. Увидишь первым, кричи мне. Увижу я, скажу тебе. И тут мы сразу в этот ящик — нырь! — и... поехали!

— Какой собачий ящик? Зачем? Где? — спросил неопытный Митя. — В нём что? Собаки ездят?

— Собаки не ездят... Это так говорится — «собачий», а ездят в нём ребята-беспризорники, безбилетники. У нас тоже билетов нет, значит, поедем в собачьем. Невелика важность... Лишь бы везло, ехало! Ведь верно?

Митя кивнул: «Верно!» Он и не подозревал, что Саша сам не имеет ни малейшего представления об этих ящиках. Саша про них только где-то что-то слышал, а может, читал в какой-то книжке



о беспризорниках, но сам собачьих ящиков не видывал и видеть не мог. Саша ведь и на поезде-то прокатился всего-навсего один раз в жизни, когда его везли из Ленинграда в интернат.

И тем не менее мальчишки не сомневались, что всё теперь будет «якши», что стоит прийти поезду и они тут же простятся с полустанком Кукушкино.

А поезд подходил. Далеко в полях пропел его чуточку печальный голос. Потом голос повторился, он прозвучал раскатистее, задорнее, слышнее, и на платформу вышел дежурный с зажжённым фонарём.

Дежурный поднял фонарь над головой, и через две-три минуты поезд вылетел из темноты, засверкал мощным прожектором паровоза, осветил чёрные шпалы, осветил длинные блестящие рельсы и, сильно расталкивая воздух, загрохотал мимо платформы, мимо дежурного, мимо вокзала, мимо мальчишек. Поезд был грузовой, и полустанок он пролетел напролёт.

Поезд был с танками. Тяжёлые, чёрные, с грозно устремлёнными вперёд стволами пушек, они мчались мимо мальчишек друг за другом, и казалось, вся земля дрожит от их стальной тяжести. Казалось, это не поезд несёт их вперёд, а сами танки несутся с грохотом и лязгом в ту западную сторону, где холодные ночные поля и ночное небо слились в одну мрачную полосу.

Танков было так много и они пролетали так быстро, что у Мити закружилась голова. Он наклонил голову вниз, а когда поднял, то грохот поезда уже затих, фонарь дежурного уже опустился, помелькал огоньком туда-сюда, поплыл за угол вокзала, там стукнула дверь — вот и всё!

— Вот и всё...— сказал Митя.— Как теперь быть?

— Как быть, как быть! Ждать, терпеть,— ответил Саша и махнул рукой в сторону вокзала.

— Пойдём, погреемся.

Греться пошли в зал ожидания. Там было тоже темно. Там даже и собственной руки было не разглядеть, лишь смутно белел квадрат выходящего на перрон окна. В зале стояла мозглая сырость, пахло, как в погребке.

Митя осторожно прикрыл за собою тяжёлую дверь на пружине, прошептал:

— Тут где-то печка...

Мальчики, натываясь на углы громоздких диванов, стали искать печку. А рядом, за тонкой стенкой, вдруг тихо зажужжало, негромко звякнуло, и мужской голос прокричал:

— Тюнино! Тюнино! 308-бис через Кукушкино проследовал. Вы меня поняли? Я вас понял. Ага!

За стенкой опять звякнуло, голос умолк.

— Дежурный по телефону разговаривает... Не шуми, а то услышит,— предупредил Митя и опять ударился коленкой о диван и тут же наткнулся ладонями на железный округлый печной бок.

Саша тоже добрался до печки:

— Едва тёпленькая. Чуть живая...

— Я сам чуть живой. Есть хочется.

— Давай поедим. Провиант при нас.

Мальчики влезли с ногами на диван, прижались к печке. Саша старательно засопел, стал в темноте расстёгивать пальто, доставать провизию. В Митину ладонь ткнулась узкая плоская корочка.

— Ты что? Разве больше нет?

— Есть. Но больше, Митёк, нельзя. Я сам себе отломил столько же. Будем растягивать, будем терпеть до флотского пайка.

— Дотерпим.

— Конечно, дотерпим.

После корочки хлеба и разговора о флотском пайке мальчики опять приободрились, но бодрость их была теперь совсем не та, что раньше. Ночь шла на убыль, а пассажирский поезд с заветным ящиком всё не приходил и не приходил. Поезда

мимо вокзала пролетали часто, но все они были грузовыми, все военными и все проносились напролёт.

— Смотри, Сашок, танков-то сколько... Пушек! Идут, идут и всё идут. Где их только мастерить успевают? — сказал шёпотом Митя.

— На Урале. Где же ещё? В той стороне, откуда они идут. Там заводы, там кузница нашей победы... Помнишь, Павла Юрьевна говорила?

— Угу,— кивнул Митя и попробовал представить себе эту заводскую уральскую кузницу.

Но заводов он никогда не видел, а в кузнице бывал только раз, да и то в деревенской, когда вместе с Филатычем водил подковывать Зорьку. Но тут же вдруг и подумал, что если бы не потерял маму, не потерял сестрёнок, то и сам бы, наверное, сейчас жил на Урале, и потихоньку вздохнул.

Сначала мальчики на каждый грохот бросались к окну, а потом даже и от печки отходить не стали. Они прямо так от неё и смотрели на пролетающие за мутными стёклами огни паровозов да слушали выкрики за стеной:

— Тюнино! Тюнино! Сто двадцатый проследовал... Кирсаново! Кирсаново! Двести шестому путь свободен.

И каждый раз он там, в своей дежурке, хлопал дверью, выходил на платформу, пропускал мимо себя грохочущий состав и опять хлопал дверью, опять накручивал рукоять телефона, кричал в трубку и снова ненадолго затихал.

## 10

Митя подумал о дежурном: «Хорошо ему. Он работает, он у себя дома, и ему хорошо. Ему бежать никуда не надо... Мне вот тоже, когда я работал в интернате — колол дрова, ездил за водой, было хорошо».

Но вслух Митя не сказал ничего. Саша мигом бы отрезал: «Опять трусишь?», а Митя нисколько не трусил, ему просто так подумалось, вот и всё. Вслух он произнёс:

— Хотя бы время узнать... А то сидим тут, ничего не ведаем: то ли ночь, то ли утро?

— Должно быть, скоро утро,— ответил Саша и слез на пол с дивана, стал ходить, неслышно ступая валенками. Он тоже сильно тревожился. Он думал о том, что если до рассвета они не уедут, то в интернате их наверняка хватятся, и тогда во веки веков им не видать никаких кораблей.

Тут опять зажужжала телефонная вертушка, и дежурный принялся выкрикивать не номера поездов, а совсем другое. Он закричал:

— Тюнино! Тюнино! Валя, позови Сидорчука... Что? Всё равно позови! Я сам двое суток не спал, я сам двое суток на посту... Сидорчук? Ты что, Сидорчук, дрыхнешь, дрова не шлѐшь, пока у меня запасной путь свободен?.. Что? Не дрыхнешь? А почему дрова не присылаешь?.. Грузить некому? Сам грузи, Сидорчук, сам! Что? Как мои дела? Дела как сажа бела! Не поправляется парник мой... Пряхин, говорю, не поправляется! Третьи сутки мне в одиночку не выстоять. Усну. Аварию сделаю... Ты, Сидорчук, давай дрова шли и на подменку мне хоть часа на два кого-нибудь... Ну, ну! До семи ноль-ноль я вытерплю, продержусь. Недолго осталось, полтора часика... Ты с ним, Сидорчук, и махорки пришли. Пришли, пришли, не зажимай! Я тут свою всю высмолил...

Дежурный повесил трубку, и Саша прошептал:

— Вот это да! Двое суток не спит, и хоть бы что. Двое суток не спать, наверное, трудно. Я вот, если сказать честно, уже сейчас где-нибудь в уголку прикорнул бы.

— Так ведь он на посту,— ответил Митя.— Кроме того, у него товарищ болен. Он за себя и за товарища работает.



— Мы тоже там, на корабле, будем стоять на посту за всех больных и раненых. Верно?

Митя, по своей привычке во всём соглашаться с приятелем, хотел сказать: «Верно!», да тут на него нахлынули такие мысли, что он опять промолчал.

«А ведь этому человеку за стеной не так уж и хорошо,— подумал Митя.— Ему скорее плохо, чем хорошо. Ему так плохо, так трудно, что он говорит: «На ходу усну!», а всё равно терпит. Он терпит, потому что его товарищ по фамилии Пряхин болеет, потому что война и заменить Пряхина и этого дежурного некому... Он мало того что терпит, он ещё дрова какие-то требует: наверное, тоже для Пряхина».

Митя вспомнил высокую пленницу за крыльцом интерната. Вспомнил, что вся она из толстых кражей и стоит совсем неколотая, а переколоть её в интернате не может никто, кроме Мити, ну, разве что Филатыч...

«Да и не только дрова. А печи топить? А за хлебом на рассвете ехать? А молоко на колхозной ферме получать? Неужели теперь всё это будет делать один Филатыч? Да и куда, и на чём он теперь поедет? Зорька-то наша теперь неизвестно, выходилась ли...

Вот у дежурного по разъезду товарищ болен, а у нас в интернате Зорька больна. Очень похоже получается... Похоже, да не совсем! Дежурный больного Пряхина не покинул, работает за него, а я Зорьку покинул. Я даже не знаю: как она там? Поправляется или не поправляется? А если не поправляется, то кто воды с ручья на салазках привезёт? Павла Юрьевна с Егорушкой, что ли? Или опять тот же Филатыч, у которого от старости и работы и так уже руки трясутся?»

Митя поёжился, слез с дивана, тоже заходил туда-сюда.

— Озяб? — сказал Саша.— Побегай, походи...

Я вот походил и согрелся. Теперь скоро. Очень скоро.

— Откуда известно?

— Разве не слыхал, к дежурному сменщик едет? А если едет, то, значит, на поезде, который тут остановится. Может быть, этот поезд и есть наш — с ящичком! Так что, Митёк, собирайся! Будь готов, Митёк!

А Мите было уже не до поезда. У Мити голова раскалывалась от горьких дум. Он совсем не знал, что делать. С одной стороны, всё получалось теперь так, что надо бы вернуться, а с другой стороны, выходило: если вернёшься, то совершишь предательство. Вернуться в интернат — это значит бросить Сашу здесь, на полустанке, ведь сам-то Саша назад ни за что не повернёт.

Митя ходил, думал, даже головой покачивал, как от боли, и Саша спросил:

— Ты что?

— Ничего. Просто Егорушку вспомнил. Егорушку жалко. У него сегодня день рождения, а дудочку ему я так и не подарил. Плакать будет Егорушка. Очень уж маленький он...

И тут вдруг Саша ни с того ни с сего подбежал к Мите, ухватил за пальто, резко, вплотную притянул к себе и сердитым и в то же время странно всхлипывающим голосом зашептал:

— Жалко? Тебе Егорушку жалко? А мне, думаешь, не жалко? А мне, думаешь, наплевать? Да если хочешь знать, так я Егорушку больше тебя жалею! Я ему сегодня весь свой сахар хотел за завтраком подарить. Весь целиком кусочек! И половину хлеба хотел подарить... Я ему сюрприз готовил, а ты говоришь — не жалею.

— Что ты, Сашок... Что ты... — испуганно забормotal Митя. — Я так совсем и не говорил и даже не думал.

— Нет, думал! Думал и вслух намекал! А мне намекать нечего. Я сам не меньше тебя пережи-

ваю. Да только что поделаешь? Тут одно из двух: либо на фронт ехать, либо с маленьким Егорушкой день рождения праздновать... Понял?

— Понял... — ответил Митя и хотел ещё что-то сказать, да не успел. За стеною громко, радостно закричал дежурный:

— Кукушкино слушает! Кукушкино слушает! Это ты, Сидорчук? А где Валя? Ко мне поехал? Вот спасибо, Сидорчук! Вот спасибо! Принимаю, принимаю... Пассажиров? Пассажиров у меня нет. Вас понял, Сидорчук.

— Митька! Поезд идёт. Пассажирский! — чуть не заголосил во всё горло Саша, да тут же мигом спохватился, замахал рукою: «Давай, мол, давай торопись!»

## 11

Мальчики выскочили на платформу. Они помчались по ней в ту сторону, откуда должен был показаться поезд. Но поезда пока ещё не было. В той стороне виднелись только уходящие вдаль телеграфные столбы, предрассветно туманились еловые перелески, а меж ними уходило к светлеющему горизонту совершенно чистое от снега, по-весеннему чёрное, обтаявшее до самой земли железнодорожное полотно. Зато из-за построек прямо на платформу, прямо наперехват мальчикам нежданно-негаданно вывернулась толстая, остроглазая, в клетчатой шали и дублёном полубке женщина.

— Завпочтой! Тётя Клавдя... Она меня знает, — едва успел шепнуть Саше перепуганный Митя, а женщина широко и удивлённо растопырила руки, забасила:

— Кукин! Митя! Да ты откуда? А Филатыч где? Неужели в такую рань на пекарню приехали?

Митя растерянно мотнул головой: да, мол, приехали, а Саша, хотя эту женщину и видел впервые, зачастил:

— На пекарню, тётя Клавдя, на пекарню. Филатыч на пекарню поехал. У нас хлеб кончился. Завтракать не с чем! Хлеба в интернате ни крошки нет!

— Н-не знаю...— опять развела руками и с большим сомнением в голосе сказала женщина.— Не знаю... Вряд ли сейчас получите. Разве с вечерней выпечки сколько-нисколько осталось... Филатыч, поди, и ко мне там заглянет?

— Заглянет! Обязательно заглянет! — уже не мог остановиться Саша, а тётя Клавдя усмехнулась:

— Ну и бестолковый интернат сегодня. С чего это? Разве не знаете: и почты в такую пору не бывает никогда? Почта вот только сейчас придёт, на поезде. А ты, Митя, почему с дружкой тут околачиваешься? Филатыч в пекарне, а ты здесь?

— Мы не околачиваемся, мы смотрим, Филатыч нам разрешил,— опять вывернулся находчивый Саша. А Митя как стоял столбом, как молчал, так и теперь продолжал помалкивать. Он лишь тихонько пошмыгивал носом и думал: «Вот влипли так влипли. Тётя Клавдя вернётся в село и сразу узнает: Филатыча там и не было».

С перепугу Митя совсем запомнил, что, пока тётя Клавдя вернётся, они с дружкой будут уже в поезде, в ящике, и укатят далеко-далеко.

А Саша не забыл. Саша теперь спешно прикидывал, как бы от этой любознательной тётки поскорее избавиться. Он вежливо произнёс:

— Простите. Вам надо получать почту, а мы — к Филатычу. Ревуар! До новой встречи!

Саша приподнял ушанку, вежливо поклонился, а тётя Клавдя обернулась к нему, озадаченно повторила:

— Ревуар? Какой ревуар? Где?

И вдруг она посмотрела на Сашины ноги да так и присела, и хлопнула себя по бокам, и захохотала:

— Ба-тю-шки! На ногах-то у тебя что! На ногах-то! Ой, уморушка!

Саша глянул вниз и сам чуть не ахнул. Правый валенок был на нём свой, серый, а левый — чужой. Он был сильно растоптан, от старости пегий, и, судя по знакомой заплатке, он был не чей иной, как самой Павлы Юрьевны, заведующей интернатом. Саша даже пощупал валенок, даже извернулся и на пятку посмотрел, а потом изумлённо произнёс:

— Пардон! Спутал в потёмках... Пардон.

— Что за пардон? Какой пардон? То ревуар, то пардон... Ты чего, паря, всё мелешь-то? — опять засмеялась тётя Клавдя, а Митя наконец набрался духу и тоже заговорил:

— Это он так, по-иностранному, извиняется перед вами. Извиняется и прощается. Нам и вправду пора. Мы пошли.

Митя тоже хотел проститься, но тётя Клавдя цепко ухватила его за рукав:

— Куда пошли? Зачем пошли? Раз Филатыч отпустил, помогите мне. Поезду остановка здесь — одна минута, мне лишние руки вот как нужны. Побежали со мной, побежали... К первому вагону побежали. Вон и поезд идёт!

Она ухватила Митину руку ещё крепче, побежала по перрону. Митя поневоле затопал рядом с ней. А Саше тоже деваться некуда. Саша тоже побежал, не отставал, только валенки — серый да пегий — замелькали.

И в это время пассажирский поезд с длинным, сильным, красно-зелёным паровиком «ФД» впереди миновал входной семафор, миновал стрелку, и, сбавляя ход, покатыл по рельсам рядом с платформой, и вот — остановился.

Саша на бегу стал заглядывать под колёса, под вагоны, стал искать ящик. Но ящичков под вагонами что-то было не видать. Там были только чугунные грязные цилиндры, толстые трубки, они

шипели. Из-под вагонов Сашу обдавало мазутным холодным воздухом, и там пронзительно скрипели тормоза.

«Где они, ящики? Где? — торопливо соображал Саша. — Да и Митька, простофиля, бежит с этой тёткой, никак не вывернется... Надо его, простофилю, выручить!»

Саша перестал заглядывать под колёса, помчался к почтовому вагону. Там во всю ширину раздвинулась высокая дверь, из неё, кем-то сильно брошенный, вылетел фанерный посылочный ящик.

Тётя Клавдя ящик ловко поймала, сунула Мите в руки. Митя быстро поставил ящик на снег.

Тётя Клавдя поймала второй ящик, опять сунула Мите, он и его поставил на снег.

А потом третий, а потом четвёртый, а потом какой-то тюк, а потом какой-то мешок, и Митя едва успевал нагибаться, едва успевал разгнуться, он уже ничего не соображал, а только думал, как бы не грохнуть ящик на платформу, не расколоть вдребезги.

Саша подскочил, зашептал:

— Ты что? Ты что? Беги скорей, поезд отойдёт!

А тётя Клавдя сунула и ему ящик, и Саша тоже взял и тоже поставил, и тут совсем рядом, над самым ухом, заверещал кондукторский свисток, и — пых-пых! стук-стук! — поезд потихоньку тронулся с места.

Он пошёл, а из вагона с почтой вылетел ещё один пакетик — видно, последний. Тётя Клавдя изловила и его, машинально сунула Мите в руки. Митя хотел и этот пакетик опустить на платформу, да вдруг застыл. У Мити даже рот приоткрылся.

Нет, Митя смотрел не на поезд. Вслед уходящему поезду смотрел Саша.

Саша даже побежал было за уплывающими подножками, но, чувствуя, что Митя не трогается с места, и сам остановился.

Он посмотрел, как, покачиваясь, удаляется красный кружок на последнем вагоне, судорожно вздохнул, насупился и обернулся к Мите.

А Митя, его надёжный компаньон Митя, даже и краешком глаза не посмотрел вслед поезду. Да мало того что не посмотрел, он даже и не шелохнулся. Для Мити поезда словно и не бывало.

Митя, похоже, про поезд совсем и не думал: с таким странным видом стоял он сейчас на платформе и так пристально разглядывал тот самый пакет, который только что упал ему в руки.

Лицо у Мити было такое, будто он увидел в собственных руках луну или ещё что-то не менее удивительное. Митя разглядывал пакет и всю улыбался.

— Ты чему это радуешься? — подскочил к нему Саша. — Ты чему, разиня, радуешься? Тому, что поезд упустили, да?

Но Митя и этих слов будто не понял. Он очумело взглянул на товарища, потом торжественно, обеими руками вознёс пакет впереди себя и повернул его так, что Саша сам хотел не хотел, а уставился на пакет.

На нём, на грубой, толстой парусине, в которую пакет был зашит, чётко виднелась фиолетовая, чернильная надпись:

ЭНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
КУКУШКИНСКИЙ РАЙОН  
ДЕТСКИЙ ИНТЕРНАТ № 3  
ДМИТРИЮ КУКИНУ.

А чуть пониже обратный адрес:

П/П 1928 Н. И. БАБУШКИН.

И тут Саша сам позабыл про поезд. Он забыл даже про тётю Клавдю, которая в это время пересчитывала разбросанные ящики, составляла их горкой.

Саша выхватил из Митиных рук пакет, ещё

раз перечитал оба адреса — перечитал и сказал:

— Ну, Митя... Ну, Митя...— А дальше сказать ничего не мог.

А тётя Клавдя:

— Раз, два, три, четыре, пять! — досчиталась до этого пакета, ткнула в него пальцем: — Шесть! — и вдруг тоже удивилась: — Вы зачем его схватили? Зачем? Положите. Он ведь не ваш...

— Наш! — с ликованием в голосе крикнул Саша.— Наш! Вот его — Дмитрия Кукина.

Тётя Клавдя изумлённо подняла брови, наклонилась к Саше, к пакету:

— Ну-ка, ну-ка... Ой, и верно! Кукину... Дмитрию... От кого это тебе? От какого-то Бабушкина с полевой почты... От какого Бабушкина?

— От лейтенанта. От Н. И. ...— осевшим голосом просипел Митя и потянулся к пакету.

— Это как понимать — «Н. И.»? Имя-отчество говори полностью,— сказала тётя Клавдя и отнесла руку с пакетом в сторону.

Митя перепугался, что пакет она не отдаст, и растерянно прошептал:

— Так я же не знаю...

— Ах, не знаешь! Может, ты и своего имени не знаешь? Может, ты совсем и не Дмитрий? Может, у вас в интернате какой другой Дмитрий Кукин есть? А ну, показывай паспорт!

Тётя Клавдя вроде бы шутила, а вроде бы и не шутила. Испуганный Митя разобрать этого не мог. На глазах у него навернулись слёзы, да тут опять вмешался Саша. Он закричал:

— Да вы что? Почему же он не Дмитрий, когда он — Митя! А от Бабушкина у него письмо есть — в кармане, в курточке. Митя, покажи ей письмо!

Митя стал расстёгивать пальто, чтобы добраться до курточки, а тётя Клавдя увидела, как пальцы у него дрожат, не могут нашарить петельки пуговиц, испугалась и сказала:



— Не надо, не надо. Я ведь смеюсь... Бери свой пакет, только распишись вот здесь.

Она вынула из кармана полушубка химический карандашный огрызок, стопку бумажек, и на одной бумажке Митя вывел свою фамилию: «Кукин». А потом подумал и добавил для верности: «Дмитрий». Он хотел ещё написать: «Семёнович», да тётя Клавдя отняла бумажку, засмеялась:

— Хватит, хватит. И так всё теперь понятно, и так всё теперь законно. Бери пакет.

— Его можно уже и раскрыть? — спросил Митя.

— Можно, да потерпи чуть-чуть. Сперва помогите мне почту до саночек донести. Они у вокзала стоят.

Митя сунул свой пакет за борт пальто, с готовностью схватил сразу пару посылок, Саша тоже взял пару посылок, а тётя Клавдя — посылку, тук и мешок.

Они пошли по платформе и там, в самом конце, увидели двух железнодорожников в чёрных узких шинелях и в чёрных зимних шапках. Железнодорожники разговаривали, смеялись. Один из них свёртывал папироску, и был он очень высокий, худой, с лохматыми седыми бровями над горбатым носом, а второй был маленький, молоденький, с розовым лицом.

«Наверное, тот большой — наш дежурный, а тот маленький — Валя, — подумал Митя. Подумал, сразу вспомнил про своё беглое положение, и сердце у него тоскливо заныло: — Неужто Саша опять будет ждать поезда? Неужто опять побегим?»

Он опасливо покосился на Сашу, но тот спокойнѐхонько нѐс посылки, на Митю не смотрел, сигналов никаких не подавал. Тогда Митя нежно, подбородком, погладил торчащий на груди пакет. Ему не терпелось узнать: что там? Ему так не терпелось, что он первым добежал до саночек и,

поскорее освобождая руки, бросил ящики на саночки.

Саша тоже разгрузился, и прямо тут, на посылках, мальчики принялись тормошить пакет.

— Господи! — сказала тётя Клавдя. — Вот нетерпёны... Без ножниц, прямо зубами шпагат рвут! Пошли бы ко мне на почту, там бы и распечатали. Не рвите, не рвите, давайте помогу.

Ей ведь и самой страсть как хотелось увидеть, что там такое прислал Мите Кукину лейтенант Бабушкин.

А мальчики грубые, толстые швы уже раздёрнули, и внутри под упаковкой оказались ещё два отдельных, замотанных в бумагу пакетика.

— Давай, разматывай! — сказал Саша, и Митя принялся разматывать первый свёрток.

Он разматывал его очень бережно. Он разматывал его очень тихо. Он разматывал так медленно, что Саша крикнул:

— Да скорее же!

И Митя развернул и сразу сказал: «Ох!», и, сверкнув золотом якорей и прошуршав чёрным шёлком ленточек, перед всеми возникла великолепная матросская бескозырка.

Митя опять вздохнул:

— Ох!

Тётя Клавдя произнесла:

— Ну и ну!

А Саша сказал:

— Вот так да! Ну-ка, надень-ка!

Митя снял ушанку, надел бескозырку.

— Идёт! В самый раз... — похвалил Саша, а тётя Клавдя добавила:

— Вылитый гвардеец! Настоящий моряк!

Митя протянул бескозырку Саше:

— На, Сашок, и ты примерь.

Но Саша мужественно отказался. Саша сказал:

— Не надо. Посылка твоя, значит, и бескозырка твоя. Давай дальше смотреть.

А дальше обнаружились не менее интересные вещи. Синий с красным, шестигранный командирский карандаш «Тактика» с двумя наконечниками из новеньких, с медным блеском автоматных гильз, огромная, шириной с ладонь, плитка шоколада под названием «Золотой якорь» и письмо!

Совсем небольшое письмо, но зато всё целиком — для Мити.

Сказано в письме было вот что:

«Дорогой братишка Митя! Шлю тебе свой краснофлотский привет и сердечный поклон от всего нашего экипажа. Про тебя, браток Митя, мы узнали из Сашиных писем. Письма читали все моряки, и вот выносят тебе краснофлотскую благодарность за то, что ты там, в героическом тылу, в интернате, с честью несёшь свою трудовую вахту. Это нам, фронтовикам, большая подмога.

А от себя, Митя, лично, я шлю посылку. Она, браток, маленькая, да, сам понимаешь, с фронта посылки посылать трудно. Надеюсь, что после победы встретимся, тогда подарков будет больше. А пока напиши мне поскорее ответ и обрисуй в нём подробно все свои дела.

Наши боевые дела идут отлично. Бьём фашиста-захватчика, скоро ему придёт полный конец.

Привет Саше Елизарову, вашим старшим товарищам — Филатычу и Павле Юрьевне — и вообще всему интернатскому экипажу.

Крепко жму твою трудовую руку. Лейтенант Бабушкин. А попросту — Николай Иванович».

Письмо прочитали все сразу. Митя держал его открыто, читал молча. Саша тоже читал молча, только тётя Клавдя произносила каждую фразу вслух. А потом от себя добавила:

— Вот это человек так человек! Сразу видно, душевный. Сразу видно, заботливый...

А Митя прочитал письмо до конца, до послед-

ней точки и так разволновался, так разволновался, что и словечка сказать не мог. Когда же услышал, как тётя Клавдя хвалит лейтенанта Бабушкина, так сразу выхватил из растерзанного пакета шоколад, всю плитку, и стал совать ей в руки:

— Это вам! От него!

— Что ты, что ты! — заотмахивалась тётя Клавдя. — Что ты! Таким гостинцем не меня надо угощать. Этот гостинец ты у себя там на всех ребятишек поделишь. То-то им будет радость! Нет, не возьму и не возьму.

Митя схватил двухцветный карандаш, протянул Саше:

— Тогда ты, Саша, себе вот это возьми!

Саша карандаш взял, осмотрел, даже понюхал, потому что новенькие карандаши пахнут несколько не хуже самого лучшего шоколада, но тоже сказал:

— Нет!

И он сказал не только «нет». Он подумал, подумал и тихонько произнёс вот ещё что:

— Мне, Митя, ничего не надо. Я от лейтенанта Бабушкина привет получил, и на том спасибо. Мог бы и не получить... А карандаш подари лучше Егорушке. Вместо дудочки. Ведь у него сегодня день рождения.

Митя, когда слышал такое, даже собственным ушам не поверил. Он заглянул Саше прямо в глаза и медленно переспросил:

— Как так Егорушке? Ты, значит, согласен, чтобы я вернулся? А ты сам? Ты сам тоже идёшь со мной?

— Иду, Митя, — сказал Саша. — Конечно, иду... После такого письма куда ж нам идти?

— Только домой! Ответ лейтенанту Бабушкину писать! — просил Митя.

— Конечно, ответ лейтенанту писать, — тоже легко вздохнул Саша и добавил: — Собирай багаж. Побежали! К дому побежали!

Мальчики сами не заметили, как впервые за все два года жизни в этом краю назвали свой интернат не интернатом, не школой, а домом. Они стояли, разговаривали, а тётя Клавдя смотрела на них и ничего не понимала.

— Вы о чём, ребятишки? Как это так — домой, когда у вас Филатыч где-то здесь, в селе?

— А мы с ним всё равно встретимся! — улыбаясь, махнул рукой в сторону лесной дороги, в сторону интерната Митя. Разговаривать с тётей Клавдей он теперь не боялся, потому что всё теперь было честно, всё правильно.

Митя даже помог тёте Клавде стронуть гружёные саночки с места, спросил:

— Одна довезёте?

— Довезу. Сегодняшний груз невелик, я и больше воживала... Ступайте. Счастливо вам!

— И вам счастливо! — сказали мальчики, завернули опять в парусину Митину посылку, взялись за руки и побежали по тропке сначала через рельсы, потом через поле — к лесной дороге.

А вокруг уже рассветало. Серая ночная мгла в небе распахнулась, превратилась в пушистые облака. Навстречу облакам всплеснулись яркие лучи, и опять по всей земной белизне, по блеску-чему полевому насту протянулись от каждой торчащей из-под снега былинки, от каждого снежного заструга длинные голубые тени.

Мальчики выбежали на санную дорогу, помчались в гору, и вдруг навстречу им из-за этой горы вынырнула тёмная лошадиная голова с дугой, потом вся лошадь, а за ней сани-розвальни. В санях стоял на коленях человек, солнце светило ему в спину, и весь он казался чёрным.

Лошадь тоже казалась чёрной. Только передние ноги у неё ниже колен были белыми, словно в белых, невероятной чистоты чулках. Бежала она ходкой рысью.

У Мити ёкнуло сердце:

— Неужели Филатыч на Зорьке?

Саша прикрылся ладонью от солнца, посмотрел, сказал:

— Непохоже... Эта лошадь совсем другая. Видишь, ноги белые.

Но это была всё-таки Зорька, а в санях — Филатыч. Он узнал мальчиков первым, остановил Зорьку, выскочил из саней. Он побежал к ним с широченным тулупом в руках, на ходу раскрывая его, распяливая, и мальчики смотрели на Филатыча и не могли понять: к чему здесь тулуп?

Они прижались друг к другу. Они ждали: сейчас на них обрушится кара, но обрушился на них и накрыл с головой только вот этот мохнатый тулуп. Филатыч как добежал до них, так только и сделал, что накрыл обоих, как неводом, овчинным тулупом и крепко стянул края широкополой одежды руками, запричитал, заприговаривал:

— Матушки мои! Вот вы где! Нашли-ся! А мы-то с Юрьевной чуть ума не лиши-лись! Пойдёмте, матушки мои! Поедемте домой...

Он даже не спрашивал, куда и зачем убегали мальчики. Он только так вот их, укрытых тулупом, и подталкивал к лошади, подталкивал к саням и всё уговаривал:

— Пойдёмте, пойдёмте...

Мальчики растерялись. Такая встреча сбила их с толку. Им обоим стало как-то не очень уютно, не очень хорошо и даже совестно, что дряхлый, бородатый Филатыч так возле них суетится. Саша выскользнул из тулупа, обернулся к старику и, боясь поглядеть ему в глаза, проговорил звонким от напряжения голосом:

— Товарищ Филатыч! А товарищ Филатыч!

— Што? — испуганно спросил тот.

— Вы, товарищ Филатыч, не думайте: не из-за вас мы убежали... Мы по ошибке убежали. И эксплуататором, товарищ Филатыч, я вас неправильно назвал.



— Да господи! Да об чём речь! — воскликнул тонким голосом старик, взмахнул руками, и тулуп с Мити свалился на дорогу. — Да разве я... Да какое такое тут может быть думанье! Не было ничего, и — шабаш! Вот как!

Старик ещё раз махнул рукой, словно что-то отрубил, даже притопнул валенком и сказал совсем иным, твёрдым, своим всегдашним голосом:

— Садитесь! Поехали! Теперь, считай, всё в аккурате.

— И Зорька в аккурате? — робко спросил Митя.

— Считай, да. Видишь, головой тебе машет? Иди, погладь?

— А ноги?

— Что ноги?

— Это вы ей так забинтовали?

— А то кто же? Ещё с недельку побинтуем, а там совсем пройдёт.

— И жеребёночек у неё будет?

— Будет, будет. Ладно, что ты сумел её тогда распрячь. Ладно, вызволил из полыньи... Иди с ней поздоровайся да поехали.

И вот опять тёплые Зорькины губы ткнулись в Митину ладонь. И опять он стоял и гладил её шелковистую шею, а Зорька всё поматывала головой и даже обнюхала оттопыренное на груди Митино пальтецо, обнюхала то место, где лежал пакет от лейтенанта Бабушкина.

— Потерпи, Зоря, потерпи... — шепнул ей Митя. — Вот приедем домой, и покажу. Всем покажу, и тебе покажу.

А потом, когда поехали домой, усталых мальчиков свалила дремота, и, лёжа под мягким, тёплым тулупом, Митя увидел сон. Ему приснилось лето, высокая трава, и шагают будто бы они по этой траве с лейтенантом Бабушкиным. Трава очень большая, раздвигать её ногами трудно, и лейтенант Бабушкин говорит: «Что мы так тихо



идём? Давай помчимся!» — «Давай», — говорит Митя, и вот перед ними возникают два длинногривых коня. Один конь — это Зорька, второй конь — это взрослый её жеребёнок. Он тоже гнедой, только во лбу у него белая звезда.

И лейтенант садится на Зорьку, Митя на жеребёнка, и они мчатся. Они даже не мчатся, они — летят. Они несутся над зелёным лугом, над пшеничным полем, над макушками сосен, а под соснами школа и рядом с ней широкие ворота.

Кони опускаются на тропинку у самых ворот, пофыркивают, помахивают головами, а на воротах белое полотнище, и на нём голубыми очень большими буквами написано:

#### ПРИВЕТ ТЕБЕ, МИТЯ КУКИН!

«Это от тебя, Николай Иванович, мне привет?» — спрашивает Митя Бабушкина, и лейтенант отвечает:

«От меня, Митя, от меня... Я теперь тебе всегда буду присылать приветы, всю жизнь!»

Митя засмеялся во сне, задел откинутой рукой Сашу. Тот во сне тоже улыбнулся и вдруг произнёс громко, сразу на трёх языках:

— Шарман! Вери вел! Май-о-о!

Филатыч посмотрел на спящих мальчиков и, словно поняв Сашины слова, по-русски добавил:

— Верно, сынок, верно. Всё хорошо, что хорошо кончается.

Потом о чём-то подумал, с усмешкой покачал головой, повторил свои мысли вслух:

— То-ва-рищ Филатыч... Товарищ, да ещё и Филатыч! Ну надо же такое сказать...

Он причмокнул на Зорьку:

— Но, Зоренька! Но, милая! Топай скорее... Товарищи проснутся, поди, есть захотят.

И Зорька затопала скорее, она тоже торопилась к дому.

1994

## М А Л А Х А И

Падает густой и влажный снег. Каряя, немолодая лошадёнка катит довольно резво по белому первопутку большие сани-розвальни. Седоков в них только двое. Дедушка Николай Ложкин — худой, сутулый старик в просторном тулупе и его девятилетний внук Борька, накрывшийся от снега пёстрым рядом.

Поклажа в санях тоже невелика. Мешок с колхозной рожью, которую надо сдать на заготовительном пункте на станции, да берестяной пёстерь.

Из-под крышки пестеря торчит сено. На первый взгляд можно подумать, что и набит он одним лишь сеном, но исходит от пестеря ни с чем не сравнимый, особенно сладкий на зимнем воздухе яблочный дух.

Борька то и дело склоняется к пестерю, смачно поводит озябшим носишком, и то ли от этого сладкого духа, то ли ещё от чего настроение у Борьки прекрасное. А вот у дедушки Николая — не очень.

Сердитость дедушкина видна во всём. И в том, как он рывками без особой нужды дёргает вожжи, и в том, как сопит, хмурится, как досадливо задирает бородёнку-клинышек над широким воротником тулупа и всё оглядывается на Борьку, всё как будто собирается упрекнуть его в чём-то.

Наконец не выдерживает, говорит:

— Взбрело тебе, Борька, с этой шапкой, ей-ей, взбрело! Теперь, считай, яблоки выбросим задарма... А вот потерпел бы ещё с месячишко, тогда бы и на наш с тобой садовый товар цена на рынке ещё больше поднялась, и мы бы тогда на яблоки купили не только шапку, а ещё и какие-никакие сапожата.

Борька так и остаётся сидеть в обнимку с пестерем, отвечает из-под рядна весело:

— Чего терпеть, когда уже собрались и поехали! Через месяц, дедко, и война, может, кончится.

А раз кончится, то сапогов любых и безо всякого рынка в магазинах будет полно... А вот шапку мне надо не после войны, а сейчас.

— Ко-ончится... Бу-удет...— сердито переговаривает Борьку дедушка.— Ничего не кончится, и ничего не будет! Не такая она война, чтобы скоро кончиться. Ещё нужды-то по самую шейку хватим. Ещё перемогаться да перемогаться надо, а тебе вот, дурачку, приспичило именно сейчас... Ша-апку... Но-овую... Вынь да положи!

Тогда Борька и сам хмурится, сам обиженно говорит:

— Не новую. Хоть бы какую... Лишь бы по голове... Скажи уж лучше, опять яблоков своих пожалел.

— И пожалел! Это тебе ничего не жаль, а мне — досадно. На себя досадно, что поддался твоему рёву до поры до времени... Эх-х!

И он сердито подхлёстывает вожжами Карюху, и та вздрагивает, пускается вскачь. Дедушка чуть ли не валится на Борьку, Борька на пестерь.

Через минуту лошадёнка опять себе трюхает мелкой рысцей, а бестолковый спор в санях продолжается.

Наконец Борька не вытерпливает, вскакивает на коленки:

— Да что ты всё заладил: «Не понимаешь, не понимаешь... Новую, новую...» Что я, модник, что ли, какой! Я же сто раз говорил: не новую, а лишь бы впору... Ведь в этой-то меня уже и по имени все позабыли как звать, все только и кличут: «Малахай» да «Малахайще»! Ну ты сам, дедко, посмотри...

И Борька смахивает с себя рядно, спрыгивает с розвальней на дорогу, встаёт там, растопырив руки.

Дедушка кричит: «Тпру!», растерянно оглядывается.

Вид у Борьки в самом деле нелепый. На нём,

на малорослом, всё огромное. Кирзовые сапоги — сорок последнего размера, с загнутыми, как лыжи, носами; стёганка — с полами до самых пят, с карманами ниже колен, с рукавами, завернутыми вдвое. Но всего несуразней шапка. Овчинная, лохматая, держится она не столько на Борькиной макушке, сколько на его узких плечах, да и то лишь тогда, когда Борька стоит вот так вот столбиком, на одном месте. Если же куда бежать, то малахай надо прихватывать сверху обеими руками, иначе он свалится. А если необходимо на кого взглянуть, особенно на большого, на высокого, то и опять приходится за малахай хвататься, приподымать повыше, а не то и совсем стаскивать с головы.

Но сейчас расходившийся Борька и не стаскивает его, и не приподымает, а напяливает совсем уж так, что становится похожим на странный, с лохматою шляпищей гриб на снегу.

Для дедушки эта картина не новая, но он всё равно качает головой:

— Да-а... Видок... — И тут же поспешно говорит: — Ладно, ладно... Я ведь не от сердца бранюсь. Я ведь оттого, что сам вижу: надо тебе всё новое, а где взять? Негде. Да и почти не на что... Садись давай, садись, пестерь береги. А то как бы нам и вот этот свой капитал не посеять.

Дальше они едут молча. Дедушка сидит впереди, грустно сутулит спину. Борька придерживает пестерь, хмурится под своим малахаем и под накинутым опять сверху рядом.

Изю всех звуков в тихом лесу и на дороге — лишь редкое постукивание полозьев, глухое топотание Карюхиных подков да её фыркание, когда пушистые и чуть влажные снеговые хлопья щекочут ей ноздри.

А Борьку после ссоры не развлекает даже яблочный аромат. Ему теперь начинает думаться, что в самую решительную минуту там, на рынке,

дедушка Николай всё ж таки сделает всё по-своему. Опять начнёт рассуждать, скупердьяйничать и яблоки в конце концов за одну лишь только шапку не отдаст.

Но Борьке и самому их, конечно, жаль. В сене под крышкой пестеря краснобоких яблок не так уж и полно. Их всего-навсего тридцать штук. И это и есть весь «капитал», весь «садовый товар» Ложкиных, больше ничего ни в каких сусеках-амбарах у них нет.

Нет, потому что сад в прошлую, самую первую военную зиму почти целиком вымерз.

Борька и теперь помнит это время до малейшей подробности.

Как только он начинает эту пору вспоминать, так перед ним сразу — изба, полночь, но в избе никто не спит. В ней все вдруг проснулись от гулко-го удара в сенях. Там будто хвати-ли обухом топора по стене, и он, Борька, вскакивает в постели, перелезает через дедушку, суётся к окну:

— Кто это?

Дедушка кряхтит, тоже подымается. И, заслонясь ладонью от яркой, как лампа, луны, припадает к окну рядом с Борькой.

— Мороз — Красный нос... Ночевать к нам просится... — Пробоует пошутить старик, да шутка не выходит. Он сам и добавляет тут же: — Гляди, что творится... Всё сразу, всё к одному. И война, и зима, и волчья стужа... Пропадёт наш сад.

— Что сад! — словно осердясь за что-то на дедушку, говорит хмурым голосом из темноты мать. — Что сад! Вот как там на фронте наш батя, как все наши бойцы этакую стынь терпят, даже и представить себе не могу. Ведь они там не по избам сидят, а держат оборону в чистом поле.

Бабушка шелестит одними лишь губами что-то невнятное, испуганное. В сенях опять бухает. Борька пугается, таращится в дырку в полузамёрзшем окне.

Сад за окном — чёрный, обледенелый. Резкие тени от него тонко и знобко дрожат на колючем светящемся снегу. Дрожат и звёзды, и в бездонной пустоте над садом лишь огромная луна спокойно глядит из морозного венца своего, но спокойствие её — жутковатое.

Чего дедушка боялся в ту зиму, то и стряслось. Яблони погибли почти все. Выстояла только одна, у самой избы под окошками, да и та — наполовину.

Почки весною набухли на тех ветках, что тянулись к затишку, к избяному теплу, а вольная сторона яблони так и осталась неживой, будто её опажули огнём. Зато яблоки на уцелевших ветках стали потом наливаться на диво. Корни в земле, как видно, сохранились и всю свою живительную силу гнали теперь к этим немногим плодам.

Дедушка сразу и решительно взял их на учёт. Ещё тогда, когда яблоки были совсем зелёными, он сказал:

— Гляди мне, Борька! Околотишь хоть одно, выдеру.

Мать с бабушкой услышали разговор, вступились:

— Бирки на каждое навесь! Бирки! Ишь чего, старый, пожалел... Яблочка внуку. Да ему нынче и побаловаться больше нечем.

— А нынче баловаться и не время, — упрямо ответил дедушка. — Нынче о сурьёзном надо думать, в завтрашний день смотреть.

И показал при этом опять на того же Борьку, как будто он, Борька, этот завтрашний день и есть.

Борька тогда не понял ничего, но, боясь и в самом деле схлопотать дёру, к яблокам не прикасался, хотя и висели они, наливались за самым окном. Распахни раму, потяни за ветку, и они в избе!

Суть тогдашних дедушкиных слов дошла до

внука лишь в канун первого сентября. Борьку стали собирать в школу, во второй класс, и тут вдруг обнаружилось — идти ему не в чем.

Под тёплыми летними дождиками, под радугами да под вольным солнышком маленький, всегда считавшийся недоростышем Борька вдруг вымахал чуть ли не на целую пядь. Правда, и от этого он не стал богатырём, но когда мать вынула из сундука его прошлогоднюю школьную обувь-одежку, то так и охнула:

— Матушки светы! Что делать-то теперь?

Не лезли на Борьку ни старые стоптанные башмаки, ни суконное пальтецо, ни истрёпанная вдрызг шапчонка.

Бабушка попробовала шапчонку помять, растянуть хоть чуть-чуть, но — бесполезно.

А дедушка тут же не преминул напомнить всем тот старый разговор о яблоках.

Яблоки за окном теперь уже не алели, они все давным-давно полёживали в кладовке под замком у дедушки, но дедушка всё равно торжествующим и даже немного ехидным жестом показал на окно, на жёлтую и теперь по-осеннему совсем лёгкую яблоню:

— Во-от... Скупердяй был ваш дедушка, сердились на дедушку, а выходит — дедушка был прав! Схрупали бы яблочки просто так, из-за одного лишь баловства, и — конец. А они нам нынче — во спасение... Деревенский народишко теперь, чтобы ребятам своим хоть какую одежду справить, последние припасы, хлебушко да картошку на рынок потащит, а мы обойдёмся вот этим баловством — яблочками... Мы Борьку приоденем на их!

— На три-то десятка? — удивилась мать.

— А хоть бы и на три! Тут всё дело в том, когда на рынок ехать. Ежели заявиться с таким товаром, скажем, под самый Новый год, то выгода может произойти немалая. К Новому-то году и



в войну каждому яблочка охота... В общем, тут надо по всем правилам соблюсти коммерцию.

— Коммерса-ант... Купец с колхозной конюшни! — не удержалась, съехидничала в свою очередь бабушка. — Сидел бы уж там у себя, лошадям хомуты ушивал и что не следует не городил... Совесть надо иметь. У людей повсюду нужда, а тебе — выгода.

— А у нас не нужда? — взвился опять дедушка и остался при своём крепком мнении.

Но пока суд да дело, пока время ехать на рынок по дедушкиным расчётам не подошло, Борька стал ходить в школу в отцовских старых, рабочих сапогах, в дедушкиной стёганке, и когда кончились солнечные сентябрьские деньки и начало примораживать, то оказался на Борьке и вот этот малахайище.

Малахай был тоже дедушкин. А точнее сказать, так даже и прадедушкин. Потому что сам дедушка Николай его ни разу, наверное, и не надёвывал. Он вынес его Борьке всё из той же кладовки, где хранились у него под замком не только яблоки, но и всякий, как часто говаривала бабушка, «стоletний хлам».

Правда, малахай на рухлядь походил ещё не полностью. Свалаявшаяся овечья шерсть из него от времени повылезла не вся, ошарашивал он в первую очередь величиной.

По чьему заказу его сотворил таким необъятным тот давнишний деревенский мастер-шапочник, теперь уже неведомо. Можно лишь предполагать, что в старину все мужики в этой деревне, а стало быть и Борькин прадедушка, были удивительно большеголовыми.

Ребятишки в школе ещё с крыльца закричали:

— Смотрите, смотрите, малахай идёт! Малахай на тоненьких ножках в больших сапожках к школе топает!

Но тогда Борьку это не задело. Приятели его,

деревенские ребяташки-школьники, и сами-то щеголяли в нарядах не лучше Борькиных; и он бы преспокойно похаживал себе в школу в том, что есть, да тут произошло очень важное событие.

Вернулся по ранению домой с фронта здешний кузнец Иван Лямин, и его сын Вася пришёл в школу в танкистском шлеме.

Шлем этот — кожаный, скрипучий, с чудесными кожаными гребешками на макушке — так всех мигом и сразил!

Учительницу на уроках в тот день почти никто не слушал. Все только и шептались про Васину обнóву.

На переменках все лезли к Васиной парте; все — кто в очередь, кто без очереди — шлем примеряли; а когда прозвенел последний звонок, то из класса никто не вышел, пока с места не поднялся сам Вася. Зато когда он наконец шлем нахлобучил и застегнул снизу на блестящую пуговку, то ребята, как по команде, повалили за Васей на улицу валом.

Даже у деревенской околицы, где общая ребячья дорога начинает рассыпаться на отдельные, каждая к своему двору, тропинки, никто от Васи не отстал, никто домой не повернул, а Вася и сам деловито, важно прошагал мимо своего дома.

На задворках, на берегу здешней речки Тихвинки он сказал:

— А ну, кто со мной по льду кататься?

И все с готовностью ответили:

— Я! Я! Я!

Не стал отвечать один лишь Борька. Не стал потому, что ему вдруг сделалось обидно. Обидно оттого, что приглашать всех на лёд было не Васино право, а его, Борькино, право. Игру эту, как только речка замёрзла, придумал Борька, и приглашал ребят после уроков на лёд всегда он, а тут этот Вася не успел шлем на голову натащить, а уже полез в командиры.

Самое же обидное то, что первой на Васин клич отозвалась Даша Сапожкова.

Жила Даша Сапожкова всю жизнь рядышком с Борькой, в соседнем через дорогу доме. Они и до школы играли вместе, и в школу пошли вместе, а когда белобрысенькую, кругленькую, всегда румяную Дашу всё тот же Вася взял да и обозвал однажды не Сапожковой, а Ватрушкиной, то Борька так ему поддал, что тот сразу примолк.

Всех раньше, самой первой показал Борька Даше и вот эту игру на льду. Игра была с виду пустяковой, а на самом деле до ужаса прекрасной. Надо было под берегом на мелком заливе среди мёрзлой и усыпанной снегом осоки найти ровную, белую прогалину. И вот разбежаться и, рискуя попасть в полынью, проехать вдоль прогалины под треск льда на пятках, а потом на тёмную, пропаханную в снегу дорожку лечь вниз лицом и глядеть на речное дно сквозь лёд.

Бывало так, что там ничего особенного и не видно. Одна только жёлтая рябь песка на дне да катящиеся по дну, по течению чёрные мусоринки, палые листья. Но бывало и так, что лежишь, смотришь, а под тобою, словно странный лес, качаются тёмно-зелёные водоросли, и вдруг в этой темноте что-то блеснёт, каким-то неуловимым, мгновенным толчком выскочит на светлое место и — замрёт. И ты, ошеломлённый, видишь чуть ли не в верхке от глаз своих живую, краснопёрую, с полосками на боках рыбку!

Когда Борька привёл сюда в первый раз Дашу и они смотрели под лёд вдвоём — им было очень хорошо. Хорошо было и тогда, когда они приводили сюда и других ребят.

А вот теперь Борьке вдруг сделалось обидно. Обидно стало ещё больше, когда Вася раньше всех спрыгнул под берег, лихо проехался по льду, закричал:

— Смотри, Даша, что там под моей дорожкой видеть!

И Даша послушно побежала, прикрываясь варежками от дневного света, припала ко льду, глянула в речную глубь и засмеялась:

— Ой, какой-то шустренький жучишка...

Вася моментально приткнулся рядом с Дашей, и они стали сквозь лёд рассматривать жучишку.

Борька насупился.

Борька сердито протопал мимо Даши с Васей, тоже разогнался, тоже пропахал в снегу длинное ледяное окошко, тоже закричал:

— А у меня окунь!

Но Даша и ухом не повела, и головы не подняла, по-прежнему глядела с Васей в одно окошечко.

Тогда Борька разбежался ещё шибче, распахал снег ещё шире, завопил уже во всю мочь:

— А у меня чудо-юдо, рыба-кит, всех жучишек победит! Даже Ваську Лямина... Подумаешь, надел шлем, расфуфырился!

И все, кто тут был, все мальчишки, все девчонки сразу насторожились, сразу поняли, что сейчас не миновать драки. И все стали сбегаться, чтобы на эту драку посмотреть.

Да только Вася Лямин ничего Борьке в ответ не сказал, лишь глянул на него из-под шлема таким сердитым петушком, а ответила Борьке сама Даша:

— Эх ты, Малахаище! Ну чего шумишь, топаешь, отпугиваешь наших жучков... Места мало на реке? Ступай, Малахаище, вон туда за мысок, за ракиты, да там и кричи... Ступай, ступай!

И Борька в самом деле пошёл. Но только не к мыску со светлыми, в инее ракитами, а прямо к берегу.

Молча, расстроено, то и дело осклизаясь неудобными сапогами, то и дело подхватывая спадающий с головы малахай, он вскарабкался по

изволюку. Никуда не глядя, а только лишь под ноги, прошёл всю деревню, протопал через своё крыльцо, через полутёмные сени в избу, а там, всё так же молча, разделся, разулся, сел на лавку и — заревел.

Ревел Борька весь тот день, весь вечер, всё уговаривал дедушку не дожидаться предновогодней поры, а ехать на рынок сейчас. Ревел с таким захлёбом и так горестно, что дедушка наконец не выдержал, с досадою топнул:

— Отвяжись! Пушай, коли так, яблоки пропадают задарма! Поехали покупать эту разнесчастную шапку... Как будет оказия, как даст колхоз лошадь, так и поехали!

И вот эта оказия сегодня вышла, они едут на станцию сразу и по колхозному делу и по Борькиному.

Снег сыплется всё пуще. Ни слева, ни справа почти ничего не видно. Всё мельтешит, всё бело — и лес, и поляны, и кустики можжевельника вдоль дороги. Перед Борькиными глазами только дедушкин коробом торчащий воротник да за высоким передком саней колышется широкий, тяжёлый круп лошади. Мягкие хлопья снега сразу истаивают на нём, тёмные струйки по гладкой лошадиной шерсти затекают под ремень шлеи, и шерсть от этого ремня топорщится на крупе мокрым ёжиком.

Борька, чтобы подладиться к дедушке, чтобы смягчить недавнюю ссору, заботливо предлагает:

— Давай, дедко, накроем Карюху моим рядном. Ишь как вымокла... Зазябнет. А мне и так ничего.

— Ей тоже ничего, — отвечает совсем уже добрым голосом дедушка. — Для неё это привычно. Ей только на месте стоять мокрой нельзя, а на ходу — пустяк. На ходу никто не зазябнет, хоть и тебя коснись. Начнёшь дрожжи продавать, на дорогу опять соскочи и шагай! Вмиг разогреешься.

— Ты тоже всегда так греешься?

— Всегда... Да нынче-то что! Нынче мало езжу, а вот когда молодой был, ох и походил за санями сзади, ох и походил.

И дедушка пускается в воспоминания, начинает длинно и подробно рассказывать Борьке, как в молодые годы хаживал с зимними обозами, с кладью чуть ли не до самой Москвы.

— По неделе, бывало, и в темь, и в день, и в мороз, и в метель путешествуешь, и никакая хворь тебя не берёт... Топаешь за санями, на усах иней сосульками настыл, а от спины — пар валит. Жарко!

Борька слушает, поддакивает, а сам думает: раз у дедушки такое мирное настроение, то, пожалуй, можно бы с ним и опять поговорить о шапке. Объяснить о ней самое главное. Это главное до сих пор Борькой ещё не высказано. Заключается оно в том, что шапка ему нужна всё ж таки не первая попавшаяся, не только лишь бы по голове, как кричал он во время недавнего спора с дедушкой, а мерещится ему тоже что-то этакое расчудесное, ничуть не хуже, чем Васин шлем.

Не хуже может быть только солдатская шапка-ушанка. Ушанка с эмалевой звездой. Но вот можно ли выменять такую шапку даже на самые лучшие яблоки — это вопрос. И Борька боится, что тут и дедушка скажет: «Конечно, вопрос! Да ещё какой!», и поэтому лишь робко напоминает:

— Ты, дедко, не больно там дорожись. Если за какую хорошую шапку все яблоки спросят, то все и отдавай.

— Что с тобой сделаешь,— отвечает смирившийся и даже несколько растроганный воспоминаниями о своей далёкой молодости дедушка.— Подвернётся хорошая, отдам, не задорожусь, не бойся.

— И выбрать шапку мне самому разреши... Ладно?

— Ладно! — согласно кивает дедушка, но вновь спохватывается, снова учит: — Всё ж торговаться для начала мы должны. И ты ко мне со своим теперешним разговором: «Не дорожись, дедко, не дорожись!» — на рынке не приставай. Собыёшь цену, тогда и самой худой кепчонки на наши яблоки не купишь... Понял? Стой себе рядом и молчи!

И Борька, теперь уверясь, что дедушка его не подведёт, согласно кивает.

На рынке Борька бывал всего лишь один раз, да и то давно перед войной, когда ещё не ходил в школу. Ездили они туда вместе с отцом, с матерью. Дело было перед сенокосом, и отец завёл их сразу в ряды, где весёлые бородатые мужики торговали всякой самодельной всячиной. Тут продавали и щепные кузова, и корзины, и грабли, и крашеные ложки, и крепкие, звонкие горшки, но отец остановился перед высоченной грудой берестяных лапоточков-стúпней. Походили они на головастые, мелкие калошки, и вся их золотистояркая, пахнувшая солнцем и сухой берёстой горка так и манила к себе.

Отец схватил одну пару, самую маленькую, поднял над головой:

— Почём удовольствие, хозяин?

Тот, весь праздничный, белозубый, с рыжею бородищей во всю рубаху, засмеялся:

— Сначала примерь!

Отец приказал Борьке скинуть сапоги:

— А ну, вздень вместо них вот эти игрушечки. Поедешь со мной на луга, на сенокос — пригодятся.

Борька ступил босыми ногами в берестяные калошки и радостно ойкнул. Было в них так легко и прохладно — хоть сейчас, прямо с места лети по воздуху!

Для матери тоже сразу лёгонькие обувки нашлись, а отец себе выбирал их долго, обстоятель-

но. Притоптывал обновкой по зелёной мураве, повёртывал обутую ногу и так и этак, а хозяин довольно басил:

— Ты ещё и вот эту пару примерь. Эта на другой колодке делана!

Примерно вот так же представляет теперь Борька и будущую покупку шапки. Только лежат все шапки не грудой на земле, а на длинном-предлинном, во весь рынок, прилавке. И он, Борька, вдоль этого прилавка похаживает, свой малахай держит под мышкой и все шапки, не торопясь, примеряет.

Он примеряет, а торговцы наперебой советуют:

— Ты ещё и вот эту, и у меня посмотри... Эта и поновей, и поскладней, и тоже — солдатская.

От такой воображаемой картины настроение у Борьки опять становится прекрасным. Он скидывает варежку, по-хозяйски, заботливо сметает голою ладошкой снег с пестеря, опять ловит носом яблочный дух, смачно зажмурясь, крутит головой. Потом, подражая дедушке, солидным голосом сам себе говорит:

— Ничего! Проживём и без этого баловства...

Лес между тем кончился. Снегопад затих, стало светлей. Дорога вынырнула из-под елей в просторную белую долину — и теперь здесь видно всё очень далеко.

Впереди тонкая нить железнодорожной линии. За ней белые кровли станционного посёлка, светло-синие столбики дыма, кривые, узкие и тоже все будто бы в голубоватом дыму дальние улочки и переулки.

Где-то там долгожданный рынок, и дедушка сам теперь торопит Карюху. Он даже на коленки встал:

— Но-о, залётная! Давай веселей, давай... На рынке сейчас, поди, самый торг.

И Борька вскочил на коленки. Борька сразу



так заволновался, что ему стало жарко, и он тоже закричал:

— Но, Карюха, но!

У переезда через линию, у высоко поднятых шлагбаумов их чуть было не задержали.

Из маленькой будки вышла смешно закутанная стрелочница. На ней ватные штаны, ватная телогрейка, на голове толстая шаль, а поверх шали круглой башенкой железнодорожная фуражка.

Стрелочница задудела в жестяной рожок, замахала на дедушку:

— Стой! Поезд подходит!

Она собралась опустить шлагбаум, но дедушка так тут ожёг Карюху вожжами, что у Борьки под рукой высоко подпрыгнул пестерь, и длинные сани в один миг перескочили на ту сторону линии.

Стрелочница ахнула гневно, а потом засмеялась:

— На пожар торопитесь?

— Нет, мы за шапкой! — засмеялся и Борька.

Сани, весело стуча на ледяных раскатах, покатились по широкой улице вверх. Мимо поплыли сугробные палисадники с пушистыми от инея деревьями, сквозь тонкие ветви замелькали мёрзлые окошки почти таких же, как в Борькиной деревне, домов.

Малоллюдно и тихо тут было тоже, как в деревне. Раз или два улицу перебежали малыши с саночками, а взрослых вообще не было видно.

«Наверное, на рынке все... — подумал Борька. — Наверное, здешние люди все очень мастеровые и очень торговые. Нашили шапок и теперь вот помчались продавать...»

А когда впереди за углом глухого забора показались наконец ворота с облупленной вывеской «Рынок», то Борька и совсем встал на ноги, совсем навалился на дедушку, всё пытаясь заглянуть за эти ворота раньше времени.

Засуетился и дедушка.

Он потянул за лямки пестерь, установил себе под самый бок и даже полой тулупа прикрыл.

— А ты, Борька, садись на мешок с рожью. На рынках такие подлёты попадают, не успеешь моргнуть — мешок свистнут! Не поглядят, что казённый... А впрочем, меня не больно проведёшь, я тёртый калач! — неожиданно храбро заключает дедушка.

И так вот рысцой, на всём на полном Карюхином ходу они въезжают в распахнутые настежь ворота. Въезжают, и дедушка перепуганно тпрукает.

Лошадь встаёт, дедушка замирает, рядом с ним замирает и Борька.

Санная дорога проходит через рынок напрямую и куда-то дальше, как через пустое поле. На рыночной площади — никого, хоть «ау!» кричи. Меж длинных рядов свежий снег. Бежит по этому снегу одинокая востроухая собачонка — безо всякого азарта, лениво влаивает на прибывших.

За щелястыми навесами, за накрест заколоченными ларьками стучает какая-то дверь. Медленно хрустя по снежной тропе валенками, из-за этих построек выходит старик. Он долговязый, узкоплечий, похож на сухую жердь в просторном, обвисшем полушубке, но шагает начальственно, и, судя по всему, он здешний караульщик.

Громким голосом ещё издали он спрашивает дедушку:

— Пошто, паря, приехал? К кому?

А дедушка прийти в себя не может, дедушка разводит руками.

Наконец выговаривает:

— Разве торговли сегодня нет?

Строгий караульщик приставляет к высоко поднятому воротнику, к уху ладонь ковшиком:

— Пошто, пошто?

— Я говорю, торговли сегодня разве нет? — кричит криком дедушка, и сторож сразу смягчается.

— А-а... Нету, сокол, нету... Давно нету! Ни сегодня нет, ни вчера не было, ни позавчера... Как пошло с той зимы всё тишае, да тишае, так вот теперь и совсем, считай, стихло. Да и чем, кому теперь торговать?

— А шапками? — тоже кричит, чуть ли не плачет Борька. — А шапками? Ведь говорили, тут шапку выменять можно...

— Было! — сразу соглашается старик. — Что было, то было. В то время, как заводской люд мимо нас на Урал ехал... Вот тогда, верно, если ихний эшелон здесь, на станции, задержится, так они, бывало, на хлебушко — всё своё и променяют!.. А теперь — нет. Теперь, слава те, на фронтах, слышь, наша берёт.

И, наскучавшийся один среди полузаброшенных ларьков, он снова тянется к дедушке:

— Нынче, знаешь, кого больше-то сюда привозят да тут и ссаживают? Ребятишек... Тех, что в самом полуме-огне родителей своих порастеряли, вот их к нам и доставляют. Кого — к нам, кого — чуть подале, в район, в Батурино... Ты на вокзале у нас случаем ещё не побывал? С гостями с такими с нашими не встречался?

Но дедушка почти уже и не слышит старика, дедушка бормочет своё:

— Вот незадача... Вот беда... Вот горе!

Старик, полагая, что речь идёт всё ещё о тех же ребятишках, кивает:

— Конечно! Война и по малым бьёт.

И тогда дедушка кричит опять, кричит сердито:

— Да у меня беда-то, у меня! Располагал, собирался, ехал, насулил внуку всякова Якова, а заявился — пусто.

— Ну-у, это ещё ничего... — разводит руками глуховатый собеседник. — Это ещё не горе. Ты, похоже, паря, и в самом деле с настоящим-то, с нынешним горем не очень видывался... Разве это беда? Это — по нынешним меркам — пустяк.

И вдруг спохватывается, что дедушка на такие речи может рассердиться совсем, опять ласково, даже искательно заглядывает ему в лицо:

— Ты не продукт ли какой привёз, а? В обмен на шапку... Так моя, конечно, не гожа, но ты сделай, соколик, милость — продай мне чего-нибудь и на денежку... Продай хоть чуть-чуть... Что у тебя здесь?

И старик приглядывается к пестерю, ощупывает осторожно мешок с зерном, на котором сидит печально Борька.

Дедушка вмиг настораживается, хватая одной рукой вожжи, другой — отпихивает старика.

— Но, но! Отойди... Ишь чего заприговаривал, ишь чего запел! Сначала, значит, «ребятишки», а теперь и сам куда не надо полез... Где трогай, ёлки-моталки! Говорю, отойди!

— Да ты что? — опешил старик.

— Я сказываю, отойди!

И дедушка так круто разворачивает Карюху, что оглобли трещат, и он гонит лошадь обратно за ворота на пустынную улицу.

Борьку в санях бросает из стороны в сторону, но он даже не держится — ему всё равно. На душе у Борьки теперь такое — лучше бы зареветь.

Колхозную рожь на заготовительном пункте сдали скоро и тут же поехали домой.

Пока рожь сдавали — всё молчали.

Едут они по кривым, обратным переулкам и теперь молча.

Дедушка сидит нахохлясь, думает о том, что зря вот он сунулся в воду, не спрося броду, зря

понадеялся на давние слухи и поехал на рынок, ничего загодя не разведав; а Борька сидит к нему спиной, тоже думает о чём-то о своём.

И лишь Карюха устало, но громко, нет-нет да и фыркнет на ходу, как бы стараясь этим подбодрить и себя, и своих унылых седоков.

А когда выбрались на главную улицу, на самый верх её, когда стало видно внизу и знакомый переезд со шлагбаумами, и каменный вокзальчик вдалеке, и другую, тоже выбегающую тут к переезду дорогу, то дедушка наконец-то поворачивается к Борьке, конфузливый, тихим голосом говорит:

— Чего уж теперь... Чего уж... Ты, Борька, не расстраивайся.

И подпихивает пестерь к внуку ближе, отстёгивает крышку:

— Вот, поройся-ка в сенце-то да яблочко вынь... Вынь, вынь! От одного не шибко и убудет...

Но Борька, не поднимая лица от острых коленок, лишь медленно поводит своим низко нахлобученным малахаем: «Отстань, дедко... Не надо... Не хочу...»

— Ну и правильно! Ну и правильно! — суетливо и моментально соглашается дедко. — Очень даже правильно. Мы ещё, знаешь, куда с ними махнём? Мы в Батурино махнём. Там рынок должен быть, там — людней.

И сперва всё с той же виноватинкой в голосе, а затем и расходясь всё больше, и утешая уж не столько внука, сколько самого себя, он шутит:

— Этот долдон-караульщик тоже хорош! «Настояшшова го-оря ты, паря, не видывал... Настояшшова го-оря ты, сокол, не знаешь...» Тьфу! Это я-то не знаю? Это мы-то не видывали? Нет, видывали, знаем и даже терпеть умеем! Верно, Борь, верно? Вот то-то! А яблочко одно всё ж таки возьми...



И, не обращая внимания на то, что Борька на него не смотрит и ничуть ему ни в чём не поддакивает, он лезет рукой под крышку пестеря в сено, долго роется там и вот вынимает очень крупное, очень красное, очень тяжёлое яблоко.

Яблоко так чудесно, что дедушка и про Борьку на миг забывает, и забывает про всё.

Приходит он в себя лишь тогда, когда слышит рядом с собой топот чужих коней и скрип полозьев.

Со стороны вокзала на общую дорогу у переезда втягивается очень длинный обоз, и дедушка, спохватясь, дёргает одной, свободной, рукой вожжи, думает проскочить вперёд.

Но шлагбаум на этот раз предусмотрительно закрыт, и головная лошадь обоза вместе с ходкой Карюхой чуть ли не упираются в этот шлагбаум хомутами.

— Тпру-у...—катысь по всему длинному



обозу громкие на холоде голоса, и дедушкины сани почти сталкиваются грядок о грядок с такими же широкими, чужими розвальнями.

С них спрыгивает женщина-возчик, бежит к своей лошади, берёт её под уздцы, а дедушка как сидит, так и остаётся сидеть на своём месте.

Он остаётся потому, что видит: на чужих санях перед ним, так близко, что и рукой дотронуться можно, вдруг начинает шевелиться высокий ворох толстых, тёплых укуток, и оттуда тихо, робко выглядывает маленький мальчик.

Он маленький и очень слабый. Он похож на одинокого птенца в гнезде, он такой заморённый, что дедушка перепуганно таращится, почти беззвучно говорит:

— Ох, голубь ты мой милый! Да ты хоть откудова?

А Борька на мальчика смотрит тоже, и тоже хочет спросить: «Ты чей?» Но тёмные, огромные глаза мальчика глядят совсем не на Борьку и даже не на дедушку, а на позабыто опущенную дедушкину ладонь, на красное, сочное яблоко в этой ладони.

— Отдай, дедушка... Вместо меня ему отдай... От одного, сам говорил, не убудет... — торопливо шепчет Борька, да тут же опять замирает.

Замирает оттого, что теперь почти вплотную с тем мальчиком возникает ещё девочка, и ещё одна девочка, и ещё мальчик, и ещё, ещё...

Они тоже глядят на яблоко. А со следующей подводы — и со второй, и с третьей, и с четвёртой — не только глядят, а подают и негромкие голосишки:

— Нам, дедушка... И нам...

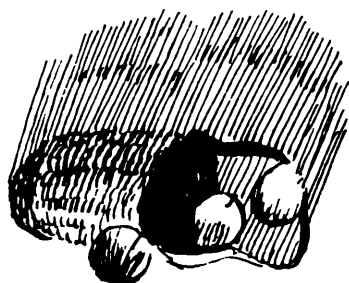
И вот стоит дедушка Ложкин в своих санях с яблоком в руке, стоит над полуоткрытым пестерем — не знает, что делать.



Не знает, что подсказать дедушке, и Борька.

А уже к переезду, всё сильнее ухая и грохая колёсами по стальным рельсам, мчится поезд.

Он грохочет так, что у переезда всё заметнее начинает подрагивать земля.





# ЧИСТЫЙ СЛЕД ГОРНОСТАЯ

## Глава 1

### ТРЕВОЖНАЯ ОСЕНЬ

Наш станционный посёлок окружают светлые перелески и ржаные поля. Клинья пашен подходят к самой околице, и от этого посёлок похож на деревню. Он похож на неё бревенчатыми домами, лужайками и всегда спокойной, без конца без края, тишиной.

Паровозные гудки не в счёт.

Паровозные гудки для нас почти то же самое, что петушиная перекличка по утрам. Они для нас почти как летний шум ветра в огромных станционных тополях или скрип коростелей в сыром вечернем поле. К шуму тополиных листьев, к голосам птиц, к неторопливым гудкам паровозов мы привыкли и, можно сказать, совсем их не замечаем.

Но такое спокойствие, такая тишина были на станции раньше. Так было у нас до двадцать второго июня, до войны, а теперь многое переменилось. Нынче поезда на станцию не входят, не въезжают, а прямо-таки врываются.

И сначала врывается не сам поезд, а свободный, без вагонов, паровоз-разведчик.

Он — чёрный, длинный — гонит впереди себя одну-единственную платформу с песчаным балластом. Он проверяет своими колёсами, исправен ли путь. И вот не успеет паровоз пролететь мимо белокаменного вокзала, не успеет сладковатый угольный дым умчаться в осеннюю даль, а на станцию влетает уже второй паровоз, теперь с тяжёлым воинским эшелоном.

Эшелон останавливается. Но лишь на одну минуту. Он стоит всего столько мгновений, сколько требуется, чтобы отцепить усталый паровик и вза-

мен его подогнать новый, готовно пыхтящий, направленный углём и водой.

А потом эшелон трогается вновь. Он идёт всё быстрее и быстрее. А над его платформами горбатятся укрытые брезентом танки. В небо глядят спаренные для зенитной стрельбы пулемёты. В дверях вагонов молча теснятся хмурые красноармейцы. И всё это проносится с каждой секундой стремительней и стремительней.

Последний вагон пролетает так быстро, что сорванные вихрем жёлтые тополиные листья ещё долго кружатся над пустым перроном, над светлыми и чуть звенящими рельсами.

Воинские эшелоны спешили всегда, каждый день. Они спешили изо всех сил. Они торопились, потому что там, в западной стороне, война тоже не стояла на месте. Она двигалась навстречу. Со всем ещё недавно репродуктор на вокзале говорил о тяжёлых боях под Смоленском, а теперь фронт придвинулся ближе к Москве.

Вражеские самолёты прорывались к Ярославлю, к Волге. Бомбовые глухие удары доносились по осеннему прозрачному воздуху уже и до нас.

Чуть подольше задерживались на станции только те поезда, которым путь на восток. Но задерживались они лишь для того, чтобы дать дорогу военным. Им-то и самим было некогда. Ведь и на этих поездах ехали не просто уходящие от войны люди, а двигались чуть не целые фабрики и заводы. Мы, станционные мальчишки и девчонки, сроду не видывали столько всяких разных машин и станков. Станки ехали в крытых и некрытых вагонах; они были то аккуратно составлены рядами, а то и громоздились навалом, почти друг на друге,— лишь бы приткнуться, лишь бы нашлось местечко.

Людей тут ехало тоже видимо-невидимо. Старые и молодые, горластые и молчаливые, кто в

праздничном, испятнанном машинным маслом костюме, кто в рабочей спецовке, кто в зимней шубе, а кто чуть не в одной майке, все разные, все непохожие, они в то же время были и очень одинаковыми. Как только поезд приходил на станцию, они первым делом кидались на перрон к репродуктору и молча, угрюмо стояли там, если передавалась сводка Информбюро. А если не передавалась, то так вот, всю толпой, бежали к привокзальному рынку.

Но на рынке было пусто. Торговать стало у нас некому и нечем, и толпа опять хмуро и медленно растекалась по вагонам.

На станции из этих людей на задерживался никто. Они не хотели, да, наверное, и не имели права отставать от своих заводов, поставленных на колёса. Каждый станок, каждая машина были только что выхвачены из-под самого огня войны, но они должны были опять, и как можно скорее, работать на войну.

Для фронта работал теперь и наш посёлок. Взрослые, те, что состояли в колхозе и не ушли в армию, торопились с полевой уборкой, а все железнодорожники работали день и ночь, как наша мама-стрелочница, на путях и в депо.

Мы, школьники, работали тоже. Мы рыли в школьном саду, прямо в молодом смородиннике, глубокие траншеи. От Волги до нас напрямую километров сто, и если фашистские самолёты сюда прорвутся, то траншеи прикроют поселковый люд от бомбёжки, от пуль и осколков.

Рыть траншеи было трудно. Учителя и все те, кто постарше — десятые, девятые и наш восьмой класс, — работали внизу, долбили грунт, выкидывали его на бровку, а младшие бровку чистили, помогали нам.

Кирки и лопаты рубили, рвали крепкие корни кустов, и совсем ещё зелёные листья смородины падали на дно траншей. Листья осыпались вместе

с чёрными перезрелыми ягодами. Ягод было много. Они хрустели под ногами, они свисали крупными кистями прямо над головой, и мы набирали их в горсти, пачкались кисловатым соком, ели, пока не сводило скулы.

Погибающий ягодник все жалели, говорили:

— Надо бы сначала обобрать, да разве теперь до того? Разве до смородины, когда, то и жди, на голову посыплются свинцовые ягоды...

И мы спешили. На ладонях набухали и лопались мокрые мозоли, да всё равно никто не ныл. Ребята говорили:

— Ничего! Небось на фронте солдатам не так приходится. А мы вот выроем одну эту траншею, и — конец!

Я думал точно так же, но вдруг и сам, и мой приятель Женька Буслай попали совсем на другую работу и в другую компанию.

В тот день мы вышли с Женькой, как всегда, на работу в сад, спрыгнули на дно траншеи и взялись за лопаты. Мы старательно выворачивали на бровку липкие пласты глины, а когда траншея углубилась, глину стали накладывать в железные ведра и вытаскивать верёвкой наверх. Но скоро Женька такой простой работы не стерпел и стал изобретать.

Изобретал Буслай недолго. Он, беловолосый, долговязый, постоял на краю траншеи, заглянул, как журавль, вниз, подёрнул брюки, сказал: «Я мигом!» — и припустил домой.

Через десяток минут Буслай примчался назад, а на его плече громоздился ржавый велосипед. Этот велосипед был без переднего колеса, без камеры на заднем, с одной-единственной педалью. В руках Женька держал два коротких кола и кусок проволоки. Он поставил велосипед вверх тормашками, вверх единственным колесом, лопатой забил оба кола в землю и крепко прикрутил к ним раму.

Я уставился на Буслая: что это он такое опять затеял? А он крикнул мне в траншею:

— Подай верёвку от ведра, да от того, что полное!

Буслай поймал конец верёвки, набросил его на жёлоб колеса, привязал и принялся крутить педаль. Колесо завертелось, верёвка стала тугой — ведро медленно поползло вверх.

— Ура! Подъёмный кран! — обрадовались ребята, все повыскакивали из траншеи, обступили «кран», но первому покрутить Буслай разрешил мне. Остальным приказал занять очередь.

И тут произошло то, чего Буслай не предвидел.

Фима Сиротина, самая приметная у нас девчонка, приметная не чем-нибудь, а крепкими кулаками и большим ростом, вдруг пробасила:

— Подумаешь, изобретенье! Одно-то ведро я и так свободнёхонько наверх выкидываю. А ты вот сразу два попробуй. Не вытянешь.

— Вытяну! — ответил Буслай. — Лезь обратно, цепляй.

Фима спрыгнула в траншею, выбрала два самых объёмистых ведра, набила в них глины столько, что сама крякнула, когда подтаскивала к верёвке, а потом прицепила и скомандовала:

— Давай!

Буслай налёг на педаль, натужился, ведра поднялись и остановились. Вытягивать такой большой груз коротенькой педалью было нелегко. Но Буслай сдаваться не хотел, да тут и я ухватился за колесо, стал помогать.

И вдруг, когда ведра почти уже поднялись, под ногами у нас что-то ухнуло, вздохнуло, и я куда-то сначала поехал, потом полетел.

Земляная бровка не выдержала и вместе с ведрами, вместе со мной, Буслаем, велосипедом рухнула вниз. Ладно, эта самая Фима-Серафима отскочила — мы чуть-чуть не грохнулись ей на голову. А надо бы! Теперь вот она стояла да по-

смеивалась, а я и Женька сидели по шею в земле, не могли шевельнуться и смотрели с ужасом на то место, откуда свалились.

Со дна хорошо было видно, какой здоровенный пласт отвалили мы от ровной стенки траншеи.

И вот мы сидим, не дышим, а Фима говорит:

— Ага! Что наделали? Теперь вам попадёт.

И тут она хватает меня нахально за воротник и легко, как репку, выдёргивает из рыхлой земли.

Я хотел Фимку стукнуть, да где уж мне!

А Женька выбрался сам. Он подхватил велосипед, полез на бровку, следом покарabкался я, за мной Фима. И только мы вылезли, как видим: опять у нас неудача.

С «краном» своим мы затеяли возню как раз напротив школьных окон, как раз напротив директорского кабинета. И не успели выбраться наверх, окно распахнулось, и стоит за ним — ну вылитый портрет командира Котовского в раме! — наш директор Валерьян Петрович.

Правда, на командира он больше похож бритой головой, а так-то он слишком толстый и неуклюжий, но всё равно смотрит по-командирски и поманивает нас всех троих полусогнутым пальчиком. Да мало того что он поманивает, а уже и все учителя, которые были в саду, побросали лопаты и торопятся к нам.

— Сматывайся, Женька! — испуганно сказал кто-то из ребят, но Фима и тут влезла:

— Нечего бегать. Всё равно скажу.

Она охлопала с ладошек землю и, важно задрав голову, пошагала к школьному крыльцу. Нам делать нечего, мы взяли велосипед и потопали за ней. Уж если отвечать, так отвечать сразу, да ещё и неизвестно, что там без нас Фима может наговорить. Но мы дрожали не очень: кто-кто, а наш директор во всём разберётся по справедливости. Валерьян Петрович знает меня и Женьку давным-давно. Ещё в то время, когда мы бегали



в первый класс, с Женькой из-за Валерьяна Петровича произошло вот что.

Валерьян Петрович очень любил рассказывать сказки, а мы, конечно, любили их слушать. Иногда в большую перемену он выносил из кабинета стул, садился, проводил по бритой голове толстой ладонью, гулко прокашливался, и суета в зале сразу стихала.

Рассказывал он весело. Мы все хохотали. Мы все развеселились и в тот раз и вслед за директором тоже что-то начинали рассказывать. Не утерпел и я. Но рассказал я не сказку, а выпалил:

— У меня есть друг! Он придумал, как зимой лето сделать.

Все обернулись, а Валерьян Петрович даже ладонями по коленям хлопнул:

— Правда?

— Правда!

— Где он, твой друг?

— Вот он.

Я показал на Женьку, тот смутился, прикрыл глаза локтем, а Валерьян Петрович спросил:

— Это ты придумал, как зимой лето сделать?

— Я.

— А ну, открывай секрет.

И Женька тихо, потом всё громче принялся рассказывать:

— Когда наступит зима, надо врыть посреди белого поля большой-пребольшой крепкий столб. К макушке столба привязать канат, тоже крепкий, лучше стальной. А потом канат прицепить к хвосту самолёта, самолёт запустить, он взлетит, потянет канат, и земля повернётся к солнышку! И у нас опять начнётся лето. Ясное-преясное, тёплое-претёплое. Какое захочешь!

Женька говорил торопливо, а под конец погрузнел:

— Только самолёт надо сильный... Может, в сто тысяч моторов, но таких пока нет.

Женька печально развёл руками и глянул на Валерьяна Петровича. А тот встал, тронул Женькино плечо и очень серьёзно произнёс:

— Да ты, брат, совсем как богатырь Буслай. Он тоже мечтал: «Эхма, кабы силы да поболе мне! Жарко бы дохнул я — снега бы растопил». Что ж, придёт время — и самолёт в сто тысяч моторов будет. Сам построишь.

Я думал, сейчас все засмеются, да никто не засмеялся, но с того дня к Женьке прилипло прозвище — Буслай...

Мы вошли в директорский кабинет и не успели сдёрнуть кепчонки, сказать: «Здрасьте!», не успела Фима рот раскрыть, как Валерьян Петрович всё понял.

— Новая идея? — показал он на велосипед.

— Новая. Сегодняшняя, — с достоинством ответил Буслай.

— Они этой идеей траншею обвалили, — ехидным голосом добавила Фима-Серафима.

Директор улыбаться перестал, негромко произнёс:

— Перпетуум-мобиле прислоните к стене, сами подождите за дверью. Сиротина, останься.

Мы вышли в коридор. Сиротина осталась. О чём они там толковали, через дверь было не слышать. Я нацелился на замочную скважину, хотел подслушать, да тут дверь отворилась, и Фима, красная, сердитая, бегом проскочила мимо нас.

— Ну, теперь наша очередь, — сказал я.

— Входите! — донеслось из кабинета, и мы вошли. Валерьян Петрович стоял теперь спиной к нам, лицом к окну. Он смотрел, как школьники роют землю, вырубает сад. Там ярко светило сентябрьское солнце, работали все дружно, да только Валерьяну Петровичу как будто бы что-то не нравилось. Очень уж грустный у него был вид.

А может быть, он смотрел совсем и не на школьников, а смотрел на станционные пути, ко-

которые протянулись не遠далеке от школьной ограды. Там стоял санитарный поезд. Поезд прибыл с фронта. Он с тяжелоранеными, тамбуры и окна его наглухо закрыты, из вагонов таких поездов на перрон выходит редко кто. Разве что выскочит медсестричка и, бухая солдатскими сапогами, промчится вдоль вагонов от тамбура к тамбуру.

Зато на перроне полно женщин. Откуда они узнают о приходе санитарного — неизвестно, да только поезд ещё на подходе, а они уже давно здесь. Они тянутся к высоким, залепленным дорожной пылью окнам; они как завидят сестричку, так бросаются к ней и бегут, бегут рядом с нею — всё заглядывают в лицо, всё что-то выспрашивают.

Я знаю, о чём они спрашивают: «А бойца Корнилова среди раненых нет? А Смирнова нет? А Гусева нет? Девушка, девушка, а может, у вас Витя Фролов находится? Русенький такой, молоденький... Скажи, родная, а?»

Но знаю я и то, что девушка никогда ничего толком ответить не может. Уже и паровоз к отправлению гудит, да и столько по тесным вагонам израненных солдат, что вряд ли девушка помнит каждого в лицо. Она сама-то измотанная, усталая, едва держится на ногах...

Валерьян Петрович, глядя на этот поезд, на бегущую толпу, даже голову опустил. А потом, как с мороза, передёрнул плечами, обернулся к нам и долго смотрел, будто позабыл, откуда мы и зачем.

Наконец всё вспомнил, даже немножко усмехнулся:

— Ну и как ваша машина действует?

Буслай кинулся к «машине», стал объяснять. Валерьян Петрович не перебивал, слушал, сам разож повернул педаль и сказал:

— Производительность мала...

— Кто мала? — не понял Буслай.

— Производительность. Пока вашим краном

вытянешь одно ведро, вручную сделаешь во много раз больше.

Буслай задумался. Выходило, что директор школы не на нашей стороне, а на стороне Фимы-Серафимы. И я обиделся:

— Так ведь крутить можно!

Валерьян Петрович улыбнулся:

— Ещё бы. Крутить куда как интересно, да только время не ждёт. Пойдёмте-ка вместе да поработаем старым, проверенным способом.

Он достал из-за книжного шкафа железную лопату, и мы бы отправились опять в сад, да тут-то как раз и появился печник Бабашкин.

Невысокий росточком, очень худой, очень старый, похожий небритым лицом на седого ежа, он осторожно заглянул в кабинет, вошёл, приподнял испачканный в глине фартук, порылся в кармане полосатых штанов и вынул какую-то бумагу.

— Вот, Петрович,— сказал он директору,— у нас народу не хватает, дак моё начальство просит командировать двух парней. Со мной, значит, работать. На чердаках. Стропила глиной обмазывать. От зажигательных бомб. Чтоб если огонь сквозь железную крышу на чердак попадёт, дак сразу не загорелось.

И тут я глянул на Буслая, он глянул на меня, и мы вмиг поняли: надо не зевать!

Лазать по станционным чердакам разрешается не каждый день. Чердаки — это совсем не то, что скучная сырая траншея. На чердаках живут птицы, на чердаках отдыхает ветер, там всегда интересно. А на одном чердаке, говорят, один мальчишка в позапрошлом году нашёл настоящий австрийский штык. Я как подумал об этом, так тут же взмолился:

— На чердаки надо нам! На чердак надо нас! Я так закричал, что печник вздрогнул, сказал:

— Эк тебя!

А Валерьян Петрович усмехнулся:

— А механизация как же?

— Так ведь производительность мала,— быстро ответил Буслай.

Печник нахмурил ежиные брови, оглядел нас маленькими серенькими глазками, будто снял с обоих мерку, и сказал:

— Ничего, сойдут. Правда, этот горластый мелковат, но сойдут. К тому же мои соседи.

## Глава 2

### ДАВНЫМ-ДАВНО И В ЭТОТ ВЕЧЕР

Щуплый на вид печник работал быстро, и мы едва успевали за ним. Он обмазывал стропила, а я и Женька таскали снизу из бочек жидкую глину.

Чердачные лестницы у наших домов крутые. Они по-старинному навешены снаружи, избегают сразу от земли до крыши, и пока по ним вскарабкаешься с полным ведром наверх, остановишься не раз.

Печник нас жалел. Когда начинался перекур, он как можно медленнее свёртывал «козью ножку», аккуратно зачерпывал в неё из кисета зеленоватый, сдобренный лепестками жёлтых, неведомых нам цветов самосад и, покашляв да прохрипев неперменное присловье: «Табак Дюбёк, от которого сам чёрт убёг»,— советовал:

— Не таскайте по полному ведру. Не таскайте! А то грыжу схватите.

Но мы всё равно таскали по полному. Нам с Буслаем не хотелось отставать от печника. И мы понимали: вражеские самолёты ждать не станут, пока мы тут чикаемся с полуведёрочками. Торопились ещё и потому, что хотелось быстрее побывать на всех чердаках. Мы ведь в самом деле надеялись, что нам повезёт, что какое-нибудь чердачное сокровище достанется и на нашу долю.



На чердаках было интересно. Как только туда поднимешься, как только вдохнёшь запах пересохшего дерева и тёплой железной кровли, так сразу кажется: ты попал в иной, таинственный мир.

Здесь всегда полусумрачно. Здесь всегда странная тишина. Странная потому, что слышишь всё, что происходит на улице: и паровозный свисток, и звон цинковых вёдер у ближайшей водяной колонки, и женские голоса там; и даже слышишь, как постукивает над тобой по кровле тонкими коготками какая-то пичуга,— но всё равно здесь тихо, звуки словно в стороне от тебя, как бывает, когда проснёшься, но ещё не раскрыл глаза.

И от этой странной тишины, от полусумрака всё, что внизу и вокруг — старый палисадник, голая берёза, мальчик с котёнком под ней, золотые листья на синей лужице,— всё-всё кажется таким новым, таким невиданно ярким, словно ты по этой земле никогда не хаживал, словно разглядел её в первый раз.



А ещё с чердака видно железнодорожные пути, станцию. Туда только что примчался из-за Волги новый эшелон. Паровоз уже отошёл на запасный путь, стоит, отдуваясь белым паром, а машинист и помощник спускаются по отвесной лесенке на жёлто-бурый гравий междупутья.

Они долго ходят вокруг вздыхающей машины. Они оглядывают её, даже оглаживают ладонями и всё покачивают головами, словно чему-то не верят, чем-то сильно удивлены.

И только потом, когда убеждаются, что тёплое железное тело паровоза нигде не пробито, не прострелено, медленными, усталыми шагами уходят по направлению к вокзалу, к диспетчерской.

Работа с печником нам понравилась. Мы по-

лучили чистые холщовые фартуки и в первый же час постарались их заляпать. У фартуков сразу стал рабочий вид. Мы вечером и домой пошли, не снимая фартуков, и нарочно завернули к школе. Шли и думали: пускай посмотрят ребята, а главное, пусть посмотрит Фима, пускай покается, что хотела наядбедничать на таких тружеников.

Но сад опустел. Ребята и учителя разошлись. Вечерняя заря пылала на окнах запертой школы. От зари всё стало красным, беспокойным, и длинный зигзаг траншеи в саду был как огромная рана.

Мы с Женькой кивнули друг другу и пошли по домам. И вот, как только я остался один среди широкой улицы, среди этого тревожного красного света, исходящего не только от заката, но и от осенних, склонённых над палисадниками рябин, мне тоже стало тревожно и холодно. Со мною так бывает теперь часто, особенно в минуты, когда рядом никого нет. В такие минуты я думаю об одном — я думаю об отце.

Наш отец до войны работал не на транспорте, а в МТС трактористом. Он и в армию уезжал не с вокзала, как другие солдаты, а прибежал с поля домой, собрался и ушёл туда, где был назначен сбор механизаторам. Он ушёл словно на работу, ушёл к себе в МТС.

А было это в самый разгар лета, когда рябиновые гроздья ещё только-только наливались, я это помню хорошо. Отец, когда уходил, вдруг остановился под рябиной, что растёт у нас во дворе. Он легко подпрыгнул и сломил ветку с крупными зеленоватыми ягодами. Я вижу как теперь: он встал, обернулся к нам в последний раз, а сам такой плечистый, такой сильный, а за плечами у него самодельная котомка, а из-под кепки светлые волосы, а глаза улыбаются и в правой руке — высоко вскинутая, влажная от росы ветка с тяжёлыми гроздьями...



Но теперь и наша рябина успела созреть, и рябину давным-давно оклевали дрозды и сами улетели на юг, а от отца всё нет писем.

Недавно в газете я нашёл заметку: «Группа партизан под руководством товарища Н. вчера ночью взорвала железнодорожный мост и полностью уничтожила эшелон с живой силой противника». Я показал газету маме и братишке с сестрёнкой, Шурке с Наташкой:

— А вдруг «товарищ Н.» — это наш папа? А что? Ведь он партийный, и его могли забросить к партизанам! Имя, отчество и фамилия у него на букву «Н»: Николай Николаевич Никитин.

Мама сказала:

— Может быть...

Но сказала так, что я сразу понял: она не верит.

Зато Шурка с Наташкой мне поверили. Правда, верили они всегда всему, потому что были маленькими: Наташка нынче пошла в первый класс, а Шурке исполнилось пять лет.

Когда я прочитал им газету, они схватились за руки, начали прыгать и, как стишок, приговаривать:

— Товарищ Эн! Товарищ Эн!

Тут мама вдруг вскочила, закрыла лицо ладонями и выбежала на кухню. Я кинулся за ней, но дверь оказалась на крючке. Я постучал, крикнул:

— Мама, ты что?

А она из-за двери отвечает:

— Ничего. Я сейчас.

Потом дверь открыла и опять сказала:

— Ничего, пустяки. В горло что-то попало.— И держится за горло, а у самой глаза мокрые, сразу видно, что плакала.

Такой маму я видел всего лишь в тот единственный раз, но всё равно она очень изменилась.

А вот раньше мама всегда шутила, и всё ей было нипочём.

Ещё в мирное время наши станционные гуляли в сосновом бору за рекой. Прямо под соснами торговал буфет, играл духовой оркестр, все танцевали. Вдруг, откуда ни возьмись, накатила туча, хлынул дождь. Весь народ бросился под кусты, под сосны — кто куда. Отец распахнул над головой пиджак, накрыл Шурку, Наташку, меня. А мама постояла, постояла под сосной да как выскочит на лужайку под самый ливень, да как запоёт и — давай отплясывать:

Гром, не бухай! Гром, не грохай!  
Всё равно не убегу.  
Мне мой Коленька свиданьице  
Назначил на лугу.

Все хохочут, ахают, жмутся к соснам, а она — пляшет! Лицо запрокинуто кверху, в приподнятых руках туфли, и вся она в мокром платье — стройная, тонкая, словно девчонка. А косынка на плечах пусть от ливня и потемнела, а всё равно — будто осколок радуги! Раньше мама любила носить всё цветастое — оно очень шло к её карим глазам.

Теперь мама смеётся нечасто, а яркие платья убрала в комод. Носит она теперь одну и ту же синюю путейскую блузу с железными пуговицами и никуда не ходит, а всё больше, как говорит сама, пропадает на работе.

Прибавилось работы у мамы — добавилось дел и у меня. Раньше, бывало, слетаешь на колонку за водой — и всё, и гуляй себе на здоровье, а теперь — нет. Теперь и картошку для супа надо почистить, и дров наколоть, и помочь палочки писать Наташке, и, если мама задержится долго, подоить Лизку, нашу белую, с обломанным рогом козу.

Доить козу я научился быстро, но её каждый

вечер надо было встречать далеко за станцией, иначе Лизка умчится шнырять по чужим огородам.

Я как подумал про Лизку, так сразу прибавил шагу и поглядел на заходящее солнышко. Оно опускалось за кровли, и поперёк широкой улицы теперь легли синие тени. А под старыми тополями в проулке, который вёл к нашему дому, стало совсем сумеречно.

Я вбежал в проулок. За ним, как за тёмным туннелем, виднеется наш невысокий дом, а дальше уже никаких построек нет. Дальше только поля, жнивье, а на нём редкие стога соломы.

Я поднялся на крыльцо и сразу увидел: сегодня почта была тоже без письма. Почтальонка всунула за дверную скобу одну газету, а вот если бы письмо пришло, то она обязательно бы постучала в дверь и почту отдала Наташке. Наташка-то с Шуркой дома почти весь день, вон и сейчас там шум, гам и полное столпотворение. Шурка с Наташкой насозывали к себе приятелей со всей станции: гости сидят и за столом, и под столом, а галдёж такой, что ничего не понять.

Я сразу спросил Наташку:

— Козу встретили?

Наташка глянула на меня, всплеснула руками, ойкнула:

— Ой, Лёня! Я сейчас.

— Сиди уж! — сказал я и принялся наводить в доме порядок. Гостей друг за дружкой спровадил на улицу, Шурку посадил к чугунку чистить варёную картошку, Наташку заставил подмести пол, а сам побежал в сарайчик. Может быть, Лизка уже там, может быть, на этот раз пожаловала домой сама.

Но сарайчик пуст, и скрип его струганой дверцы наводит меня опять на думы об отце. Я опять иду через тёмный переулок, а потом через всю

станцию туда, где встречаются стадо, а сам всё думаю и думаю...

У отца были удивительно ловкие руки, и когда он затеял строить сарайчик, то сначала рядом с крыльцом сколотил верстак и все доски для сарайчика выстругал фуганком. Стружка из-под фуганка выходила у него длинная, лёгкая, как пена. Я всё время стоял рядом с верстаком, ждал, когда отец остановится, протянет мне инструмент и скажет:

— На, разомнись!

Но у меня выходило хуже. Фуганок в моих руках начинал запинаться, дорожка после него оставалась где гладкая, где в заусеницах.

— Ничего! Было бы терпенье, придёт и умение, — утешал отец.

Зато, когда стали собирать стены и крышу, я здорово наловчился забивать гвозди. Поставишь гвоздь отвесно к доске, прищуришь глаз, нацелишься молотком, и — бац! — гвоздя уже нет, а светится на доске одна шляпка.

Мама подходила к нам, смотрела, как подвигается работа, одобряла:

— Прямо не сарай, а настоящие хоромы. Хоть самим живи!

Отец, довольный маминой похвалой, улыбался:

— Это что! Это временка. Вот погоди, Катя, к Новому году получу заработок, съездим с тобой на базар и купим вместо Лизки холмогорскую корову. Для неё я поставлю рубленый двор.

— Чёрную корову-то? — в который раз переспрашивали ребяташки.

— Чёрную. С белой звёздочкой на лбу, — охотно отвечала мама.

Но сарайчик для Лизки отец всё равно строил на совесть. Бросовой, спустя рукава, работы он не терпел, и дощатая постройка вставала возле дома, как теремок.

Вставала она быстро, помогал отцу не только я.

К нам часто приходил дядя Серёжа, Женькин отец. Дядя Серёжа работал машинистом, был очень высок ростом, на ходу сильно сутулился и в шутку сам о себе говорил:

— Это я от бережливости сгорбился. Всё думаю, как бы не испортить казённое имущество. Как бы не прошибить головой потолок в паровозной будке. Думаю и вот — пригибаюсь.

Захаживал к нам дядя Серёжа всегда после дальней поездки, по своим выходным дням. А поэтому его длинное рябоватое лицо было празднично выбрито, из-под пиджака синел ворот вышитой васильками рубахи-косоворотки, а в руках он приносил картонную шашечную доску. Ящичек с шашками погромыхивал у него в кармане брюк.

Сказав нам всем: «Здорово бывали!» — дядя Серёжа выкладывал шашки на крыльцо, пиджак пристраивал на сучок рябины, закатывал рукава и брался за работу. Особенно ловко у него выходило, когда мы с отцом стояли наверху, на высоте, а он подавал нам доски.

Мне кажется, высота огромная, земля далеко, а дядя Серёжа только подхватит охапку досок, подойдёт, распрямится с ней — и сразу никакой высоты нет! Дяди Серёжина голова и руки достают до самой крыши.

А когда отец говорит: «Шабаш!» — дядя Серёжа подкатывает под рябину толстенный чурбан, рассыпает на его торце шашки, спрашивает: «Сыграем? — И сам же отвечает: — Сыграем!»

Отец выносит из дома две голубые табуретки, тоже ставит их под рябиной, начинает шашки расстановливать, а дядя Серёжа вынимает пачку новомодных папирос «Караван» и, постукивая длинным мундштуком по коробке с пальмами и верблюдами, говорит:

— Так надумал к нам на дорогу-то переходить или не надумал?

Отец усмехается, крутит головой:

— А какая корысть? Думаешь, руки чище станут? Да у вашего брата, паровозника, они ещё чернее, чем у трактористов. А ну, выкладывай пятерню!

Дядя Серёжа кладёт на шашечную доску руку ладонью вверх, отец раскрывает свою. Обе ладони так широки, что закрывают шашечную доску почти полностью, обе они темны от ежедневной работы с железом и смазкой.

И вдруг ладони уже не лежат, а обхватывают друг дружку; локти упёрлись в торец чурбана, и вот пошла борьба — кто сильнее.

Дядя Серёжа выше отца, но отец шире в плечах. Пальцы их сплелись цепко, руки от усилия дрожат, клонятся то в одну, то в другую сторону, чурбан качается, падает, шашки рассыпаются. Отец с дядей Серёжей хохочут, шарят по земле, собирают шашки. А мы с Шуркой да Наташкой ползаем вокруг на четвереньках, помогаем собирать.

Наконец взрослые склоняются над доской, и во двор приходит тишина. Вокруг так тихо, что слышно, как далеко-далеко, на станционных путях, перекликаются рабочие ночной смены. Они ударяют по колёсам вагонов молоточками, молоточки вызывают: динь-дон! динь-дон!

Шурку с Наташкой мама уводит спать, а я всё сижу на крыльце. Я жду, когда в чуткой тёплой полутьме раздастся дяди Серёжин победный возглас:

— Ага! Эту я срубил, эту я взял за фук, а это у меня дамка. Проиграл?

— Проиграл! — поднимает руки отец.

Он проигрывает каждый раз, но не сердится. Расстаются они весело. Дядя Серёжа опять говорит нам: «Бывайте!» — и уходит по серой тропе в сторону станции. Там ярко и разноцветно прокалывают синеву ночи огоньки семафоров.

Отец подсаживается ко мне на ступеньку

крыльца. Теперь, пока мама не кликнет ужинать, отец будет только со мной.

Я уютно пристраиваюсь к его тёплому боку. Мне слышно его спокойное дыхание. От рубахи отца пахнет сосновой стружкой, пахнет чуть-чуть сладковатым тракторным дымом, мне дремотно и хорошо.

— Поговорим? — спрашиваю я.

— Поговорим, — тихо отвечает отец.

— О горностаях?

— Давай о горностаях...

Горностаи — наша с ним тайна, наша мечта.

Отец — охотник, он и меня приучил к лесу. Правда, хаживали мы с ним больше на тетеревов да на рябчиков, а добывать пушного зверя нам никогда не приходилось. Пушной зверь хитёр, для охоты на него нужно время, а времени у отца всегда в обрез. Мы бы с ним никогда и не думали ни о каких горностаях, если бы не случай, если бы не печник Бабашкин, тоже заядлый лесовик.

В конце прошлой зимы, уже по ростепели, отец собрался в районный городок. Печник об этом узнал и явился к нам с небольшим мешком.

— В охотничий магазин не зайдёшь? — спросил он отца.

Отец сидел у порога на скамейке, обувался и, не поднимая головы, ответил:

— Зайду. Купить что-нибудь?

— Не купить, а сдать.

— Беличьи шкурки?

— Хватай выше! Королевских зверьков.

— Каких королевских? — удивился отец.

Мы тоже все удивились, а мама сказала:

— Что это за чудо такое?

— А вот какое! — весело похвастался печник.

Он запустил руку в мешок и выхватил оттуда связку белых, ослепительной чистоты шкурок. Они переливались мягким светом, и лишь пуши-

стые кончики хвостов были чёрные, словно обмакнуты в тушь.

Отец как успел надеть один сапог, так в одном сапоге и остался. Он вскочил, прихрамывая, подбежал к Бабашкину, приподнял широкими ладонями невесомую связку:

— Ух ты! В самом деле красота. Но ведь это же горностаи! При чём тут королевские зверьки?

— При том,— сказал печник.— Они в заграницу идут. Их вся заграница только для королей и покупает.

Бабашкин обернулся к маме и вдруг всю эту белоснежную грудку накиннул ей на плечи:

— Смотри, чем не королева!

И тут ахнул не только отец, ахнули и мы.

Мама и взаправду стояла в горностаевых мехах, как королева. А может, ещё и лучше! Карие глаза её заблестели ещё ярче, тёмные волосы стали ещё темней. Да только мама тут же смутилась, горностаев сняла. Она спрятала их обратно в мешок и сделала вид, будто сердится:

— Тоже мне нашли королеву. Королеву из стрелочной будки!

Но отцу и мне белые горностаи крепко запали в память. Втайне от мамы мы решили сделать ей «королевский» подарок и стали с нетерпением дожидаться новой зимы. И вот, в тёплых июньских сумерках, под скрип сверчка во дворе, мы шептались о первом снеге, шептались о голубых звериных следах на нём. Да только было всё это давным-давно...

А теперь я шагаю в сторону реки, в сторону леса один, и шагаю не на охоту, а всего-навсего за козой.

Стадо встречали у переезда, за полосатым шлагбаумом. Как только солнышко начнёт спускаться за тонкие шпиль заречных елей, так почти все хозяева рогатых Маек, Мусек, Розок и Зорек тут как тут. Мальчишки, пока стадо не пришло,



играют в ножички; девчонки сидят вдоль поросшей мать-и-мачехой насыпи, поглядывают то на мальчишек, то на старух, а те не спеша, с подробностями обсуждают всё, что произошло на станции за день.

А как солнце совсем западёт за ёлки и синяя тень от них достигнет шлагбаума, так сначала со стороны реки долетит лёгкое басовитое покрикивание: «До-мой... До-мой... До-мой...» — а потом словно бы где-то совсем близко начнут ударяться друг о друга камушки: это застучат по сухим тропам острые козьи копытца. И вот стадо в облаке пыли, с шумом и толкотнёй выкатывается из оврага, а за ним шествует Минька-пастух.

Минька мужик не старый, он тяжёл, крепок и румян. Пиджак и штаны на нём в обтяжку. На голове хоть в жару, хоть в стужу лихо заломлена потасканная шапка-ушанка, на ногах берёзовые лапти. А через плечи, крест-накрест, висит с одной стороны сумка, из которой торчит горлышко молочной бутылки, а с другой — обрезок тонкой, гладко выструганной доски. К доске подвешены две короткие палки. Эта доска не просто доска, это пастушеский музыкальный инструмент.

У нас испокон веку пастухи наигрывают на сосновой доске, и называется она барабанкой. А из всех окрестных пастухов лучшим игроком на барабанке был Минька. Барабанка у него не стучала, а прямо-таки выговаривала какой хочешь мотив, хоть «барыню», хоть «семёновну». И все считали, что, если бы Минька пожелал, он мог бы выступать в нашем клубе на концертах, а может быть, даже и в самом областном городе.

Ведь Минька как возьмёт в руки палочки, да как ударит, так сразу хочется подпевать:

Барыня заболела,  
Много сахару поела.  
Ох ты, барыня!  
Вот так барыня!

Но всё же стать настоящим музыкантом Минька не мог.

«Миньке бог-то даёт, да Минька сам не берёт!» — говорила о нём его квартирная хозяйка Фёдоровна. А станционные старухи рассказывали про Минькину лень друг дружке: «Ведь он, мать



моя, каков? Он лапти, пока не сносит, ни разу не сымет. Так и спит в лаптях. Зачем, говорит, их сымать, если утром опять обуваться? А спать он до того здоров, до того, дева, здоров — ну чистый медведь! Как, значит, по первому снегу пастьбу закончит, так заработок весь до копейки вываливает на стол Фёдоровне и говорит: «Вот тебе, Фёдоровна, капитал, питай меня в сутки два раза.

В обед — раз, вечером — раз, а чаще не беспокой! Я от трудов своих отдыхать должен». И лезет, милая, на печку; и дрыхнет всю зимушку; и хоть ты из пушки над ним стреляй — не разбудишь. Только и слезает с печи в обед да в ужин. Для питания, стало быть. Ну, за зиму-то проспит, проест все денежки, а весной опять в пастухи. Верно, верно. Чего смеешься? Фёдоровна сама рассказывала».

Когда я пришёл к переезду, все мальчишки, девчонки и старухи жались к заветренной стороне низенькой стрелочной будки. Багровая заря уже отполыхала, её закрыла чёрная, тяжёлая туча. Ельник над оврагом нахмурился, и у переезда было неуютно, ветрено. Все озябли, все только и смотрели на овраг, откуда должно было появиться стадо.

Оно не показывалось. Туча закрыла полнеба. Стало почти темно. Старухи, потеряв терпение, принялись поругивать Миньку. И вдруг за рекой, в той стороне, где туча и глухие ельники сомкнулись в одну мрачную полосу, негромко, но явно всплыл заунывный вой. Он ширился, он нарастал. Он звучал всё громче, всё тоскливее, всё надрывнее. Он заполнил собой всю округу и вдруг так же разом оборвался.

— Бабы... А ведь это волки... — произнёс рядом со мной кто-то очень тихим, очень ровным, словно неживым голосом. Я обернулся и увидел седую, высокую, всю в тёмном, старуху Бабашкину. Лицо у неё побелело, губы дрожали, но она всё так же ровно выговаривала: — Бабы! А ведь они к стаду идут. Они коз порвут. Берите каменья, бабы. Берите колья, надо к стаду бежать.

И тут сразу тишина кончилась. Мы все как стояли возле будки толпой, так толпой с криком и свистом ринулись в овраг.

Бежали мы недолго. Овраг выходил к реке на широкую луговину, и козы там сбились в плотный

круг. Они не двигались, а как завидели нас, так сразу шарахнулись. Волчий вой, наверное, очень сильно их напугал.

Тут каждый ринулся разыскивать в стаде свою козу. Кто кричал: «Муся-Муся!», кто приговаривал: «Зоря-Зоря!» — и оглядывал, ощупывал Зорю — не покусана ли волками. И только минут через двадцать, когда все успокоились, когда забирались домой, вдруг спохватились: пастуха Миньки нет.

Попробовали Миньку покричать. Сначала кричали врозь, потом хором, но в ответ не прилетало ни звука.

— Неужто волки задрали?

Эти слова напугали нас ещё больше. Все говорили, что надо скорее гнать стадо по домам, надо собирать мужиков, какие остались на станции, брать фонари и, пока не поздно, прочёсывать лес.

— Может, он, Минька-то, и живой ещё.

На розыски пастуха я не попал. Мама перехватила меня по дороге домой, Лизку загнала в сарай, меня с Шуркой и Наташкой заперла на ключ и к переезду, откуда должны были начаться поиски, пошла сама.

Вернулась мама на удивление скоро. Она молча села на табуретку, развязала платок, сердито бросила на стол, принялась расшнуровывать башмаки.

Я сразу почувствовал недоброе.

— Нашли его? Что с ним? Волки... да?

Мама ответила, не поднимая головы:

— Лучше бы волки.

Потом вздохнула и сказала таким злым голосом, какого я от неё и не слыхивал:

— Сбежал он. Совсем сбежал. От армии, от фронта скрылся.

— Неправда! — закричал я.

— Нет, правда.

Сегодня утром пастух должен был явиться на сборный пункт для отправки в армию. Об этом его известили накануне повесткой. Но Минька повестку спрятал, не показал даже Фёдоровне и с утра как ни в чём не бывало ушёл со стадом на пастбище. А там стадо бросил и скрылся. Стадо бродило без пастуха, наверное, весь день и уцелело только потому, что волки, собираясь на охоту, сами известили о себе всю округу.

### Глава 3 НА СТАРОМ ЧЕРДАКЕ

Погода как сломалась в тот волчий вечер, так больше и не налаживалась.

На улице стало сыро, глухо. Деревянные дома потемнели. На мокрые, осклизлые дорожки падали с голых тополей крупные холодные капли. Грязь везде по колено, и хорошо, что ребята в школьном саду успели до этой мокряди выбраться со дна траншей, а то бы хватила горюшка. Они теперь помогали плотникам, делали толстые бревенчатые накаты.

Наша работа на чердаках тоже подходила к концу. И если говорить по правде, то мы уже давно перестали радоваться ей. Для того чтобы целый день лазать по лестницам с тяжёлыми ведрами, силёнок у нас всё-таки не хватало, да и, как говорил Бабашкин, «не тот пошёл харч».

Широкие полки в нашем продмаге теперь опустели. Магазин сразу же потерял всю свою многоцветную сытую праздничность, он стал похож на пустой, разорённый склад. Продавали в нём теперь только хлеб, и то по строгой норме.

Не так-то велика была эта норма. Выручала нас пока что картошка. Утром картошка, в обед картошка и вечером картошка. Оглядывая замет-

но опустевший картофельный участок под окном, мама говорила:

— Вот докопаем, доедим — и зубы на полку.

Маленький Шурка удивлённо таращился на маму, пробовал покачать пальцами свои крепкие, как орехи, зубы, но над этим уже не смеялись ни мама, ни я.

Желание работать на чердаке убыло ещё и потому, что я стал бояться. Побаивался я беглого пастуха. Мне всё казалось, что скрывается он не в мокрых осенних чащобах, а где-нибудь здесь, на чердаках, и мы вот-вот на него наткнёмся. Я понимал: страх этот нелепый, дезертир вряд ли станет жить под станционными крышами, но всё равно боялся.

Женьке пустынные чердаки тоже надоели. Мы оба ждали теперь, как ясного солнышка, того дня, когда снова начнутся занятия в школе. Настроение нам поднимал только дед Бабашкин: он всё нахваливал нас, даже посулил написать о нашем старании письмо моему отцу.

— А то, что писать пока некуда, так это беда временная. Не такой он мужик, чтобы пропасть. От меня в гражданскую войну старуха тоже целый год вестей ждала, а вот, гляди, я тут и вместе с вами в глине пахтаюсь!

А когда к нам заглянул Валерьян Петрович и спросил, как дела, то и нас с Женькой старик назвал мужиками:

— И тот и другой — мужики что надо! Характер есть.

Слушать про себя такие хорошие слова было приятно, и пускай работа надоела — мы опять старались изо всех сил. Тем более что осталось-то нам побывать на чердаке дома, в котором находилась квартира самого Валерьяна Петровича.

На первый взгляд этот дом был таким же, как все станционные дома. Деревянные, обшитые стены его покрашены охрой, железная кровля темна

от старости, а над ней покачивают голыми ветками древние дуплистые тополя. Но в доме, на удивление всем остальным поселковым жителям, был действующий водопроводный кран, и поэтому о доме, о его прошлом ходили среди мальчишек самые невероятные, почти сказочные слухи.

Одни говорили, что здесь в старые годы ночевал проездом царь и водопровод ему во временную квартиру провели за один вечер.

Другие над такой легендой смеялись и говорили, что если царь и проезжал, то носа наверняка из своего салона-вагона не показывал. Больно ему, царю, надо на нашу станцию смотреть! А жил-то в доме и долго в нём работал знаменитый инженер-путеец. Тот самый инженер, который построил самую длинную в России дорогу от Москвы до Тихого океана.

Но так говорили мальчишки, а взрослые утверждали совсем другое.

Отец, когда услышал от меня обе легенды, тоже рассмеялся и сказал:

— Дело было вовсе не в старые годы, а после революции, в одна тысяча девятьсот двадцатом году. В день Первого мая. Собрались в тот день у вокзала деповские и путейские рабочие, а Серёжка, то есть дядя Серёжа, первый по всей станции комсомолец, никого не спрашиваясь, влез на трибуну и говорит: «Ну что? Чем светлый праздник рабочей весны отметим? Постоим, поговорим, да может, как в святую пасху, к домашним закускам разбежимся? Нет, давайте-ка придумаем что-нибудь новенькое? Что-нибудь наше, рабочее». Вот тогда всем миром и придумали устроить небывалое: провести домашний водопровод. И не для кого-нибудь провести, а для ребятишек и для их учителя. В доме этом тогда только что открылся интернат для школьников из дальних деревень, а при нём и Валерьяна Петровича поселили.

— Неужели прямо так вот, в праздник, и работали? — не поверил я.

— Прямо так вот, в праздник, и работали. Насобирали в депо по кладовым кое-каких труб и сделали. От нашей старой колонки до интерната.

— Ты тоже делал?

— Нет. Мне чести такой рабочие не оказали. У меня тогда на губах молоко ещё не обсохло. Но зато я жил в этом интернате и всё видел. Вышли деповские под музыку, под гармонь, жёны и те набежали. А когда из крана пошла вода, веселья было — хоть отбавляй! Облили первомайской водичкой всех нас, интернатовских ребят; окатили, не постеснялись, и Валерьяна Петровича. А потом поймали Серёжку и давай качать. Качают и горланят всю: «Ну и комсомол! Ну и башковитый!» Отличный Первомай у нас тогда на станции получился...

Вот в этом-то доме и осталось нам обмазать чердачные стропила, а потом — всё, а потом, глядишь, и начнутся занятия в школе. Если, конечно, к нам не прилетят фашисты, если война не повернёт всё по-своему.

В тот вечер, когда мы собрались переходить на интернат, печник нам сказал:

— Нынче уж поздно, темно. Вы, ребята, снесите туда инструмент, вёдра и ступайте по домам. А я тоже на печку. Что-то ломает меня. Должно быть, к непогоде.

Взяли мы с Женькой вёдра и побежали к директорскому дому. Лестница там такая же крутая, как везде, но мы взлетели по ней в один миг. На чердаке уже совсем залегли потёмки, только в слуховых окнах чуть брезжил свет. Мы бросили вёдра и, низко наклоняясь над стропилами, полезли к ближнему окну.

Я смахнул со стекла паутину и увидел внизу директорский огород. Картошки там было меньше



нашего, почти все грядки заняли цветы. Многие из них от первых осенних заморозков увяли, но астры ещё пылали всюю.

А чуть дальше виднелся наш домишко. Со стороны он выглядел ничего себе, симпатично, только соседский с ним дом Бабашкиных был красивее. Над его белой трубой возвышался жестяной петух, окна в резьбе, крытое крыльцо и веранда сверкают даже сейчас, в сумерках, красными, жёлтыми, синими стёклами. А вокруг дома — яблони. Плоды с них старуха Бабашкина уже собрала и, наверное, рассыпала по всему полу прохладной веранды. Так у нас делают все: прихваченные первым холодком кисловатые здешние яблоки становятся духовитее, слаще.

Пока я заглядывал в окно, Буслай нашёл за стропилами удочки Валерьяна Петровича. Мы потрогали поплавки, шёлковые лески, вздохнули, позавидовали, стали пробираться через весь чердак к другому окну, и в темноте я стукнулся.

Я охнул и зажмурился, а Буслай вдруг как дёрнет меня за рукав и шепчет:

— Тихо! Смотри...

Я глянул и вижу: рядом с печной трубой ветхое тряпье, горка морковной ботвы и жестянка с водой.

— Ясно,— говорю.— Интернатские пацаны тут краденую морковку хрупали.

А Буслай опять зашипел — тише, мол! — и шепчет мне прямо в ухо:

— Ничего себе пацаны! Глянь-ка на следы-то. Тут взрослый человек спал.

В самом деле, тряпье было разложено как постель, даже с изголовьем. Там ещё и теперь оставалась неглубокая вмятина — кто-то лежал недавно. А рядом, на толстом слое пыли,— огромные отпечатки сапог. Я как глянул на них, так даже попятился и тоже шёпотом говорю:

— Слушай... А вдруг это знаешь кто?

— Кто?

— Вдруг это пастух Минька?

Сказал я это и чувствую: надо нам отсюда сматываться. Поворачиваю назад, а Буслай ухватил меня за руку и не пускает.

— Нет,— говорит,— это не Минька. Если бы Минька, то следы были бы от лаптей, а тут в кожаных обутках наслежено. Видишь, на каблуках как бы подковки привинчены, а на подошвах какие-то кругляши. Броде шипов.

— Точно, кругляши. У нас такой обуви никто и не нашивал. Кто бы это мог быть?

Буслай пожимает плечами, оглядывается. Я тоже оглядываюсь.

Вокруг стало ещё мрачнее и темней. В углах чердака тьма кажется косматой, она словно шевелится и тянется к нам.

— А вдруг он здесь? — шепчу я.

— Нет. Следы уходят обратно к лестнице.

— А если вернётся?

— Ну, если...— собрался ответить Буслай, да тут на чердаке кто-то вздохнул. Потом вздохнул ещё раз, потом в третий раз, и мы вылетели с чердака на лестницу, почти не задевая ступенек, скатились вниз.

Отбежали мы от лестницы, глядим на чердак. А с чердака за нами никто не гонится, всё вокруг спокойно. По тропе от колонки идёт старуха Бабашкина с вёдрами на коромысле; недалеко двое маленьких мальчишек — Шуркины приятели, Тоська да Васька, оба в красных шапках,— заходят на ночь в сарай сердитого гусака; за сараем кто-то колет дрова, слышны удары топора.

А над нами стоит старый дуплистый тополь. Одна длинная ветвь чуть покачивается над карнизом дома. Когда она задевает карниз, раздаётся шорох, похожий на короткий вздох: «Ох-х...» Потом опять: «Ох-х...» — и так без конца, потому что ветку раскачивает ветер.

Мы так и повалились со смеху. Страх у меня пропал, мне стало легко.

А Женька вдруг смеяться перестал, ткнул меня пальцем в грудь и говорит:

— Что это мы хохочем? Дело-то серьёзное.

— Какое дело? — не понял я.

— Какое, какое... Сам не понимаешь, какое? На чердаке-то шпион!

Я так и замер. И стоял с открытым ртом, наверное, целую минуту. И лишь потом сказал:

— Да ты что?

— Вот тебе и что. Сапоги у него нездешние — это раз. От людей скрывается — два. И самое главное: ты заметил, куда завёртывают на чердаке следы? К окну! А из этого окна что видно? Железную дорогу. Наверное, он сидит и считает воинские эшелоны. Диверсанты всегда так действуют. Нет, надо нам этого шпиона поймать.

У меня пошли по телу мурашки, и я сказал:

— Так ведь его уже нет.

— Нет, так будет. Может, ему есть нечего? Может, он пошёл опять морковки наворовать, а ночью вернётся?

Я подумал: «Буслай прав. Всё, что он говорит, сходится». Но ловить диверсанта на пару с Буслаем у меня что-то не было желания. Не такие они разини, эти самые диверсанты, чтобы поддаваться мальчишкам! А вот если бы сбегать на станцию да позвать стрелка с винтовкой, тогда бы я, конечно, согласился ловить хоть трёх диверсантов сразу.

Я сказал об этом Женьке, а он мне в ответ:

— Зачем стрелок! Со стрелком-то и дурак поймает. А мы давай сами поглядим, вернётся сюда кто или не вернётся. А если вернётся, мы чердачную дверь хлоп! — на замочную накладку, и диверсант у нас в руках! Тогда уж и стрелка можно звать. На готовенькое. Представляешь!

— Точно! — сразу согласился я. — Мы его на

замочную накладку, а сами ноги в руки и — за стрелком! Только, знаешь, надо бы нам ружьё взять. Нашу берданку. Она у нас в чулане висит.

— Висит?

— Висит.

— Лети за ней! А я тут, в кустах, в сирени, посижу покараулю.



#### Глава 4

#### ВЫСТРЕЛ

Ружьё висело в холодном чулане, в сенях. Было оно системы Бердана, одноствольное, лёгкое, с винтовочным затвором.

Я тихонько, чтобы не слышали Шурка с Наташкой, снял ружьё со стены, клацнул затвором — он действовал.

Я прислонил ружьё к двери, стал искать патроны. Нашёл бычий рог с капсюлями, нашёл одну позеленевшую гильзу, а готовых патронов нигде не было. Не нашёл я и коробки с порохом. Наверное, отец истратил порох весь или поопасался оставить дома и отдал кому-нибудь из охотников. Может, деду Николаю.

Я выскочил из чулана, спрятал ружьё под козий сарай и припустил к печникову дому.

Стучаться в дверь, когдаходишь к соседям, у нас не принято, и я пулей влетел в дом Бабашкиных.

Тётка Евстолия, печникова старуха, стояла у

стола, снимала кухонной тряпкой с горячего чугуна крышку, а печник сидел за столом. Перед ним в глубокой тарелке лежали грузди, печник втыкал в них вилку и резал ножом. Он увидел меня, ничуть не удивился:

— Садись, гостем будешь. Принеси-ка, мать, и ему вилку.

Я вдохнул аппетитный груздевый дух, медленно выдохнул, покачал головой:

— Не надо. Мне некогда.

— А если некогда, рассказывай, зачем пришёл, куда торопишься.

Я чуть не выпалил, что тороплюсь ловить шпиона, да вовремя спохватился. «Нет,— думаю,— этак испорчу всю затею, да и пороху печник не даст». Я сказал:

— Женька Буслай ногу напорол. На гвоздь. На ржавый!

Старуха выпустила крышку из рук, изумлённо глянула на меня:

— Когда это? Я ведь только что вас обоих видела.

— Он только что и напорол. Кровищи натёк целый ботинок.

Тётка Евстолия как услышала про ботинок, так сразу поверила, кинулась к шкафу со стеклянными дверцами и давай там передвигать чашки, рюмки, стаканы.

А печник покрикивает, торопит:

— Да не тут ищешь, мать, не тут. Йод сверху, на маленькой полочке стоит.

Она шарит по полкам, звенит посудой, а я смотрю и думаю: «Ну, брат, и влип ты с этим враньём!»

А старуха суёт мне в руки пузырёк с йодом, толкает меня сухим кулачком в спину, кричит:

— Что встал-то? Что встал как пень? Беги скорей! Нет, обожди. Я сама с тобой пойду.

Старуха начала торопливо повязывать платок, а я совсем растерялся, подскочил к двери, ухватил покрепче скобу и говорю:

— Не надо ходить. Ему теперь лучше. И кровь у него не бежит. Это раньше бежала, а теперь не бежит. И просит Женька не йоду, а пороху.

— Что? — встал на ноги и сам Бабашкин. — Какого пороху?

— Любого. Хоть дымного, хоть бездымного. Для раны годится любой. Это известно каждому, порохом лечились запорожцы, — зачастил я, а сам чувствую: лицо и уши горят у меня жарким пламенем.

Тут печник вылез из-за стола, взялся за борт моей кацавейки, легонько потянул к себе:

— Врёшь ведь, паршивец?

Я опустил голову, согласился:

— Вру.

— А зачем врёшь? Куда вам порох?

Стараясь не глядеть печнику в глаза, я ответил:

— На рябчиков мы с Женькой собрались. Вон их сколько вокруг станции насвистывает. Утром и на охоту сбегает, и на работу поспеем.

Печник отпустил мою кацавейку и вдруг утвердительно кивнул:

— Похоже на правду. Пороху дам. На два выстрела. Каждому по одному. Так лучше — зря пулять не станете. Но, чур, больше не врать!

— Не буду, — сказал я, а сам переступаю с ноги на ногу. Ведь Буслай-то в кустах, наверное, уже ругательски меня ругает; наверное, думает, что я сдрейфил и сижу дома.

А печник словно нарочно не торопится. Он медленно подходит к тому же старинному шкафу, вытаскивает и переносит на стол к лампе выдвижной ящик. Он аккуратно, по очереди вынимает и раскладывает на крышке стола яркие, будто позолоченные гильзы, коробки с мягкими пыжа-

ми, склянки с пистонами и покачивает головой, с усмешкой наговаривает:

— Надо же, что придумали! Порох — запорожское лекарство. Нашли старого дурака! Нет, уж если на охоту собрались, так прямо бы и сказали: дай, мол, дядя Коля, пороху. Я сам охотник. Я это дело понимаю. На баловство не дам, а для охоты дам! У вас, поди, и дробь-то нет? Поди, какой-нибудь дрянью заряжать станете?

— Угу... Дрянью! — поспешно соглашаюсь я. — Железками всякими.

— Железками нельзя. Железками ружьё испортите. Я лучше знаешь что? Я лучше вам два патрона сам заряжу, — совсем раздобрился дед Николай, а Евстолия развязывает платок, сердито вторит ему:

— Вот, вот... Заряжай! Потакай им! А они в самом деле чего натворят. Смотреть нынче за ними некому. Вот уже и врать научились.

Она замахивается на меня платком:

— У, бессовестный! — Но не шлёпает, а берёт за руку, подтаскивает к столу: — Садись, враль несчастный, ешь! Небось мать-то на работе.

И сидеть бы мне за столом как миленькому, да печник зарядил наконец патроны, туго забил их войлочными пыжами и протянул мне:

— На! Да не промажьте и пустые гильзы верните.

Я стиснул в кулаке тяжёленькие патроны, крикнул: «Не промажем!» — выкрутнулся из-под рук старухи и мигом выскочил за дверь.

А на улице уже стемнело так, что хоть глаза выколи. Я завернул к сараю, ощупью отыскал холодное, влажное от ночной сырости ружьё, взял его наперевес и побежал к директорскому дому.

Там под ветвями тополей было ещё темнее. Нынче все окна везде плотно занавешивали, на улицу из дома Валерьяна Петровича не проникал ни один лучик. В этой черноте кусты сирени ка-

зались тёмными копнами, в них шелестел ветер. Я свистнул, Буслай отозвался:

— Тебя за смертью посылать.

— Так патронов не было.

— Нашёл?

— Нашёл.

Буслай даже не спросил, где я раздобыл патроны, да на его месте и я бы не занимался лишними разговорами. Какие тут разговоры, когда кругом ночь, тьма и где-то рядом бродит шпион.

— Он ещё не вернулся? — прошептал я.

— Кажется, не вернулся. Да в таких потёмках и лестницы не видать. Но я бы слышал. Только это и хорошо, что не вернулся. На чердаке успеем спрятаться. Ружьё зарядил?

— Нет.

— Растяпа! — опять заругался шёпотом Буслай.

Он отнял у меня один патрон, ружьё и щёлкнул затвором:

— Пошли?

— Пошли,— отозвался я, а у самого ноги совсем ватные, а в животе такой холод, словно там ледышка. Но я понимаю, что это не ледышка, что это — страх. Я стискиваю кулаки и дрожащей ногой нащупываю ступеньку лестницы.

Буслаю, наверное, было тоже страшно. На лестницу он ступил только тогда, когда я поравнялся с ним. Перешагивали мы на цыпочках. Но под ногами всё равно поскрипывало. Как только скрипнет, так я тут же и замру, а Женька привскинет ружьё, и оба стоим тряsemся.

Наконец добрались до чердачной двери. Стёкла в ней хотя и слабо, но поблёскивают. Я поглядел на неё и сразу ухватил Буслая за пиджак:

— Дверь-то...

— Что дверь?

— Она ПРИКРЫТА!

— Ну и что?



— Так раньше она была ОТКРЫТА.

— Когда раньше?

— Когда мы сбегали с чердака. Я хорошо помню. Я оглянулся и увидел: дверь настежь.

Я даже повёл в темноте рукой, показал, как была распахнута дверь. Но Буслай помолчал, подумал и медленным, упрямым голосом прошептал:

— Всё равно... мы должны... туда... войти. Всё равно должны проверить.

И, вижу, он тянется стволом ружья к двери, собирается её толкнуть.

— Не толкай,— прошу я,— открывай помаленьку.

— Нет,— отвечает Буслай.— Я открою сразу, а ты, если кто выскочит, катись кубарем вниз. Я — за тобой.

И вот он толкнул дверь, она распахнулась, ударила скобой о стенку, отскочила, покачалась на петлях и — замерла.

Из непроглядной тьмы никто не выскакивал, оттуда лишь потянуло сухим, пахнущим пылью воздухом.

Мы постояли, перевели дух и плечом к плечу полезли через порог. В темноте я задел дверь, она опять стукнула, и тут...

И тут на нас рухнуло что-то огромное, свистящее, галдящее. В лицо мне ударил вихрь, сшиб с ног, я заорал:

— Женька, стреляй!

Грохнул выстрел. Он резко высветил чердак, но я ничего не увидел. Кто-то хлестнул меня по щеке, я упал, накрыл голову рукой, а другой рукой стал шарить вокруг себя, искать Женьку. Он лежал рядом, наши руки встретились. Оглушительный ор и свист начали утихать, перешли в отрывистые странные вскрики, словно кто пронзительным, тонким голосом жаловался: «Ай! Ай! Ай!» И я вспомнил, что так вот, сначала заполошно, а потом всё тише и реже, галдит испугнутая галочья

стая. Таких стай у нас развелось видимо-невидимо. Днём их излюбленным местом была тополиная роща у вокзала, а на ночь галки рассовывались по всем чердакам.

— Чёрт! — забранился Буслай. — Теперь всё. Теперь надо смазывать пятки.

А я и сам понимал: с чердака надо бежать. Выстрел наверняка поднял весь посёлок. Но Буслай с перепугу обронил ружьё, и в этой крошечной тьме мы не могли его разыскать.

Наконец я наступил на ружьё, поднял, и только мы собрались задать стрелкача, как навстречу нам блеснул свет. Он ослепил меня. В голове пронеслось: «Шпион!» — я замахнулся ружьём, чтобы треснуть врага со всех сил, но тот перехватил ружьё и говорит:

— Своих не узнаёшь?

Я моргаю ослеплёнными глазами и вижу высоко поднятый фонарь с жёлтым языком пламени, и, смотрю, держит фонарь не кто иной, как наш директор Валерьян Петрович. Только на нём не костюм, а нижняя рубаха с тесёмками, на ногах почему-то валенки.

Стоит он без шапки, бритая голова рядом с фонарём светится, брови поднялись. Он спрашивает:

— Что за ночное побоище? В кого стреляли?

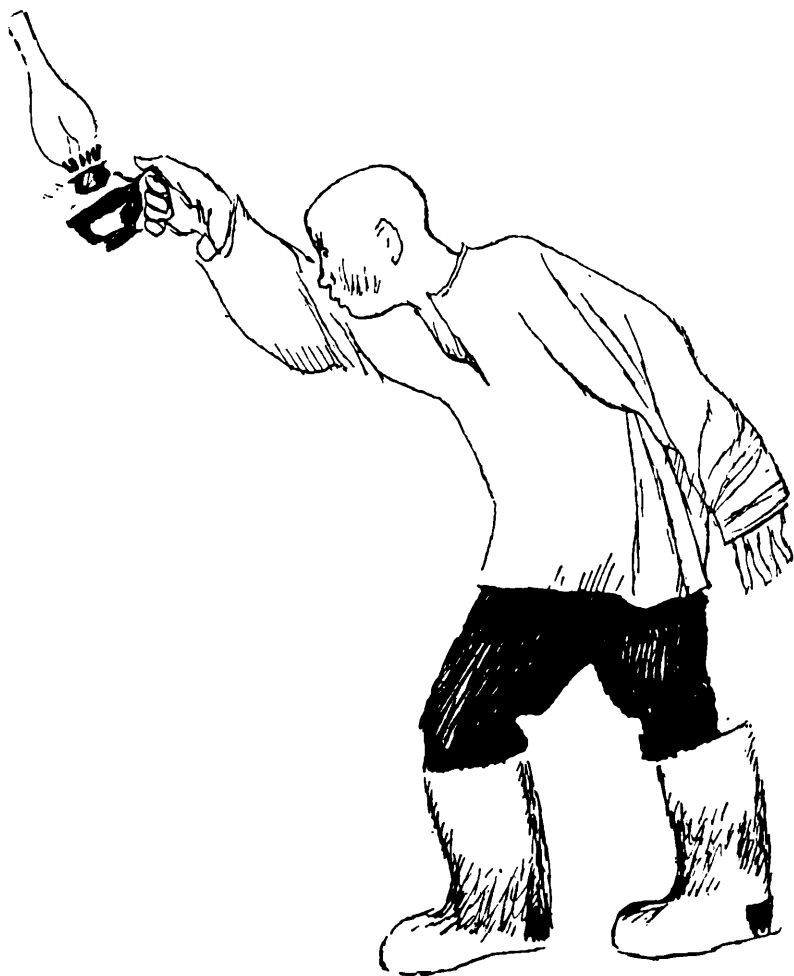
А Женька встал на цыпочки, прикрыл дрожащие губы ладонью, как ковшиком, да и говорит ему на ухо:

— Ш-шпион.

— Что-о? — ещё больше рассердился директор, и вижу, Буслая он не понял, и чувствую, вот-вот забудет про всякие там педагогические правила, спустит нас обоих с чердака с треском. Тогда уже не шёпотом, а почти криком я говорю:

— Верно, верно! Честное слово! Вы гляньте, что там за трубой!

— А что там за трубой? За которой трубой? —



недоверчиво и даже с насмешкой говорит Валерьян Петрович и направляет свет фонаря в глубь чердака.

— За той... — показываю я на кирпичную с обломанной штукатуркой трубу у окна.

Валерьян Петрович пожимает плечами, сгибается так, чтобы не зашибить голову, и лезет сквозь переплетения стропил. Мы тоже торопим-

ся за ним, но всё равно он добирается до таинственного закоулка раньше нас.

И только он скрылся за тёмной громадой трубы, как там раздался истошный вопль:

— Пусти! Я не шпион! Пусти!

Мы ринулись на голос и видим: фонарь стоит на земле, а в руках Валерьяна Петровича кто-то барахтается. Кто — разглядеть нельзя, но всё-таки видно, что маленький, даже меньше меня.

Тут мы раздумывать не стали, схватили этого неизвестного за руки, держим, а он вырывается, пыхтит:

— Отстаньте! Не лезьте! — и всё норовит нас царапнуть ногтями. И вдруг извернулся, выскользнул из наших рук, прижался к широкой трубе спиной и говорит: — Взяли, да? Взяли? Втроем одного! Эх вы, разведчики!

Мы собрались опять в атаку, да Валерьян Петрович придержал:

— Пойдите-ка.

Он поднял фонарь, наклонился к человечку и вдруг даже присвистнул:

— Девочка! Ребята, да это же девочка!

А мы тоже видим, что это девочка. Глазищи у неё злые, чёрные-пречёрные, густые космы налезли на лоб — их едва сдерживает шапка.

Только шапка эта была не шапка, а солдатская пилотка с опущенными отворотами, и башмаки на ногах девчонки тоже армейские, сорок последнего размера. Те самые кованые башмаки, отпечатки которых сбили с панталыку меня и Буслая.

Лишь пальто и чулки на девчонке были свои собственные — девчоночьи. Пальто мягкое, а чулки на коленях перемазаны глиной: ну совсем как у нашей Наташки...

Я как сравнил девочку с Наташкой, как вспомнил про выстрел, так у меня и дух захватило, и весь я заледенел от ужаса: ведь убить могли! Насмерть!

А Валерьян Петрович опустил на девчонкину голову ладонь, погладил и тихо говорит:

— Исголодалась, изголодалась, наверное. Давно тут сидишь?

— Третью ночь,— ответила девочка, шмыгнула носом, заплакала и уткнулась головой в живот Валерьяну Петровичу.

Она обхватила Валерьяна Петровича руками, а он гладит её по голове, приговаривает:

— Ничего, ничего. Всё хорошо, всё ладно. Успокойся. Теперь ко мне пойдём. Печку затопим. Чайник вскипятим. Чай будем пить. Идём?

— Идём,— вздохнула девочка, утёрла кулаком мокрые щёки, и мы направились к выходу.

На лестничной площадке Валерьян Петрович фонарь задул, мы стали спускаться в потёмках и слышим: во дворе шум, говор. Народу там собралась целая ватага, и все тревожно переговариваются, смотрят наверх, а как услышали, что мы слезаем, так бросились к лестнице.

По голосам я узнал старика Бабашкина, его старуху; даже пастухова хозяйка Фёдоровна тут; но что хуже всего — я услышал, а потом и увидел маму. «Ну,— думаю,— выплет она мне по первое число». И стараюсь укрыть ружьё за спину. А Валерьян Петрович говорит:

— Спокойно, товарищи, спокойно. Ничего страшного не произошло. Выстрел был случайный. Просто мальчики напугались.

Я подумал: «Хорошо, что не сказал — трусили! И на том спасибо». А из толпы кричат:

— Чего напугались-то? Чего? — И все обступают нас. И не миновать бы нам объяснения, да тут старуха Бабашкина увидела девочку и спрашивает:

— Это кто?

— Это наша гостья,— говорит Валерьян Петрович.

— Го-остья? Это на чердаке-то — гостья? Го-

вори толком, Валерьян Петрович, откуда она. — И старуха тут же просунулась к девочке: — Откуда ты, милая? Чья ты?

А Валерьян Петрович взял девочку за руку, говорит:

— Не теперь, не теперь. Дайте человеку прийти в себя.

Он повёл девочку в дом, ну а мы, конечно, всей толпой повалили следом.

## Г л а в а 5

### ТОНЯ

Квартира у Валерьяна Петровича меньше нашей. Комната да кухня. Дверь в комнату распахнута, и там, в глубине, светится зелёная лампа с абажуром. Лампа ярко высвечивает стол с грудой школьных тетрадей, а в зелёном полусумраке от пола до потолка тускло мерцают корешки книг. Книг столько, что со стороны кажется: в комнате нет стен, вся она построена из книг, и даже белый потолок опирается на книги. 1

И вот все как вошли, так сразу примолкли, сгрудились посреди кухни. Не удивились только мы с Женькой. В гостях у Валерьяна Петровича мы бывали не раз.

Когда-то, давным-давно, ещё первышатами, Валерьян Петрович привёл нас в эту комнату, поставил перед полками, сказал: «Выбирайте!» — а сам ушёл на кухню, потому что жил один и сам себе всё готовил. Целый час мы с Женькой метались от полки к полке, хватали то одну, то другую книгу и ничего не могли выбрать. Хотелось унести все книги сразу.

Наконец в мои руки попал увесистый том в изрядно потёртом, но дорогом переплёте. Я как увидел, что переплёт потёртый, так сразу сообразил: «В этой книжечке что-то есть! В этой кни-

жечке что-то интересное напечатано!» А когда я книгу вытащил с полки и повернул к себе зарисованным переплётом, то на меня оттуда глянула такая весёлая, такая плутовская физиономия в надвинутой на глаза нерусской шапке, что я и сам расплылся, хихикнул.

И вот пришёл Валерьян Петрович, спрашивает:

— Выбрали?

— Выбрали,— отвечаю я и показываю на эту самую книгу.

Он взял её, отставил от себя, откинул назад голову и звучно прочитал:

— Ярослав Гашек. «Похождения бравого солдата Швейка»!

Прочитал, помедлил, потом поглядел на меня, потом опять на книгу, наконец пожал плечами и сказал:

— Бери. Хорошую книгу прочитать никогда не рано.

Книга оказалась какой-то чудной. Я в ней то не понимал ни единой строки, то вдруг находил такие весёлые места, что от хохота сползал со стула. Хохотал, хохотал да и дохохотался! Я задел книгой самодельную чернильницу, пузырьёк опрокинулся, и фиолетовый поток хлынул на белые страницы. Он затопил не только середину книги, он безобразно испортил светлый переплёт.

Это было так ужасно, что сначала я окаменел. А потом схватил резинку и давай тереть. Тёр, тёр, но чернила только размазались, вид у книги стал ещё страшнее. Я бережно завернул её в газету и поплёлся к Валерьяну Петровичу. «Ну,— думаю,— всё! Не видать мне больше ни одной книжечки...»

А Валерьян Петрович как развернул газету, так сразу лицо его стало длинным, глаза огромными, и он произнёс всего лишь навсего: «М-м-да!»

А я и одного слова сказать не мог. А я и

смотреть на Валерьяна Петровича не мог, до того мне горестно. Стою молчу, и Валерьян Петрович молчит.

Потом он вздохнул, покачал головой, опять произнёс: «М-да!» — и поставил книгу на полку.

Я тоже вздохнул и поплёлся к двери. Но только подошёл к ней, как слышу:

— Ты куда?

— Домой,— отвечаю.

— Знаю, что домой,— говорит Валерьян Петрович.— А почему без книги? Иди выбирай новую.

И опять я выбирал книги, какие хотел. Да мало того что выбирал, а порой Валерьяну Петровичу некогда, он задержится в школе, так забежишь к нему прямо в кабинет, скажешь: «Валерьян Петрович! Мне бы книжку сменить», и он тут же открывает письменный стол, вынимает из ящика ключ, говорит: «На! Меняй. Только ключ обратно занеси».

Ключ старинный, кованый, с медной пайкой на дужке; он так длинен, что торчит в обе стороны из моего кулака, и я его держу крепко. Я не прячу его в карман и тогда, когда бегу от школы к дому директора, и тогда, когда роюсь там в книгах и когда несусь с книгой обратно. Этот ключ дороже для меня всего на свете! А может, и не сам ключ дорог, а что-то другое, чего я объяснить не могу...

Стою я на директорской кухне, припоминаю историю со Швейком, а все тоже стоят посреди кухни и тоже заглядывают в книжную комнату. Валерьян Петрович забежал туда, схватил венский стул, поставил его рядом с кухонным столом и говорит девочке:

— Садись!

Для нас для всех он вынес ещё пару стульев, смущённо развёл руками — больше, мол, нет! — но мы садиться не стали. Мы стали глядеть, что будет дальше.



А дальше Валерьян Петрович открыл дверцу стола и начал выкладывать припасы. Он вынул тонкий ломоть хлеба, початую бутылку молока, белую чайную чашку и принялся в глубине стола выискивать ещё что-то, да ничего больше не нашёл.

Тогда он загромыхал чайником, подставил его под струю знаменитого крана и на широком шестке печки, которая занимала половину кухни, стал накачивать примус. В кухне запахло керосином, копотью, примус загудел.

Мы молча смотрели, как Валерьян Петрович возится с примусом, и лишь юркая, с блестящими, как у мышки, глазами Фёдоровна подошла, потрогала запотелый от холодной воды кран, сказала:

— Господи, какая благодать!

Все улыбнулись, и тут, глядим, девочка постояла, постояла и, как была, прямо в пальто, прямо в солдатской шапке, села за стол. Валерьян Петрович быстро перелил молоко из бутылки в чашку, подвинул девочке, и она обеими ладонями охватила чашку, поднесла к губам.

Глотала она торопливо. Держала белую чашку в тёмных ладонях крепко, словно боялась, как бы кто не отобрал. Когда чашка опустела, девочка смахнула рукавом с губ молочные усы, схватила хлеб, стиснула в кулаке и пальцами другой руки принялась отщипывать кусочки, быстро совать в рот. Пальцы у неё были грязные, но я подумал: «До мытья ли тут...»

А женщины — Фёдоровна, мама — пригорюнились, глядя на девочку, старуха Бабашкина отвернулась и начала утирать глаза концами своего чёрного толстого платка.

Когда девочка хлеб съела и, сложив на столе руки, опустила на них голову, старуха подошла, спросила:

— Как хоть тебя зовут-то? Скажи, дитятко. Девочка, не подымая головы, обернулась лицом к старухе, разлепила губы:

— Тоня.

— Откуда ты, Тонюшка? Говори, не бойся. Говори.

— Из эшелона... — отозвалась девочка.

Старуха удивлённо повела глазами в нашу сторону, будто это не девочка, а мы озадачили её непонятым ответом.

— Как же с эшелона, когда тебя нашли на чердаке?

А девочка, всё так же припав щекой к столу, говорит:

— Я вам, бабушка, правду сказала. Из эшелона я, из ленинградского.

— Отстала, выходит?

Девочка пожала плечами, ничего на этот вопрос не ответила. А дотошная старуха всё выпытывает:

— Папа-то с мамой у тебя где? В эшелонё, что ли, остались?

— Нет, они остались в Леңинграде. Папа в ополчении, мама в госпитале. Как только папа ушёл на фронт, так мама сразу поступила в госпиталь санитаркой, а меня с детским эшеленом отправила в тыл.

— Одну-то? — всплеснула руками Фёдоровна. — Одну-то? Господи владыко, да как у неё, у твоей мамы, сердце не лопнуло? Да разве так можно?

Девочку словно кто подтолкнул. Она вскочила, стукнула кулаком по столу, закричала:

— Можно, можно, можно! Вы ничего не знаете, вы ничего не видели, не смейте так говорить про мою маму! Она лучше всех! Она смелая! Она Ленинград защищает, а вы...

Девочка заплакала, уткнулась лицом в ладони, а Фёдоровна испуганно замахала:

— Что ты, что ты? Господь с тобой. Я ведь так. Я ведь жалеючи.

Евстолия широким движением руки отодвинула Фёдоровну от стола, пробасила:

— Ну ты и бестолочь, Фёдоровна! Уж коли так, то стой и молчи.

Она взяла девочку за плечи, тихонько усадила на стул.

— Не слушай её, дитятко. Она у нас всю жизнь такая: не в строку лыко. Сказывай, к нам-то как попала.

Наша мама тоже сердито посмотрела на Фёдоровну, а Валерьян Петрович стал утешать девочку. Говорил он совсем не так, как Евстолия, безо всяких там «дитятко», «Тонюшка», «милая», и по головке больше не наглаживал.

— Успокойся, Тоня. У нас тут, понятно, не фронт, не Ленинград, но мы понимаем, какая у тебя отважная мама. Это ясно каждому и, конечно, Анне Фёдоровне. Она просто поторопилась.

Фёдоровна, услышав, как её навеличивают по имени-отчеству, поджала тонкие губы, победно глянула на Бабашкину: вот, мол, тебе! Слушай, как учёный-то человек меня называет. А Тоня опять было всхлипнула, да Валерьян Петрович успокоил её, и вот потихоньку да помаленьку мы узнали, как девочка попала к нам.

Таинственного тут ничего не было. Просто-напросто Тоня в пути решила сбежать. Она думала, что как-нибудь сумеет вернуться в родной город, что найдёт там госпиталь своей мамы и тоже поступит в него санитаркой.

— Думаете, не взяли бы? — хмуро из-под густых бровей глянула Тоня. — Конечно, взяли бы! Ведь я же ленинградка, в пионерском лагере в санитарном звене была.

«Молодец, — подумал я про Тоню. — Я на её месте тоже бы сбежал. Только убегал бы я поумнее».

Тоня, по-моему, всё сделала не так, как надо.

Во-первых, к побегу она не подготовилась, а как была ночью в одних лёгоньких туфлях и даже без платка, так прямо из вагона и выскочила под дождь, под ветер. И это в нашу-то непролазную грязь, это в самый канун зимы! Нет, пускай Тоня говорит, что на её чемодане прикорнула начальница, я бы всё равно чемодан из-под начальницы выхватил, и, пока бы она спросонья поняла, в чём дело, меня уж и след простыл!

А во-вторых, Тоня и дальше поступала бестолково. Уехать от нас можно лишь на санитарных поездах или на воинских эшелонах; и вот, как только эшелон остановится, Тоня бегаёт вдоль теплушек, вся измокшая, простоволосая, и просится к бойцам. Те спрашивают: «Куда тебе надо?» А она, простофиля, отвечает: «В Ленинград!» Но ведь Ленинград — это фронт, а кто возьмёт на фронт девчонку? Никто! Не положено.

А вот если бы Тоня говорила, что ей надо всего лишь до следующей остановки — у меня, мол, там бабушка живёт, — то бойцы Тоню, может быть, и подвезли бы. А на другой остановке опять про бабушку-старушку рассказать можно. Глядишь, так бы с поезда на поезд и пересаживалась, так бы до самого места и доехала.

Эта ценная мысль мне так понравилась, что я взял да и высказался вслух.

— Вот, — говорю, — как надо делать-то! А не так, как ты, наобум лазаря.

Женька тоже кивает головой.

— Конечно, — говорит, — конечно! Таким манером хоть куда доедешь.

Но только я высказался, как — трах! — мама отвесила мне подзатыльник: не учи людей чему не надо. Не лезь, куда не просят.

А Валерьян Петрович говорит:

— Учи не учи, дело теперь не в этом. В Ле-

нинград теперь вообще не попасть. Он в кольце, в блокаде.

— Я знаю,— вздохнула Тоня.— Теперь знаю. Мне об этом солдат с эшелона сказал. Дядя Хаким.

— Не Хаким. Аким, наверное,— строгим басом поправила Евстолия.

— Нет, Хаким.

— Нерусский, что ли?

Тоня кивнула головой, а старуха осторожно потрогала её напыленную колпаком пилотку, спросила:

— Шапкой-то экой несуразной уж не он ли тебя одарил?

— Почему несуразной? Велика она мне, вот и всё. Так ведь дядя Хаким вон какой огромный! Из теплушки на землю прямо без лесенки вышагнул.

— Ну да! — не поверил Женька, который считал, что выше его отца никого и на свете нет.

— А вот и вышагнул,— настояла Тоня.— А усищи у него знаете какие? Вот такие,— приложила Тоня пальцы обеих рук к своему чумазому лицу.— Он говорит, а они шевелятся!

— Матушки, страх какой,— перекрестилась Фёдоровна.— Поди, отругал тебя?

— Нет, не ругал. Он добрый. Он отдал мне почти всё, что у него в мешке было. Вот эти башмаки, подобувки да банку тушёного мяса. А ещё он мне свой адрес дал.

Все сразу загомонили:

— Адрес-то зачем? Ведь солдат не домой, на войну поехал.

— Ну и что. Дома у него семья осталась. Он говорит: «Поезжай лучше не в Ленинград, поезжай в Казань, передашь от меня салям, в моей семье дочкой будешь». И вот прямо у вагона, под дождём, адрес написал.

Тоня потрогала карман пальто, как бы под-

тверждая, что адрес тут, в сохранном месте, а в это время Анна Фёдоровна опять не вытерпела, опять сказанула:

— Ну и ну! Гли-ко, что деется: нехристь, а русское дитя пожалел.

И только она так сказала, как все, даже Валерьян Петрович, нахмурились. А моя мама говорит:

— Дались тебе, Фёдоровна, христи да нехристи. При чём тут это? Вон, слышь, у фашистов даже на пряжках написано: «С нами бог!» — а что они вытворяют? А Минька, жилец твой бывший? Ведь он тоже веровал, он тоже на пару с тобой господу свечки ставил, а что толку? Кем теперь Минька стал? Предателем, дезертиром! Так это он, что ли, дитя пожалеет, а?

— Что жилец? Что Минька? — взвилась Фёдоровна. — Минька сам по себе, я сама по себе. Я за Минькины грехи не ответчица.

— Вот, вот, — поддакнула старуха Бабашкина. — У вас, у богомольцев, завсегда так. Как молиться, так стадом; как до дела, так врозь. Моя изба с краю, я ничего не знаю. !

— Типун тебе, тётка Евстолия, на язык! — сказала Фёдоровна. — Ну почто ты меня не любишь? Почто встаёшь поперёк каждого моего слова? Вот если Катерина шумит, так ясно отчего. У неё мужик на войне, на руках трое. А ты? Ребятишков тебе бог не дал, заботиться, выходит, не о ком, да и старик твой дома. Сидишь ты за ним как у христа за пазухой.

Анна Фёдоровна ткнула вгорячах рукой в сторону деда Николая, я глянул на него, на тётку Евстолию и чуть не засмеялся. Малорослый, сморщенный печник был своей старухе едва ли не по пояс, и поместиться у него за пазухой тётка Евстолия никак не могла.

Я усмехнулся, прикрыл рот ладонью, да всё равно Анна Фёдоровна заметила:

— Нечего сказать, хорошенькое дельце! Ведь это он, лешак, надо мной надсмеивается. Сначала, значит, меня тут осрамили по-всякому, а теперь надсмешки строят. Нет, Валерьян Петрович, не про вас будь сказано, вы-то умный человек, а только здесь я не компания. Пошла я!

Она решительно растолкала всех и хлопнула дверь. В это время закипел позабытый чайник, крышка забренчала, кипяток плеснул на огонь, примус фыркнул, зашипел. Валерьян Петрович схватился за ручку чайника, обжёг пальцы. Он помахал ими, подул на них и сердито сказал мне:

— Вышло не очень красиво. Нехорошо вышло. Над чем тут было смеяться?

Веселье у меня сразу пропало, я говорю:

— Да ведь не над ней же... Я просто так. Нечаянно.

— Нечаянно? Всё у тебя нечаянно,— совсем рассердилась мама и, вижу, опять прицеливается к моему затылку.

Но тут вступилась тётка Евстолия.

— Отвяжитесь от парня. Сами все с ума посходили, сами всё запутали. Вот ведь о ком разговор-то идёт, вот ведь,— указала она обеими руками на Тоню.

А Тоня, глядя на нашу бестолковую компанию, тоже чуть-чуть усмехнулась, потом опять насупилась:

— Что про меня говорить, я всё рассказала.

— Как всё? — удивился Женька. — А на чердаке зачем пряталась?

— Где же мне прятаться? На улице тьма, холод, а в Казань так вот сразу тоже не уедешь.

— Неужто и в самом деле в Казань собралась? — воскликнула старуха.

— Куда же мне теперь?

— Лучше бы в детский дом,— нерешительно подсказала мама.

— Где он, детский дом? — сказал Женька. — У нас его нет.

— Есть, — медленно и почти грустно проговорил Валерьян Петрович. — Детский дом есть в районе. Пойдѣшь туда, Тоня?

Тоня пожала плечами, задумалась. А Валерьян Петрович снял с примуса чайник, принялся выставлять на стол чашки, блюда и, не дожидаясь Тониного ответа, вдруг заговорил бодрым голосом:

— Вот и славно! Поживѣшь у меня денёк-два, а там я выберу время, найду лошадь, и мы махнём с тобой на новоселье. А теперь давайте все вместе пить чай. На стулья доску положим. У меня доска есть.

Говорит он так и даже вроде бы чуточку посмеивается, но я-то вижу: глаза у него не очень весѣлые и от девочки он всё время отворачивается.

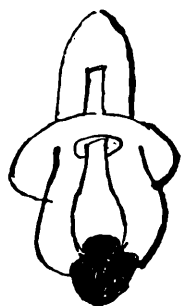
«Жаль ему Тоню. В детский дом отправлять жаль», — догадался я.

А Тоня всё смотрит на Валерьяна Петровича, всё следит за ним. Куда он направится, туда и она голову повернѣт. И вот, как только он подвинул к ней чашку с чаем, Тоня этак тихонько дотронулась до его руки:

— А можно, я с вами останусь? Можно? Я буду помогать. Я всё вам буду делать. Я дома и полы мыла... и бельѣ... и на кухне. Можно, а?

Валерьян Петрович даже головой в сторону повѣл, словно ему стало больно. Он осторожно высвободил руку, подвинул к себе свободный стул и сел напротив Тони.

— Слушай, — сказал он и медленно положил свою толстую ладонь на Тонино плечо. — Слушай! Не могу я... Честное слово, не могу.





Хотел бы, но не могу... Невозможно мне это сделать.

— Почему? — прошептала Тоня.

— Я, девочка, тоже на фронт уйду. Когда — не знаю, но уйду. В райкоме заявление моё лежит.

— Заявление? Да ты что? — громко и удивлённо вдруг заговорил совсем было примолкший печник. — Да ты же из возраста вышел! Твой год не берут.

— Добровольцем возьмут. Не станут брать — добьюсь, — спокойно ответил Валерьян Петрович.

— А школа? А ребят учить?

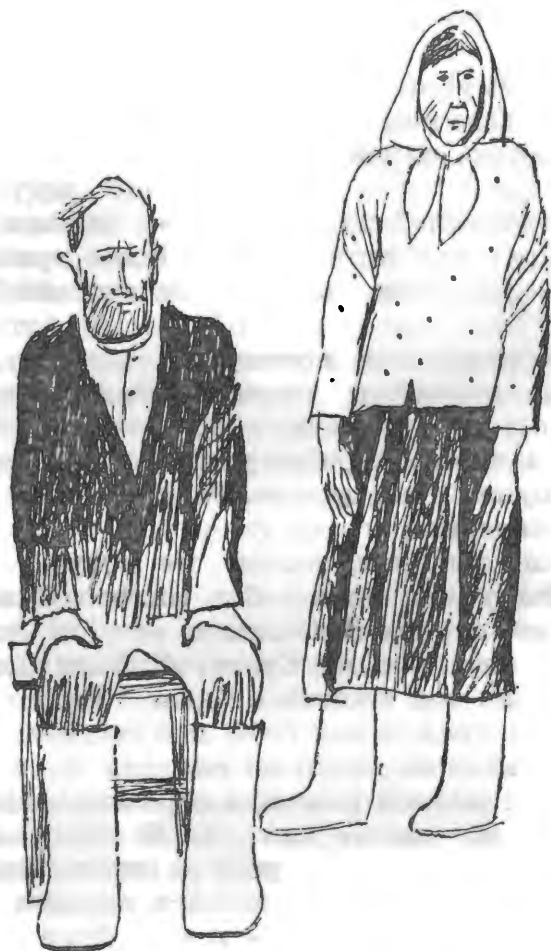
— Поучат пока другие. Те, кто и в самом деле не могут воевать.

— Ишь ты! Они, значит, не могут, а ты сможешь. Ты у нас вояка, без малого Суворов... — горько усмехнулся Бабашкин.

— Что же, что не Суворов? Если надо, смогу, — всё так же спокойно сказал Валерьян Петрович. А я представил себе, как он, толстый, лысый, с одышкой, будет выглядеть в солдатской пилотке, в зелёной стёганке с ремнём. Мне стало грустно.

Сразу увиделось и другое — школа без нашего директора. Вернее, я попытался представить это, да не смог. Ну не смог — и всё! Ведь всю свою жизнь я знал: если школа, то это, значит, и Валерьян Петрович. Если Валерьян Петрович, то это, значит, и школа. Одно без другого никогда не существовало и существовать не может, по крайней мере, для меня...

Я так задумался, что перестал слушать, о чём говорят дальше; только вижу, старики Бабашкины делают друг другу какие-то знаки, перемигиваются и всё поглядывают на Тоню. Потом тётка Евстолия наклонилась к печнику и давай что-то нашёптывать ему на ухо. Она шепчет, а печник



слушает, потряхивает головой. Видно, что со старухой он в чём-то согласен.

И вот она выпрямилась и велит старику:

— Сказывай. Не тяни, сказывай!

Старик ещё раз кивнул, расправил ершистые усы, переложил шапку из одной руки в другую и говорит:

— Петрович, послушай-ка... Вот мы со старухой пошептались и надумали: не взять ли нам Тонюшку-то к себе? Ну что ей, в самом деле,

в приют идти? У нас ей будет не хуже. Сам знаешь, нам не впервой.

Печник прижал шапку к груди, заглянул директору в лицо и, не дожидаясь ответа, обернулся к девочке:

— Пойдёшь, Тоня, к нам?

Тоня вспыхнула, потупилась:

— Не знаю...

А Валерьян Петрович подумал и говорит:

— Соглашайся, Тоня. Это добрые люди. С ними и вправду не пропадёшь.— Потом улыбнулся и добавил: — У них будет тебе не хуже, чем в самой Казани. А ко мне, пока я здесь, будешь приходить в гости. Хорошо?

Тоня тихо опустила и подняла голову: хорошо, мол, что же мне другое-то остаётся делать? По всему её виду было понятно, что ей больше хочется остаться у Валерьяна Петровича.

Но тут уж командовать принялась тётка Евстолия. Тоне она обрадованно сказала:

— Вот и ладно, милая. Вот и ладно! — А нам всем, будто хозяйка, отдала приказ: — Не пора ли, гости добрые, по домам?

Она застегнула Тоне, как маленькой, пуговицы на пальто, взяла её за руку, повела к двери. Валерьян Петрович спохватился, крикнул:

— Подождите! А чай-то?

Но старуха махнула рукой, мы поневоле пошли за ней следом. Так директорского чая никто и не попробовал.

## Глава 6

### ОСЕННИЕ КОСТРЫ

На другой день утром мы не работали. Печник ушёл вместе с директором по начальству выхлопывать для Тони документы и нас с Женькой отпустил по домам.

Но и дома у меня были дела. Мы всё ещё не выкопали картошку, а время наступало такое, что вот-вот полетят белые мухи. Мама тоже сегодня работала не в день, а в ночь, утро у неё было свободное. Мы собрали Наташку в школу — у неё-то занятия не отменялись, — а Шурку взяли с собой и отправились в огород.

Про вчерашний выстрел мама даже и не вспомнила. Только когда брала из чулана корзину, глянула на ружьё, разыскала на полке замок и чулан заперла. У нас мама всегда так: ежели что натворишь, выдаст тебе сгоряча, а дальше — всё! Дальше сам помни. Мама сто раз напоминать не будет.

На картошку мы каждую осень брали спички. И хотя огород наш был рядом с домом, мы всё равно затевали костёр. На костре жгли сухую ботву, а главное, пекли картошку. Это весёлое правило завёл отец, и огонь разводил он всегда сам. Нынче я тоже решил зажечь огонь, только не спичками. Спички стали выдавать в магазине по норме, и мы старались их попусту не палить.

Я набрал совком из горячей печи жарких углей и вынес их в борозду подальше от дома. Шурка насобирал щепок, и костёр у нас быстро разгорелся. Сверху мы навалили вялой ботвы. Сначала от неё повалил душный дым, но ботва на огне высохла, занялась пламенем и вскоре осыпалась в костёр лёгким пеплом. Когда сизого, с быстрыми искрами пепла накопился слой, я выдернул из влажной земли картофельный куст, выбрал несколько небольших, гладких и розовых, как махонькие поросята, клубней и зарыл в пепел. Большие картофелины сажать в костёр не годится: сверху они обгорят, а сердцевина останется сырой и будет горькой.

Шурка подкладывал щепки в костёр, а мы с мамой принялись за работу. Сначала я взялся за

лопату, а мама пошла с корзиной по раскопанной, пахнувшей осенней свежестью борозде. Она собирала картошку, но вдруг охнула, с трудом выпрямилась и говорит:

— Не могу я, Лёня, в наклон. Спина разламывается. Видно, надсадилась вчера, когда меняли рельс.

— Какой рельс?

— Какой, какой! Знамо, не костяной — железный. Будто сам не понимаешь какой. Вчера на стрелке мы старый рельс выкинули, поставили новый. А движение теперь на дороге тоже известно какое. Эшелон за эшелоном жмёт впритык, времени на ремонт — в обрез. Бегом хватай, бегом неси, без оглядки укладывай! А в рельсине десятки пудов... А работников не лишек, да и все женщины. Рельсину-то новую мы стали, сынок, на бровку поднимать, а она у нас нечурахом обратно вниз пошла. Ну, я и поддержала, да, видать, через силу. Так ведь тому, кто внизу был, могло ноги отдавить, а то и похуже.

— Может, ничего? Может, пройдёт?

— Может, и пройдёт. Ты дай мне лопату, не в наклон мне лучше.

Мы поменялись местами. Теперь собирать картошку стал я. А как наберу полную корзину, так несу поближе к Шуркиному костру, высыпаю на землю. Пускай картошка пообветреет, пообсохнет.

За работой наш с мамой разговор я постепенно забыл. Да и денёк нынче устоялся очень славный, спокойный. Только в московской стороне, там, где война, всё погромливало да погромливало.

Тёмные тучи за ночь ушли на север. Небо, хотя и без солнца, в беловатой пелене, стало высоким, лёгким. По всем дворам, радуясь погоде, кричали петухи. Далеко-далеко, где-то за краем осенних полей, залиvisto и трубно лаял гончий пёс. Наверное, поднял с лежбища и гнал зайца. Наверное, его хозяин-охотник на войне, и пёс мчит по

кругу, по полям, по звонким берёзовым переле-  
скам теперь в одиночку.

Почти со всех огородов поднимались невесомые  
столбики дыма. Там тоже взрослые копали, а ма-  
лыши пекли картошку. С уборкой припоздали  
нынче не только мы.

Работалось хорошо, споро, да и некопанных ряд-  
ков оставалось не так много. Мама всё чаще по-  
глядывала на них:

— Кабы знато было, посадили бы больше.  
В поле посадили бы, целины прикопали бы. На тот  
год прикопаем обязательно.

— Неужто, мама, и на тот год не кончится  
война?

— Кто знает, сынок. Похоже, не кончится.  
Фашист-то всё прёт и прёт, и нет ему уко-  
роту.

— Укорот будет. Сама говоришь, день и ночь  
идут эшелоны к фронту. А ведь это всё бойцы,  
пушки, танки. Остановят они фашиста. Ещё как  
остановят!

— Когда остановят-то? Не пришлось бы нам до  
той поры самим складывать чемоданы.

И тут я впервые в жизни заорал на маму. Так  
заорал, что сам чуть не оглох от собственного  
крика:

— Когда, когда! Когда надо, тогда и остано-  
вят! Нас не спросят. Ты что, маленькая? Ты что,  
не понимаешь? Может, их специально заманива-  
ют! Может, им кутузовскую ловушку готовят.  
А потом ка-ак врежут! Ка-ак врежут! — И я пнул  
землю, и ещё раз пнул, показывая, как врежут  
фашистам.

Шурка увидел это и давай тоже пинать комья,  
и тоже закричал тоненьким голоском:

— Ка-ак врежут, ка-ак врежут!

А мама стоит, лицо у неё растерянное, не по-  
нимает: чего это я так разошёлся?

Я и сам взглянул на неё, на Шурку и подумал:

«Чего это я ору? Она-то при чём?» И мне стало до того неловко, хоть провались.

— Ладно,— говорю,— это я так. А картошки весной посадим столько, что хватит на весь будущий год. Я сам вскопаю новый участок, а устану — позову Шурку. Будешь помогать, Шурка? — понарошку обращаюсь я к малышу.

— Буду! Я как начну копать, как начну — шибче трактора,— отвечает с готовностью Шурка и солидно дважды утирает черноватым кулаком подтаявший у костра нос. Под носом, почти от уха до уха, сразу появляются блестящие, словно сапожным кремом наведённые, усы.

— Ну, ну... помощничек. Иди-ка сюда, пахарь,— говорит мама и чистой изнанкой фартука легонько захватывает Шуркин нос: — Выколачивай копилку-то!

Шурка надувается, с великим шумом и старанием исполняет приказ. Мама переменяет конец фартука, стирает с круглых щёк братишки лакированные усы. Глаза у мамы добрые. Я вижу, она не сердится, но всё равно мне хочется сделать для неё что-нибудь хорошее. Сделать немедленно, сейчас же.

Я бегу к костру, разгребаю угли, вытаскиваю одну картофелину. Она очень горячая, жжётся, но подгорела только чуть-чуть, с одного бока. Вся кожица на ней румяная, слегка припудренная золой. Я перекидываю картофелину с ладошки на ладошку, сдуваю золу, бегу к маме.

— Попробуй! Наверное, испеклась.

Мама берёт картофелину, дует на неё и разламывает пополам. Осторожно, только кончиками белых зубов надкусывает горячую мякоть, вбирает в себя воздух, зажмуривается, говорит:

— Вкусно-то как! По-моему, готова.

— Ура! — кричит Шурка и начинает разгребать золу.

Я тоже копошусь у костра, и вдруг кто-то совсем рядом говорит:

— Доброе утро!

Я **оглядываюсь** и вижу: стоит у самого нашего **картофельника** Тоня. Стоит, держится одной рукой за изгородь, другой помахивает нам. И если бы не короткое коричневое пальто, которое мне запомнилось, я бы Тоню сразу и не узнал. Её словно кто подменил со вчерашнего вечера. Щёки разругались, чёрные глазищи смеются, а волосы у неё, как у цыганёнка, так и рассыпаются крупными весёлыми кольцами из-под шапки.



Шапка на Тоне серая, беличья. Эту шапку я видел на печнике по зимним праздникам. Видимо, не пожалел старик для Тони своей лучшей шапки, не пожалел он для неё и праздничной обуви. Взамен **солдатских мокроступов** на Тоне теперь **хромовые сапоги**, да и **затёртое пальто** сильно посвежело. Должно быть, **отчищала** да **отпаривала** его **тётка Евстолия** всю ночь, и вот стоит теперь Тоня перед нами такая, будто на неё плеснули ясным солнышком, и говорит нам: «Доброе утро!»

Я растерялся. Я и раньше-то не очень умел разговаривать с девочками, а тут смешался вконец. Очень уж красивой и даже необыкновенной показалась мне Тоня. Она и поздоровалась совсем не так, как принято в наших краях. У нас говорят: «Здрасьте!» да «Здорово бывали!», а Тоня звонко и раскатисто приветствует нас: «Доброе утро!» Приветствует, машет нам, а я сижу на корточках над рассыпанной картошкой и молчу, как дурачок. А мама говорит:

— Иди, Тоня, сюда. Калитка вон в том углу.

— Я напрямик! — отвечает Тоня, опирается рукой на прясло и по-мальчишески, в один приём, перемахивает изгородь.



— Ух ты! — одобряет Шурка. А мама отступает от Тони, с удовольствием оглядывает её:

— Смотри-ка! До чего нарядная. Прямо невеста. А сапоги-то, сапоги — ну как на заказ!

Тоня тоже смотрит на сапоги, радостно объясняет:

— Это дедушка Николай перешил свои старые. За одну ночь! Я просыпаюсь утром, смотрю, рядом с кроватью стоят сапоги, а бабушка Таля говорит: «Вставай, меряй!» — и подаёт мне шерстяные носки. Тёплые, мягкие — словно сейчас на меня связаны.

— Кто-кто подаёт? Кто сапоги шил? — весело переспрашивает мама.

— Дедушка Николай. Бабушка Таля.

— Правильно, девочка! Так вот их всегда и зови. Старики они очень хорошие. И Николай хороший, и Евстолия добрая. Евстолия, правда, бывает и резковата, но это лишь с маху, на минуту, а так она душевная.

И ребят она любит. Что у неё послаще да повкусней заведётся, всё соседским ребятишкам раздаст. А как лето настанет, так соберёт всю мелкоту со станции — и в лес. Если ягоды какие поспеют, так по ягоды; если грибы — так по грибы. Другие-то старухи всё стороной, всё в одиночку бегают по лесу, а эта — нет. Эта всегда — целым полком! И ведь слушают её ребятишки. Не ревут, не озорничают, а, как выводок за тетёркой, так и шныряют, так и шныряют по перелескам. А к вечеру, глядишь, несут кто грибов, кто малины. Нет, что уж тут говорить, хорошая она старуха.

— А я тоже ходил и целых две кружки малины принёс. Со стогом, — похвастался Шурка.

— Верно! — засмеялась мама. — Одну круж-



ку — в кружке, другую в подоле. Пузо на рубаше до сих пор малиновое, не отстирать. Ну, ягод теперь нет. Осень. Теперь только картошкой можем угостить. Что сидишь молчишь? Угощай,— сказала мне мама и шутливо добавила: — Теперь Тоня, считай, родня тебе. Найденичка твоя, ты и угощай.

Тут я стал прямо голой рукой выхватывать из костра картошку. «Пусть,— думаю,— считают, что это я от жары такой красный». А Тоня подсела ко мне, складывает горячую картошку горкой, говорит:

— Какая поджаристая, душистая. К ней бы соли немного.

— Сейчас! — вскакиваю я и лечу к дому.

На крыльцо я вбежал одним духом, дверь отпахнул одним махом, схватил на кухне корчагу с солью, кинулся назад к порогу, да тут опомнился: что это я всю корчагу тащу? Ума-разума лишился?

Я посовался с корчагой по кухне, заглянул в комнату, увидел на этажерке свою единственную чистую тетрадь и, нисколько не раздумывая, выпластал из неё всю середину. Потом отсыпал чуть не горсть соли, взял бумагу за углы, осторожно понёс в огород.

Там все пристроились у костра, ждали меня. Я опустил бумагу с солью к ногам Тони.

— Куда столько? — удивилась мама.

— Ничего, ешьте!

Пир у нас получился знатный. Тоня, как только разломила да отведала первую картофелину, так сразу сказала:

— В жизни не едала такой вкусной. Нынче в пионерском лагере мы тоже пекли, но у нас получилось хуже. Почти вся подгорела, угли так и хрустели на зубах.

Застенчивость с меня как ветром сдуло. Я сразу принялся рассказывать, в чём тут секрет, и так

разговорился, что не остановить. Мама сидела рядом, слушала, как я разливаюсь перед Тоней соловьём, одобрительно кивала:

— Вот и разговор налачился. В школу, наверное, вместе пойдёте, в один класс. Ты, Лёнька, дружись там с Тоней. Заступайся за неё.

— Заступаться? Перед кем? — удивилась Тоня и даже забыла поднять от соли картошку.

— Мало ли перед кем. У них в классе вон какие отлёты есть.

— Ну-у... — засмеялась Тоня. — С этими я сама справлюсь. Думаете, у нас в Ленинграде «отлётов» нет? Есть! Да только мне редко попадало. Я сама любому наподдаю.

— И то верно, — усмехается мама. — Через ограду давеча вон как сиганула.

А мне тоже весело. Мне тоже хорошо. Мне так хорошо, что сидел бы и сидел у нашего костра хоть до ночи, и всё слушал бы этот шуточный разговор, и всё поглядывал бы исподтишка на Тоню.

Простофиля я, простофиля! Ну как это не догадался вчера опередить тётку Евстолию и не подсказал маме, чтобы она взяла Тоню к нам? Ведь мама бы согласилась. Ведь она тоже добрая. А прожить — прожили бы! Живём вчетвером, прожили бы и впятером... Правда, таких ладных сапог у нас для Тони нет, но я бы отдал свои, их и перешивать не надо, а вот шапку... Эх, какую бы шапку я подарил Тоне!

Я сразу припомнил белоснежных горностаев, на миг увидел Тоню в горностаевой шапке, даже в горностаевом воротнике, и сердце у меня совсем зашлось.

«Это ничего, — подумал я, — что шапка и воротник бегают пока что по лесу. Придёт зима, я надену лыжи и горностаев добуду». Но тут вспомнилось, что горностаев-то отец хотел добыть для мамы, и я призадумался. А потом сказал себе:

«Не беда! Мама сердиться не станет. Немного погодя я и для неё настреляю хоть целый ворох!»

## Глава 7

### ПЕРВЫЙ СНЕГ

Наконец-то Валерьян Петрович объявил о начале занятий.

А накануне утром я проснулся, открыл глаза, и вдруг наша всегда темноватая спальня показалась мне просторней и выше. Её словно кто за ночь вымыл и выбелил, как перед большим праздником.

Я осторожно, так, чтобы не задеть спящего Шурку, соскользнул с кровати на прохладный пол, подошёл к окну, сдвинул занавеску, и в лицо мне хлынул голубой тихий свет. Он заполнил весь наш тополиный переулок, он пал белым пухом на покатые кровли посёлка, окутал, наверное, весь наш район, а может, и весь мир. Иначе как бы держалась такая хрупкая, светлая тишина?

Снег выпал, должно быть, час или два назад. На белой тропе под белыми тополями не было видно ни следа. Только там, где тропа подходила к дому, под самым окном, чётко виднелись крестики — отпечатки вороньих лап. Сквозь прозрачное стекло было заметно и то место, где ворона взлетела. Её маховые перья оставили росчерк на снежном пуху.

И мне очень захотелось выскочить из дому, набрать холодного снега в тёплую горсть, а потом смотреть, как медленно он подтаивает на ладони, становится прозрачной водой, а ещё мне захотелось вдохнуть его запах.

Это лишь считается, что чистый снег не имеет запаха. Вернее, не считается, а так говорит печник Бабашкин. Но печник — завзятый табакур, нос

его, кроме махорки, ничего не чувствует, а я вот знаю: снег пахнет. И пахнет он в разное время по-разному.

Первый предзимний снег для меня пахнет всегда расколотым арбузом. Не разрезанным, а расколотым.

Колющий декабрьский снег, когда его начинают стряхивать в прихожей с пальто и шапки, пахнет праздничной новогодней ёлкой.

А мартовский снег пахнет берёзовым соком, это уж точно!

Я отвернулся от светлого окна, оглядел спальню. В ней у нас две кровати: одна — наша с Шуркой, другая — мамина с Наташкой. Мамы сегодня нет, она на дежурстве, и Наташке раздолье. Сестрёнка разлеглась почти поперёк постели, голова и спина под лоскутным одеялом, розовые пятки торчат наружу.

Шурка устроился ещё лучше. Коленки и руки — под себя, попка в синих трусах — кверху, голова — правым ухом в подушку. Таким вот манером, полусидя, полулёжа, он спит всю ночь и причмокивает от удовольствия губами.

Я пощекотал Наташкину пятку, легонько пошлёпал Шурку, сказал:

— Вставайте, сони! Зиму проспите.

Шурка выпрямил ноги, лёг на бок и ясным голосом, будто и не спал, спросил:

— Как медведи, да?

— Как медвежата.

А Наташка дрыгнула ногой, захныкала:

— Отстань! Я спать хочу.

А я опять её тормошу:

— Вставай, вставай! Посмотри, что на улице-то!

Наташка смахнула с головы одеяло, села,глянула в окно:

— Ой, мамоньки! Снегу навалило. Зима пришла. Пойдём посмотрим?

— Пойдём! Заодно дров наколем, печку затопим, супу сварим. Мама вернётся, а у нас всё готово.

Малыши, толкаясь и хохоча, кинулись в угол к рукомойнику, быстренько позвякали его железным соском, в один миг оделись и уже кричат:

— Айда, Лёня! Да скорей же!

На крыльце снег показался ещё белее. Он был такой яркий, что у меня сами собой прижмурились глаза. Холодный воздух приятно щекотал в носу, после тесной спальни было не надыхаться.

Я сделал вдох-выдох, побежал к поленнице, потянул на себя сосновый чурбан. С чурбана хлынула снеговая охалка, прохладные комья попали мне за воротник. Я поёжился, поставил чурбан торчком, вынул из-за поленницы тяжёлый колун, размахнулся, ударил. Звонкий удар так и раскатился по всей станции эхом. Чурбан крикнул, распался надвое.

Шурка с Наташкой, печатая на снегу следы, бегали вдоль изгороди. На всех кольях держались пушистые снеговые береты, малыши стучали по кольям — береты рассыпались, исчезали. Ребята радовались:

— Шапка-невидимка! Шапка-невидимка!

А я принялся колоть второй или третий чурбан и вдруг вижу: бежит по тропе наша станционная медичка Манечка.

Одета Манечка наспех. Пальто накинуто на халат и не застёгнуто, шаль не завязана. За концы шали она держится руками и бежит прямо к нам. «Что это? — думаю. — Мы ведь её не вызывали». А Манечка увидела нас и пошла шагом. Но всё равно никуда не сворачивает, идёт ко мне. И вот подходит и тихо говорит:

— Лёня, тебя зовёт мама.

А у самой дрожат губы и какое-то странное лицо.

Тут, чувствую, и у меня похолодели губы:

— Почему зовёт? Куда?

— К нам в амбулаторию. Да ты не пугайся. Просто заболела твоя мама, и ей надо полежать. Ребятам пока не говори, не расстраивай их, — кивает медичка в сторону малышей.

А те уже тут как тут, смотрят во все глаза, спрашивают:

— Лёня, ты что? Ты куда, Лёня?

Ну а я лишь бормочу что-то невнятное, чуть не силой заталкиваю их в дом и, не разбирая дороги, не оглядываясь на Манечку, бегу, бегу в амбулаторию.

И теперь первый снег для меня уже не белый, не пушистый, а какой-то весь ноздреватый, серый и пахнет паровозной гарью. И думается мне страшное: «Манечка говорит не всю правду, с мамой случилось несчастье, работа на стрелке у поездов — очень опасная».

Я не помню, как влетел в амбулаторию. Я очнулся лишь тогда, когда увидел в распахнутой двери кабинета сутулую, склоненную фигуру фельдшера; очнулся и вижу: на полу, на носилках, лежит мама. Она лежит ногами к двери, укрытая до подбородка серым казённым одеялом, в головах — телогрейка. Лицо у мамы бледное, щёки ввалились, нос — тонкий, острый, губы почти бесцветные. Но мама, обернув лицо к фельдшеру, что-то негромко говорит и даже приподымает лежащие поверх одеяла руки.

Я как встал в двери, так тут и прижался к светлому косяку. И всхлипнул, и вздохнул: жива! Мама жива... Она здесь, она рядом, она тоже увидела меня и манит к себе рукой.

Я шагнул от косяка, встал коленками на гладкий линолеум, на пол. Глаза мои очутились вровень с мамиными глазами. Они, карие, в окружении чуть вздрагивающих ресниц, даже сейчас показались мне весёлыми. Только в уголку каждого из них медленно копилась прозрачная слеза.

Мама подняла руку, глаза утёрла. Потом потянула с меня шапку, потрогала мои волосы:

— Вот, Лёнюшка, заболела я. Совсем заболела. Абрам Васильевич отправляет меня в больницу.

— И немедленно! — сказал фельдшер таким голосом, будто с кем спорил. — И немедленно! Первым же поездом. А не посадят на поезд, повезу на автодрезине.

— Что с тобой, мама? — спросил я.

Мама повела головой, глаза её опять влажно блеснули. Абрам Васильевич всё тем же резким голосом произнёс:

— Нужна срочная операция. Твою маму принесли сюда на руках. Я сделал всё, что мог, но этого мало!

— Это всё из-за той рельсины, Лёнюшка, — едва проговорила мама. — Думала, перемогусь, пройдёт, а оно всё хуже да хуже... Под утро на смене совсем свалилась.

— В больнице резать будут? — испугался я.

— Что значит «резать»? Почему резать? — рявкнул на меня фельдшер. — Это курицу режут. Гуся режут. А человека о-пе-ри-руют! Возвращают ему здоровье, ставят на ноги, если хотите знать!

Он даже поднялся со стула, тряхнул перед собою растопыренными руками и даже притопнул, показывая, как ставят больного человека на ноги. И странное дело, чем грознее он смотрел на меня, чем громче кричал, тем легче мне становилось. Я сразу поверил, что всё так и будет, как предсказывает Абрам Васильевич.

Но тут в амбулаторию вбежала медсестра с узелком в руках. Следом за ней вошла тётка Евстолия. С грубых мужских сапог её на гладкий линолеум падали мокрые ошмётки снега, зимний тёплый платок на ней замотан тоже кое-как.

Бабашкина загородила дверной проём, она кого-то отпихивала, не пускала. Но вот не справилась, и в кабинет заглянула востроглазая Анна



Фёдоровна. Она увидела носилки, увидела маму и запричитала на всю амбулаторию:

— Ой да ты ангел наш, Катюшенька! Ой да ты что это над собой исделала? Да на кого ты нас покидаешь, сиротинушка?



— Молчать! — крикнул Абрам Васильевич, и старуха смолкла и опять исчезла за спиной Евстолии.

Манечка опустила мягкий узелок на стул, сказала маме:

— Вот мы с Наташей собрали всё, что наказывала. Прости, пришлось порыться в комод. Мама заплакала:

— Как теперь Наташка-то с Шуркой будут? Лёня, ты теперь старший в доме. Покрепись, милый. Постарайся. Может, недолго. Может, меня и верно на ноги скоро поставят.

А тётка Евстолия басит:

— Ну, ну, ну... Что ты, Катерина! Маленькие останутся не с одним твоим Лёней. Мы разве нелюди? Езжай, лечись, всё будет в порядке.



Я стою, тоже киваю головой: «Да, мол, конечно. Всё будет в порядке. Я всё сделаю, только возвращайся скорей». А вслух сказать ни единого слова уже не могу.

Абрам Васильевич надевает пальто, надевает каракулевую шапку пирожком, сам берётся за носилки и командует женщинам:

— Подхватывайте!

Я тоже хватаюсь, но тётка Евстолия отпихивает меня:

— На вокзал не ходи, не надо. Посадим без тебя, не бойся. С ней Абрам Васильевич поедет. А ты беги к ребятишкам — небось изревелись там. С вокзала я зайду.

Мама ничего не говорит, не может. Она лишь тихонько ладонью отмахивает мне: до свиданья, мол... иди, иди.

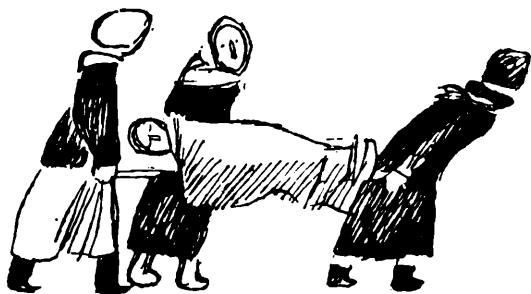
Я долго стою на ступеньках амбулатории, смотрю, как по скользкой дороге к вокзалу несут маму: впереди, сутулый, в длинном пальто, шагает Абрам Васильевич; сзади, неудобно ухватив по одной ручке носилок, семенят не в ногу высокая старуха Бабашкина и худенькая Манечка. Анна Фёдоровна суетится, хочет пристроиться то к одной, то к другой женщине, но дорога узкая, места не хватает, и Анна Фёдоровна всё время остаётся сзади, не при деле.

## Глава 8

### СВОИ ДОМ

К дому я шёл тихо. Всё думал, как-то там, на вокзале, посадят маму. Я не раз видывал нынешнюю посадку. Пассажирские поезда — редкость, возле вагонов толчея, бой. Проводники орут, страшно ругаются, на документы и на билеты не смотрят. Да и где тут смотреть, когда толпа вот-вот и проводника стопчет, и сама себя передавит, и, того гляди, вагон перевернёт. А ведь маму в такой толчее надо внести на носилках.

Когда я пришёл домой, там тоже всё было вверх дном. Комод раскрыт, из ящиков торчит бельё, ребячья обувь валяется на полу, в комнате холодина, печь не топлена. Малыши сидят в спальне на маминой постели и молчат.



Я прямо в пальто сел напротив них на свою кровать, снял шапку. С чего, думаю, начинать теперь?

Наташка спрашивает:

- Правда, маму увезли в больницу?
- Правда.
- А когда она вернётся?
- Ну вот, не успела уехать, а тебе сразу вернётся. Как поправится, так и вернётся.
- Мы одни теперь будем жить?
- С кем же ещё? Одни.

Наташка помолчала, подумала, поводила пальцем по одеялу:

— Знаешь что?..

— Что?

— Давай ты будешь теперь как будто наш папа, а мы как будто твои дети. Ладно?

— Ладно,— говорю я, а самому так тошнѣхонько, что если бы не ребяташки, то уткнулся бы в постель, закрылся сглуха одеялом и ничего бы не слышал, ничего бы не видел.

Тут Шурка молчал, молчал и спрашивает:

— А завтракать-то мы теперь будем?

Я сразу спохватился, говорю:

— Будем! — И оттого, что надо было куда-то бежать, что-то делать, мне стало немного легче.

Потом слышу, на крыльце кто-то затопал, зашаркал веником, обметая с обуви снег, и глухо постучал в толстую дверь. Стучаться в незапертую дверь у нас мог один-разъединственный человек. Ребята с радостным визгом: «Тоня!» — прыгнули с кровати, побежали к порогу. Открывать дверь они не стали, а по недавнему, очень приятному для них правилу прокричали;

— Можно!

Тоня вошла, протянула малышам руки в ярких варежках.

— А у нас мама в больнице! — опять хором закричали ребята и начали стаскивать с Тониных рук варежки.— Раздевайся!

— Я знаю,— сказала Тоня.— Я знаю, что у вас мама в больнице.

Она оглядела комнату.

— Беспорядок какой...— Повесила на вешалку своё пальто, прошла в комнату и начала носком сапога поправлять сбитые половики. Потом поправила скатерть на столе, потом подошла к раскрытому комоду, задвинула ящики и делала всё это, никого из нас не спрашиваясь.

И тут меня отпустило совсем. Я сбегал на



улицу, принёс охапку колотых дров, с грохотом свалил возле печи — в доме запахло сосновым бром.

А когда я собрался чистить картошку, Тоня отняла у меня нож:

— Давай это сделаю я с Наташей, а ты затапливай печь. Картошку чистить я умею, а печь затапливать — нет.

— Ну да? — удивился Шурка. — Я и то умею. Только вот спички от меня прячут.

— Так у нас в Ленинграде печки нет. У нас примус вместо печки, такой, как у Валерьяна Петровича.

Шурка лукаво прищурился:

— Врушенька! Примус-то и у нас есть. В чулане. А вот зимой как? На примус греться залежете, что ли? А валенки где сушить?

— Мы валенки не сушим. Мы валенки над примусом подвешиваем и коптим. Знаешь, как в копчёных валенках бегать хорошо? Они горячие, пятки жгут — в два счёта долетишь куда надо.

Шурка с Наташкой хохочут, а она и сама довольна, что развеселила ребят. Она улыбается, а сама в это время срезает с картошки узкую ленту кожуры. Руки её, чтобы не замочить рукавов, открыты до локтей, и на её тонком запястье мне видна голубая жилка, а рядом с жилкой светлое пятнышко шрамика. Я смущённо отвожу глаза, принимаюсь растапливать печь.

Я укладываю в тёмную глубину поленья клеткой, подсовываю сухую лучину, чиркаю спичкой. Растопка загорается быстро. Багровое пламя начинает охватывать нижние поленья. Из полукруглого устья, словно из пасти дракона, тянутся длинные языки дыма. Но спустя пару минут дым исчезает, и печное нутро полно ровного, сильного огня. Там теперь не дракон. Там теперь скачут, взмахивая красными и жёлтыми крыльями, золотые птицы. От их перьев идёт ослепительный

жар. Они весело попискивают, трещат — чугуны теперь ставить в самый раз.

Чугуны закипают скоро, вода в них начинает бурлить ключом. В кухне становится тепло, уютно, и даже не верится, что день этот для нас печальный. Но когда я вынул из печи и поставил на стол горячую картошку, Тоня вдруг засобиравалась домой. Только Тоню мы домой не отпустили. Я закинул её пальтишко подальше на печку, а Шурка с Наташкой вцепились в Тоню и давай усаживать к столу.

— Вот,— сказал Шурка,— будь што ты у нас в гостях.

Он подкатил к Тоне по столешнице самую вкусную, прихваченную жаром картофелину, а я стал раздавать хлеб.

Хлеб мы выкупали накануне. Он хранился в кухонном шкафу, в чистом полотенце. Мама заранее делила его на три части — на утро, на обед и на ужин. А каждая часть разрезалась на четыре куска: один для Шурки, один для Наташки и нам с мамой по одному. Все куски совершенно одинаковые, бери себе за столом любой, но помни: сыт ты или не сыт, а на твою долю причитается один-единственный ломтик. И мы помнили. Помнили, хотя хлеба досыта уже давным-давно не едали.

Ну а если попадалась горбушка, мы тоже не спорили. На горбушки была очередь. В очереди не состояла только мама, она почему-то заявила, что горбушки теперь не любит.

А ведь раньше она их любила. Бывало, вернётся отец ночь-заполночь с поля, мама соберёт ему ужин, и сядет напротив, и смотрит, как он хлебает суп. Отец скажет: «Что сидишь? Давай бери ложку, вступай в коллектив». А мама ответит: «Нет. Я поужинала с ребятишками. Но ты отрежь мне горбушку — я посолю да и съем. Очень я уважаю горбушки...»

Попалась горбушка и на этот раз. Очередь бы-

ла Наташкина, только я всё равно выкрикнул:

— Чья?

— Моя! — подняла руку Наташка, да тут же спрятала за спину. — Ой, нет. Пускай она будет Тонина, а мне серёдку.

Я положил горбушку перед Тоней, но она отодвинула её:

— Зачем? Это хлеб вашей мамы. У меня теперь свой паёк.

— Ну и что? Мама всё равно уехала. Бери ешь.

— Не буду. Пусть этот хлеб лучше ребятишки съедят.

Тоня разломилла горбушку, подложила ребятам. Те свои ломтики уже съели и неожиданную добавку сразу накрыли ладонями. Правда, сестрёнка сначала посмотрела на меня, словно спрашивая, можно ли, а Шурка отправил добавку в рот безо всяких, мигом. Только наклонился пониже, к самой столешнице, да спрятал от меня глаза.

— Эх вы! Силы воли у вас нету, — сказал я ребятам и разрезал свой ломоть вдоль. Но и от моего хлеба Тоня отказалась. '

За столом я всё время поглядывал в окно, всё ждал, когда придёт тётка Евстолия. Мы уже поели и стол прибрали, а её всё не было и не было. Я потерял терпение и сам собрался на вокзал.

Мы столкнулись на крыльце. Тётка Евстолия поднималась по ступенькам вместе с Анной Фёдоровной. Она схватила меня за рукав и сразу принялась командовать:

— Марш назад! Кому сказано, сидеть ждать?

— Маму отправили?

— Отправили, отправили. Проходи, всё скажу.

Обе старухи вошли в дом, раздеваться не стали, только распустили концы тёплых платков и сели рядом на скамейку. Анна Фёдоровна сидит — маленькая, сутулая, ноги до пола не достают, а Бабашкина большая и высокая, как каланча. Она



обвела взглядом кухню, каждого из нас и вот заключила:

— Молодцы. Печь истопили. А ты, Тонюшка, тоже здесь?

Тоня кивнула, старуха похвалила и её:

— Умница. Помогай ребятам.

Анна Фёдоровна подтвердила:

— Господь увидит, зачтёт.

— Погоди. С господом погоди. Придёт и ему очередь. А теперь, значит, так...

Бабашкина вынула из кармана длинной юбки носовой платок, трубно высморкалась, убрала платок обратно, повторила:

— А теперь, значит, так. Катю мы отправили на санитарном поезде. Только мы к перрону, а тут и он, санитарный. Идёт он к фронту, стало быть, пустой, и наших взяли без разговору. Теперь, считай, Катя уже на месте.

Я спросил, кто понесёт маму на чужой станции от поезда до больницы, ведь Абрам-то Васильевич с ней один, но Бабашкина потребовала:

— Не перебивай! Кто-кто, а наш Абрам Васильевич всё сделает как надо. Не перебивай, слушай, что дальше скажу. Одному тебе, парень, не управиться, нужна домовница.

— Какая домовница? Зачем?

— Накормить вас, обиходить, за домом приглядеть. Я сама хотела, да принимаю Катеринин пост. Начальник попросил. Увидел меня у поезда и попросил. Я ведь на пенсию со стрелки ушла. Я ведь, чай, Лёнька, сам знаешь, тоже стрелочница. Видишь, как выходит?

— Вижу,— говорю,— только вы не беспокойтесь.

— Почему это не беспокойтесь? — мотнула в мою сторону и осудительно возвела рукой Фёдоровна.— Человек тебя жалеет!

— Жалею. Верно,— повторила Евстолия и вдруг всей своей нескладной фигурой обернулась



к Фёдоровне: — Я жалею, и ты пожалей. Глядишь, господь-то и тебе зачтёт.

— Как это? — не поняла Анна Фёдоровна, удивлённо глянула на соседку и даже рот забыла прикрыть.

— Так это. Возьми да и помоги ребятам. Служба у тебя невелика. Ходишь в ночных сторожах, день-то девать некуда.

Анна Фёдоровна крепко задумалась, а я смотрю на неё и тоже думаю: «Вот новости! Зачем нам она? Только и будет, что причитать. С ума сведёт». Я даже испугался, что она согласится, а я отказать не смогу, но тут произошло вот что.

Анна Фёдоровна стрельнула юркими глазами туда-сюда, тяжко вздохнула и этак осторожно спрашивает Бабашкину:

— А платить кто будет? Ты или Катерина потом?

— Что? — опешила Бабашкина.

— Я говорю, платить кто будет? Ты? Или Катерину ждать велишь? Ежели Катерину, так сама знаешь, дождёмся ли...

— Что-о? — уже не спрашивая, а просто не зная, что и сказать, поднялась Бабашкина. И, задыхаясь от гнева, пошла горой на Анну Фёдоровну. Она так побледнела, что я испугался, а Фёдоровна соскользнула со скамьи, попятилась к порогу, зашарила за собою дверь. На лице у неё не страх, а недоумение: чего это Бабашкина так вскинулась?

Разгневанная старуха наконец продохнула, сама ударила длинной рукой в дверь, топнула:

— Вон, мерзавка притворённая! И на пути моём больше не попадайся.

Вытолкав Фёдоровну, старуха долго не могла опомниться. Мы тоже притихли. Потом она подошла к ведру, зачерпнула кружку холодной воды, выпила, отдышалась и сказала мне уже совсем спокойным голосом:

— Собирай ребят, собирайся и сам. Поживёте у нас. Козу тоже к нам переведём.

Она шагнула к комоду, велела Наташке:

— Поди, Наталья, принеси какую-нибудь корзину — бельё сложить.

Наташка покорно пошла в сени, а я как представил наш дом пустым, без людей, с висячим замком на двери, так мне сразу стало не по себе. Я представил, как наша комната и кухня малопомалу наполняются холодом, а в стылой трубе одиноко посвистывает ветер, а на крыльцо падает и падает снег, и никто по утрам этот снег не сметает, крыльцо превращается в сугроб, на нём ни следа.

А ещё мне привиделось: идёт по тополиному нашему переулку к заброшенному дому почтальонка. В руке у неё треугольное солдатское письмо, но перед заметённым крыльцом она останавливается, смотрит на замок, на холодные окна и не знает, что с письмом делать...

Я бросаюсь навстречу Наташке, отбираю у неё корзину, выкидываю опять за дверь.

— Нет, тётя Таля. Из своего дома мы никуда не пойдём.

## Глава 9

### «ПОЗИЦИЯ»

На первых порах к нам в дом заглядывали не только соседи, но и все мамины подруги. Забегали они после смены, впопыхах, усталые, иззябшие. Они торопливо расспрашивали меня, не надо ли чего. Полы помыть или постирать бельишко? Но полы я мыл сам, бельё выстирали Бабашкина с Тоней, и я каждый раз отвечал: «Нет, ничего не надо».

Такой ответ женщин не обижал. Даже наоборот. Услышав отказ, они принимались неведомо за

что хвалить меня, а похвалив, тотчас уходили: ведь у каждой по домам сидела такая же орава ребят, как наша, а то и побольше.

Да я и рад был, что эти посещения коротки. Я терпеть не могу, когда меня жалеют. А женщины только и делали, что наговаривали жалостные слова то мне, то ребятишкам. Пользы от этой жалости никакой — одно горе. Малыши потом долго сидят грустные. Вот даже старуха Бабашкина — и та порой рассиропится, начнёт вздыхать да приговаривать: «Лёнюшка, Наташенька, Шуронька...» А зачем?

Старуха заглядывала к нам теперь часто, да тоже ненадолго. Теперь она замещала маму на стрелке. Она раскопала в своих сундуках потёртую железнодорожную фуражку и стала надевать её поверх платка. Она прямо так и приходила к нам — в этой фуражке. Войдёт, не торопясь накинёт фуражку на отдельный гвоздь, рядом на вешалку повесит всё остальное — платок, телогрейку, чехол с сигнальными флажками, — а потом сядет за стол, выложит на клеёнку горсть сушёных, тонко нарезанных яблок и обязательно заставит нас кипятить самовар.

Яблочные дольки мы клали в рот вместо сахара, прихлёбывали кипятком, и, хотя яблоки были кисловатые, получалось вкусно.

За яблочным чаем тётка Евстолия сообщала нам известия про нашу маму. Эти известия она узнавала от Абрама Васильевича. Тот нет-нет да и дозванивался по телефону до больницы, дозвониться удавалось редко, и мы знали про нашу маму лишь то, что ей сделали операцию и теперь она в палате для тяжелобольных. Здоровье у неё то получше, то похуже, то опять немного получше.

— Борется! — говорила старуха. — Борется наша Катя с хворью, и нужен ей теперь покой да покой.

Она сурово смотрела на каждого из нас, давая

понять этим взглядом, что за мамин покой отвечаем и мы, тут вот сидящие.

А под конец вечера, то ли её так разогревал кипяток с яблоками, то ли на неё действовал Шуркин беспомощный вид, когда он, сонный, начинал ей соваться в колени, а только вся суровость со старухи слетала, и она принималась наговаривать эти самые жалостные слова: «Шуронька, Наташенька, Лёнюшка...» Единственный, кто никогда никакой напрасной жалости не выказывал мне, так это Валерьян Петрович.

Директор пришёл к нам в тот же вечер, когда я отказался переселяться. Старуха нажаловалась, и он сразу спросил, чего это я заупрямился.

— Нет, не заупрямился, но уйти из дома не могу.

— То есть? — потребовал ясного ответа Валерьян Петрович, и я рассказал обо всём, что передумал в те недавние минуты.

Я не раз видывал в окрестных деревнях заброшенные дома. Они стояли с гнилыми крыльцами, с рыжими мёртвыми замками на дверях. В эти избы, покинутые однажды, обратно уж редко кто возвращался. А я не хочу свой дом видеть таким. А я хочу: пусть в нашем доме всегда шумят Шурка с Наташкой; пусть всегда сквозь талое окно смотрит на улицу мамин цветок — ванька мокрый; пусть каждое утро над нашей трубой поднимается тёплый дым. Ведь от всего этого нам с ребятами кажется, что папа и мама рядом с нами. А если и не с нами, то всё равно скоро возвратятся — дом-то жив!

Директор ни разу не перебил меня, слушал внимательно, а потом потёр свою круглую бритую голову, сказал:

— Ну и ну! Мистика-фантастика какая-то. А впрочем, ты прав. Когда я уеду на фронт, мне бы тоже хотелось там думать, что мой дом без меня не опустел.

В голосе Валерьяна Петровича слышалась грусть. Я подумал о его безлюдной, населённой лишь книгами квартире, о его нетопленной кухне с примусом на холодном печном шестке и сразу сказал:

— Ваш дом тоже не опустеет. Ваш-то дом, если считать по-настоящему, всегда в школе. А разве школа опустеет? Ни за что!

Валерьян Петрович задумчиво посмотрел на меня, ничего не сказал, а потом встал и произнёс уже совсем другим, бодрым голосом:

— Что ж, быть по-твоему! Оставайся, держи оборону здесь.

— Какую оборону? — насторожился я.

— А такую, брат, что дела твои теперь вроде солдатских. Занял позицию, держи до конца!

— Сдержу!

— Ну-ну,— усмехнулся он.— Только и от товарищеской помощи не отказывайся. У вас дрова-то хоть есть?

Дров у нас оставалось недели на две. Валерьян Петрович сам осмотрел невысокую поленницу:

— Небогато. Но в лесу, на школьной делянке, дрова есть. Разрешаю взять из моего пая. Насчёт лошади договорюсь. Управишься?

— Управлюсь! Держать позицию, так держать!

Вот так вот просто, как мужчина с мужчиной, мы и поговорили с Валерьяном Петровичем. Разговор крепко запал мне в память, особенно по душе пришлось сравнение моих нынешних дел с боевой позицией. Это сравнение мне так понравилось, что я сразу стал считать себя сильной, самостоятельной личностью, которой есть чем гордиться.

А что, в самом деле? Разве гордиться нечем? Разве без мамы и безо всякой там домовницы дом-то я хуже веду? Нет, не хуже! Разве малыши у меня голодные или неумытые ходят? Нет, не

ходят! Я вообще могу обойтись без всякой помощи, любую работу могу делать сам, силы и воли у меня теперь на всё хватит. Пусть потом все удивляются, пусть говорят: «Ай да Лёнька! Та-кую заботу один своротил!»

Как только я начал о себе так думать, то сразу и дела домашние стало делать куда интересней.

Раньше, к примеру, стоят вечером на кухне пустые вёдра, в них даже донышки высохли, а я всё равно за водой в потёмках не пойду. Я всё равно стану ждать утра. А теперь — нет. Теперь я говорю: «Сильный, самостоятельный человек темноты не боится!» И бегу хоть в ночь-распол-ночь на колонку, и шагаю оттуда с полными вёдрами, и чувствую, как под моими ногами позванивает мёрзлая земля. Позванивает и вроде бы даже прогибается!

Ну, может, она и не прогибается, но зато я сам о себе думаю: «Вон я какой!»

Я так разошёлся, что когда у Наташки на платье прохудился локоть, так даже и за это немужское дело взялся сам.

Дырка была крохотная, но промаялся я с ней целый вечер. Когда управился, повесил платье на спинку Наташкиной кровати и очень довольный завалился спать. А наутро услышал рёв.

Я вскочил, думаю: что такое? Наташка сидит, держит платье в руках и заливается. Я говорю:

— Ты что? Приснилось что-нибудь? Брось, не думай! Лучше посмотри, как локоток-то я тебе залатал.

А у Наташки слёзы ручьём, она едва выговаривает:

— За-ла-тал! Уж лучше бы не брался... В чём я в школу теперь пойду? Всё платье мне испортил.

— Почему испортил? — удивился я, потянул к себе платье и ничего плохого не вижу. Заплата как заплата. Обыкновенная, кругленькая. Ну, правда, платье чёрное, заплата тёмно-зелёная, так



вечером при лампочке разницу было трудно различить. И нитки, конечно, надо было взять чёрные, так ведь чёрных-то я не нашёл. А во всём остальном хорошая заплатка! Новенькая такая и, главное, крепкая.

А Наташка всё равно ревёт, одеваться не хочет, насили я её уговорил. В школу она отправилась только тогда, когда мы с ней закрасили чернилами белый шов и самое заплатку.

— Пусть лучше клякса, чем такая стыдобушка,— оценила мои труды Наташка.

Зато валенки подшивать я научился сразу, безо всяких промашек. Видно, на какое дело у человека талант есть, так это дело пойдёт тут же, а если таланта нет, так, сколько ни старайся, ничего из себя не выжмешь.

У меня вот обнаружился талант на подшивку валенок. И делал я это быстро, даже с некоторой лихостью. Дратву сквозь подошву продёргивал со свистом, сам в это время тоже насвистывал, шило у меня в руках так и мелькало. Это умение открылось во мне как раз вовремя. Наташкины, Шуркины да и мои собственные валенки ещё с прошлой зимы были разношены вдребезги.

Стельки на подошвы я выкраивал ножом из дырявых обносков, а дратву приспособился смолить свечным огарком.

Однажды за этой работой застала меня Тоня. Она вошла, посмотрела, потреникала по натянутой, как струна, дратве и сказала:

— Дедушка Николай делает не такую. У него чёрная.

— Значит, настоящая. Смолённая варом. У меня вара нет.

— Сбегать попросить?

— Незачем просить! По каждому пустяку людям не наклоняешься.

— Ты что? — говорит Тоня. — При чём тут поклоны? Дедушка Николай не такой.

А я и сам вижу: хватил через край. Да не станешь ведь рассказывать Тоне, какой я теперь ужасно самостоятельный человек.

— Ладно,— говорю.— Это я так...

А Тоня не отступается:

— Не хочешь у дедушки Николая просить — можно к Женьке сбегать. Он сразу даст и сам придёт. Втроём веселей будет.

Тут меня опять занесло. Мне бы надо сказать: «И у Женьки не проси», а вырвалось:

— Женьку не надо, не зови!

Тоня удивилась ещё больше:

— Неужели поругались?

— Нет, не поругались. Я потом объясню.

Но когда и что я про Женьку объясню, я и сам не знал. Не знал, потому что дело тут было не в моих гордых мыслях о самом себе, независимом человеке, а вот в чём.

С того самого денька, когда мы вместе с Тоней палили осенний костёр, со мною стало происходить небывалое и непонятное. Тот звонкий денёк с высоким небом, и тепло костра, и наша с Тоней встреча не выходили у меня из головы, и я многое дал бы, чтобы таких деньков было побольше, чтобы они не кончались никогда.

Теперь все мои прежние дружки словно бы отодвинулись куда-то далеко-далеко, и хотелось мне видеть рядом только Тоню, быть только с ней. Если Тоня к нам долго не приходит, я места себе не нахожу. Мало того что на крыльцо каждую минуту выскакиваю, я и на изгородь-то во дворе влезу и всё гляжу на дом Бабашкиных, всё высматриваю: не мелькнёт ли где Тоня?

Забегать к Бабашкиным просто так, без приглашения, я почему-то стал стесняться, а вот окна их дома для меня теперь — словно полюс для магнитной стрелки.

Что бы я ни подделывал, куда бы ни шагал, меня к этим окнам так и тянет, так и поворачи-

вает. Ну а когда рядом Тоня, я и про Бабашкиных забываю, и даже моего закадычного друга Женьку мне не надо, никого мне не надо: лишь бы Тоня да я...

Вот что со мной происходило, вот что во мне ещё было, кроме моей внезапной гордости. А разве всё это объяснишь? Конечно, не объяснишь. Рот не раскроется, и язык не повернётся.

А после одного разговора я стал думать о нашей дружбе ещё больше.

Однажды я спросил Тоню, не приходилось ли ей видеть живого фашиста. Может быть, его пленного по Ленинграду вели и Тоня издали видела? А если видела, то какой он? Чем он, фашист, от людей отличается?

А Тоня вдруг повела в сторону хмурым взглядом и ответила:

— Я его видела. И не пленного.

— Не пленного? Где же тогда?

— В самолёте.

Я чуть не задохнулся от изумления:

— Расскажи!

— Что тут рассказывать? Нечего рассказывать... Началась война, а мы, ребята из нашей ленинградской школы, были в пионерском лагере. Далеко были, чуть не у самой границы. Мы как узнали, что война, так стали ждать автомашины. Боялись, они не придут, опоздают. Хотели уходить пешком. Но машины пришли, и мы поехали в Ленинград.

— Ну а дальше что? — тороплю я, а Тоня не торопится. Говорит всё так же хмуро и совсем не смотрит на меня.

— Дальше? Дальше — фашист прилетел. На самолёте. Он обогнал нас, развернулся и давай стрелять.

— Ну а вы?

— Что мы... Он заходит во второй раз, идёт низко-низко, машины все остановились, а

мы — кто куда. Кто в кювет, кто в поле, в рожь. Только Света, наша вожатая, сдёрнула красный галстук и бежит ему навстречу. Бежит, машет галстуком: «Не смей! Не смей! Неужели не видишь? Это же дети! Это же пионеры!» — а он — весь чёрный, кожаный, в очках — прямо в Свету... Прямо пулями...

Тоня отвернулась, замолкла.

А меня и самого словно кто пришиб. Я и сам словно оглох.

Я дотронулся до Тониной руки и совсем тихо сказал:

— Не надо. Дальше рассказывать не надо.

Так я с той поры о войне Тоню больше и не расспрашивал. А вот думать о нашей дружбе стал ещё больше.

## Глава 10

### ГОЛУБОЙ КРАЙ ЗЕМЛИ

В тот день, когда увезли маму, в школу я не ходил, а потом стал опаздывать на уроки почти каждое утро. Пока сам проснусь, пока ребят подниму да пока печь истоплю, глядишь — время-то уже совсем вышло. И никакая сила воли тут помочь не могла, выручить мог только будильник. Но будильника у нас дома не было. Время мы узнавали по жестяным ходикам с кошачьим портретом-циферблатом. Глаза у кошки шевелились: тик-так, тик-так; это тиктаканье я слышал почти всю ночь. Чтобы не проспать, я дремал вполглаза, но к утру всё равно засыпал как убитый и опять опаздывал.

Женька переживал за меня, всё набивался:

— Давай я твои ходики переделаю на будильник. Приспособлю к стрелкам грушу от спринцовки, и жестяная кошка будет мяукать.

— Меня мяуканьем не разбудишь.



— Ну тогда она станет крякать: кря! кря!

— А петухом она петь не может? — ехидно спросил я.

— Петухом — нет. Не выйдет.

Женькин замысел я отклонил. Я вспомнил про велосипед и побоялся остаться совсем без ходиков. Выручил меня Валерьян Петрович. Он раным-рано стал приходить к нашему дому и барабанить в стёкла. Барабанил он до той поры, пока я не просыпался, пока не высовывал всклокоченную голову через форточку на мороз и не говорил:

— Здрасьте!

— Здравствуй. Ты проснулся?

— Проснулся.

— А я вот мимо шёл да и стукнул. Смотри не опаздывай.

— Не опоздаю. Я уже валенки надел.

— Ну, то-то!

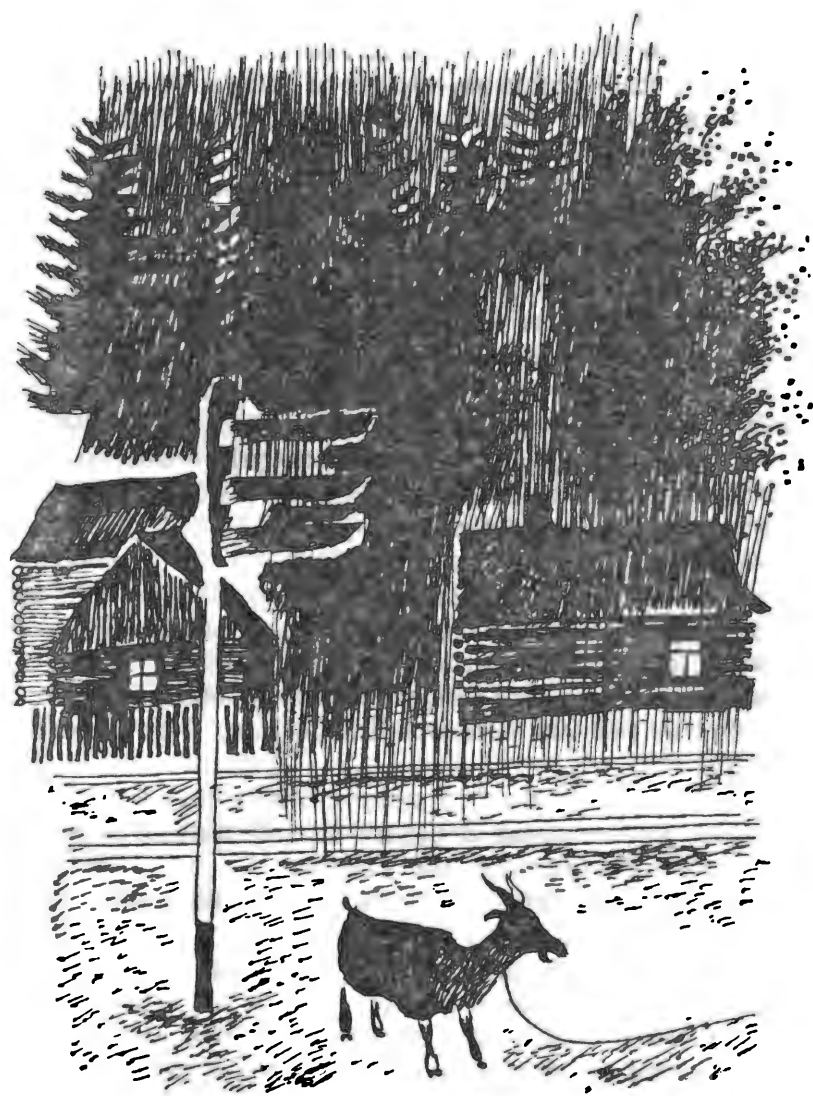
Он уходил по направлению к школе, я смотрел ему вслед и думал: «Чего это ему там делать в такую рань?» Я подозревал, что ходит он через весь посёлок чуть свет лишь из-за меня.

В конце концов подыматься спозаранку я привык сам и попросил Валерьяна Петровича в окно больше не стучать.

Но всё равно на мою голову обрушилось теперь столько всего, что и в школе я думал не об уроках, а совсем о другом.

Я сижу, смотрю на учителя, слышу, как он поскрёбывает по доске мелом, и сам думаю о маленьком Шурке. Сестра сейчас тоже на уроках, и одинокий Шурка сидит, наверное, на подоконнике, смотрит на безлюдную улицу. В одиночку Шурка играть не умеет, в одиночку ему тоскливо и страшно, и хорошо, если к нему прибегут соседские малыши. Да только теперь холодно, и малыши тоже сидят по своим домам.

Думаю я и про нашу козу Лизку. Сено для Лизки отец в прежние времена получал в колхозе,



а теперь сена нет. Мы подкармливаем Лизку сухими вениками, но веников мало, и Лизка сама себе добывает пропитание. Она с утра до вечера шляется по станции, и везде Лизке могут поддать, вытянуть хворостиной, могут и взять за рога, запереть в чужой сарай. До сумерек Лизку надо непременно пригнать домой, а то и в самом деле пропадёт, как пропала пёстрая коза Фёдоровны.

Козу Фёдоровны даже не увели, а закололи прямо в хлеву. Кража произошла ночью, а на рассвете на крик хозяйки сбежался народ. Расстрёпанная, простоволосая Фёдоровна металась среди людей, показывала в глубину раскрытого хлева. Там на остывшей соломенной подстилке заledenело пятно крови.

— Кормилица ты моя!.. Господи! — беспомощно вскрикивала хозяйка, а старик Бабашкин стал осматривать распахнутые воротца.

— Они изнутри запираются?

— Изнутри, родимый, изнутри. Я козу-то как загоню, так и сама зайду следом и воротца с той стороны заложу щеколдой. А в дом из хлева у меня другой ход есть, через сени. Злодей, чтоб ему сгореть в геенне огненной, видно, через сени прошёл.

Печник растворил ту дверь, о которой говорила хозяйка, потоптался в сенях и, не заходя в избу, появился на крыльце, на улице.

— Ну, Анна, вор у тебя, похоже, не первый раз этим путём проходил. Свой человек.

Анна Фёдоровна широко распахнула глаза:

— Ты что? С чего взял?

— С того взял, что чужому человеку в хлев и через сени не попасть. Там у тебя такие засовы, такие задвижки, что, не зная да в потёмках, их не открыть.

— Матерь-заступница, да кто же это?! У меня после Миньки-пастуха никто и не жывал. Никто ни разу и не захаживал.



— Вот Минька, должно быть, и заглянул по старой памяти. Положение у него теперь волчье, а кормиться надо.

Все, кто стоял у крыльца — женщины, старухи, ребятишки, — испуганно зашептались. Если у Фёдоровны и в самом деле побывал Минька, то теперь он может заглянуть в любой дом. Нет в посёлке такого дома, в котором бывший пастух не знал бы ходов-выходов.

Тут печник прошёл сквозь толпу, сделал круг по всему двору, на ходу пригнулся, так и казалось — вот-вот понюхает снег.

— Здесь они, следы, — сказал он и ткнул в снег рукавицей. — На лыжах прибегал, дьявол! Где-то лыжи успел раздобыть. Но теперь ищи ветра в поле, с лыжами его не поймать.

Там, где стоял печник, и там, где не побывала толпа, по снежной целине протянулась лыжня. Протянулась она недалеко. Уже за углом избы её заровняла ночная вьюга. Вор, наверное, на это и рассчитывал; наверное, сам выбирал такое ненастное времечко.

Я подошёл к тому месту, где лыжня уцелела, тоже пригнулся, глянул — и у меня тревожно подпрыгнуло сердце. След был странно знаком. След был от охотничьих лыж — гладких, широких, а повдоль правой лыжни выпуклая тонкая бороздка.

«Где я видел такую бороздку? Где я видел такую бороздку?» — забухало у меня в голове, и я боком, боком пошёл от лыжни, от толпы, от Бабашкина и сорвался с места, кинулся к своему дому.

Подбежал, и точно: у крыльца в сугробе стоит одна пара лыж, а второй пары нету!

Когда мы задумали поход на горностаев, отец смастерил две пары отличных лыж. Одну для меня, другую — пошире, подлиннее — для себя. Недавно Шурка с Наташкой лыжи вытащили и

сразу отцовскую пару попортили. Наехали по первому снегу на острый камень, и на правой лыже осталась глубокая борозда. И теперь вот этой пары у крыльца не было. Вчера она стояла тут, а теперь её нет! Я так и сел в сугроб у крыльца — я не знал, что делать.

Сгоряча я хотел бежать обратно к людям, сказать: «Нас тоже обокрали!» — да мне словно бес какой шепнул на ухо: «Постой! Ты скажешь, а потом что? Потом вся станция, все ребята будут посмеиваться: у Лёньки Никитина отец на фронте, отец — герой, а сам Лёнька — растяпа! Чуть не собственными руками бандиту отцовы лыжи подарил».

Подумал я такое и никому ничего не сказал.

Утром не сказал, днём не сказал, промолчал и вечером, когда из района прискакал на лошади хромой милиционер в синей шинели. Он долго и дотошно всех выпрашивал, долго ходил, припадая на больную ногу, вокруг дома Фёдоровны, но уехал обратно ни с чем.

По примеру напуганных жителей посёлка я навесил на Лизкин сарай здоровенный замок, но, навешивая, подумал: «А ведь нашу козу Минька, может быть, и не тронет. Не должен тронуть. В отплату за лыжи».

Я запутывался в этом деле всё больше и больше. И выходило теперь, что сильный-то и гордый человек я не во всём. Есть слабинка и у меня. Но тут я утешался тем, что слабинка пока одна-единственная, да и та, если разобраться, получилась не по моей вине. Вот какие думы одолевали меня в школе. И забот стало много. На последнем уроке я всегда сидел с шапкой в руках, а пальто заранее прятал под партой. Как только звякнет звонок, я должен впереди всех вылететь из класса, добежать до магазина и занять очередь за хлебом. Хлеб прозевать нельзя. Уже на другой день са-

мостоятельной жизни я сделал ещё одно грустное открытие.

Я выкупил хлеб и вдруг увидел: тёплый шершавый отрезок буханки стал не таким увесистым, каким был при маме. Да что там увесистым, он стал совсем-совсем маленьким! Сначала подумалось: продавщица напутала; но потом дошло: продавщица не виновата. Она просто-напросто отпустила хлеба ровно столько, сколько нам полагается без маминого пайка. А ведь мамин паёк был больше нашего в три раза!

Мама получала весь хлеб — и свой, рабочий, и наш, детский, — одним весом сразу, а потом делила его между всеми поровну. Сколько нам, столько и себе. А теперь вот мамин паёк уехал вместе с ней в больницу, и подкармливать нас рабочим хлебом стало некому.

Я как разделил хлеб на доли, так сразу и пригорюнился: завтра утром Шурка с Наташкой сядут за стол, глянут на тощие лепесточки-ломтики и заревут. Заревут обязательно. Одними разговорами их не накормишь.

И вот я взял свою долю, отрезал от неё третью часть, оставил себе, а две трети прибавил к ребячьему пайку. Так поступать я стал каждый раз, и малыши ничего не замечали. Ведь им-то я говорил, что съедаю свой хлеб с утра, пока они спят.

Но всё равно это был не выход. Во-первых, я стал тощать, во-вторых, убыло у нас не только хлеба. Без него начала быстро подходить к концу картошка, да и коза на подножном корме почти совсем перестала доиться. Нам грозил настоящий голод, надо было что-то придумывать.

Конечно, я мог бы обо всём рассказать Бабашкиным, да только знал: у них по кладовым тоже не густо. Дед Николай отнёс в деревню новенький патефон и поменял его на мешок овсяных отрубей. Поменял по нынешним временам хорошо, музыка нынче была не в цене.

Я тоже решил проверить, не найдётся ли и у нас чего променять. И хотя без мамы братья за такое дело было страшно, на всякий случай заглянул в комод. Я выдвинул нижний ящик и сразу увидел тёмно-серый пиджак отца. Тот самый пиджак, в котором он был на гулянии за рекой и которым укрывал нас в грозу.

От пиджака и сейчас ещё пахло духами «Красный мак». Отец торжественно преподнёс их маме в тот праздничный день, а мама как открыла флакон, так сразу побрызгала отцу на пиджак, мне и ребятишкам на головы. А себе она тогда лишь тронула стеклянной пробкой белую впадинку на шее, посмотрела в зеркало, засмеялась, и отец тоже почему-то засмеялся...

Воспоминания нахлынули на меня. Я стоял, гладил мягкую ткань пиджака, и о том, чтоб отнести его в деревню, даже не хотелось думать. Мне хотелось думать только о том, как славно нам было с отцом до войны, какие у нас были с ним расчудесные денёчки.

Перед самой войной отец получил новенький гусеничный, до той поры у нас ещё невиданный трактор «НАТИ». Новый трактор так пришёлся отцу по душе, что он сразу и название-то переименовал. Он стал называть машину почти человеческим именем — Натенька. С железным, ладно скроенным на заводе Натенькой подружился и я.

Бывало, набегаясь по посёлку с ребятами, так что ног под собой не чую, и вот приду домой, сяду в прохладной комнате перед ярким распахнутым окном. Сяду, расставлю на подоконнике самодельную флотилию бумажных кораблей и вдруг слышу: где-то далеко-далеко гудит трактор.

Гудит он негромко. Его перебивает звон вагонных буферов на станции. Его перебивают свист и пыхтение паровоза на запасных путях, но совсем заглушить не могут. Дальний голос трактора похож на упрямое гудение майского жука, он всё

жужжит и жужжит в синеве за окном, и одно надтреснутое стекло в раме начинает ему вторить. А я уже узнаю: это отец с Натенькой приехали работать в окрестные поля. И я мигом забываю об усталости и бегу на голос трактора.

Я бегу напрямик по широкому, почти бескрайнему клеверищу. Надо мною огромное небо с огромными облаками. Сочные стебли клевера мне по пояс. Их пунцовые шапки кланяются мне. Встречный ветер пахнет мёдом, вокруг звенят шмели, а прямо из-под ног выкатывается зайчонок и опрометью, высоко подскакивая, улепётывает по густым клеверам. Должно быть, запыровался серый да и проглядел, прослушал, как я топочу пятками по тёплой земле.

Клеверище уходит отлого вверх. Оно раскинулось на широком холме, переваливает через него, и мне кажется, что я взбегаю прямо в небо. Мне кажется, что там, за гранью холма, уже ничего нет — там голубой край земли.

Но рокот мотора долетает из-за этой грани. И когда я поднимаюсь на самую высоту, то у меня захватывает дух. Впереди, слева, справа — кругом, куда ни глянь, — опять огромное небо, опять огромная земля.

Клевера теперь уходят вниз, как бы в гигантскую чашу. На дне чаши сельцо с церковью, а чуть поближе — берёзовая рощица. Я бегу к ней. Багряные клевера кончились, и вот я стою на свежих пластах пашни. Пласты жирно поблёскивают, тракторный плуг только что прошёл тут, и опрокинутая почва не успела высохнуть. Босым ногам от неё прохладно и приятно.

А трактор спешит назад. Он становится всё выше и больше. Он теперь не гудит, а грохочет. Мне видно, как мелькают и сверкают под солнцем стальные звенья гусениц. Я различаю в окне кабины отца. Он весь в пушистой коричневой пыли, и от этого белозубая улыбка его мне ещё

заметнее. Он рад, что я прибежал в поле.

Трактор замирает как вкопанный. Отец сдвигает рукоятку газа. Рёв и звон сменяются добродушным урчанием. Я вскакиваю на гладкую гусеницу, ныряю в кабину, плюхаюсь рядом с отцом на пыльное сиденье. Сначала резкий запах керосина и горячего железа оглушает, но через минуту я уже не слышу его.

Отец улыбается ещё шире, хлопает меня по спине, говорит:

— Пришёл?

Я молча киваю. Он привстаёт, берёт меня под мышки, пересаживает на своё место.

Я кладу ладони на рычаги, почти сползаю с пружинного сиденья, изо всех сил упираюсь в тугие педали. Сердце замирает в радостном предчувствии, и вот радостное настает. Отец толкает рычаг скорости, кричит:

— Давай!

Я отпускаю педали, трактор вздрагивает, весело рывкает и вдруг приходит в движение. Он, громоголосый, могучий, катится вдоль борозды, и я сам себе кажусь таким же могучим. Да не только кажусь, а трактор и в самом деле слушается меня.

Вот стоит мне потянуть рычаг — и трактор пойдёт влево. Вот стоит мне потянуть другой рычаг — и трактор пойдёт вправо. А если я возьмусь за рычаг со всей силой и до отказа выжму педаль, то железный силач закружится волчком на одном месте.

Но я этого не делаю. Я заставляю его идти ровненько вперёд да вперёд. Баловаться нам нельзя: мы — пашем, мы — работаем!

А вот песни петь можно. И я пою. И отец поёт тоже. И хотя певцы мы с отцом не очень важные, хотя слова песни больше выкрикиваем, чем выпеваем, но вместе с Натенькой у нас выходит куда как славно!

И песня у нас выходит славно, и борозда за трактором тянется ровная, и весело вокруг в поле, а больше-то нам всем троим ничего и не надо...

Это воспоминание было таким, что на миг показалось: я и в самом деле слышу гул мотора, слышу влажный запах распаханной земли. И я очнулся и сказал сам себе:

— Знаю! Теперь знаю, что мне делать!

## Глава 11

### МОЕ РЕШЕНИЕ

Погода всю последнюю неделю стояла тихая. Был только ноябрь, но по вечерам сильно морозило, и над белыми полями, над белыми лесами вечерние зори казались ещё багровей.

Гул фронта теперь доносился до нас ещё отчётливее. Теперь если идёшь по улице и остановишься, то сразу слышно, как в московской стороне словно бы кто бьёт гигантским молотом в мёрзлую землю. Земля вздрагивает, даёт отпор, и дрожь её докатывается до станции, до наших тополей.

Я шагаю к школе и вижу, как с тонких веток слетает иней. Он падает на розоватый вечерний снег, и мне кажется, что это не заря закатная всё высветила вокруг, а пылают в полнеба фронтовые пожары.

Школа наша стоит тёмная, притихшая. Уроки давно кончились, и, наверное, все, кроме Валерьяна Петровича, уже разошлись.

Там и в самом деле было пустынно. Лишь в зале при свете одинокой лампочки шаркала мокрой тряпкой уборщица. Осторожно, на носках, я прошагал по влажным половицам к директорскому кабинету, подёргал за ручку.

— Нету Валерьяна Петровича, нету, — сказала уборщица. Она отжала тряпку над ведром, по-

доткнула мокрыми пальцами под платок рыжую прядь волос.— Дело какое или так?

— Дело,— нехотя буркнул я.

— Ну, тогда опоздал. Уехал Валерьян Петрович. Уехал!

Она так напирала на слово «уехал», что я встревожился:

— Как уехал? Куда уехал? Насовсем?

— Не знаешь, что ли, куда он ездит? — вдруг ни с того ни с сего рассердилась женщина.— В райком ездит! На войну просится! Его в райкоме отругают, завернут обратно, а он обождёт да снова туда же... Нынче опять укатил. С колхозниками. Они зерно на станцию привозили. Обратно пеша придёт чуть не к утру.

— Ну и правильно,— сказал я.

— Что правильно?

— А то, что на фронт просится.

Женщина отшагнула от меня и даже махнула тряпкой:

— Глупый! Да разве таких людей в такую страсть посылают? А если убьют?

— А если моего отца убьют!

Она испуганно прижала мокрую ладонь к груди, быстро и шёпотом заговорила:

— Что ты, что ты? Я ведь не к тому. Я ведь не про это...

— А Валерьян Петрович думает и про это!

И, не глядя, прямо по мытому, я пошёл к выходу. Вслед мне донеслось растерянное: «Обиделся?» — но я хлопнул дверью.

А наутро, ещё в потёмках, я опять стоял у кабинета. Дверь была приотворена, и в щель пробивался свет. Наклонив голову, Валерьян Петрович сидел за столом, что-то писал. Перед ним стояла зелёная лампа с абажуром, и я подумал: «Как же так: человек собирается на войну, а сам даже и лампу из дома в школу принёс?»

Я скрипнул дверью, директор поднял голову:



— Это ты? Заходи.

Я без лишних слов приступил к делу:

— Дайте мне справку об окончании семи классов.

— Зачем? — спокойно спросил Валерьян Петрович.

— Поступлю на работу в МТС. С семьёю классами туда берут.

— Да, принимают. Но не детей. Тебе ведь нет ещё и пятнадцати.

Что верно, то верно. В нашем классе я был моложе всех на целый год. Я сам научился читать и в школу пришёл до времени. А кроме того, я был очень маленький ростом, и как только в первый раз появился в классе, так сразу с задней парты кто-то дурашливо крикнул: «Гли-ко, ребята! Вершок!» А с другой задней добавили: «Вершок-горшок!» — да так это имечко за мной и осталось.

Но в классе было проще. В классе такого дразнильщика-обзывальщика поймал, отлупил — и всё в порядке, а теперь ведь не подерёшься. И я упрямо сказал:

— Это до войны малолетних не брали, а нынче возьмут. Притом у меня отец тракторист.

Валерьян Петрович ничего не ответил, только подвинул мне стул и негромко спросил:

— С голоду идёшь?

Я чуть не сказал: «Да», но подумал и ответил:

— Нет! Не только с голоду... — и это была правда.

И вот Валерьян Петрович вынул из стола печать, бланк, вписал мою фамилию и, дважды дохнув на кругляшок печати, хлопнул по бумаге. Уголки губ у него дрогнули, опустились, лицо стало хмурым:

— Жаль. Ты был способным учеником.

— Я ещё вернусь. Вот придёт с фронта отец — и вернусь.

Но Валерьян Петрович словно перестал слышать. Он взялся широко раскрытыми руками за край стола, уставился в крышку и молчит. Я поднялся, сказал:

— До свидания.

Но тут он произнёс:

— Погоди.

Он быстро написал на чистом листе несколько слов и запечатал записку в голубой довоенный конверт. На конверте крупно вывел красным карандашом: «Тов. ПЕТРЕНКО П. М.»

— Это парторгу МТС. Так будет вернее. Не потеряй.

— Не потеряю. Спасибо вам.

— На здоровье,— хотел улыбнуться Валерьян Петрович, да улыбка-то у него получилась горькая...

Из школы я ушёл совсем тихо. Попрощаться с классом, с учителями у меня не хватило духу. Да и уходил я с большой надеждой, что ещё вернусь.

## Глава 12 ТОВАРИЩ ПЭ-ЭМ

Машинно-тракторная станция находилась в том самом селе с церковью, на которое я смотрел когда-то с вершины зелёного холма. Теперь холм и поля укрыты снегом, и я шагаю в подшитых валенках по гладкой, до блеска накатанной дороге.

Голова у меня кружится от солнца, от сияния снегов и от голода. Утром в честь «окончания» школы я скормил весь хлеб Шурке с Наташкой, а теперь каюсь.

Теперь чем ближе село, тем больше я боюсь, как бы «тов. Петренко» не назначил мне сразу такую проверку, на которую моих скудных сил не хватит. Очень уж строгим казалось мне написан-

ное на конверте слово «тов.», и представлял я себе этого человека тоже строгим, даже неприступным. Он и одет-то, наверное, не просто, а затянут в тёмно-синюю гимнастёрку, брюки на нём кавалерийские, галифе, на ногах блестящие сапоги с калошами, а в руке толстый портфель. Я знаю: так одеваются почти все районные начальники, а неведомый парторг казался мне теперь куда старше их всех и куда важней.

Я вошёл в село, и оно удивило меня пустыньностью. На короткой улице не было ни души. Только на берёзе рядом с обшарпанной церковью качалась и громко стрекотала сорока. Сквозь узорчатую решётку церковного окна торчала жестяная труба. Из трубы шёл дым, на меня пахло тёплой кухней, и голова закружилась ещё больше.

Я поскорее миновал церковь. За ней стоял дом с высоким жёлтым крыльцом. Над крашеной дверью висела стеклянная вывеска. Я ещё издали прочитал косоватую надпись: «Контора». Снег возле конторы был густо истоптан такими чёрными следами, словно ходили тут трубочисты.

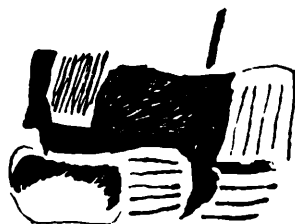
Чёрные следы растекались от крыльца в двух направлениях. Одна тропа вела назад, к церкви, — там наверняка была столовка; другая тропа убежала за край села, в сторону невысоких длинных строений.

Я нерешительно затоптался у крыльца, прикидывая, стучаться в дверь или не стучаться. Но дверь открылась сама. Из конторы выскочил на мороз кривой высоколобый мужик с лохматой заячьей шапкой в руках, в промасленном до железного блеска ватнике. Он устави́л на меня свой единственный, удивительно зелёный глаз, нахлобучил на голову шапку, заорал:

— Ты что тут, ёж твою корень, топчешься? Вали в дом! В доме-то теплее.

— Мне бы товарища Петренко.

— Петренко?



— Дуй туда! — махнул мужик в сторону дальних строений, а сам, как настёганный, припустил к церкви. Он в два прыжка влетел на широкие ступени бывшей паперти, опять обернулся: — Туда, туда жми! В мастерские!

Он заскочил в церковь, выхлопнув на улицу сизое облако пара, а я пошёл в ту сторону, куда он махнул рукой.

Сначала тропа привела меня к длинному дощатому навесу. Под ним с одной стороны стояли тракторы, с другой — комбайны, плуги, сеялки. Там, где стояли комбайны, от машин было тесно; а там, где тракторы, — пусто наполовину. Я даже удивился, что тракторов так мало.

Я забрёл под навес и, перешагивая масляные пятна на мёрзлой земле, стал искать наш «НАТИ». Но вот запнулся и вижу: торчат из-под колёс полуразобранного трактора чьи-то кирзовые сапоги.

Сапоги зашевелились, их владелец стал выбираться. Сначала показались ватные брюки, потом почему-то юбка, потом стёганка, и наконец человек извернулся боком, вылез из-под трактора.

Передо мной встала женщина, замотанная в тёплый суконный платок. Концы платка были заправлены под стёганку, из-за этого женщина казалась очень толстой. А старая она или молодая, понять нельзя: слишком уж перепачкалась под трактором. Я только и разглядел, что брови у неё светлые, глаза синие, улыбчивые.

— Чего шукаешь, хлопче? — не по-здешнему и напевно спросила она.

— Товарища Петренко. Пэ-эМ.

— Так это ж я и есть.

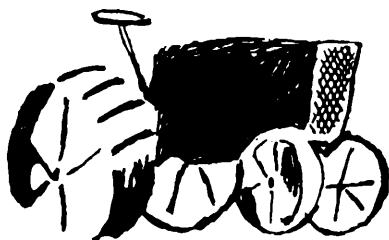
— Ну да?

Если бы товарищем Петренко назвался тот кривой заполошный мужик, я и то бы удивился меньше. У того мужика хоть глотка здоровая — вон как орал с паперти! — а у этой толстой тётки и голосок-то несерьёзный. Таким голосом только песни петь, а не командовать. И в руках у неё не портфель, а гаечный ключ и полукруглый подшипник от двигателя.

Я переспросил:

— Нет, правда, вы товарищ Петренко? А может, Петренко, да не Пэ-эМ?

— Не похожа, что ли? — засмеялась женщина и, мягко, с придыханием выговаривая «г», поторопила: — Ну, говори, что тебе?



Я вынул конверт, а она положила ключ и подшипник на трактор и оглядела свои замаслённые руки. Потом осторожно, двумя пальцами, надорвала конверт. На бумаге сразу отпечатались тёмные пятна.

Женщина прочитала записку, посмотрела на меня и сказала:

— Та-ак... Выходит, ты ученик Валерьяна Петровича? Работать желаешь?

Взгляд и голос её были теперь такими, что я сразу поверил: она — начальница. И подумал: «Сейчас откажет! Сейчас разглядит, какой я тощий да маленький, и — откажет!»

Я ухватился за спасительное имя директора:

— Да, я ученик Валерьяна Петровича! Конеч-



но, ученик... Он знаете у нас какой? Он если что скажет, то все так и делают. Это ведь он мне сказал: «Иди, Никитин, в МТС, там дело надёжное».

Насчёт «иди» я, конечно, приврал, но думаю: «Каши маслом не испортишь. А всё остальное насчёт директора — правильно».

Но женщина сказала:

— Не трещи. Я и без тебя знаю вашего Валерьяна Петровича. Лучше ответь: твой батько тоже тут работал?

— Вы и отца знаете? — обрадовался я.

— Про него написано в записке, — помахала женщина конвертом. — Я приехала сюда в сентябре, а твой батько ушёл в армию, должно быть, раньше.

— Намного раньше. Но он тут всю жизнь работал и меня научил!

— Ну уж научил.

— Верно, верно. У нас ещё с ним новый трактор был. «НАТИ» называется. Только нашего трактора я тут не вижу.

— На войне ваш «НАТИ». Все лучшие машины на войне, а мы вот с этим добром остались.

Женщина повела рукой в сторону выдавших виды колёсников и тронула раскиданный по частям двигатель соседнего трактора.

— Один разбираем — два лечим. Новых двигателей нет и получать пока неоткуда. Ты тоже пойдёшь до весны на ремонт, понял?

Как сказала она: «Пойдёшь», так у меня сразу от души отлегло. Я чуть не хлопнул рукавицами, чуть не крикнул: «Порядочек!» — да спохватился и солидно сказал:

— Я хоть сейчас, тётенька.

Женщина усмехнулась:

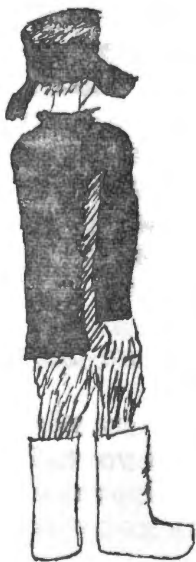
— Вот и хорошо, дяденька.

Она взяла с трактора ключ, подшипник, серьёзно договорила:

— Меня зовут Полина Мокиевна. А тебя Леонид, что ли?

— Лёнька, — поправил я.

— Ну, Лёнька так Лёнька. Идём, Лёнька, в мастерскую.



Здание мастерской было почти новым. Бревенчатые стены его светились медовой желтизной, окна поблёскивали прозрачно, и лишь притвор струганых ворот успел потемнеть, захватанный руками рабочих.

Вслед за Полиной Мокиевой я прошёл в эти ворота, и тут на меня обрушился грохот. У самого порога ревели, сотрясались на деревянных подставках два тракторных мотора. Они чадили душным дымом, меж них металась девушка в неуклюжем комбинезоне. Мешковатые рукава она высоко подвернула, тонкими руками хваталась то за рукоятки газа, то за тяги воздушных заслонок, но дело у неё, похоже, не ладилось.

Полина Мокиевна подошла к мо-

торам, поманила девушку. Та подбежала, принялась объяснять, показывать руками. И происходило всё это, как будто в немом кино. Я вижу: она говорит, а что говорит — за грохотом не слышно.

Наконец Полина Мокиевна склонилась над карбюратором одного мотора, над карбюратором второго, что-то там подвернула, и моторы загудели ровнее. Полина Мокиевна постояла, прислушалась, кивнула девушке — так, мол, и действуй! — и вернулась ко мне.

Затем мы попали в помещение, которое после рёва моторов показалось тихой горницей. Но и там был шум: постукивали молотки, поскрёбывали напильники, жужжали свёрла в руках рабочих. Я никогда не видывал столько мастеровых людей сразу и встал у порога.

А Полина Мокиевна складно сказала:

— Вот вам, товарищи, новичок — ещё один мужичок.

Кто-то хохотнул, все обернулись. И тут я увидел: народ этот хотя и мастеровой, да всё тоже старые старики и парнишки. И стоят эти парнишки у верстаков не на полу, а кто на пустом ящике, кто на широком чурбане, а без этих подставок им до рабочего места и не достать. Но всё равно смотрят они на меня ехидно; чувствую, ещё минута — и грянет роковой возглас: «Вершок!»

Я нахохлился, спросил Полину Мокиевну:

— Говорите скорей, какую работу делать.

— Ты хоть сначала поздоровкайся!

— Здравсьте... — глянул я исподлобья на людей.

— Здорово, здорово! Ишь ты какой сурьёзный, — ответил мне за всех один плотный усатый старик в железных очках и с пышными бровями.

Над шеренгой ребят опять прокатился хохоток, но старик повёл бровями в ту сторону, и хохоток скис.



— На клапана его, Полина Мокиевна, на клапана. Там силы не надо, а сурьёзность пригодится,— то ли в насмешку, то ли по делу сказал старик.

— Он ещё неоформленный.

— Веди оформляй. Потом — сюда.

— Может, завтра ему начать?

— Что завтра, когда человек позарез нужен теперь! — отрубил старик.

Он сердито ткнул пальцем в бревенчатый простенок, там висела на гвозде написанная от руки бумага.

— Ты вон подписку с нас взяла.

— Не я взяла, вы сами обязательства приняли. Какая же это подписка?

Я заробел, как бы старик и женщина из-за меня не поругались; а Полина Мокиевна протянула старику подшипник, который всё ещё держала в руке, и тихо, мирно сказала:

— Смотри, Павел Маркелыч, и в этом тракторе всё сношено. И эти подшипники надо заливать.

Старик поднёс подшипник к очкам, постучал по его вогнутой поверхности ногтем:

— Надо. Да только баббиту на складе — с гулькин нос.

— Миленький, что же делать? Будь ласка, придумай что-нибудь.

Старик ещё сердитее зашевелил усами:

— Что я, академик, что ли, придумывать?.. — Но подшипник положил рядом на верстак.

— Идём,— сказала Полина Мокиевна и повела меня через всю мастерскую. И опять парнишки-рабочие разглядывали меня со своей «высоты», а один, большеротый, кудрявый, с хитрыми глазами, пригнулся и соорудил мне рожицу.

Кабинет Полины Мокиевны находился рядом, за стеной. Почти всё место в нём занимали же-

лезная печь да письменный стол. В кабинете негде было повернуться, его разгораживала пополам брезентовая занавеска, подвешенная к потолку на стальной проволоке.

Полина Мокиевна шагнула за край занавески, я увидел там спинку железной койки, а потом услышал стук умывальника. Возвратилась Полина Мокиевна уже без ватника, в серой вязаной кофте, и я увидел, что никакая она не толстая, а очень складная и даже молодая.

Она была почти такая же молодая, как наша мама. Только мама темнобровая, а у Полины Мокиевны волосы золотистые и влажные от умывания брови почти белые.

— Вы что, так вот здесь, прямо на работе, и проживаете?

— Прямо и проживаю.

— А дом где? Разве дома у вас нет?

Полина Мокиевна подвинула ко мне бумагу, ручку с пером:

— Пиши заявление.

## Глава 13

### ОДНОГЛАЗЫЙ КУЗНЕЦ

Ну вот, написал я заявление, а Полина Мокиевна прочитала его, свернула трубкой и говорит:

— Всё! Теперь беги до хаты.

— До какой хаты? — говорю я.

— Ну, домой, значит. Приказ в конторе подпишут к вечеру, а, стало быть, зачислят на работу и прикрепят к столовой лишь с завтрашнего дня.

— А Павел Маркелыч? Он же рассердится. Он же у вас вон какой.

— Кто? Пыхтелыч? — засмеялась женщина, да вмиг спохватилась, прикрыла рот ладонью. — Ой, что это я!

Потом отняла руку и, озорно усмехаясь, погрозила мне пальцем:

— Не вздумай вслух Павла Маркелыча так называть. Он и в самом деле рассердится. Это его за глаза у нас хлопчики так называют, а я, глупая, повторила. Беги домой.

— Нет уж, я лучше к нему пойду!

— Так без обеда останешься!

— Не останусь. У меня с собой есть. В кармане. Я похлопал по карману пальто, в нём лежали рукавицы.

Честно говоря, пошёл я к Павлу Маркелычу без особой радости, только потому и пошёл, что боялся его послушаться. Что бы там ни говорила Полина Мокиевна, а своим неприступным видом и обещанием поставить на «серьёзную» работу, «на клапана», он нагнал на меня страху.

Мастер и в самом деле поставил меня на клапаны. Только работать с ними оказалось не так страшно, хотя он и заставил меня раз пятнадцать повторить, что нужно делать, как делать, да ещё и припугнул:

— Запорешь хоть один клапан — полетит к лешему весь мотор! Чувствуешь?

— Чувствую.

— Ну, то-то.

Клапаны тракторного двигателя похожи на стальные грибы с тонкой ножкой. Они то плотно закрывают, то открывают круглые отверстия для прохода в мотор горючей смеси. Под ними смесь взрывается, ударяет вниз, в поршень, и приводит в движение весь трактор.

Если клапан закрыт плотно, то вся сила взрыва употребляется с пользой. Если клапан прилегает неплотно, то и часть взрывной силы вылетает без толку назад. Тогда двигатель работает, как худой насос, трактор тащится едва-едва.

Каждый клапан надо было притереть к месту так, чтобы его края блестели как зеркало. А сама

притирка исполнялась просто. Зажмёшь отвёртку в коловорот, упрёшь её в прорезь на шляпке клапана и пошёл крутить! Накручивай да время от времени подливай две-три капли мазута со стеклянной пудрой. Пудру рабочие готовили сами, разбивая молотком в мельчайшую пыль осколки стекла. Павел Маркелыч первым делом отправил меня за осколками.

Он глянул поверх очков повдоль верстака, оглядел шеренгу ребят:

— Юрей! А ну, покажи парню, где видел стёкла.

Тот большеротый, хитроглазый опять скроил рожу, бросил возиться у тяжёлых тисков, громко заорал:

— Я нянька, да?



— Что, что? — сверкнул очками старик. — Сам-то давно от няньки отстал? А ну, не рассуждать!

Повторной команды Юрка дожидаться не стал. Он схватил с верстака брезентовые рукавицы, шлёпнул меня по шее: «Идём, тютя!» — и выскочил из мастерской. Юркины приятели заржали, я разозлился.

Я догнал Юрку на улице, дал затрещину, Юрка полетел в снег. Я думал, он опять заорёт, начнёт крыть почём зря, но он лежал — руки-ноги крестом — и удивлённо хлопал глазами:

— Ты чего?

— Это тебе за няньку. А сейчас дам за тютю.

Юрка ловко взвился на ноги, поймал мою руку, завернул за спину.

— Ой! — сказал я.

— Квиты? — спросил Юрка.

Я стиснул зубы, для прилику потерпел, помолчал, потом ответил:

— Квиты.

Юрка отпустил меня, стал отряхиваться:

— А ты, оказывается, сердитый.

— А ты заедливый.

— Это я так.

— Ну и я так. Где стёкла-то, показывай.

Битые стёкла валялись в куче мусора под зернистым снегом за мастерской. Мы быстро наполнили карманы острыми, скрежещущими осколками. Юрка сунул тонкие рукавицы за пазуху, подул на озябшие руки, кивнул на приземистую, попыхивающую дымком избушку невдалеке:

— Зайдём?

— А что там?

— Кузница. У меня там друг в молотобойцах. Васька Филин. У него самосад есть.

В маленькой кузнице плавала сизая гарь и пылал огонь. Пылал он в кирпичном закопчённом горне. То лиловые, то белые языки пламени про-

низывали горку угля, охватывали лежащий там обрубок железа. Он светился.

Спиной к нам, лицом к огню стоял кузнец в заячьей шапке. По его торопливым движениям, по лохматой шапке я сразу признал в нём того заполошного мужика, что был у конторы. Он длинными клещами подгрребал угли, покрикивал:

— Давай, давай! Ещё чуть-чуть!

Рядом с горном стоял и дёргал за верёвку коренастый парнишка в больших валенках. Парнишка был без пальто, в одной распоясанной грязной рубаше. Верёвка, которую он держал, была перекинута через блок под чёрным потолком; она поднимала и опускала кожаный мех. Этот мех, будто безрукое, безногое существо, пошевеливал широкой спиной, натужно пыхтел, и пламя в горне пылало ярче.

Я подумал о парнишке: «Это и есть Васька Филин. Только на филина он не похож».

Квадратный, крепкий, как кряж, с тёмной чёлкой, с узкими глазами на круглом лице, парнишка больше смахивал на японца. В ответ на Юркин приветственный возглас он ничего не сказал, только стрельнул в нашу сторону глазами-щёлками и опять стал смотреть на кузнеца.

А тот всунул клещи в самый огонь, скомандовал:

— Товсь!

Васька бросил верёвку, поднял на плечо тяжёловесный молот и, раскорячив короткие ноги в широких валенках, встал к наковальне. Кузнец выхватил из огня раскалённую железину. В лапах клещей она светилась, как вишня. Описав круг, она легла на гладкую поверхность наковальни, по ней побежали тёмно-фиолетовые тени окалины, и она стала похожа на яркий полураскрытый бутон цветка.

Кузнец перехватил клещи в левую руку, в правой у него оказался молоток. Он легко, быстро

пристукнул молотком по горячей железине и сразу опустил его на зеркало наковальни. Стук! — очень ясно проговорил молоток. Дзвень! — готовно откликнулась наковальня.

Васька скривил рот, произнёс: «Ы-ых!» — и наотмашь бухнул молотом. Искры сыпанули жёлтым ливнем, а кузнец слегка повернул железину и опять пристукнул молотком. И вот пошло:

Стук! Дзвень! Ых! Бух!

Стук! Дзвень! Ых! Бух!

Я смотрел на мелькание угластого инструмента, на озарённых огнём рабочих и видел: происходит удивительное.

Вот только что под молот лёг невзрачный обрубок железа, и вдруг он стал превращаться в красивый шестигранник с ровным отверстием посередине. Был обрубок — стала гайка. Была просто железина — стала вещь! Одно превратилось в другое, и это было чудо.

Я и потом всю жизнь не перестану удивляться умению рабочих рук превращать одно в другое, будь это руки слесаря, плотника, столяра — чьи угодно. Но тогда, у наковальни, среди железного звона, работа кузнеца и его помощника показалась мне почти волшебством. Она показалась мне той сказкой, в которой добрый волшебник поднимает свою палочку и обращает серого паука в белогрудую ласточку, дождевую каплю в утреннюю звезду, пыльный камень в яркий цветок.

Когда кузнец бросил гайку остывать на пол, рядом с горкой других, откованных раньше; когда он, сверкнув зелёным глазом, сказал: «Ну, ёж твою корень, теперь и покурить можно!» — я уже был навеки влюблён и в кузнечное дело, и в самого кузнеца, и даже в Ваську. И я горько сожалел, что попал на работу в мастерскую, а не сюда.

Васька опустил на землю молот, молчком поднял из тёмного угла овчинный полушубок, накинул на плечи и уселся на деревянную скамью близ

горна. Он вытянул одну ногу вперёд, неспешно запустил руку в карман штанов и вытащил за шнур пузатый матерчатый кисет.

Васькино медленное действо перед закуриванием сразу напомнило мне печника Бабашкина. Только печник свёртывал «козью ножку», а Васька соорудил себе папироску иного сорта. Он раздвинул двумя пальцами горловину кисета, достал оттуда прямоугольный обрывок газеты, загнул корытцем и всыпал в него щепоть ядовито-зелёной махры. Махра эта известна под названием «самосад», а ещё лучше — «самодёр».

Васька лизнул край обрывка, ловко повернул его в пальцах, и у него получилась тугая короткая папироса с тонко закрученной пипкой на конце.

Сунув самокрутку в рот, Васька щедрым жестом протянул кисет мне. Я помотал головой. Васька удивился и молча преподнёс кисет Юрке. А тот хотя и напустил на себя важности, хотя и старался всё сделать, как Васька, да всё равно у него так здорово не вышло.

Юркина самокрутка тут же расклеилась, часть табака просыпалась на грудь.

По-моему, чем держать такой форс, лучше не курить совсем. И я не курил.

Однажды летом дядя Серёжа забыл у нас на крыльце коробку с папиросами, и я стянул одну папиросину. Она была длинная, тонкая, заманчиво пахла. Придерживая рукой карман штанов, чтобы не гремели сворованные на кухне спички, я убежал с добычей за наш сарай.

Я спрятался там в дремучем, розовато цветущем пустыльнике, в лопухах, и приступил к запретному, а потому давно желанному делу. Поджёг папиросу, с великим шиком зажал меж двумя пальцами, во всю силу потянул раз, потянул два, на третий — закашлялся. А на четвёртый — земля вдруг пошла самолётом вверх, небо повалилось вниз, всё тело моё скрутила страшная тошнота,



и я пал на четвереньки. В этой жалкой позе я простоял долго. Я слышал, как меня ищут дома, кричат, но в ответ не мог произнести ни слова. Пришёл я в себя лишь вечером, когда меня обдуло холодным ветерком, и с той поры такое мучительство над собой больше не проделывал.

Пока я припоминал свой небогатый курцовский опыт, Васька выхватил голыми пальцами из горна красный уголёк, прикурил и, с усмешечкой кося на Юрку, сказал:

— Дружок-то у тебя интеллигентный больно. Не желает с рабочим классом самодёр курить.

— Цигару ему надо. Американскую! — хихикнул Юрка. Видно, затрещину мою он не забыл и радовался случаю отомстить.

— Сам ты цигара! — отрезал я. — Смотри вон, вся фотография в махорке. Даже на губах налипло.

Юрка выдернул папиросу изо рта, поспешно утёрся всей пятернёй и поглядел на ладонь. Он и в самом деле поверил, что у него на губах табак.

Васька, дурашливо дрыгая валенками, повалился на лавку, зареготал, а кузнец усмехнулся и сказал одобрительно:

— Так их, ёж твою корень! Нашли, дураки, чем хвастать. Отравой.

Он придвинулся ко мне, и вблизи лицо его показалось жутковатым. Оно словно было слеплено из двух чужих друг другу половинок. Левая сторона будто спит, а правая давным-давно проснулась. Левый глаз плотно закрыт неподвижным веком, бровь продавлена глубоким шрамом и не шевелится, а вот правая сторона — вся живёт, вся движется и, приветливо моргая зелёным глазом, улыбается мне.

— Что, на лешего похож? — спросил о себе кузнец.

— Не очень, — слукавил я.

— Похо-ож... Это меня финская кукушка

в тридцать девятом клюнула. Слышал про таких?

О финских кукушках я, конечно, слышал. Так называли вражеских снайперов, которые стреляли с ёлок по нашим бойцам во время недавней войны с финнами.

А кузнец заругался:

— Всю жизнь нас клюют, с самого семнадцатого нам мешают! А теперь вот не только мешают — к горлу лезут. Ну, ничего. Мы, ёж твою корень, тоже стреляные, у нас тоже хватка есть.

Он стиснул кулачище, опустил на скамейку. Скамейка хрустнула.

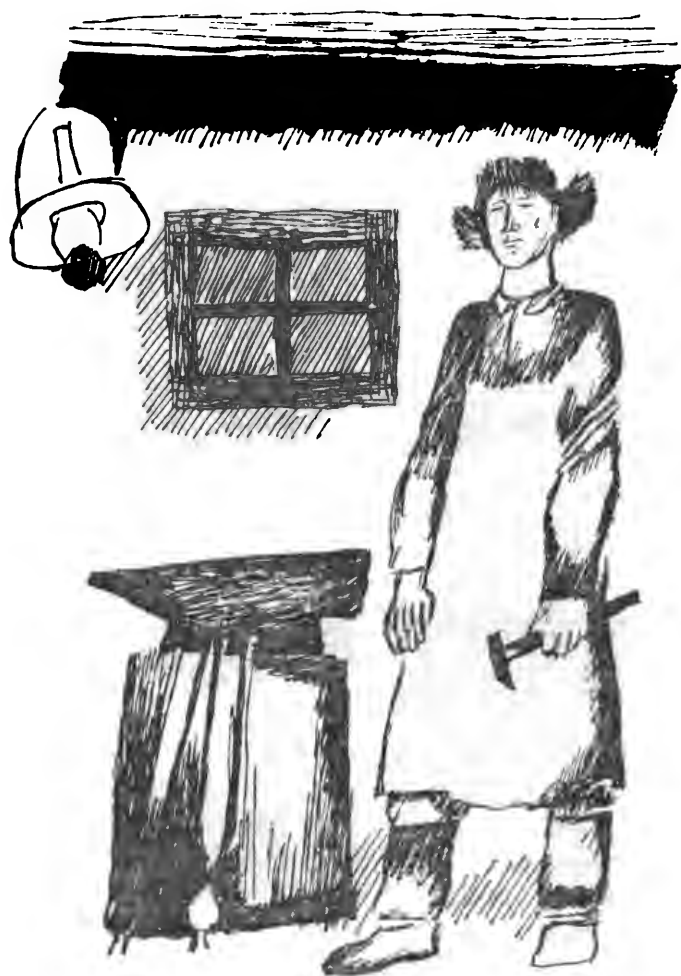
Кузнец посидел, помолчал, успокоился. Потом опять обернулся ко мне и вдруг стал разглядывать:

— Постой, постой. Ты чей будешь-то? — И тут же громко, на всю кузницу, сам ответил: — Мать честная! Да ведь ты Коли Никитина сын. Точно?



— Точно. А вы откуда знаете?

— Марку видно! — дружелюбно ткнул он в мой лоб жёстким пальцем, а я машинально провёл



II 71

по тому месту ладонью и точно так же, как Юрка, оглядел её.

— Какую марку?

Тут мальчишки захохотали уже надо мной, а кузнец, радуясь собственной догадливости, заговорил:

— То-то давеча у конторы стою, думаю: «Где я этого пацана видел?» А оказывается, это я, глядя на тебя, Колю вспомнил. Папку твоего. Письма-то от него получаешь?

Я сразу сжался, а кузнец тоже вдруг остановился и досадливо повёл головой. Повёл и, притворяясь, что вроде бы ничего такого не произошло, продолжил разговор:

— Больно вы, брат, похожи. На`работу к нам поступил? Молодчина. Небось к Пыхтелычу попал?

— Угу.

— Ну, ничего. К нему все на первую обкатку попадают. Старик он — сухарь, но ничего. Делу научит.

Кузнец усмехнулся, насупил правую бровь и ворчливо, точно так, как это выходило у Павла Маркелыча, пробубнил:

— Чувствуешь?

— Чувствую, — улыбнулся я.

— Но ты и ко мне забегай. Забегай почаще. Зовут-то меня знаешь как? Ван Ванычем зовут. Все так зовут, и ты так зови. Твой папка меня тоже Ван Ванычем звал. Я его Колей, он меня Ван Ванычем. Вот какие пироги, ёж твою корень!

Словами кузнец сыпал быстро, повторял их по нескольку раз. Выговаривал каждое слово ласково, особенно когда говорил о моём отце. И мне нравилось, что называет он отца «Колей», говорит о нём: «Твой папка...»

Грустно и нежно стало у меня в груди от этих слов. Кузнец ни разу не сказал о том, что были они с отцом друзьями, но я это понял и так.

А вот Юрка мне совсем разонравился. Уж больно ему хотелось взять верх надо мной, особенно при людях. Он и «цигару» ввернул специально для этого. А когда увидел, как запросто разговаривает со мной кузнец, как примолк и стал слушать наш разговор хохотун Васька, то Юрке совсем стало невмоготу. Он встал, швырнул окуроч, придавил пяткой валенка и сказал командирским голосом:

— Ну, хватит, хватит! Людям работать надо. Потопали.

## Глава 14

### ПАВЕЛ ПЫХТЕЛЫЧ

Мастер встретил нас неласково:

— Где пропадали? Небось махру смолили, в кузнице сидели?

Я чуть было не сказал: «Немножко посидели», да увидел, Юрка мигает мне. Я промолчал, а Юрка стал разгружать карман и сердито приговаривать:

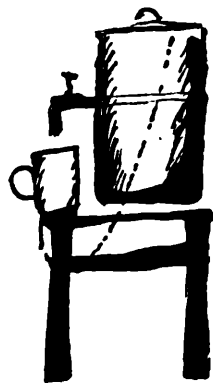
— Сидели, сидели... Посидишь тут! Стекло-то, чай, пришлось из-под снега выковыривать. Все рученьки обморозили.

Юрка старательно подул на пальцы, но старик всё равно заругался:

— Комедию не ломай! Вставай к верстаку — нагреешься. Ты тоже берись за дело, — сказал он мне.

Старик был не то, что кузнец. С ним много не наговоришь. И я забрал стёкла, отправился на своё рабочее место в углу.

Работа здешняя тоже совсем не та, что в кузнице. Там дело сразу



видно, а здесь как начал я клапан крутить, так час кручу, два кручу, а работа вроде бы и не подвигается. Ведь шлифовать — не ковать, дело это очень медленное.

И вот то ли от монотонного верчения коловорота, то ли оттого, что к этому времени я без еды окончательно ослаб, но слышу: творится со мною неладное. Творится со мною такое, как будто я опять накурился.

Пол подо мною стал покачиваться, свет в глазах — то ярче, то темней, голова закружилась, и ладно, я сидел перед мотором на корточках, а то бы не удержался, грохнулся.

В углу мастерской поблёскивал жестяной бак с кружкой на цепочке. Я встал и, держась за стену, пошёл к нему. Две полные кружки холодной воды освежили меня, и я снова взялся за коловорот. Только крутил теперь не так быстро и всё думал: «Поскорей бы конец смене». А она всё не кончалась и не кончалась.

Я опять было наладился к баку, да тут подошёл Павел Маркелыч. Он выдернул клапан из гнезда, протёр тряпкой, повернул к свету:

— Готов.

— Ну да? — Я выхватил из рук мастера клапан и тоже стал разглядывать. Отшлифованные края блестели, тёмные точки раковин исчезли.

— Получается, — сказал Павел Маркелыч. — Не больно быстро, но получается. Утром приступишь к другим клапанам.

— Разве смена кончилась? — обрадовался я.

— Для кого не кончилась, а для тебя — шабаш. Подростков отпускаем раньше, — безо всякой радости прогудел в усы старик. Он всё разглядывал мою работу, но его кустистые брови так низко нависли над очками, что невозможно было понять, доволен он мной или недоволен.

А вокруг шла весёлая суета. Совсем как в школе, когда кончается последний урок. Маль-

чишки с грохотом убирала инструмент в ящики и один за другим выскакивали на улицу. В мастерской остались только пожилые слесари да мы с Павлом Маркелычем.

Я тоже поднял коловорот с пола, глянул, куда бы его пристроить, а Павел Маркелыч сказал:

— погоди.— И полез рукой в карман пиджака, вынул вчетверо согнутый лист бумаги.— На вот, держи.

— Что это?

— Пока вы с Юркой махрой дымили в кузнице, Полина Мокиевна принесла на тебя приказ.

Не успел я развернуть бумагу, не успел разобратся, что там напечатано, а старик уже медленным, торжественным движением вознёс надо мной палец, басом изрёк:

— Чувствуешь?

— Чувствую,— прошептал я, и голова у меня опять закружилась.

А мастер, смотрю, опять полез в карман, только теперь в другой. Он вынул тряпичный свёрток, положил на левую ладонь и правой рукой раскинул углы тряпицы. Раскинул — и передо мной возникла горбушка хлеба.

В кармане она чуть помялась. Коричневая, маслянисто-глянцевая корка с одного края отскочила, и внутри мякоти был виден прозрачный, с горошину, комок соли. Когда хлеб замешивали, комок не успел растаять, он так в горбушке и запёкся.

Рот наполнился слюной. Я закрыл глаза. Если бы Павел Маркелыч сейчас спросил меня: «Хочешь?» — у меня бы не хватило сил отказаться. Но он не спросил, он просто сказал:

— На! Я видел, как ты бренчал кружкой по баку. Бери — и шуруй в столовую. Хлебушек умнёшь там с приварком.

В руке его появился талон с чернильной печатью, и талон этот он положил поверх горбушки.

А ещё он через круглые стёкла очков подмигнул мне и этим окончательно сбил с толку.

Я теперь не знал, как понять этого человека. То он вроде бы хмурится, вроде всем недоволен, а теперь вот поди ж ты — взял и отвалил мне горбыль хлеба! А, спрашивается, за что? Неужели за притёртый клапан?

Что ж, может быть, и за клапан. Ведь молчал же Пыхтелыч целых полдня о приказе и отдал бумагу только тогда, когда увидел, как я работаю. Вот уж прав так прав был кузнец, когда назвал его сухарём. Сухарь он и есть, да по мне — побольше бы таких сухарей! Зря я думал перебегать от него в кузницу, напрасно я его побаивался. Кто-кто, а наш-то Пыхтелыч — человек на все сто!

С такими вот хорошими думами, с хлебом за пазухой, с первым своим рабочим документом в кармане я вышел из мастерской. Погода к ночи установилась тоже славная. В синих сумерках порхали крупные и невесомые, как белые бабочки, хлопья снега. От них исходил мягкий свет. Видно было ещё далеко. Я даже разглядел, как из окна церкви струится кухонный дымок. Ощупав сквозь пальто горбушку, я прибавил ходу. Я вновь шагал мимо длинного навеса, мимо тёмных, громоздких машин. Холодные, неподвижные, они терпеливо ждали тут своего часа.

Они дожидались той поры, когда руки людей прикоснутся к ним, и разбудят их, и напоят прохладным бензином, и направят в путь по тёплой майской земле. Направят, чтобы пахать и сеять, направят, чтобы следом за ними земля взметнула тугие колосья и чтобы покатился по этим колосьям ласковый солнечный ветер и разнёс по всей округе радостный запах спеющей ржи.

И хорошо было думать, что руки эти, которых так ждут машины, будут не чьи-то, а теперь и мои тоже...

Но вдруг я замер. Под высоким навесом, с краю



тихо дремлющих машин я увидел немыслимое. Там стоял новенький комбайн «Коммунар», а гладкий металлический бок его был чудовищно распорот. Разодранное железо торчало внутрь. В тёмной глубине раны, словно белые кости, торпещились перебитые планки решёт, качались обрывки цепных передач, мертвенно и морозно мерцали изломы расколотых шестерён. Мне стало жутко и холодно.

Я долго ощупывал острые края раны. Я хотел понять, что произошло с этой новенькой, ещё ни разу не повидавшей полевых просторов машиной, да так ничего и не понял. Я постоял, послушал печальную тишину вокруг и пошёл к церкви.

А там было тепло и шумно. Там стоял дым коромыслом. Вернее, не дым, а кухонный пар.

Церковь под столовую приспособили не так давно. Древние, нахолодавшие за много лет стены ещё не успели прогреться. Пар оседал на них крупными каплями. Капли медленно сползали вниз. Они смывали наспех нашлёпанный на древнюю штукатурку мел, и сквозь промоины, как сквозь дождь, смотрели большеглазые лики святых. Святые удивлённо разглядывали меня, разглядывали толпу ребят, которые тискались и горланили возле новой кухонной перегородки, у раздаточного стола.

Ребята совали в окно талоны, получали глиняные чашки с супом и, подняв их над головой, орали: «А ну, поберегись, а то на кумпол вылью!» На «кумпол» никто никому не выливал, только капал, но и пробиться к окну было невозможно.

Я встал на цыпочки, глянул поверх толпы и тут вижу: у самого окна стоит Юрка. Он тоже заметил меня. Одной рукой он уцепился за окно, другую тянет ко мне через головы:

— Давай талон!

Вся куча мала зашумела:

— В очередь! В очередь!

А Юрка хоть бы что, не испугался:

— Не орите! Ему домой аж на станцию топать. Давай, Лёха, талон.

Когда мы с ним уселись за длинный, грубо сколоченный из толстых досок стол, Юрка весело сказал:

— Что такое очередь? Очередь, по науке, это большая толпа людей, желающих пройти без очереди.

Я оглянулся на толчею у окна, засмеялся и вдруг спросил Юрку:

— Что это ты какой?

— А какой?

— То нос драл, командира из себя строил, а теперь вот заступился.

— Так то теперь! Теперь ты своим стал, эм-тээсовским. А мы своих не задеваем.

— Значит, днём-то проверял меня?

— Значит, проверял.

— Не знал я! А то бы не так тебе у мастерской всыпал.

— И я бы всыпал. Моли бога, что мы с Васькой тебе в карман горячую гайку не подсунули. Кузнеца постеснялись.

— Вы что же, всех новичков так встречаете?

— Всех до единого! — радостно сообщил Юрка и, взяв ложку, добавил: — Меня тоже так встречали.

— А зачем?

Юрка не донёс ложку до чашки, удивился:

— Как зачем? Правило такое! Раз новенький, значит, проверочка. Может, ты в работяги-то и не годишься? Может, ты нюня, трус и ябеда? Вот недавно один пацан не успел прийти, а сразу побежал к парторгу ябедать.

— Горячую гайку ему подсунули?

— Точно! Горячую, — ухмыльнулся Юрка.

Я не стал в эту тему вдаваться дальше.

Я и сам недалеко ушёл от Юрки с Васькой. Я сам не раз пробовал устраивать такие же проверочки новичкам в школе. Устраивал до тех пор, пока не схлопотал от одного парня по шее. А как схлопотал, так сразу понял: никакая это не проверка, а просто охота одному мальчишке покомандовать над другим, сильному покуражиться над слабым. А вот Павел Маркелыч, тот в самом деле проверял меня. Испытывал не какими-то глупыми подвохами, а работой, и за это я благодарен ему. За его строгость благодарен, за его добрый хлеб благодарен.

Но и на эту тему я распространяться не стал. Мне не терпелось узнать от Юрки об искалеченном комбайне.

— У нас таких не один, — ответил Юрка, — у нас таких три. Не видел, там дальше стоят?

— Не видел.

— Те ещё страшнее. Это не здешние комбайны, украинские. Их Полина — парторг — привезла. Их много было, «Коммунаров»-то. Целый эшелон, и все как с иголочки, прямо с Ростсельмаша. Полина их к себе домой, на Украину, сопровождала, а тут — хлоп! — война. Эшелон попал под бомбёжку, и почти все комбайны сгорели. Комбайны сгорели, и Полина домой не угадала, а оказалась с остатком эшелона у нас.

— Это бомбой так распорол комбайн?

— Нет, этот — из пулемёта. У фашиста, у гада, бомбы кончились, так он, сволочь, из пулемёта врезал.

— Из пу-ле-мё-та? — повторил я, и передо мной вновь возник тот случай на ленинградской дороге, о котором рассказала Тоня. Возник уже совсем по-иному: грозно и явственно.

Раньше всё, что приходилось услышать о войне, я переживал как дурной сон или как страшноватый рассказ из книги — прочитал, поужасался и забыл! А вот комбайн изувеченный был

наяву. Комбайн-то, расстрелянный фашистами, был здесь, почти рядом со мной.

Я и сейчас ещё чувствовал, как саднит кожа на моих пальцах, порезанных об острые края его рваной раны.

Это был первый увиденный мною самим знак войны, и — что говорить! — я притих.

А Юрка заметил и говорит:

— Не дрейфь. Залечим. Руки при нас — вот они... Кой-что уже умеют! — И он, то ли хвастаясь, то ли всерьёз, раскрыл на столе свои ладони.

Они были по-мальчишески пухловаты, но кожа на них крепко зароговела.

## Глава 15

### ЖЕНЬКА

В тот вечер я бежал домой чуть не вприпрыжку. Я всю дорогу насвистывал, обсуждал сам с собой всё, что произошло за день, и выходило — день этот для меня хорош! Если не вспоминать о комбайнах, то весь он из радостей, весь из удач.

«Тов. Петренко П. М.» устроила меня на работу — это раз. Я познакомился с Юркой и Васькой — это два. Я встретил отцовского друга, кузнеца, — это три. Я справился со своей первой работой так, что даже получил от Пыхтелыча вроде бы премию, а это уж и четыре и пять сразу!

А сам старый мастер? А сам хмурый Пыхтелыч? Разве это не он, в конце концов, повернул все мои дела так, что я теперь вот бегу с работы и на все лады насвистываю? Конечно, он! Конечно, из-за него у меня такое славное настроение, и теперь Пыхтелыча надо бы чем-то отблагодарить.

А чем — я уже придумал. Только бы вот успеть повидаться с Женькой, только бы он раньше времени не завалился спать. А что касается моего

зарока ни у кого, а тем более у Женьки, не просить подмоги, так на сегодня можно сделать скидку. Сделать ради Пыхтелыча.

В посёлок я вошёл по глубоким потёмкам, домой забегать не стал, а сразу свернул к Женьке.

Женькин дом был приземистым, как барак, с гулким бесконечным коридором. Жили в доме станционные машинисты, кочегары, сцепщики — многосемейный рабочий люд. В коридоре по летним вечерам, бывало, всегда кишела ребячья мелюзга, а теперь тут темно, холодно. Гремя и раскатываясь мёрзлыми валенками, я дошагал до конца коридора, нашарил в потёмках Женькину дверь. Нашарил, послушал — за дверью постукивало.

Я вошёл и первым делом увидел посредине комнаты соткнутые боками низенький старинный буфет и высоченный фанерный шкаф. Торчат они посредине комнаты нелепо, но с умыслом. Не со своим, конечно, умыслом, а с дяди Серёжиным. Ими дядя Серёжа выгородил для Женьки уютную каморку. В каморке Женька спит, в каморке Женька мыслит. Здесь у него «научная лаборатория». В «лаборатории» всё, даже постель, завалено гайками, проволокой, винтами и всякими склянками-банками.

Вход в Женькино обиталище постоянно закрыт ситцевой занавеской-задержушкой. Каморка закрыта и сейчас. Постукивание доносится оттуда, а в жилой комнате никого нет. Я крикнул в занавеску:

— Профессор, вы дома?

Стук с той стороны прекратился, там что-то звякнуло, скрипнуло, зажужжало — занавеска сама поползла в сторону. Я шагнул в «лабораторию» — занавеска опять закрылась.

Женька сидел на кровати, в руках держал медный, похожий на сковородку, маятник от старинных часов. Маятник был мятый, Женька вы-



прямял его деревянным молотком прямо на одеяле. Увидев меня, мой приятель удивлённо заморгал, потом обрадовался.

— Явилось красное солнышко! Сто лет не был.— Он хлопнул маятником по одеялу: — Садись!

— Рассиживаться некогда, у меня дело.

Тут я вспомнил, что не поздоровался, и солидно, с полупоклоном, как положено трудовому человеку, протянул Женьке ладонь:

— Здорово, Евгений.

Женька ничуть не поразился такой церемонностью, руку пожал:

— Привет. Какое дело?

— У тебя баббит цел?

И я рассказал о Павле Маркелыче, о том, как он бранился, что нечем подновить старые тракторные подшипники.

— А мы, Женька, помнишь, насобирали баббита полную банку? И ты унёс баббит к себе, сказал: «Нужен». Так, может, он теперь не нужен?

Баббит — тяжёлый и плавкий, как свинец, металл — собирали все станционные мальчишки. Крохотные кусочки его мы выискивали на деповской свалке, складывали в какую-нибудь ржавую посудину и плавили на костре. Нам нравилось наблюдать, как серые крупцы металла начинают от жары блестеть, округляться, а потом в какой-то почти неуловимый миг словно оживают и вдруг сливаются в одну крупную горячую каплю. Капля, когда остынет, приятно тяжелит ладонь, её так чудесно подкидывать и ловить.

Вот про этот баббит я и напомнил Женьке. А Женька смотрит в сторону и молчит.

— Что молчишь? Здесь он у тебя или нет?

— Здесь-то здесь,— наконец говорит Женька и лезет под кровать.— Здесь-то здесь,— говорит он и тут, смотря, вытаскивает из-под кровати ника-

кую не банку, никакой не баббит, а целый паровоз!

Ну, не то чтобы целый, не то чтобы настоящий, вытаскивает он модель, да только это такая модель, что, если бы не размеры, от настоящего паровоза её и не отличить.

Всё в ней есть, всё у неё на месте. И шатуны, и колёса. И тендер, и будка. Есть даже медный свисток; и только в тендере, где полагается хранить уголь, стоит пузырьёк с керосином и с ватным фитилём, а над пузырьком жестяной запаянный котелочек с трубками.

При виде такого чуда я и о деле своём позабыл. А Женька чиркнул спичкой, поджёг фитиль, говорит:

— Считай до сорока трёх...

Я досчитал до сорока и только сказал: «Сорок один!» — как в паровозе забулькало, словно в чайнике, над маленькой трубой взвился пар и раздалось отчётливое, самое взаправдашнее: пшшш!

Я сказал:

— Сорок два! — И паровоз опять откликнулся: пшш! пшш!

Я крикнул:

— Сорок три!

Женька просунул палец в будку, что-то надавил, медный свисток пропел: ту-ту! — и... паровоз покатился.

Он покатился по кругу. Он заехал под кровать, выскочил оттуда, пробежал мимо задней стенки буфета, опять нырнул под кровать — и так всё время по кругу, потому что Женькина каморка была малой и узкой.

Я уселся на пол и, не спуская с паровоза глаз, прошептал:

— Ну, Женька! Ну, Буслаище! Когда хоть успел-то? Я о нём ничего и не знал.

— Не заходил, вот и не знал. Самоходную модель я придумал давно, только всё не было подходящих колёс.



Женька протянул руку, на ходу выхватил из паровозного тендера горелку, пламя погасло, паровоз тихо вздохнул: уф... пуф-ф... — и остановился. Женька тоже вздохнул:

— Вот и всё. Теперь он опять будет без колёс.

— Почему?

Я потрогал низенькие толстенные колёса и сразу всё понял. Хитроумный Буслай изготовил их из баббита, за которым я припожаловал.

Он заполнил расплавленным металлом круглую жестяную банку, а потом слесарной пилой порезал банку, словно колбасу, на равные доли-колёса. Колёс получилось восемь штук. Все они теперь стояли на месте — четыре слева, четыре справа. Я опять их потрогал и сказал:

— Жалко.

— Мне самому жалко, — насупился Женька, достал с полки коробку от детского конструктора, вынул махонький гаечный ключ и принялся отвинчивать колёса.

— Может, не надо? Может, в мастерской обойдутся? — придержал я Женькину руку.

— А если не обойдутся? Тогда, выходит, из-за меня трактор не починят?

— Почему не починят? Всё равно починят. А про тебя и знать никто не будет.

— Зато я сам теперь знаю! — нахмурился Женька и решительно одно за другим стал снимать с паровоза колёсики.

Он сложил их высокой стопой, приказал мне подняться и опрокинул стопу в карман моего пальто. Карман сразу огруз, пальто перекосилось.

— Забирай. Тут не на один подшипник хватит.

Я стал застёгивать пальто на все пуговицы, сказал:

— Ничего, Женька. Может, колёсики мы потом какие-нибудь другие придумаем. Не хуже этих.

— Ладно, ладно, — притворился Женька весёлым и задвинул ногой в угол бесколёсный паро-

воз.— Дело сделано. Вот только жаль, если новых колёс не будет, то не с чем ехать в Ленинград.

— Куда ехать?

— В Ленинград. Во Дворец пионеров. Говорят, там есть такая детская выставка, где принимают всякие модели и даже премии дают. Даже путёвки в Артек.

— Ты в уме? Какой тебе Ленинград? Какой Артек? Война же.

— Война кончится. А когда кончится, я сразу паровоз в чемодан и — в Ленинград. С Тоней в одном поезде!

На меня словно потолок рухнул. Я даже пригнул голову и говорю хриплым, неизвестно откуда взявшимся басом:

— С кем, с кем в одном поезде?

— С Тоней. А что?

— Да нет,— говорю,— ничего. Ты сам про Ленинград надумал или Тоня тебя туда позвала?

— Пока сам. Я ведь модель эту толком и не достроил. А вот когда дострою, тогда и Тоне скажу. А что? Неладно что-нибудь? Так ведь я, Лёнька, если путёвку в Артек и получу, я её Тоне отдам. Пусть она там от войны отдохнёт, от нашей голодной житухи.

— Отдашь? Тоне?

— Отдам. Тоне.

— Ну, ясно. Вопросов больше нет. Отдавай, действуй!

— Да что с тобой, Лёнька? То был человек человеком, разговаривал, улыбался, а теперь какмышь на крупу. Живот, что ли, схватило?

— Ничего не схватило. Домой пора. Отдёргивай занавеску!

Вот так и оборвалась наша встреча. И это всё из-за Тони. Не помяни Женька Тонино имя, ничего бы и не произошло.

А теперь я бежал один по ночному посёлку и думал: «Вот они какие бывают, друзья-то! Вот

ведь что узнаёшь, когда лезешь к ним за подмогой. Нет, уж видно, как решил я жить в гордом одиночестве, так и жить мне теперь одному. Одному-одинёшеньке, даже без Тони, и на этом — точка!»

Я хотел повернуть назад, швырнуть колёсики под Женькину дверь, да взвесил их на ладони и ссыпал обратно в карман.

Утром в мастерской Павел Маркелыч их долго разглядывал, вертел так и сяк, всё взглядывал на меня поверх очков, всё расспрашивал:

— Так говоришь, тот малец сам изготовил?

— Сам. Кто же ещё.

— Голова-а! Маста-ак. Без токарного станка сотворил колесо, как по циркулю. А не жалел он, что изделие своё нарушил?

— Откуда я знаю?

— Жале-ел. Конечно, жалел. Разве не пожалеешь? Ведь это, паря, с головой сработано. Вот, смотрите, как надо мозгами-то шевелить,— совал Пыхтелыч своим ученикам Женькино изделие.— Не попохатывайте, а смотрите и чувствуйте! А ты, Никитин, спасибо ему передай. Скажи — выручил. Скажи — взамен этих я ему на станке новые колёса выточу. Стальные. Совсем как настоящие.

А мне за все мои старания Пыхтелыч даже и словечка доброго не сказал. И опять получалось: Женька перебежал мне дорогу. Перебежал даже здесь, в мастерской.

## Глава 16

### КАРАВАЙ

Раньше о рабочей жизни я думал: ну что там особенного? Вовремя явился, вовремя приступил, честно отработал и — до свидания! Но на самом деле получалось не так. Даже прибежать ко

времени в мастерскую для меня целая беда.

Чтобы не опоздать на работу, мне приходилось подниматься чуть не с первыми петухами. Я очень боялся пропустить этот час и всю ночь вроде бы и спал и в то же время не спал. Всё ждал, когда будет половина шестого.

При таком сне-полусне я только маялся, а не отдыхал и нашу жестяную кошку-ходики прямо возненавидел. Лишь открою глаза, протяну руку, включу свет — она уже зыркает. Она будто дразнится: «Тик-так! Сла-бак... Тик-так! Сла-бак... Я вот и капли не дремала, а смотри — весёлая».

Мне хотелось трахнуть по ней подушкой, да что толку? Лучше о ней не думать, лучше думать о том, какой я ужасно одинокий, обманутый друзьями человек, но всё равно — сильный.

И вот помаленьку становится легче, я одеваюсь, топаю босиком к печке, достаю валенки, поворачиваюсь всё быстрее да быстрее: начинается мой рабочий день.

Я выскакиваю из домашнего тепла в зябкую тьму улицы. Я с разбега, прихватывая руками снег, набираю охапку дров и, лечу с ними на кухню. Я громыхаю чугунами, растапливаю печь, чищу картошку, несу очистки в козий сарай — и всё это бегом. А затем на скорую руку завтракаю, на клочке газеты пишу печатными буквами для Наташки памятку и ухожу.

Передо мною сумеречная даль, перевитая ночью метелью дорога. По ней надо пробежать три километра, а там как вбежал в мастерскую, тут же и за работу. Мои новые друзья тоже как в дверь — так сразу к верстакам. И вот слышишь: тут запошаркивал по железу рашпиль, там зарокотала ручная дрель, а там запостукивал по зубилу быстрый молоток. Ночной передышки будто и не было. Будто никто отсюда и не уходил.

Да ведь если бы мы могли, если бы люди умели, как те моторы, работать без передышки, то

вряд ли бы кто из них ушёл из мастерской даже и на эти короткие ночные часы.

Каждое утро, когда все уже разберут инструмент, Полина Мокиевна медленно подходила к стенке, где чернела тарелка репродуктора, и, поймав шнур со штепселем, оборачивалась к нам, как бы спрашивая: «Ну, товарищи, что-то сегодня услышим?»

А потом опять медленно, словно боясь, словно не решаясь, втыкала штепсель, и репродуктор вздрагивал, и суровый, жёсткий, как будто бы и не человеческий, а железный голос диктора врвался в мастерскую.

То, что говорил этот человек, должно быть, по-иному, более спокойно, произнести было и невозможно. Бой с фашистами шёл уже у самой Москвы, он шёл весь ноябрь, и о переменах к лучшему пока было не слышать.

От этих вестей, от этого железного голоса на душе становилось угрюмо и неприятно. Я глядел на своих товарищей и понимал: у них на душе так же.

Их серые, истощённые лица были нахмурены, даже скорбны. Но каждый так же, как я, тянулся взглядом, а то и подшагивал к своему напарнику, к своему соседу. В эти минуты никто из нас не хотел оставаться сам по себе. Суровые вести нас словно бы придвигали друг к другу ближе, крепче.

Только тут, в мастерской, я понял, почему тогда, в осенних, шедших на восток эшелонах, заводские люди держались так тесно. Их соединяла одна общая тревога, одно общее дело.

А наша общая работа тоже становилась всё напряжённее. Павел Маркелыч и рта не давал никому раскрыть, погадать вслух, что будет, если фашисты прорвутся. Он просто не верил в это и, хотя зима ещё только началась, твердил о весне:

— Душа из нас вон, а к первому теплу всю

технику — на колёса! Мы тут не харчи переводить поставлены, а фронт подпирать. Я так понимаю: нагрянет весна, и каждый наш трактор в поле будет что танк в бою. Чувствуете?

— Чувствуем! — хором отвечали мы.

— Ни черта вы не чувствуете. Димка Сидельников да Вовка Пронин ушли вчера в столовую и прохлаждались там сверх положенного чуть не полчаса. Киселя ждали. Клюквенного. На сахарине! И какой это дьявол сказал им, что кисель будут давать? Это ты, Юрка, придумал?

Юрка делал невинное лицо, отворачивался.

— Не отворачивайся. Всё равно знаю, каков ты гусь. Ваньке Макушкину кто петушиное перо сзади вставил? Не ты? В кузницу за махрой кто бегаёт? Не ты? Смотри, Юрка, доберусь до тебя, сниму с нарезки гаек, пошлю варить радиаторы.

Но снять Юрку с нарезки гаек мастер не мог. Гайки нарезались вручную, и нарезать их лучше Юрки мог только сам Пыхтелыч. А вот меня на моём деле заменил бы каждый. Проще и хуже моей работы была только та, которой мастер пугал штрафников. Радиаторы варить, а точнее — вываривать из них накипь, надо было на улице, на холоде. Причём возиться приходилось с едким раствором каустической соды, которая разъедала не только твердокаменную накипь, но и одежду, и обувь, и кожу на руках.

И вот я старался, накручивал моторные клапаны. Старался так, что даже и в кузнице за всю первую неделю не побывал ни разу. Но зато я полностью закончил один мотор, и мастер посулил:

— Притрёшь второй — поставлю нарезать болты.

А нарезка болтов — это уже, считай, повышение. Это нисколько не хуже Юркиных гаек. И я торопился, нажимал на коловорот. Нажимал так, что даже Юрка сказал:

— Смотри, в Америку дырку провертишь!

Работа пошла веселей ещё и потому, что в нашем доме стало чуть-чуть сытнее. На то время, пока я хожу в учениках, Полина Мокиевна выхлопотала для меня колхозную стипендию — полмешка ржаной муки. Мука была серая, несеемая, на треть из отрубей — но я не променял бы её ни на какую другую, даже на манну небесную, о которой не раз слыхивал от Анны Фёдоровны.

Это был мой первый заработок. И когда я привёз его на санках домой, то долго сидел перед мешком на кухне, всё пересыпал мягкую тёплую муку в ладонях. Пересыпал, вдыхал её чуть слышимый запах, и передо мною вставало душное летнее поле, вставали струйки знойного марева и колыхание спелой ржи без конца и без края.

Когда-то, совсем ещё глупым и маленьким, я заблудился в таком вот поле, во ржи. Как я туда попал — не помню, помню лишь, как испугался. Я стою, растерянный и одинокий, меж высоких стеблей и, куда ни гляну, — везде, кроме жёлтой стены, ничего не вижу. А над головою зыбким куполом смыкаются колосья. А вокруг такая тишь, словно на земле не осталось никого — ни людей, ни птиц, ни кузнечиков. Даже голубое небо отодвинулось куда-то страшно далеко.

И вот мне показалось: из этой тишины я никогда не выйду. Тут навсегда и останусь, тут пропаду. И я закричал. Закричал, как зайчонок, тонко и потерянно. И, помню, на мой крик отозвался мужской голос. Жёлтая стена с шумом раздвинулась, и предо мною возник отец. Он стоял в белой рубаше, загорелый, большой — рожь ему по грудь. Он поднял меня над колосьями, над всем жарким полем, засмеялся:

— Ну что кричишь? Ну что? Не в море потонул — в хлебах. Радуйся.

Вряд ли я тогда понимал, о какой радости говорит отец. Я понял это лишь теперь, когда мы с ребятами заварили из муки ржаную кашу и сели вокруг чашки за стол. Я сидел, смотрел на Шурку с Наташкой, на их мелькавшие ложки и ублажительно думал: «Проживём! Теперь-то проживём. Теперь малыши за мною как за каменной стеной!»

А чтобы совсем устроить в доме пир, я решил испечь каравай. Пусть хоть раз малыши наедятся хлеба вволю, да не какого-нибудь, а моего, трудового, рабочего.

К этому непростому делу я приступил поздно вечером, когда ребята легли спать. Муки я извёл фунта полтора. Я весь перемазался в тесте, но когда наконец задвинул сковородку в горячую печь, оттуда пошёл такой аппетитный дух, что я зажмурился и покрутил головой.

Я сел напротив печки, стал глядеть на заслонку и ждать. Сижую жду, а в кухне пахнет всё сытнее, а дом наполняется запахом печёного хлеба всё сильнее. И тут, слышу, за переборкой в спальне скрипнула кровать, и — топ-топ-топ — застучали по полу босые пятки. Я оглядываюсь: а в кухню заявляется Наташка, за Наташкой шлёпает полусонный Шурка.

— Ой, — говорит Наташка, — пирогами пахнет! Я проснулась и думаю: мама приехала.

— Я тоже думал, что мама, — сказал Шурка, влез на скамейку и притих рядом со мной.

Наташка пристроилась по другую сторону, а я им обоим говорю:

— Сейчас, ребята, каравай будет. Вкусный, горячий, как при маме.

Говорю, а сам поглядываю на них и вижу: что-то они у меня не очень обрадовались. Сидят, руки на коленях сложили, как старички, и думают о чём-то другом. Наверное, о маме.

Я и сам думаю про маму. Я сам по маме



истосковался, да только не подаю вида. Но тут не вытерпел, сказал:

— Знаете что? Вы хоть одну-единственную ночь можете без меня побыть?

— А зачем? — говорят они.

— Затем, что я хочу съездить к маме. Накануне вечером уеду, ночью побуду у мамы, а к утру и домой вернусь. Ладно?

Шурка — бестолковый и маленький — сразу же надулся:

— Ничего не ладно. Я к маме тоже хочу.

Наташка — побольше, поумнее — спросила:

— Ой, Лёня! Да как поедешь-то? Тебе билета не продадут и ночью в больницу не пустят.

— А я с бойцами. А в больнице попрошу, скажу: «С работы!» — пустят. Ты, Наталья, не бойся. Я быстро обернусь. А от вас маме поклон передам. Знаешь, как мама обрадуется!

— Где он, поклон-то? У нас поклона нет, — опять пробубнил сердитый Шурка.

Наташка прыснула:

— Эх ты, Шурка-жмурка! Не понимаешь ничего. Это только так говорится — «поклон», а на самом деле мы каравай маме пошлём. Вот он испечётся, и пошлём. Верно, Лёня?

— Верно!

Шурка наконец милостиво согласился:

— Ну ладно, поезжай. Только и нам дай каравай чуточку.

Настроение у всех поднялось, да тут и каравай напомнил сам о себе. В кухне запахло горелым, я кинулся к печной заслонке.

— Ну, — говорю, — готово. Доставай нож, будем пробовать.

Выхватил заслонку, обжигаясь, уронил, подул на пальцы, схватил кочергу и давай вытягивать из печного нутра сковороду.

Тяну, смотрю и глазам не верю! На сковороде

вместо каравая чёрная лепёха, и от неё столбом валит синий дым.

— Воды! — кричу я Наташке. — Воды! — И пока она искала кружку, сам сдёрнул с гвоздя полотенце, обмакнул в полное ведро и накинул на каравай. От полотенца пыхнул пар, каравай зашипел, потом всё стихло.

— Вот, ёлки-палки, чуть не сгорел, — сказал я и немного погодя приподнял полотенце. Каравай уже не дымился, лишь на чистом полотенце отпечатался тёмный круг.

Я взял нож, проткнул угольную корку, из дырки опять фыркнул пар.

— Ага! Внутри-то не сгорело! — сказал я и развалил ножом каравай пополам. Развалил, раздвинул обе половинки — из них на стол потекло горячее тесто.

Шурка макнул в тесто палец, отдёрнул, засмеялся:

— Ну и каравай!

Я шлёпнул Шурку по руке — не лезь!

Шурка заревел, а Наташка вздохнула:

— Эх, Лёня. Муки-то сколько перевёл. В больницу маме что теперь повезёшь!

— Не бурчи! Сам знаю. Из этого теста я блин для мамы завтра испеку. А сейчас — спать, спать на печку полезайте. Нынче печка вон какая тёплая, зря топил, что ли?

А на самом исходе ночи я услышал громкий стук, дребезжание. Стучало так, словно кто колотил по печной заслонке. «Надо же, — подумал я, — во сне и то заслонки снятся». Повернулся на другой бок, а стук раздаётся вновь. Он всё громче и громче. И слышу, гремит не заслонка, а кто-то бухает в оконную раму, да так здорово, что все стёкла ходят ходуном.

Кто это? Неужели мама приехала?

Я вскочил на четвереньки, нашёл в потёмках край печки, нашарил ногою приступок, спрыгнул

на пол, подбежал к окну. Стёкла от кухонного тепла растаяли, и вижу: маячит на морозном лунном свете какой-то мужик. Ворот у него поднят, лицо замотано шарфом, кто такой — не понять.

Я ответно стукнул, мужик присунулся к окну. И тут гляжу: да это же вроде Валерьян Петрович! Ну конечно, он и есть!

Я кинулся открывать дверь. Одной рукой скидываю крючок, другой включаю свет, а гость уже на пороге. Он чуть не бегом вбежал в дом, впустил за собой холод, застучал мёрзлой обувью, крепко захлопнул дверь, обернулся и вот встал — ну вылитый Дед Мороз!

Шарф и шапка у него заиндевели, иней топорщится вокруг губ, словно борода, и даже на бровях иней и на ресницах иней.

— Ой, Валерьян Петрович, откуда вы?

— погоди, Лёнька, сейчас... — просипел он простуженно, скинул прямо на пол рукавицы и стал искать на подбородке завязку шапки. Ищет, а пальцы не гнутся и всё не могут ухватить узелок.

— Ну-ка, дёрни, — подставил он мне подбородок. Я дёрнул узел, и шапка развязалась. Он скинул её, размотал шарф, утёр ладонью лицо, и борода исчезла. Только нос так и остался ярко-розовым, а толстые щёки — словно натёртые свёклой.

— Уф, — говорит, — теплота у вас какая, прямо Африка! Ну и дрыхнуть ты, Лёнька, здоров! Я чуть все окна не высадил.

— Да нет, — отвечаю, — не очень здоров. Я бы и сам теперь встал. Мне на работу скоро. Но вы-то откуда?

— Откуда? — И тут, смотрю, Валерьян Петрович становится совсем прежним Валерьяном Петровичем. Глаза хитро прищурились, озябшие лиловые губы смеются. — Откуда? Чуть не с того света, Лёнька. С тормозной площадки.

— Как,— говорю,— так?

— А так. В управление дорожных школ ездил, тетради добывал. Тыщу штук достал! Достать-то достал, а домой ехать не на чем. Вот и занесла меня нелёгкая к охраннику на товарняк, на тормозную площадку. Ох и наплясался я, Лёнька, всю жизнь так не плясывал!

Он ходит в пальто по комнате, дует в ладони, посмеивается. А я как подумал об этой самой площадке, о том, как летит она с грохотом сквозь морозную ночь, а ледяной ветер хлещет, бьёт, лупит по ней так и сяк, и охранник в бараньем тулупе свернулся там зябким калачиком, а Валерьян Петрович в своём драповом полупальто мечется, прыгает, жмётся, ищет хоть какого-нибудь укрытия, а укрытия никакого там нет, и терпеть надо не час, не два, а целых четыре,— и у меня самого даже заломило кости.

— Ну, Валерьян Петрович, я бы там не выстоял. Я бы там пропал, замёрз бы насмерть. Да вы раздевайтесь. Хотите, самовар поставлю?

И я сразу кинулся на кухню, зазвенел о ведро ковшом, загремел самоваром, а Валерьян Петрович кричит:

— Не надо! Я на минуту. Я вам от мамы поклон привёз.

Я чуть не обронил холодный самовар на ноги, бросился обратно:

— Правда?

— Почему же не правда? Вот, пожалуйста, доказательство.

Валерьян Петрович распахнул пальто. Распахнул, а там у него перепущен через плечи шнур, а на шнуре плоский пакет в белой тряпке.

— Извини, брат, за такой способ. Рук две, а в руках были тетради.

Он положил пакет на стол, а с печки раздался Шуркин голос:

— Гляди, Наташка, гляди! Вот он какой, по-

клон-то. В тряпочке. А ты говорила: «Просто так!»

Валерьян Петрович привстал на носки, заглянул на печку:

— Проснулись, главные жители?

— А мы давно проснулись. Мы давно всё слышим,— сказали ребята и полезли с печки.

И вот мы с Наташкой теребим гостя, спрашиваем:

— Как мама? Когда приедет?

А Шурка давит ладошкой пакет, говорит:

— Там хрустит что-то.

— Не знаю, что там хрустит. Сами посмотрите. А мама ваша идёт на поправку, и тебе, Лёнька, от неё привет и благодарность.

— А мне? — говорит Шурка.

— Тебе в первую очередь.

— И мне? — спрашивает Наташка.

— И тебе.

А мне даже жарко стало от таких хороших слов, и я бормочу:

— Чего уж там... Чего уж... Какая благодарность... Я вот съездить-то к ней всё не могу.

— А ездить она и не велела. Она сама скоро приедет, недельки через полторы.

— Через полторы? — пригорюнилась Наташка.— Ой, как долго. У меня все терпелочки кончились.

— Потерпишь,— сказал я солидным голосом.— Ты лучше спроси, как хоть там, в больнице. Кормят-то хорошо, досыта?

Валерьян Петрович посмеиваться перестал, развёл руками:

— Так ведь как везде, Лёня. По карточкам. Надо бы лучше, да сам знаешь...

— Исхудала мама?

— Болезнь никого не красит.

Валерьян Петрович хотел ещё что-то сказать, да тут вдруг Шурка радостно пискнул и говорит:

— Ой!

А Наташка тоже:

— Оё-ёй!

Я обернулся и вижу: пакет они распороли, а из пакета... А из мамино пакета сыплются сухари! Сухарей много! Целая горка. Ребята изумлённо трогают их, а потом как запрыгают, как завизжат:

— Мама хлеба прислала! Мама нам хлеба прислала!

У меня сердце сжалось.

Я смотрю на сухари и говорю:

— Что это? Неужто она? Зачем же вы взяли, Валерьян Петрович?

А он тоже смотрит, плечами пожимает:

— Так ведь не знал же я! Она без меня пакет зашивала.

Я чуть не заплакал:

— Эх, Валерьян Петрович, Валерьян Петрович, надо было посмотреть. Ведь это же она и там, в больнице, для нас свой хлеб прячет.

А маленьким хоть бы что. Поморгали, послушали да и говорят:

— Лёня, а можно мы попробуем?

Я махнул рукой:

— Пробуйте! Ешьте. Не отправлять же назад.

Они принялись нахрустывать сухарями, на рожицах у них счастье, а у меня на душе — мрак. Ведь это я их собирался накормить хлебом, а вышло так, что накормила их опять мама.

Валерьян Петрович тоже стоял грустный, потом он поднял с табурета шарф, шапку:

— Ладно, Лёня. Мне надо идти. У меня в дежурке на вокзале тетради остались. Я к вам завтра зайду.

Он направился к двери, я пошёл его провожать. Но у порога он остановился, глазами показал на стол, на сухари, на ребят и тихо сказал:

— Маме твоей, Лёнька, цены нет. Помни об

этом всю жизнь. Всю, до последнего денёчка.

Я опустил голову, он потрогал мои волосы:

— Ну, будь здоров. Не унывай.

— Спасибо вам.

— Это маме твоей от меня спасибо.

Я хотел спросить, за что же он-то благодарит маму, да дверь уже захлопнулась, и только холодный пар обдал мои голые ноги и раскатился по полу.

## Глава 17

### ТЕМНЫЕ ДОРОГИ

К своей рабочей жизни я стал уже привыкать, не мог лишь привыкнуть к пустынной зимней дороге, потому что приходилось бегать по ней в потёмках одному. О гордом одиночестве, о том, как я докажу Тоне и Женьке, что мне хорошо и без них, легко думалось дома на тёплой кухне или в мастерской, а вот в ночном поле на дороге было не очень-то уютно и даже тоскливо.

Ребята, которых я узнал на работе, все жили по своим домам в здешнем селе или ночевали в общежитии за церковью. Ночевал тут и весь взрослый народ. Слесари, трактористы, комбайнеры не заглядывали к своим семьям неделями, и всё это называлось казарменным положением и по-иному быть не могло. Теперь каждый работал не только за себя, но и за тех, кто ушёл на фронт. Это лишь нам, пацанам, давали поблажку: время от времени разрешали выходной да отпускали на ночь к дому. Но всё равно попутчиков у меня не было, вот я и бегал в одиночку через пустынные поля.

Бегал и каждый раз нажимал так, словно кто за мною гонится. Боялся я волков. О них что ни зима, то расходились по всей округе страшные слухи. Тут они, слышь, проломили на колхозной

ферме старую крышу и порезали всех овец; там они повстречали на ночной тропе деревенскую учительницу, и осталась от этой учительницы лишь раскиданная по снегу стопа школьных тетрадей.

Рассказ об учительнице действовал на меня ужасно. Видение лежащих на истоптанном снегу тетрадей преследовало меня до той поры, пока однажды утром Павел Маркелыч не спросил:

— Чай, боишься один через поле бегать?

Я сознался:

— Боюсь. Волков боюсь. Они, говорят, учительницу задрали.

Старик презрительно махнул рукой:

— Опять учительница! Да я сколько зим на свете живу, столько о ней и слышу. Как зима — так учительница, как новая зима — так опять учительница. А я, милоч, шестьдесят третью зиму распечатал, так считай, сколько их, учительниц-то, пропало? Брехня всё это.

— Может, на одну когда и нападали?

— Выдумки! Не нападали. Если бы напали, мы бы эту учительницу знали по имени. А ты хоть раз имя слышал? Нет, не слышал. Вот и получается — враки. Это люди со злости навесили на волков такой грех. В отместку за овец, за телят. Вот эту живность, если сторожа растяпы, волк берёт — это точно. А человека — нет. Человека он сам боится. Да что тот волк? Нынче двуногие волки появились.

— Двуногие? Вы о ком?

— О Миньке. О бывшем твоём соседе. Вот волк так волк. Не трусцой по сумётам, а с ножом да на лыжах. Не зря в народе говорят: на волка помолвка, а пастухи шалят.

Сказал он это, глянул на меня поверх очков, а у меня даже коленки ослабли. Я думал, про Миньку давным-давно все позабыли, а он — вон он, опять! Я сразу глаза в сторону и говорю эта-



ким скучным-скучным голосом, будто мне всё равно:

— Где же он их взял?

— Что взял?

— Да лыжи!

— Украл где-нибудь. А может, кто и подарил. Петых дураков на свете немало, в лицо Миньку не каждый знает. Лыжи-то у него, слышь, охотничьи.

Душа у меня совсем ухнула вниз, я Пыхтелычу говорю:

— Неужели? Откуда известно, что охотничьи?

— Так его ведь сегодня под утро чуть-чуть не накрыли. В здешней овчарне замок ломал.

— Сломал?

— Не успел. Кузнец спугнул. Он у нас ни свет ни заря на работу ходит, всё первым, всё первым норовит. А тут в потёмках и слышит: железо хрустит на овчарне. Кузнец — туда, Минька — от него. Кузнецу, лешаку, не шуметь бы, к нам бы в общежитие потихоньку, мы бы Миньку сообща враз накрыли. А он, дьявол одноглазый, сам кинулся. Да где ж ему!

— А по следу почему не пошли?

— Пошли! Но откуда пошли, туда и вышли. Минька — зверь опытный: дал круг, всех запутал, а сам по зимникам, по накатанным дорогам — шасть в леса, там и канул. Он, волчина, знает: рабочим людям по борам да по чертолому бегать некогда, а милиции на весь край — полтора человека, разве что из области пришлют.

Пыхтелыч говорит, я слушаю и чувствую: чем дальше, тем больше грызёт меня совесть. С одной стороны, совесть, с другой стороны, страх. По совести-то я понимаю: надо бы мне признаться, что лыжи у Миньки наши; а, с другой стороны, страх подсказывает: «Помалкивай! Ведь на лыжах не написано, чьи они. Правда, на лыжах есть борозда, по которой Миньку намного проще разыскать, но и про борозду говорить нельзя. Как скажешь,

так тем самым петым дураком Павел Маркелыч тебя и назовёт. А потом сбежится вся мастерская, все будут спрашивать, как это я умудрился подарить Миньке лыжи. Вон Павел-то Маркелыч так и говорит: «Подарил!» А попробуй докажи, что не подарил. Пока докажешь,хватишь горюшка».

В общем, стою и маюсь, а старик говорит:

— Что ёжишься! Напугал я тебя? Наплюй, не бойся. И волков не бойся, и Миньки не бойся. Минька — молодец против овец, а против молодца и сам овца. Оттого и в дезертиры подался. Он теперь год на здешних дорогах не покажется, если не изловят да под наганом не поведут. Бояться тебе некого, помяни моё слово.

Так и не открылся я Павлу Маркелычу про лыжи, но слово его помянул скоро.

Накануне моего выходного дня подошла к концу работа над вторым мотором. Над тем самым, за который мне было обещано повышение. Я думал, управлюсь с ним часам к восьми вечера, а провозился допоздна. В мастерской в это время оставались лишь старики-рабочие, и Павел Маркелыч всё выпроваживал меня:

— Иди, иди, потом доделаешь. Ты ведь у нас семейный. Вроде как отец-одиночка.

Рабочие на эту шутку посмеивались, тоже говорили: «Иди!» — но я упёрся на своём. Новый день мне хотелось начать с новой работы, и домой я собрался чуть не в полночь.

Когда я вышел на улицу, падал густой снег. Я миновал тёмные постройки села и вышел в поле. По безветрию шагалось легко. Вверху не светило ни звезды, ни месяца, пушистые снежные хлопья так и сыпались вокруг, но дорогу я различал хорошо. Я видел на ней то полузасыпанный клоч соломы, то чёрный, словно нарисованный тушью, сухой кустик конского щавеля на обочине; а потом по краю зимника побежали еловые вежи.

Это сельские ребята-школьники приготовились к вьюгам и поставили еловых лап до самой станции. За белой мглой снегопада я смутно различил и тёмную полосу ельника, в которой ребята лап наломали.

Дорога от села идёт везде по чистому полю, и только в одном месте к ней примыкает лес. В этом месте невысокий холм, когда на него поднимаешься — считай, ты дома, считай, твой путь уже пройден, только не гляди с холма в ту сторону, куда растекается лесной клин. В зимнюю пору картина там мрачная. Лесная глухомань слилась там с глухим, непроглядным небом, и веет оттуда лишь полярным холодом и свинцовой угрюмостью. Еловые крепи в той стороне дремучие, простираются на сотни вёрст, и нет в них ни единой живой души, кроме глухарей да белок-летяг.

А ещё где-то там скитается ставший уже не человеком, а полупризраком дезертир Минька. Но я стараюсь об этом не думать. Я стараюсь думать о другом.

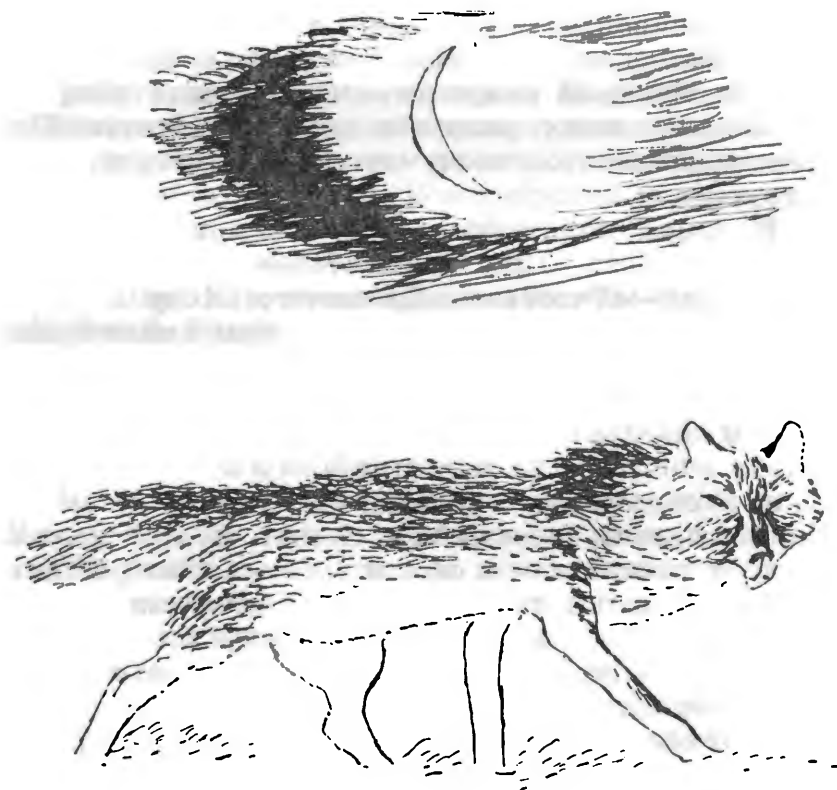
На днях подходит ко мне Полина Мокиевна и спрашивает: «Привыкаешь?» — «Привыкаю,— говорю я,— а что?» — «Да ничего. Хочу вот узнать, не подумываешь ли ты о комсомоле?» Но я и рта не успел раскрыть, она сама как замашет рукой да как захохочет. «Ой,— говорит,— что это? Совсем забыла: ведь ты у нас ещё маленький, у тебя ещё годы не подошли!» Ну а мне обидно. Я и в самом деле стал думать про комсомол. Ладно, думаю, вы там как хотите, считайте мои года, не считайте — я своего добьюсь. Вот растает снег, всё равно напишу заявление, ответа ждать не стану, а сяду на трактор и укачу на пашню. И в первый же день выдам две или три нормы! А на другой день — столько же. И так каждый раз! Вот тогда им и в голову не придёт отказать, они и думать забудут о моих годах. Сами крикнут:

«Ты чего, товарищ Никитин, насчёт заявления не интересуешься? Заходи!»

Крикнуть-то они крикнут, да вот как мне быть с моей тайной про лыжи? Неужто опять придётся помалкивать?

Мысли мои снова повернули на пастуха, и никак я от них избавиться не могу. Я даже остановился и чуть не вслух подумал: «Вот наваждение!» И только так подумал, только остановился, вдруг вижу: катит на меня какое-то пятно. Сквозь снег его понять трудно, только вижу, оно живое, оно спешит прямо ко мне, и тут я со страху сел на валенки и без голоса ахнул: «Минька!»

А пятно надвигается, всё растёт. И вот я вижу:



это совсем и не человек, а как будто бы собака. Собака-то собака, да больно уж велика, таких больших собак, пожалуй, не бывает. Я вдруг начинаю понимать: это волк. Ясно понимаю — и не могу шевельнуться.

А волк всё ближе. Он катит торопливым шагом и словно меня не видит. Когда между нами осталось всего ничего, он остановился, замер и поднял узкую длинную морду. Он стал чуть боком, и я увидел мощное, спокойное тело, приспущенный хвост и острые уши над крупной головой.

В нём не было ни страха, ни злобы ко мне. Было в нём только удивление: что, мол, за пень такой на пути торчит?

И тут ужас мой начал помаленьку проходить. Нет, он не то чтобы прошёл совсем, но я почувствовал, что могу вздохнуть, и я судорожно вздохнул. Я вздохнул так, что даже всхлипнул, а волк вскинул голову ещё выше, словно вот только сейчас и разглядел меня.

Потом он в один мах перескочил канаву за дорогой и по-прежнему ровно, спокойно, будто меня здесь и не было, потёк по снежной целине. Я ещё успел увидеть его скользящую тень на опушке леса, а затем его скрыли снег и деревья...

Пришёл я в себя возле собственного дома. Как долетел до него — не помню. Помню только, что долго стоял на крыльце, отпыхивался и думал: «Прав был Павел Маркелыч: волк человеку не страшен. Конечно, не страшен, когда стоишь дома на пороге и держишься за дверную скобу!»

## Глава 18

### ПРО ЛЮБОВЬ И ПРО СТИХИ

В дом я вошёл тихонько. Думаю: «Ребят бы не напугать». А они сами как бросятся ко мне, как закричат:

— Мама! Мама!

У меня внутри опять всё оборвалось, и я тоже закричал:

— Что мама? Что с мамой?

А они, дурачинушки, захохотали, запрыгали вокруг:

— Ага, испугался, испугался! А мы чего-то знаем! А наша мама скоро домой приедет.

Насилу я добился от них толку. Оказывается, заходил Валерьян Петрович, он дозвонился сегодня до больницы, и с ним разговаривала сама мама и обещала вот-вот выписаться. А ещё он передал, что станционное начальство посулило дать лошадь, и надо бы загодя, пока невелик снег, приглядеть проезжий путь к делянке, к дровам.

От таких новостей я и сам выкинул коленце. Как был в пальто, в сырых валенках, так и пошёл по всей комнате отбивать чечётку. Шурка — руки врасстырку — пошёл следом за мной, а Наташка закричала:

— Лёнька, сумасшедший! Ты хоть валенки свои черношлёпые сними. Не видишь разве, какие у нас нынче полы — белые, намытые!

Валенки мои были теперь и в самом деле как у заправского тракториста. За эти дни в мастерской я так их отделал, что из сереньких они стали чёрненькими, словно побывали в печной трубе. Я снял их, закинул на печку, встал босыми ногами на чистый, ещё немного влажный пол и спросил Наташку:

— Кто-нибудь из маминых подруг приходил?

Наташка заулыбалась, заложила руки за спину, сделала хитрые глаза:

— Вот и нет! Угадай кто.

А Шурка — тот сразу выпалил:

— Сама мыла! Вместе с Тоней. Пришла Тоня, сказала, у тебя, Лёнюшка, сегодня какой-то день, вроде праздника, и всё надо сделать, как в праз-

дник. Какой у тебя, Лёнька, сегодня праздник? Говори! Они мне ничего не рассказывали.

— Какой праздник? — спрашиваю я Наташку и вижу: подол у неё и теперь ещё мокрый — обшлёпала, пока примывалась.

А она смеётся:

— Сам знаешь какой. Вместо маленькой работы тебе сегодня побольше, поглавнее работу дали. Ведь верно? Сам же вчера мне об этом говорил, а я в школе рассказала Тоне.

Ну, тут уж я совсем возликовал. Надо же: я-то, олух, на Тоню дуюсь, а она — вот как! Она праздник для меня придумала. Я-то, голова дубовая, на неё всякую ерунду выдумываю, за версту от неё бегаю, а она мне — праздник. Ну что тут скажешь? Ничего не скажешь!

Я только и сделал, что насунул Наташке на голову свою шапку. Насунул так, что оттуда лишь Наташкин курносый нос торчать остался, и весело сказал:

— Молодец, Наталья! Умница! Благодарность тебе — в письменном виде, в приказе!

Наташка расцвела ещё больше, потянулась к окну:

— Посмотри, что мы ещё придумали. Нравится?

По всему окну разбежались голубые плоские фигуры. Девочки вырезали их из тетрадных обложек и приклеили прямо к стёклам. Были тут островерхие ёлки, были огромные сквозные снежинки, и был тут парусный голубой корабль с выпелом на мачте.

— Корабль Тоня вырезала. Она сказала, что любит корабли, а этот точно такой, как в Ленинграде на одной высокой башне. Правда, красиво? А днём будет ещё лучше. Завтра днём Тоня опять к нам забежит. Ты дождёшься её, в лес не уйдёшь?

И опять я на это ничего не сказал, только чувствую: хорошо мне. Вместо ответа я потрогал

на стекле в самом низу какую-то округлую, замусоленную нашлёпку, спросил:

— А это что? Огурец?

— Сам ты огурец,— обиделся Шурка.— Разве не видишь, это колобок. Это я сам вырезал! Смотри, он кругленький, как в сказке. Катится и поёт: «Я в амбаре метён, по сусеку скребён, я от бабушки ушёл, я от бабушки ушёл». Вот как!

— Ну, значит, и ты молодец,— сказал я Шурке.— Я сразу-то не понял, а теперь твой колобок мне очень нравится. Вот когда кончится война и в магазинах будет всего располным-полно, я получу получку и куплю тебе, Шурка, тоже хороший подарок.

— Какой? — Глаза у братишки так и загорелись.

Я посмотрел на Шурку, на его застиранную рубашку, на коротковатые, чуть ниже колен, штаны с одной пуговицей и подумал вслух:

— Костюмчик бы, Шура, надо. Красивый. Такой, как, помнишь, летом у поезда мы видели на одном мальчике.

— Матросский? — сказал Шурка.

— Матросский. Брюки длинные, рубаха с откидным воротником, а на воротнике якоря.

— И на шапке якоря.

— Да, и на ленточках якоря, а посередине золотая надпись: «Герой».

— Настоящая золотая?

— Настоящая золотая.

— Вот хорошо бы! — захлопал в ладоши Шурка, да тут же и добавил: — Только ты, Лёня, мне ещё книжечку хоть одну подари. Со сказками! Книжек-то в магазине после войны тоже, поди, много будет.

— Подарю, Шура, подарю.

— А мне туфли с пряжками! — потребовала Наталья.



— Тебе туфли с пряжками на длинных каблуках и шляпу с пером.

— Ой, мамочки! С пером! — пискнула тоненьким голоском Наташка, и мы так развеселились, что я едва загнал ребят в спальню. Но они и там всё ещё перешёптывались, о чём-то лопотали, хихикали.

Наконец слышу, Наталья уgomонилась, тихо запосвистывала носом. Она всегда, когда засыпает, тихонько посвистывает, словно мышка.

А Шурка, слышу, всё ещё не спит, всё ворочается.

— Ты что, Шурик, не спишь?

Он шёпотом зовёт меня:

— Лёня, иди-ка сюда.

Я зашёл за переборку в полутёмную спальню, а он опять:

— Ко мне иди.

Я присел с краешка постели, пригнулся, и Шурка задышал мне прямо в ухо:

— Ты правда мне книжку подаришь?

— Правда.

— Так ведь мне, Лёня, не одну книжку надо.

— Сколько же?

— Много. Целую стопу, лучше две. И чтобы все детские и все с картинками. И чтобы толстые-претолстые! А то у меня один «Колобок», да и та тоненькая. Перелистаешь — и жалко.

— Чего жалко?

— Что сказка кончилась. Ты, Лёня, вот что, — заторопился Шурка и даже обхватил меня горячей рукой, чтобы я не ушёл. — Если у тебя, Лёня, денег не хватит, то костюм не покупай. В штанах я и в этих прохожу, а деньги мы все потратим на книжки. Ладно?

— Идёт, — сказал я. — Ты давай спи и не думай об этом. Денег у нас хватит и на костюм, и на книги. Ведь я трактористом буду, а трактористы знаешь сколько зарабатывают? Да и папа

к тому времени вернётся. Ох и заживём тогда!

— Как в сказке? Будем жить, поживать да добра наживать?

— Точно!

— И Наташке шляпу с пером купим? — вспомнил и опять засмеялся Шурка.

— Купим, купим. Ты спи.

Хорошо мне было в этот поздний вечер, а вернее — в ночь. И хотя я наработался за день крепко, да и после встречи на дороге, наверное, сдал не одну норму ГТО и по бегу, и по прыжкам, а всё равно, скажи мне кто-нибудь сейчас: «Пошли, Лёнька, землю копать, камни ворочать!» — я бы пошёл не задумываясь. Настроение у меня было такое, что я не знал, куда его девать.

И это всё из-за того, что Тоня приходила к нам и придумала для меня праздник. А может, дело совсем не в празднике, а в чём-то совсем другом.

Конечно, если бы с кем-нибудь сейчас поделиться, хотя бы, например, с Юркой, то он бы наверняка окинул меня презрительным взглядом и наверняка бы сказал: «Ну, ясно! Влюбился». Но «влюбился» — не то слово. Совсем не то. Да и вообще это слово мне не нравится. Как услышу его, так сразу мне видятся хихикающие в классе по углам девчонки, видятся дурацкие записочки, которые эти девчонки суют друг другу во время уроков. Суют и делают вид, что им ужасно страшно, как бы эту записочку не перехватили мальчишки.

А из таких девчонок мне чаще всего представляется Фима-Серафима Сиротина. Вот кого, несмотря на фамилию, сиротой-то не назовёшь! Ростом Серафима больше любой учительницы, глаза всегда удивлённые, навывкате, губы держит бантиком, и раскрывает она их только для того, чтобы сказать басом:

— Ой, девочки, какую я историю слышала... Про лю-бо-овы!

Помню, ещё в шестом классе, когда «Тараса Бульбу» проходили, она отличилась. Учительница вызвала Серафиму, спрашивает:

— Скажи, Сиротина, кто был Тарас и в чём видел смысл своей жизни?

А Серафима стоит над партой, как коломенская верста, глазами хлопает и ни гугу.

Тогда учительница опять спрашивает:

— Так расскажи нам хоть вкратце, о чём книга. Что в ней больше всего тебе понравилось?

И тут Серафима выдала басом:

— Про лю-бо-овь!

Мы все так и грохнули. Это «Бульба»-то про любовь? Ну и Фима! Ну и чадушко! Век другую такую Серафиму искать — нигде не найдёшь.

Ну так вот, этой самой Серафиме вдруг ни с того ни с сего приглянулся не кто-нибудь, а именно я. Правда, записочек она мне никаких не присылала, зато подсунула свой самодельный альбом. Каждая страница альбома была разукрашена собственноручными Фимиными рисунками, он весь топорщился от приклеенных картошкой открыток. И на всех рисунках, на всех открытках в альбоме все целовались. Целовались цветы, голуби, розовые кошки, кудрявые собачки, целовались прилизанные фотографические женихи и невесты. Стишки в альбоме были тоже все на один лад:

Дарю тебе собачку,  
Прошу её не бить,  
Она тебя научит,  
Как мальчиков любить!

На одной странице Серафима загнула уголок и на нём написала: «Секрет». Я уголок, конечно, разогнул и увидел там нарисованное сердце, а внутри сердца аккуратненько написано: «Лёня».

Я страшно разозлился, страницу из альбома выдрал с клочьями, а потом взял красный каран-

даш и прошёлся по самому первому стишку в альбоме. Стишок был вот какой:

Фима — роза,  
Фима — цвет,  
Фима — розовый букет.

Там прямо так и было написано: «цвет». Ну а я, чтобы уж всё получилось в Серафиминном духе, взял да в слове «букет» букву «е» переправил на букву «э». Вышло: «Фима — роза, Фима — цвет, Фима — розовый букэ». Исправленное я по-учительски дважды подчеркнул, внизу вывел основную Серафиминову отметку «оч. плохо» и засунул альбом во время перемены хозяйке в парту.

Серафима альбом вынула, раскрыла, посмотрела: потом стала красной, потом зелёной, потом опять красной, а затем шагнула ко мне — да как при всех треснет меня этим альбомом по макушке, аж звон пошёл! На том сразу всё и кончилось. С тех пор она в мою сторону даже не смотрела. Не смотрела до той поры, пока не выдался случай отомстить. Я думаю, с велосипедом-то Женькиным она нас тогда специально подкузьмила.

А вот для Тони я и сам был готов сочинять стихи. Но сочинять я не умел. Правда, во мне что-то такое пело и звенело в этот вечер, во мне словно бы звучала какая-то ласковая песенка, но когда я взялся за перо, попробовал эту песенку записать, то получилась одна сплошная чепуха. Сколько я ни бился, из-под пера выходили только такие вот невразумительные выкрики:

О, Тоня!  
Ах, Тоня!  
Эх, Тоня!

Не хватало ещё написать: «Ух, Тоня!», тогда совсем бы получилось, будто я колю дрова и приговариваю: «Эх! Ах! Ух!»

Я и в самом деле измучился так, словно переколол поленницу. Да что там поленницу — клапаны шлифовать в мастерской и то было легче, чем писать стихи. Я и по комнате из угла в угол ходил; я и на кухню за холодной водой раз двадцать сбегал; я и затылок скрёб, а дело как застопорилось на этих несчастных «Ах! Эх!» — так дальше и не двигалось.

И вдруг меня осенило. Из-под моего пера на бумагу легко и сразу легли такие вот строки:

Развернись, гармоника, по столику:  
Я тебя высоко подниму!  
Выходила тоненькая, тоненькая —  
Тоней называлась потому...

Нет, это чудо чудесное придумал не я. Где уж мне! Это я вспомнил строчки из книги стихов, которую давным-давно листал в книжной комнате Валерьяна Петровича. Вспомнил всего лишь четыре строчки, а вот стихотворение целиком и фамилию поэта припомнить не мог.

Я уж совсем было собрался бежать за книгой к Валерьяну Петровичу, да спохватился: на дворе глухая ночь. Но я рад был и этим четырём строчкам. Я чувствовал себя так, словно вот только что тихо и долго плакал, мучился и вдруг увидел яркое солнышко. От этих стихов мне было легко-легко. И вот я подошёл к окну и на голубых парусах Тониного кораблика чётко вывел все четыре строчки. Думаю, придёт завтра Тоня, глянет и удивится:

— Ой, откуда здесь такое?

А я тоже удивлюсь и отвечу:

— Не знаю, не знаю. Кораблик не я вырезал.

А потом, конечно, не выдержу, засмеюсь. Тоня тоже засмеётся, и тут я ей расскажу, как целую ночь сочинял стихи, а написал на парусах в конце концов чужие.

## Глава 19

### ВОТ ТАК-ТО!

Наступило утро выходного дня, и чуть забрезжил рассвет, я уже был на ногах. Мне хотелось поскорее увидеть Тоню. Я хотел её позвать с собою в лес. Дорогу к дровам надо было разведать сегодня же, а то если и в самом деле дадут лошадь, так дадут ненадолго.

Перво-наперво я управился по дому, а меж делами нет-нет да и поглядывал в окно. Я даже Наташку замучил одним и тем же вопросом:

— Так, говоришь, Тоня с утра обещала прийти?

— С утра, с утра,— кивала Наташка. А сама по случаю выходного дня разложила на столе цветные лоскутья, собиралась наряжать куклу.

Наконец Наташке я надоел, она обернулась:

— Вот пристал. Если тебе надо, так сбегай к Тоне сам да сам у неё и спроси, когда она придёт.

Я постоял у окна ещё минуты две-три, подумал: «Проспала, видно, Тоня», — и побежал к Бабашкиным.

Двор Бабашкиных, так же как наш, за прошлую ночь побелел ещё больше, но крыльцо и дорожка к нему старательно расчищены. Наверное, печник встал ни свет ни заря и, пока старуха готовила завтрак, ровнёхонько, словно по шнуру, разгрёб весь ночной снег деревянной лопатой.

Делал он это, должно быть, не спеша. Я даже представил себе, как в темноте он покашливал, посвечивал огоньком сигарки, побряхтывал, нагибался, отбрасывал в сторону щепки от прнесённых тут вчера дров,— словом, разминал косточки перед длинным трудовым днём.

День этот у печника подлиннее, чем у путейских рабочих. Раньше под его надзором состояли только казённые дома, а нынче и все хозяйские

избы перешли под его руку. И вот ходит дед Николай по солдатским домам, чистит, подмазывает, подправляет печи. Делает он эту работу по вечерам, после той, что назначена ему начальством, и никакой платы за неё не берёт.

Злая на язык Анна Фёдоровна, я знаю, говорит про печника: «Это он на старости лет решил безбожие своё замолить. В святые угодники собрался. Да только бог ему прошлого безбожия не простит, и господней благодати печнику не видывать».

Бог у Анны Фёдоровны получался скупым и злопамятным, весь в самую Анну. Но не в нём дело. Богом Анна Фёдоровна лишь прикрывается, а не любит она Бабашкиных за другое. Она просто-напросто им завидует. Завидует, что вокруг стариков всегда люди, а вокруг неё — никого. Только и тут Фёдоровна виновата сама. Утешительных, бесплатных слов она может наговорить людям много, а делает для них — ничего. У Анны Фёдоровны зимой снегу не выпросишь, а вот у Бабашкиных всё иначе. Они сладкие речи вести не умеют, а если кого нужно выручить — то пожалуйста!

Даже тропку к дому печник разгребаёт по утрам так широко и чисто, словно каждую минуту ждёт гостей: «Милости просим, кто бы ты ни был, званный, незванный, а заходи!»

Но теперь дед Николай наверняка возится у чужой печи, а его старуха ушагала на стрелочный пост. Как чинно и важно она туда шествовала, я видел в окно, а иначе бы на свидание к Тоне сейчас не побежал.

Я хлопнул калиткой, промчался по разметённой дорожке, взлетел по крутой лестнице в сени Бабашкиных и сразу распахнул дверь.

Я влетел туда радостный и стремительный, да только тут же и осекся.

Я влетел туда чуть не с песней, со всей открытой душой, да только тут же и скис.

Тоня-то, вижу, совсем и не проспала. Она про меня и думать позабыла. Сидит себе за столом на чистой половине избы, перед нею разложены бумаги, стоит чернильница, а рядышком посиживает Женька. Вот так-то!

Ну, ладно. Посиживают и посиживают — это их дело. Это я ещё стерпел бы. Но только я в дом, Женька — хлоп! — закрыл бумаги газетой, а Тоня — руки на газету и смотрит на меня растерянно.

Я даже здороваться не стал. Я им сразу говорю:



— Секретничаете?

— Секретничаем.

— От меня?

— От тебя, — отвечает Женька и нахально улыбается.

— Ну что ж. Моё вам с кисточкой! Продолжайте в том же духе, — говорю я и поворачиваю назад.

Тоня спохватилась, шепчет:

— Давай, Женька, скажем. Он ведь рассердится.<sup>1</sup>

А Женьке хоть бы хны. Ухмыляется, рот шире ворот:

— Пускай. Пускай посердится. Ему не привыкать. Да это и ненадолго.

— Надолго, не надолго — дело не твоё. Может, навсегда, — сказал я и так грохнул дверь, что загудел весь дом. И где-то со стены загремел и покотился по полу железный таз.

Тоня выскочила за мной:

— Лёня, погоди. Мы же пошутили.

На крыльце она ухватила меня за рукав, а я уже ничего не понимаю. У меня от обиды в голове тьма, и тут произошло то, чего я сам не ожидал: я толкнул Тоню.

Я закричал:



— Пошутили? Ничего себе пошутили! Иди дальше дошучивай! — ну и — толкнул.

Нет, я не ударил Тоню. Я просто вывернул из её пальцев рукав и отпихнул её от себя. Но всё равно вышло так, словно толкнул. Толкнул если не руками, так своим криком. Я сразу увидел, какими вдруг стали Тонины глаза. Они вдруг стали огромными и несчастными. И тут уж ничего не могло меня остановить. Я в два прыжка долетел до калитки, выскочил на улицу.

— Послушай! — донеслось вслед. — Мы сейчас к тебе придём!

— Нечего слушать, нечего ходить, — огрызнулся я. — Иди сама слушай своего Женюшку. Секретчики несчастные!

Но самым-то несчастным человеком на земле теперь был я. Когда я прибежал домой, Наташка даже испугалась.

— Ты что, — говорит, — такой весь бледный?

— Ничего не бледный. У тебя резинка есть?

— Есть. В пенале.

— Дай!

Я схватил резинку, подбежал к окну, стёр с корабля стихи, но после этого мне стало ещё хуже. Я посовался из угла в угол, походил по комнате, потом говорю Шурке с Наташкой:

— Идите гуляйте, а я схожу в лес. Обед в печке, обедайте без меня.

— А ты скоро вернёшься?

— К вечеру вернусь. Делянку только найду и вернусь.

— Только один не ходи. Смотри, в лесу страшно.

— Я ребят позову. Идите, идите.

Но ребят я звать не собирался. Конечно, вместо Тони и Женьки я мог бы созвать целый отряд — мало ли на станции мальчишек и девчонок, — да только никто мне теперь был не нужен. Никто!

Мне и о самом себе было думать тошно.



## Глава 20

### БЕЛЫЕ МАСКХАЛАТЫ И ВЫСОКИЕ ЕЛИ

Собрался я быстро. Я нашёл ключи, открыл чулан, вынул берданку, разыскал за сундуком в сенях припрятанный от мамы тот, второй, патрон и положил его в карман. У берданки был слабый спуск, и заряжать ружьё загодя я поопасался.

Потом забежал на кухню, взял свой обеденный и вечерний хлеб, взял кремь и обломок напильника, которыми пользовался вместо спичек, присоединил к ним фитиль в жестяной трубке и вышел из дома.



Снег с ночи так и не переставал, он расходился всё пуще, но было по-прежнему тепло и безветренно. Я открыл сарай, подбросил козе пару веников, снял с чердака свои лыжи, встал на них и побежал к станционному переезду.

На переезде полосатый шлагбаум был закрыт. Со станции на главный путь выходил воинский эшелон. На той стороне пути возле стрелочной будки стояла тётка Евстолия. Она держала в руке туго свёрнутый жёлтый флажок — словно готовилась им отсалютовать эшелону.

А поезд нарастал. На полном ходу длинный паровоз пролетел между нами. Он скрыл стрелочницу, обдал меня серым облаком пара, оглушил грохотом и свистом, а за ним, прогибая рельсы и заставляя подрагивать мёрзлые шпалы, замелькали красные вагоны.

Двери вагонов и сейчас были полураскрыты. В дверях стояли бойцы, я смотрел на них и вдруг подумал: «Вот бы сейчас, когда мне так горько и одиноко, увидеть отца».

Умом я понимал: отца здесь нет. Мой отец

давным-давно там, куда эти люди ещё только едут. А вот сердцем всё равно думалось: «Мало ли что... А вдруг?»

Но если бы отец и стоял здесь, то вряд ли бы я успел его узнать. Слишком стремительно пролетали вагоны, слишком одинаковыми от такой быстроты казались мне эти хмурые лица, эти люди в одинаковых военных одеждах, перепоясанных ремнями.

А вот одно бросалось в глаза. Почти каждый из них теперь в белом маскировочном халате, у всех оружие в руках. Прежде, в осенних эшелонах, с оружием в руках стояли только часовые у пулемётов и пушек, а теперь каждый боец держит его при себе. И было ясно: только домчится эшелон до места, тут же пойдут красноармейцы в бой. Пойдут сразу, безо всякой передышки. Они готовы к этому. Они знают: пути им осталось всего несколько часов.

Такие эшелоны шли теперь день и ночь. Про них у нас говорили: «Сибирь двинулась. Скоро, очень скоро что-то произойдёт».

Мне так и хотелось крикнуть бойцам: «Возьмите меня с собой!»

Но вот длинная громада эшелона пролетела, и опять я стою один, и никого рядом со мною нет, лишь стоит на той стороне стрелочница и смотрит вслед эшелону. Потом она опустила флажок, повернулась ко мне:

— Куда наладился? Иди-ко сюда, иди.

«Того не хватало! Ещё домой завернёт. Скажет: один не езд», — подумал я и поднырнул под шлагбаум, проскочил мимо будки, припустил к оврагу.

До меня только и донеслось:

— Вот бес! Право, бес! — А что ещё крикнула стрелочница, я не услышал. Я соскользнул на своих вёртких лыжах в овраг.

Делянка с дровами находилась от переезда не

очень далеко, за речкой. Я перешёл по бревенчатому полузаброшенному мосту на заречную сторону, взял направление на узкий прогал между двумя синими перелесками и побежал по белым лугам. Я совсем не думал о том, что не очень дальние перелески стали чуть видны, что тихий снегопад переменялся — в лугах стало ветренеть, завевать. Я всё двигал да двигал вперёд свои лыжи, думал о Тоне с Женькой.

Здесь одному среди ровных лугов, под шелест летящего наискосок снега, думалось о нашей ссоре совсем по-иному.

Ну зачем я, дурак, орал? Ну зачем я бухал дверями, как будто Женька с Тоней сделали мне подлость? А разве их секреты — подлость? Почему это у меня с Тоней могут быть секреты, а у Тони с Женькой — не могут? Что, Женька хуже меня? Нисколько. Женька вон для общего дела модель разобрал, не пожалел, а я что? Я в комсомол собрался и то лишь для того, чтобы свою светлую личность выказать. А разве я светлая личность? Так себе, в крапинку...

И вообще я со своим гордым одиночеством стал вроде Фёдоровны: мой дом с краю — не трогайте меня. Из-за этого и про лыжи скрыл, и про Миньку. Именно из-за этого: чтобы не трогали меня. А страху на себя только так напустил — для оправдания.

Нет, Женька не хуже меня, и живётся Женьке не слаще, чем мне. Женькин отец если не на фронте, так всё равно дома не живёт и почти каждый рейс попадает со своим паровозом то под обстрел, то под бомбёжку. Дня не проходит, чтобы Женька не сбегал в диспетчерскую на вокзал, не попытался узнать, домчался ли до фронта поезд, который увёл дядя Серёжа.

Но диспетчеры Женьке ничего не говорят, это военная тайна, и Женька мается, каждый вечер бродит по пустому перрону, ждёт с обратным рей-

сом отца. А когда издали узнаёт по гудку его паровоз, то летит пулей домой и несёт оттуда вдвоём с матерью кастрюлю супа и чистую рубашу. Несёт опять к вокзалу, в каменное, с черепичной кровлей общежитие. Женькин отец тоже находится на казарменном положении и отдыхает в этом общежитии.

А отдых машиниста невелик. Пройдёт два-три часа, и паровоз его снова подхватывает тяжёлый эшелон, и снова уходит туда, где бухает война. А Женька опять мотается по перрону и ждёт. Мать у них за одну эту осень вся поседела.

Нет, что и говорить, правильно Тоня делает, что с ним дружит. И конечно, Женька на Тоню не орёт, кулаками не машет...

Вот об этом вспоминать было хуже всего. От этого воспоминания хотелось кричать криком, хотелось остановиться и сломать, сокрушить что-нибудь, а что — неизвестно. Не было вокруг ничего и никого, кроме летящего снега, кроме ветра.

Казня себя на все лады, нарочно подставляя лицо жёстким снеговым зарядам, я наконец пересек замутнённые метелью луга и вбежал в лесную прогалину.

Посреди прогалины болотце. По нему растекаются тёмно-серые пятна, торчат хилые кусты, но ели вдоль болотца стоят, как колокольни. Я поднырываю под них, и ветра будто не бывало.

Здесь, под елями, тишина. Тонко и прохладно пахнет хвоя. Из-под наста кое-где проглядывают глянцевитые ветки брусничника. Снега под старыми деревьями мало, он почти весь держится на мохнатых лапах, на высоких тёмно-зелёных этажах. Толстые узлы корней выпирают над землёй. На крепкой, словно кость, древесине их — глубокие царапины. Грибники и ягодники набили здесь за лето торную тропу, да, видно, и на подводах тут езживали часто.

У нас ведь если год грибной да если к тому же

и грузовой, то в лес отправляются не только пеша с корзинами, а и на лошадях, на телегах. На подводы ставят щепные кузова, каждый кузов — мужику не обхватить.

Ездят за груздями, правда, далеко. Но зато домой в белые летние сумерки возвращаются с таким возом, что и конь едва тянет, и кованые оси под телегой трещат. Кузова все полные, да и поверх кузовов горою лежат грузди. Они лежат, едут, а по домам их липовые кадушки ждут, и укроп, и чеснок, и соль наготове...

Вот если Тоня простит меня и доживёт на станции до лета, я непременно покажу ей в наших лесах груздовое местечко. Да только простит ли?

Тропа круто свернула в гору, а я как бежал по лесной закраине, так всё этой закраины и придерживался. Делянка, по словам Валерьяна Петровича, была где-то близко. Места тут пошли повыше, посуше; тёмные ели стали перемежаться красноствольными соснами; вокруг сосен грудился плотными крепями молодняк, и я петлял то влево, то вправо — высматривал удобный для санин путь. Наконец посветлело, я выскочил на край делянки.

Делянка была небольшая, но нанятые директором ещё прошлой зимой лесорубы понаставили дровяных штабелей немало. Лес под вырубку пошёл спорый, и дров с участка хватит школе не на один год. Не снимая лыж, я стал обходить штабеля, прикидывать на глаз, где чурбаки потоньше, для меня поухватистей. Ведь грузить сани придётся одному.

А погода всё хмурилась и хмурилась. Вырубка, окаймлённая с трёх сторон соснами и елями, а с четвёртой — голым чернолесьем, лежала под мутным небом, как огромная, набитая снегом ямища. Снега в эту ямищу всё добавляло, и только ветер сюда не залетал. Он шумел поверху. Острые макушки елей начинали куриться белым дымом.

## Глава 21

### КОРОЛЕВСКИЙ ЗВЕРЕК

Наконец на самом краю делянки, рядом с голым кустом крушины, я разыскал подходящую поленницу и, довольный, хлопнул по ней рукавицей. Хлопнул и тут же подскочил. И с перепугу чуть не повалился! Прямо из-под моих ног метнулось что-то живое, лёгкое, вёрткое. Оно пробило рыхлый сугроб, на секунду замешкалось, но справилось, взлетело на высокий ворох сухих веток, замерло — и я увидел горностая.

Я сразу узнал его. Он внимательно смотрел на меня, вскинув точёным столбиком голову, наострив аккуратные маленькие уши. А глаза у него, как черничинки, а сам весь морозно-белый, и лишь конец длинного хвоста чёрный с рыжеватинкой.

И тут я совершил глупость. Я заорал, захлопал в ладоши и сделал это неизвестно зачем. Я поступил так, как поступают почти все люди, завидев в лесу какую-нибудь зверюшку.

— Эгей! — завопил я, и горноста́й взвился, прыгнул с вороха под куст, белой молнией исчез в чернолесье. И только тут я схватился за ружьё, чуть не завопил вновь, но теперь от великой досады.

Мне сразу припомнился набитый шкурками мешок Бабашкина, припомнился воротник, который я столько раз мысленно преподносил Тоне, и вот теперь упустил, и вот теперь проворонил, заполошный крикун и растяпа!

Я сорвал с плеча ружьё, кинулся в чащу. Следы были чёткими — напуганный горноста́й шёл прыжками. Следы уходили в тонкие осинники, и я молился: «Только бы не свернул в ельник». В ельнике он может пойти, как белка, вёрхом, и в густых лапах мне его не разыскать, а тут по верху он не пойдёт. Верх тут прозрачный, сквозной, прятаться ему негде. Здесь я разыщу его



запросто, лишь бы следы не засыпало снегом. Отпечатки следов стали мельче. Как видно, горноста́й пошёл теперь спокойнее, и я обрадовался. Ведь шансы у нас были неравные: там, где горноста́й проходил метр, мне приходилось пробегать два.

Через любой завал, через любое обрушенное дерево горноста́й перемахивал напрямик, а я петлял, высматривал: куда же зверёк побежал дальше?

Шёл он почти по прямой. Он тропил свой след в ту сторону, где лежащих деревьев становилось больше и больше. «Ага,— подумал я,— наверное, где-то там у него нора! Говорят, именно такие вот непролазные дебри горноста́й больше всего и любит. А если там нора, то живёт он, возможно, не один. Возможно, у него есть такая же пушистая горноста́иха да и соседи тоже...»

Я ломился сквозь хрупкий голый малинник, переваливал через колоды, обегал непроходимые сучкастые завалы, и мне уже мерещилась целая охапка горноста́евых шкурок.

Их много, и все они нанизаны хвостами вниз на один шнур. Я вхожу к Тоне, плавным и щедрым взмахом руки опускаю связку на стол, и связка рассыпается по столу великолепным веером. Тоня гладит податливый мех, потом задерживает руку, прислушивается, как тонкие ворсинки щеко́чут ладо́нь, и вдруг говорит: «Ой, Лёня, как тепло-то!»

А вот великолепный веер превращается в меховую шубу. В шубе Тоня ещё красивее. В шубе она такая, что, наверное, смотреть сбежится вся станция. Но это ничего. Пусть сбегаются, пусть смотрят. Я и сам таких шуб ещё никогда ни на ком не видел. В таких шубах, если верить печнику, красуются лишь заморские королевы да принцессы. Но в моих горноста́ях королевам не хаживать. В моих пусть бегают в школу Тоня, пусть наря-

жается по праздникам наша мама. Для мамы, если повезёт, белых мехов я раздобуду тоже полно, а королевы с принцессами пусть подождут! Пускай подождут и перебьются как-нибудь так. Они под бомбёжкой, должно быть, и дня не жили, они голодом не сиживали, на собственной спине двадцатипятипудовые рельсы не таскивали — так за что же им горностаевые меха?

Я раскипятился, раз мечтался и не заметил, как попал в такой бурелом, упёрся в такую грудку мёртвых деревьев, что и леса из-за неё нигде не видать. Всё здесь перепуталось, всё топорщилось, дыбилось. Острые сучья торчали штыками — тут и медведь не пролез бы, не то что я с лыжами.

А горноста́й прошмыгнул... Причём прошмыгнул недавно и сделал это не спеша. На одной из поваленных елей снег был притоптан, и даже оставлена жёлтая роспись тоненькой струйкой. Наверное, горноста́й тут сидел, смотрел в мою сторону и по-своему усмеялся. Зверюшки это делать умеют.

Отдохнув, горноста́й нырнул под самый низ перепутанных стволов и — ау! — ищи его теперь, свищи! Там у него, конечно, тайный ход, и уйти по нему он может хоть за версту.

Я отдышался, огляделся и везде увидел бурелом. Когда-то над этой приболоченной местностью пролетел жестокий ураган и наломал вокруг страшно. На корню тут не осталось ни лесинки, полегло всё подряд. Я стоял посреди опрокинутых деревьев и глядел, как снег замечает прощальные следы горноста́я. Замечало их прямо на глазах. Не успел я подумать: «Вот тебе и королевская шуба, воротника и того не добыл...» — как снежный вихрь слизнул остатки следа и ударил мне в лицо.

Я отвернулся и посмотрел назад. Я думал, увижу край леса, из которого выбежал сюда, но увидел одну лишь летучую мглу да поднятые на дыбы корневища.

«Крепко завёл,— подумал я о горностае.— И бежал он сюда не от меня, а от ненастья. Вьюгу чуял. Смотри-ка, что начинается: света белого не видать». И тут бы мне сразу чалить к лесу, да очень я в погоне упарился и решил отдохнуть.

Отдыхал я недолго. С полчаса, не больше. Я смахнул снег с удобно изогнутой коряги, сел на рукавицы и достал свёрток с хлебом. Один кусок я тут же спрятал обратно, а второй, стараясь не торопиться, съел.

Съел, сладко вздохнул, подумал о том, что нет ничего вкуснее хлеба, сдобренного зимним холодом, достал второй кусок и тоже съел. «Что,— думаю,— хранить? Всё равно домой».

Потом я взгрустнул по горностаю, пожалел об упущенном случае помириться с Тоней, зябко поёжился от ветра и наконец собрался в путь. Я не очень спешил. Я совсем не подозревал, что за это время вокруг что-то произошло.

Когда я гнался за горностаем, за мною тоже оставался чёткий след. Он двойной нитью тянулся по лесу, отмечал все мои повороты и объезды, выбегал в заломы и связывал меня с делянкой, с грибной тропой, с лугами, с домом. Но вьюга всё завела и завела. Она быстро замела следы зверька, а вместе с ними принялась заравнивать и мою лыжню.

Сначала это произошло на открытых ветру полянах, потом в безлистных сквозных осинниках, березняках, и остался мой след, наверное, лишь под могучими елями возле самых лугов. Там-то он остался, да как туда теперь доберёшься? Двойная ниточка во многих местах оборвалась, а потом и совсем исчезла.

Кланаясь встречному ветру, щурясь от снега, который так и норовил залепить глаза, я шёл и видел, как бывшая лыжня становится всё незаметнее. И вот наступила минута, когда я по-

шагал по нетронутой, без единого следочка, целине.

Сначала я старался сохранить направление. Но сохранить его было невозможно. Приходилось то и дело огибать завалы, и я быстро сбился. А самое главное, я никак не мог выбраться из буреломного места. Мне казалось, что если бы я добрёл до леса и походил бы по его кромке, то ещё и разыскал бы остатки лыжни. Но лес пропал, впереди и за пять шагов ничего не разглядеть.

Я словно бы находился внутри наполненного ветром и летящим снегом огромного белого купола. И куда бы я ни брёл, этот купол передвигался вместе со мной. В конце концов я понял, что заблудился.

А белая метель стала свинцовой. Приближались вечерние сумерки. Декабрьский день короче воробьиного носа, да и в путь из дома я вышел уже поздновато. Дома ребятишки, поди, давно отобедали и теперь приплющили носы к оконному стеклу, пугливо слушают вьюгу и ждут не дождутся меня...

Я как подумал о ребятишках, так у меня даже сердце зашлось. А что, если я проплутаю до ночи? А что, если я и в ночь не выберусь домой? Так ведь они тогда и сами обречутся со страха, и соседей всех переполошат. Нет, надо что-то придумать, а не кидаться без толку из стороны в сторону. Так я заплутаюсь ещё больше и напрасну растеряю последние силы, а их осталось уже совсем ничего.

Я остановился, утёр лоб рукавицей, снял шапку. Холод приятно опал мочные волосы, и тут в голове мелькнуло: «Ветер! Мне поможет ветер!»

Я открытым лицом, щекой попробовал определить направление ветра. Среди огромных, раскоряченных во все стороны выворотней он крутился вихрем, и всё же главное направление определить было можно. Сильнее всего он дул с

правой стороны, хлестал прямо в щёку, прямо в ухо, и так вот, всё время подставляя ветру щёку, я опять тронулся в путь.

Куда я шёл — на юг ли, на север, — мне было неизвестно. Но шёл я теперь в одну-единственную сторону, и это, если не переменится ветер, было уже спасением. Всё равно где-нибудь да выйду в лес, а там, глядишь, найдётся и путеводная ниточка.

Ветер не обманул меня. Сначала сквозь метель проступила одна прямостоящая черноногая осинка, затем другая, третья; потом пошли берёзы попеременно с нечастыми елями, и я вступил в долгожданный лес.

Только было тут ещё хуже, чем в лому. Деревья скрипели, раскачивались; мёрзлые ветви стучали друг о друга, и гул по вершинам катился такой, будто где-то недалеко шёл товарный поезд. Снежные вихри здесь, в бесхвойном лесу, гуляли свободно, и я как глянул вокруг, так и распростился со всякой надеждой найти дорогу к дому. А вместе с вихрями навстречу мне катила глухая ночь, и я отступил от неё и повернул назад, в лом. Уж если укрываться, так лучше там, в плотных завалах, как это сделал хитрый горноста́й.

Что и говорить, не слишком легко мне было поворачивать назад. Шурка с Наташкой не выходили у меня из головы. Минутами мне казалось, что в заунывный плач вьюги вплетается тонкий ребячий голосок. И я нагибался, хватал на ходу снег, тёр потное лицо, отгонял наваждение.

Убежище я нашёл уже в потёмках. Две большие ели когда-то рухнули рядом враз и подняли свои переплетённые корни одною косматой стеной. Верх стены загнулся козырьком, и получилось похоже на гигантскую крытую кибитку с оглоблями из целых елей.

Задевая за концы сухих лап, я продрался меж-

ду елями к стене и сразу увидел, как тут хорошо, тихо. Облепленное землёй и мхом корневище не пропускало ветер, а взъерошенные стволы-«оглобли», впившись острыми сучьями в снег, хоть как-то да отгораживали меня от мрачного и вьюжного пространства.

Я очень ослаб. Мне хотелось пить. Хотелось тут же сесть в сугроб, закрыть глаза и ни о чём не думать. Однако сидеть без огня — гибель, и, глотнув из горячей горсти холодного снега, я принялся за костёр.

Когда я вышагнул из лыж, то чуть не упал. Без лыж ноги стали такими лёгкими, слабыми, будто и не мои. А через минуту они опять налились непомерной тяжестью, и, загребая валенками снег, я побрёл вдоль моих елей, стал обламывать сучья для костра.

Но еловые сучья не дрова. Они только растопка. Надо было разыскать что-нибудь попримотнее. Мне повезло: в одно время с елями хрястнулась на землю сухостойная берёза, и её ломкий ствол разлетелся на куски. Они вмёрзли в снег, и всё-таки, попинав их и раскачав, руками, пару обломков я добыл. Но мне нужно было не меньше трёх.

Если бы у меня был топор, я бы, конечно, обошёлся и двумя. Положил бы их друг на друга, стиснул кольями, и у меня бы получился настоящий охотничий костёр, какой учил меня зажигать отец. Жар и свет от такого костра идут понижу, к человеку. А если два кряжа повалить просто так, рядом, то вся огненная польза уйдёт в небо: тут обязательно нужен третий кряж.

С третьим я возился долго. Приволок его чуть не ползком. Ватник и штаны у меня намокли, обмёрзли, встали коробом. Зато и надсаживался я не зря. Когда высек огонь и поджёг трупом сухой мох, а потом растопку, то костёр запылал отлично. Самым толстым, третьим кряжем я придавил

нижние кругляши, и, когда разгорелось, весь жар от них пошёл ко мне.

Снег между костром и стенкой я раскидал. Потом бросил обе лыжи рядом, прикрыл их ветками и наконец-то прилёг. Ноги ломило, руки болели — острыми сучками я исцарапал их в кровь. Да и когда кончилась работа, опять пришёл страх. Подсвеченные костром коряги так и шевелились вокруг, они тянули ко мне крючковатые лапы, извивали змеиные жала и головы. Я старался смотреть в огонь. Он тоже извивался, шипел, приплясывал, но был добрым.

От мокрых штанов, ватника, валенок пошёл пар, я совсем разомлел, и пить захотелось ещё пуще. Лизать снег было бесполезно. От него во рту становилось неприятно, шершаво.

Я попробовал натаять снега в ладони. Но руку застудил, а воды получил каплю.

«Посудинку бы сейчас какую,— подумал я.— Да только где её взять?» И вот вижу: на одном из кряжей берёста от жары лопнула и завилась. Я достал обломок напильника и вдоль кряжа, где берёсту ещё не тронуло огнём, пропорол длинный надрез. Распаренная берёста снялась с чурбака полотнищем, на жёлтой изнанке держалась ломкая, как печенье, коричневая кора. Я попробовал её на вкус. Жевать хрупкую кору было можно, да в пищу она не годилась. От неё пахло прелью, сыростью.

«Ладно, мне бы только попить, тогда и без еды до утра дотерплю».

Я свернул берестяной лоскут фунтиком, фунтик перегнул пополам, а нижнюю, узкую часть его пришил надколотым сучком к широкому верху, и у меня получился берестяной черпак. Я наполнил его снегом, придвинул к огню, но ставить в самый жар побоялся. Посудина могла сгореть прежде, чем растает снег. А он и так таял — дальнего тепла ему хватало.

Радуюсь своему изобретению, которое было не хуже любого Женькиного, я смастерил ещё парочку посудин, тоже набил снегом и стал ждать.

Спустя время в берестяных черпаках накопилось по глотку талой воды. Я сглотнул её, опять добавил снег и опять стал ждать. «Чаёвничал» я таким способом долго.

А где-то рядом, в ночной тьме, всё время что-то возилось, вздыхало, скрипело, и хотя я понимал: это возится ветер, — всё равно было страшно.

Я уткнул голову в колени, смотрел в огонь и думал: «Ну вот, сильная личность, достукался? Ты хотел одиночества, так получай его! Получай самое настоящее, самое непридуманное... Тут тебе никто не мешает: хочешь — радуйся, хочешь — помирай. А скорей всего придётся помирать. Если вьюга зарядит суток на двое, так и огонь не поможет: протянешь с голоду ноги. И будешь ты, браток, лежать в снегу холодненький; и найдут тебя только по летней поре какие-нибудь грибники или ягодники, как в третьем году, рассказывают, нашли одного кологривского мужика. Тоже вот так заплутал, замёрз, и остадась от него только берестяная записка, нацарапанная ножом: «Прощайте, добрые люди, выйти к вам, хорошие мои, силов больше нет!» Так, сказывают, и написал: «Хорошие мои».

Видно, мужик этот при жизни своей перед людьми не заносился, товарищей от себя не отталкивал, как я оттолкнул Тоню с Женькой. А всё из-за чего? Из зазнайства. Конечно, из зазнайства! Вообразил себя чёрт-те кем... Со мною люди-то все — и соседи, и в МТС, и Валерьян Петрович — как с писаной торбой, а я — нате вам! Один, сам по себе жить желаю и вот — нажелал. Теперь хоть самому тоже бери и пиши берестяную записку».

Я и в самом деле начал подумывать о записке, да тут опять передо мной возникли ребяташки, вспомнилось, как в тот день, когда мы остались



одни, Наташка глянула на меня грустно и сказала:

«Давай, Лёня, ты будешь теперь как будто наш папа, а мы будто твои дети. Ладно?» И, вспомнив это, я чуть не вслух заорал сам на себя: «Не сметь! Не сметь! Не сметь и думать ни о каких записках! Ты что, сглыздил? Ты что, сдаться решил? Да пусть хоть вьюга-распровьюга, да пусть хоть голод-распроголод, пускай хоть сутки, хоть двое, хоть трое будет хуже некуда, а всё равно я обязан вернуться к Шурке, я должен вернуться к Наташке. Мама ведь мне сказала: «Покрепись, Лёнюшка!» А отец? Он там, на войне, хоть сколько-то да надеется на меня. Он бы тоже, как Валерьян Петрович, сказал: «Держи, Лёнька, позицию! Держи сам да на товарищей надейся. Может, ещё кто и на выручку придёт».

И вот тут ко мне в самом деле прилетел чей-то дальний крик. Я вздрогнул.

Опять чудится? Или дурит ветер? Но ветер-то как раз почти совсем утих, даже снег перестал идти, а крик повторился. Он прозвучал не так уж далеко. Он прозвенел горестно и протяжно, как от большой боли, а потом смолк.


Тогда я закричал сам. Я замахал руками, запрыгал, загорланил что есть сил:

— Эгей-гей, люди добрые! Ау, хорошие мои! Сюда, сюда, я здесь! — Я даже не замечал, что повторяю в точности слова из берестяной записки; я кричал первое, что пришло в голову, лишь бы меня услышали.

Я сгрёб всю охапку лап, на которых только что сидел, швырнул их в огонь, и пламя запылало чуть не до неба. Его можно было разглядеть, наверное, за целую версту. Но мне никто ниоткуда больше не отвечал.

Тогда я схватил ружьё, вскинул стволом вверх, нажал на спуск — и... выстрел почему-то не грохнул. Я дёрнул затвор, опять нажал, но

опять лишь чётко и бесполезно клацнул боёк.

Я откинул затвор, поглядел в ствол: патрона там нет.  да ведь ружьё-то у меня не было заряжено! Я запустил руку в карман ватника, обшарил карманы штанов, куртки — патрона не было нигде. Наверное, он выпал в снег, когда я возился с дровами.

«Прозевал! Прозевал, не выстрелил, и вот человек прошёл мимо! А может, там и не один человек? Может, там целый отряд идёт через лес? В посёлке меня хватились и вот — разыскивают... Но если разыскивают, почему больше не кричат и на мой зов не откликаются? Я же вон как вопил! На том свете, наверное, было слышно...»

Я ещё долго стоял без шапки у костра и вслушивался в притихшую ночь. Вьюга улеглась окончательно, небо вызвездило. Боясь замёрзнуть, если угаснет костёр, я не прилёг, а только присел возле него на корточки. Я то и дело встряхивал головой, но перед самым рассветом меня словно кто-то накрыл мохнатым тулупом.

## Глава 22

### ШАПКА ПОД ОБРЫВОМ

Я увидел Шурку. Шурка улыбался розовым ртом, держал в руке железный ковш и тоненькой струйкой лил мне на ноги холодную воду. Я говорю ему: «Отстань, Шурка! Разве так шутят?» — подбираю ноги под себя, а он всё льёт и льёт. Потом ковш превращается в розовый колобок, от колобка сияние. Шурка говорит: «На, поешь... Он тёплый!» Я хватаю колобок и сразу отдёргиваю руку. Розовый колобок тоже холоден как ледышка.

От холода я и очнулся. И сразу увидел утреннее розовое солнце. Оно только что взошло над кромкой леса и светило мне прямо в глаза. Костёр

совсем погас. Круглые чурбаны перегорели, уголья истаяли в белый пепел, от них поднимался к морозному небу чуть заметный дым.

На деревянных от холода ногах я подковылял к пепелищу, собрал головешки, обугленные концы веток, положил на горячий пепел, стал дуть. Сухой древесный мусор задымил густо, через минуту в нём зародился огонь, и вот уже вновь пылают сваленные в кучу остатки толстенных кряжей, и я сам вместе с костром начинаю оттаивать, оживать.

Перво-наперво я вскарабкался на самый верх своего укрытия и огляделся. При свете солнца буреломное место оказалось не так уж и велико: не шире и не длиннее километра — а дальше везде стоял пушистый, заиндевелый лес. Было даже непонятно, как это я так долго вчера плутал.

Конечно, я и теперь не имел понятия, где находится станция, но зато я быстро смекнул, в какой стороне пролегает железная дорога. Она там, откуда поднимается солнце. Из дому я уходил на закат, теперь надо идти на восход. При таком не очень точном направлении я к станции могу и не угадать, да зато мимо железной дороги ни за что не проскочу. А как выйду на неё, так и дом где-то близко.

С той же восточной стороны доносился ночной крик. А если кто там и вправду был, то должны уцелеть следы: ведь крик я услышал уже после вьюги.

Я хотел сразу встать на лыжи, отправиться в путь, да чувствую: в животе у меня от голода так и сосёт, так и подводит — решил опять натаить воды. А пока вода в берестяных посудинах копилась и грелась, побрёл к ближним несломленным елям.

Елку я приглядел густую, разлапистую, и когда раскидал под нею неглубокий снег, то нашёл там десятка полтора бурых, тугих шишек. Эту

добычу я тоже разложил у костра. Шишки подсохли и начали медленно раскрываться. Они растопырились, будто ежи, я взял одного «ежа», встряхнул над шапкой. Из-под клинчатых чешуек на подкладку выпала добрая сотня крылатых семян. «Беличий хлеб!» — говорил когда-то про эти семена отец.

Семян я насобирал целую пригоршню и всю сразу отправил в рот. «Беличий хлеб» горчил, отдавал смолой, крылья семян облепили язык и нёбо, да я глотнул тёплой воды, и они проскочили. В пустом животе сразу заурчало, стало очень больно. Но я ещё раз глотнул воды, и боль прошла.

Костёр гасить я не стал. Всю ночь он грел меня, отгораживал от ночных страхов, был мне единственным товарищем, и завалить его снегом не поднималась рука. Я оставил его тихо догорать — среди сугробов он потом истает сам по себе.

А когда я уже почти совсем собрался, когда стал поднимать со своего лежбища лыжи, вдруг среди колкого, как стриженная шерсть, мха что-то блеснуло медным блеском. Я нагнулся и увидел патрон! Всю ночь он спокойно пролежал под мной, под моим собственным боком, а я в потёмках его и не заметил. Вот ворона так ворона! Окажись патрон поближе к огню — не видать бы мне сегодняшнего дня, не видать бы красного солнышка...

Радуюсь и ужасаясь, я осторожно ощупал тёплый патрон, сдул с него мусор и вставил в ствол берданки. Теперь моя берданка опять стала огнестрельным оружием. Теперь у меня опять в запасе был выстрел.

Я встал на лыжи и двинулся в ту сторону, где всходило солнце. От зубчатых макушек леса оно уже оторвалось, и всё вокруг стеклянно сверкало, морозно искрилось, путь мой по бурелому был теперь легче.

Я заранее приглядывал дорогу и всё быстрее, всё ближе подходил к лесной опушке. В лесу я смогу идти ещё прямее и, глядишь, часа через два-три выйду на железку. Выйду, а там... А там и думать не хотелось, что будет! Теперь вся станция небось в панике: меня считают пропавшим. Шурка с Наташкой ютятся где-нибудь у соседей, но хуже всего то, что у меня сегодня рабочий день. День у меня трудовой, а я, выходит, прогуливаю! Вот тебе и повышение, вот тебе и болты: «навёл резьбу», нечего сказать!

Я миновал последнюю грудку коряг и только собрался нырнуть в спокойный, совсем не страшный теперь лес, как со всего разгона влетел на пробитую поперёк моего пути лыжню. Влетел, глянул и мигом остановился: «Что за морока? Неужто опять кружусь? Ведь это же мой собственный след. След от моих охотничьих лыж. Такой же широкий, такой же глубокий».

Нет, след, пожалуй, был чуть поглубже и чуть пошире. И на нём успело натоптать какое-то зверьё. Я с любопытством присел на корточки, даже руку потянул к следу, но тут же взвился, сорвал с плеч берданку и рывком передёрнул затвор.

След был не моим, но он был и не чужим. След был от отцовских лыж. Та самая бороздка отпечаталась на нём яснее ясного, а ещё на нём я разглядел такое, от чего мороз по коже продрал вдвойне. Лыжню истоптали не лисы, не зайцы — по лыжне прошла волчья стая. Прошла она гуськом, след в след, но всё равно было видно, что лобастые шли числом не менее трёх и один из них такой матёрый, что отпечатки лап не покрыть и моей ладонью.

Меня захлестнул ужас, мне так и казалось: вот-вот из-за деревьев выскочит Минька, а вслед за ним с воем и лязганьем клыков вылетит серая стая.

Но лес молчал. Ни один кустик в нём не шевелился.

Лишь где-то незвонко попискивали синицы да осыпал снег с недалней сосны краснопёрый клёст.

И вот медленно, робко я начал соображать. Я начал понимать, что Минька и волки — всё же компания разная. Что они тоже друг другу враги, и тут, на опушке, ночью произошла беда. Ведь кричал-то не кто иной, как Минька. Кричать в этих местах больше некому. Видно, волки преследовали Миньку, да только почему? Пыхтелыч говорил, волки человека не трогают; меня самого волк не тронул, так зачем же им дезертир? Неужели они различают: кто дезертир, а кто не дезертир?

А может быть, волки лишь припугнули Миньку? Может, он просто с перепугу кричал, а потом ушёл и сидит теперь посиживает в какой-нибудь своей берлоге и нахваливает краденые, удобные на бегу лыжи? Конечно, ушёл! А не ушёл, так отсиделся от волков на дереве, а потом всё равно убежал. Он убежал, и я теперь пойду себе восвоюси, опять буду помалкивать, буду дрожать: как бы кто Миньку не застукал на наших лыжах, как бы не записал меня с ним в одну воровскую шайку-лейку.

Тут я даже выругался вслух:

— Ну, паразит! Ну, ворюга! Так не бывать же этому! — И я решил идти по следу.

Я решил: «Будь что будет. Поймать Миньку, конечно, не поймаю — с одним патроном да без хлеба не много наловишь, а вот логово Минькино, может быть, выслежу. Выслежу, сообщу людям, и тут бандиту конец. А про лыжи тоже всем расскажу. Пусть что хотят, то со мной потом и делают».

Минькина лыжня привела меня опять на открытое, встопорщенное корягами пространство, а потом круто повернула почти назад. И тут я до-

гадался, что, выбежав сюда, Минька про волков ещё ничего не знал. Мне стало ясно, что напугался он здесь не волков, а напугал его мой костёр. Дезертир, должно быть, преспокойно вышел из чащи, увидел огонь и — остолбенел. Он ведь не знал, кто сидит у костра, и сдрейфил, побежал назад.

А волки тоже добрались до этого места. Серые тоже, наверное, постояли, посмотрели на мой огонь да и опять потянули за Минькой.

Я перевёл дух, ещё раз проверил ружьё и двинулся вдоль страшной тропы. Впереди по-прежнему было тихо. Лишь снег поскрипывал под лыжами да иногда с еловых лап срывались тяжёлые снеговые шапки. Но и от этого шума я вздрагивал и чем глубже входил в лес, тем осторожнее ступал по лыжне. Минька здесь, видно, тоже не торопился. Ведь шёл он впотьмах, боялся налететь на сучок или пенёк и всё время сворачивал то влево, то вправо.

Но вдруг вилеватый след резко спрямился и, как по струне, полетел вперёд. Он пошёл прямо туда, где ёлки, берёзы и желтоватые стволы осин поредел, а за ними плеснул голубой свет.

«Кончился лес! А за лесом-то поле! — воспря-



нул я. — А если поле, то и деревни близко, а там — люди. И не надо мне теперь одному выслеживать Миньку, а надо бежать созывать народ».

Дрожь в руках и ногах сразу поутихла, я даже прибавил шаг. Но спрямилась Минькина лыжня — изменились и волчьи следы. Видно, вот тут-то и оглянулся наконец Минька и увидел или услышал за собою погоню. Он кинулся напрямик, а серая стая сошла с лыжни, полетела врассыпную, в обхват.

Волки помчались по сугробам. По длинным волчьим следам-прыжкам было видно, как стая начала зажимать Миньку в клещи. Самый крупный, матёрый, заходил с одной стороны, пара помельче — с другой.

А лес был уже совсем редкий. Редкий и голоствольный. Взобраться с ходу на дерево было уже нельзя, и Минька мог рассчитывать только на скорость лыж да на удачу. Миньке оставалось только одно: бежать и бежать вперёд. Но лыжня вдруг словно наткнулась на какую-то преграду. Она круто повернула туда, сюда, потом затопталась на месте и прыгнула к толстой и гладкой, как столб, берёзе. Волки с обеих сторон кинулись к ней — снег под берёзой был разворочен, истоптан, на снегу темнели пятна.

Я как заметил эти пятна, так мне стало мутно. Я обхватил тонкую осинку, прислонился лбом к холодной коре и тупо уставился в снег. А когда мутить перестало, пошёл к тому месту.

Я ещё и до берёзы не добрался, а уже увидел, почему Минька дальше не побежал. Дальше бежать Миньке было некуда. Впереди простиралось не поле, а был там высокий речной обрыв. Он круто падал в длинный, покрытый тонким льдом омут — волки загнали Миньку в ловушку. И он метался, думал обежать омут, но поздно: волки встали и там и здесь. И тогда — спиной к берёзе,



лицом к стае — Минька решил дать бой. И бой этот был смертельным. Вот тогда-то Минька и закричал.

Я с трудом заставил себя подойти к самой берёзе. Я даже глаза зажмурил. Но вот странное дело: когда подошёл ближе, то увидел совсем не то, чего так боялся.

Да, волки тут пировали. На снегу лежал изодраный в клочья мешок, рядом с мешком — остатки бараньей туши, от неё и костей почти не уцелело, лишь витые рога да шерсть. И наши лыжи я тут увидел, их сыромятные ремни волки тоже сгрызли, а вот сам пастух словно испарился.

Я взглянул вверх, на берёзу, и вокруг посмотрел. Думаю: куда же он пропал? Следов Минькиных на снегу больше нет, ушли только волки. Ушли совсем недавно: когтистые отпечатки лап нисколько не припорошены летящим по воздуху морозным инеем.

А уходили волки странно. Перед тем как скрыться в лесу, они все трое зачем-то приближались к высокому обрыву и, рискуя сорваться вниз, вставляли лапами на самую кромку, на торчащие над крутизной корни берёз.

«Прыгать, что ли, собирались?» — подумал я. И тут из-под обрыва, из-под нависших корней до меня долетел слабый, но совершенно отчетливый звук. Он был такой, как будто кто сидел там полуживой от холода, как будто пытался выговорить замёрзшими губами хоть одно-единственное слово, а выходило лишь зябкое бормотание: бу-бу-бу... бу-бу-бу...

А я и сам словно в ледяную воду попал. «Вон он где, Минька! Под обрывом сидит, сейчас выскочит...» И уже собрался бежать, но тут словно какая-то сила задержала меня, положила плашмя на снег и заставила медленно, всё время держа берданку наготове, подползти к обрыву.

Я подполз, высунул над обвисшими корнями голову и посмотрел вниз.

Никакого Миньки там не было. Там, в неокрепшем льду омута, зиял чёрный пролом. Глубокая вода в проломе дымилась, шла воронками и глухо бормотала: бу-бу-бу... А на краю пролома лежала рваненькая шапка-ушанка, та самая ушанка, в которой Минька ходил зимой и летом. Вот и всё...

Вот и всё, вот и не ушёл Минька от волчьей стаи, и бояться его мне уже не надо. И мне не надо, и другим людям тоже не надо; не пойдёт больше Минька в глухую полночь зорить деревенские да поселковые дворы — прошлая ночь была для него последней. И последней для Миньки была его вчерашняя добыча. Ею-то он и привёл сюда свою собственную гибель. А вышло всё, наверное, так.

Минькино логово и впрямь находилось где-то в этих местах. Возможно, в одном из тех заломов, где я провёл ночь. И вот во вчерашнюю пургу Минька снова нагрянул в чей-то двор, приколот там барашка, упрятал в мешок и отправился «к дому». А потом его воровской путь пересёкся с волчьей тропой.

Голодные волки шли за Минькой долго. Они не понимали, почему пахнет бараном, а движется впереди лишь опасный для них человек. Они останавливались, долго нюхали воздух, нюхали свежую лыжню. Нападать не решались: Минька-то шагал, должно быть, не очень быстро, уверенно. Он даже не оглядывался, а, говорят, такое поведение человека для волков странно и от решительной атаки удерживает.

Но вот Минька оглянулся, увидел серых и — побежал.

А как только побежал, то и волки пошли вмах. Убегающий, он стал для них добычей. А добычу волки брать умели.

Куда ни кидался Минька, он везде встречал

волчьи глаза. На него, уже и так напуганного моим костром, теперь обрушился смертельный страх, а страх в такую минуту не помощник.

И напрасно я думал, что Минька вступил в бой. Вступить-то он, конечно, мог бы, у него наверняка нашлось бы чем оборониться: топор или нож — ведь с чем-то он разбойничал по чужим дворам? — но незащитные дворы — одно дело, а открытая схватка с волками — другое.

Не тот человек был Минька, чтобы вступить в открытую схватку. Он умел красть, убегать, прятаться, но не умел он взглянуть опасности в лицо. Больше всего он боялся за собственную жизнь. Этот страх сковал его сразу: как началась война, этот страх его сделал дезертиром, и этот же страх в решительную минуту заставил Миньку отступить перед волками, отступить всего лишь на два-три шага, но шаги были в пустоту, в омут.

И вот лежал я теперь на снегу над высоким речным обрывом, смотрел в чёрную булькающую воду, и если говорить честно, то не было во мне ни успокоения, ни радости, что Минька погиб. В голову приходило совсем другое.

Я даже вспомнил, как прошлым летом, когда с поймы реки сошло половодье и по всей низине поблёскивали светлые лужи, мы ловили в них руками щурят. Щурята были молоденькие, тонкие, как веретено, и очень вёрткие. Они ловко уходили от нас. А тут прибежал от стада Минька, закричал: «Эх, вы! Смотрите, как надо!» И, задрав штаны до колен, не снимая огромных, как футбольные бутсы, лаптей, врезался в лужу и пошёл её баламутить. Брызги стекали по Минькиным толстым щекам, по круглому подбородку, шапка и та намокла. А когда вода помутнела и щурята стали всплывать к свету вверх, Минька показал нам, как надо подводить под них ладони ковшиком и выплёскивать с водой на берег. На-

выплёскивали мы тогда щурят много, жарили их на костре и угощали Миньку.

Я вспомнил его тогдашнего, смешного, в лаптях посреди мутной лужицы, и подумал, каким он стал потом и что с ним произошло. Мне опять стало тошно. Мне стало так, как будто я и сам хоть каплю, да в чём-то виноват перед Минькой. А в чём виноват — не знаю...

Я медленно отполз от обрыва, встал, надел свои лыжи.

## Глава 23

### ЧИСТЫЙ СЛЕД ГОРНОСТАЯ

Высокий лесистый берег, вдоль которого я пробивал тропу, стал понижаться. Он вскоре вывел меня на речную долину.

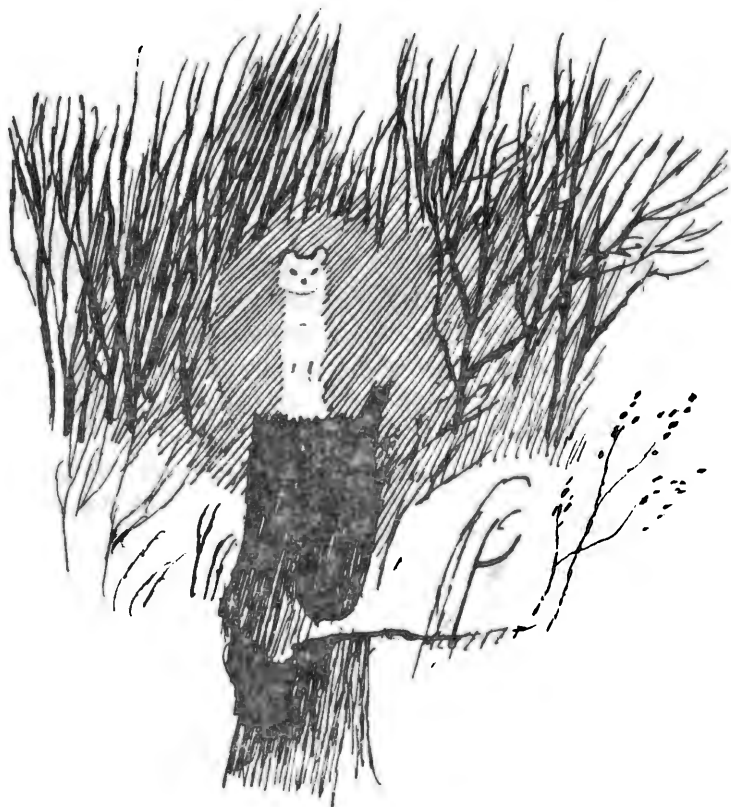
По долине то там, то тут вставляли ольховые рощицы. Они были светлы и прозрачны от инея. Тонкие изогнутые стволы деревьев отбрасывали на сугробы голубую тень, а морозные купы ветвей клубились под синевой неба, как серебряный дым.

Тут всё было полно чистого света, солнечной тишины, да только мало меня трогало. Я думал теперь об одном: «Домой, домой, домой! А там — позабыть про Миньку, успокоить малышей, истопить печку, поесть, хоть капельку отдохнуть и — на работу. За прогул мне, конечно, влепят, но это ничего, стерплю».

И я бежал, из последних сил поторапливался, пока не заметил, что бок о бок со мною вьётся голубая цепочка — цепочка следов горностая. «Ишь ты, — подумал я, — объявился старый знакомый. А может, и не старый. Может, другой, да всё равно теперь, дудки! Не стану я, браток, за тобой гнаться, я теперь учёный, да и не до того мне».

А след печатается да печатается, никуда не

сворачивает, идёт прямо к рощице, на которую я держу путь. «Этот фокус мне тоже знаком. Там ты свернёшь к реке, запетляешь по непролазным кустам, и быть мне опять с носом», — сказал я горностаю, а сам как бежал, так и бегу, словно зверёк мне и в самом деле ни к чему.



Ни к чему-то ни к чему, а ружьё из-за спины потихоньку достаю, помаленьку в руках поворачиваю. «Ну, — думаю, — Длинный Хвост — Короткие Ушки, если ты и в самом деле никуда не свернёшь, то, так и быть, возьму тебя на мушку».

И вот бегу, нажимаю, равняюсь с ольховой рощей и гляжу — сидит! Сидит как миленький! Сидит себе, дурашка, на пеньке и весь на виду, как

мой вчерашний знакомый, только чуть потоньше да поменьше, наверное первогодок.

Наверное, совсем ещё молоденький и совсем глупый. А может, просто задумал меня подурaczyć — вот и сидит.

Лапку одну он приподнял. Уши наострил. Мордочку на меня уставил. А взгляд у него лукавый — такой бывает у ребятишек, когда они задумают что-нибудь этакое хитренькое.

Ну и вот, сидит он, в мою сторону смотрит, голову то так наклонит, то этак. А день вокруг — синий, а снег в лугах — чистый, а глаза у горностая такие смышлёные, что поднял я ружьё вверх и грохнул весь заряд в небо!

Пусть, думаю, живёт! Пусть радуется Длинный Хвост — Короткие Ушки!

Пусть, думаю, этот свет, этот снег, этот голубой на сугробах след чистым и останется. Не могу я сегодня, после того что было, испятнать эту чистоту кровью...

И только прокатился мой выстрел по долине, только раскололся эхом надвое, как в ту же минуту за кромкой леса, недалеко от меня, прогремел ответный выстрел. А спустя миг — второй, третий.

И смотрю, из леса выбегают люди. Они мчатся мне навстречу по долине, размахивают шапками, руками — они тоже увидели меня. Я хотел шагнуть навстречу, да тут ноги мои будто отнялись, и я как подкошенный повалился на пенёк, на котором только что сидел горноста́й.

Хотел с пенёка подняться, да чувствую: ноги не слушаются меня. Ну не слушаются и не слушаются, будто их совсем нет! Будто они только и брались послужить мне, пока не придёт помощь.

Тогда я стал смотреть в ту сторону, откуда бегут люди. Только выходило так, что и смотреть я не могу. Смотрю, а ничего не вижу! Где тут смотреть,



когда одолевают слёзы и весь я раскис неведомо с чего.

Я почерпнул горсть снега, утёр лицо рукой, потом шапкой и разглядел наконец, кто ко мне бежит.

А бежала добрая половина моей бывшей школы: все парни, все девчонки-старшеклассницы. Всех-то я даже по именам не знаю, только по фамилиям. А вот Фиму-Серафиму узнал сразу. Мчится она почти впереди всех, ростом тоже боль-

ше всех, шурует лыжными палками так, что снег фонтаном! Я как признал её, так у меня опять глаза застлало. «Вот,— думаю,— как получается... И зачем я альбом ей тогда измазал?»

И Тоня, смотрю, бежит. И Женька бежит. И дед Николай Бабашкин с двустволкою поторапливается — в общем, бегут все мои станционные друзья, нет среди них только Валерьяна Петровича.

Но самым первым мчит на школьных узких лыжах человек, при виде которого у меня ёкнуло сердце: «Даже в МТС паника!» И человек этот не кто иной, как наш кузнец Ван Ваныч.

Летит он быстро, ватник на нём распахнут, шапка на самом затылке. Лицо держит чуть в сторону, будто и разговаривать со мной не собирается, но единственный глаз нацелил прямо на меня. И вот, когда он, задыхаясь, подскочил, я даже отшатнулся. «Ну,— думаю,— сейчас как даст!» Но он обхватил мою голову шерщавыми ладонями, глянул в моё запрокинутое лицо, а потом прижал к ватнику и давай нахваливать:

— Молодец! Молодец, ёж твою корень, что выстрелил! А то бы мы проскочили мимо. Зря бы пробегали, как Валерьян Петрович.

Я бубню прижатыми губами в жёсткий ватник:

— Разве меня уже искали?

— Всю ночь Валерьян Петрович со школьным военруком тебя искали. Весь лес обшарили, с фонарями ходили, до самых вырубок добрались, а следов твоих так нигде и не нашли. Где хоть бродил-то, чёртушка?

— Я дальше был. Лыжню мою задуло...

— Знамо, задуло! Такой буран. Сгинуть мог.

— Ничего не мог. Я бы всё равно вышел. Сам.

— Сам-то с усам, а у тебя их нету,— засмеялся кузнец, и был он какой-то не совсем обычный, чересчур весёлый, будто хлебнул вина. Должно быть, радовался, что прибежал ко мне первым.



Ласково поглядывая зелёным глазом, он запустил руку под затёртый до глянцеvitости ватник, вынул толстые шерстяные носки:

— Скидай валенки, показывай ноги. Живо!

— Целы,— говорю,— ноги. Я бы лучше поел.

— Скидай, скидай!

Он сам стянул с меня валенки, сам раскрутил подобувки, потискал жёсткими пальцами мои ноги, опять похвалил:

— Молодец, порядок в танковых частях! — И натянул мне тёплые, как печурка, носки. Для него, бывалого солдата, сберечь ноги было наипервейшим делом. Он только после этого вспомнил о моей просьбе и начал из пристёгнутой на ремне старой полевой сумки вытаскивать измятый кусок хлеба.

Но тут подбежали все. Печник отпихнул кузнеца:

— Не суй ему голый-то хлеб, не суй! Человек столько времени не ел, а ты ему — сухомятку. Заворот сделаешь. Парню молока надо! На, Лёнька, молока. Это от вашей Лизки.

Старик протянул мне большую белую бутылку. От нашей козы столько молока быть не могло, но я ухватил бутылку, стал пить.

И вот сижу на пенёке, пью молоко, закусываю хлебом, а все стоят вокруг и улыбаются. Тоня улыбается, Фима сияет, Женька мне весело подмигнул, и у всех на лицах такое, будто они не меня, потеряшку, нашли, а каждый получил по дорожному подарку.

«Чему радуются? — думаю я. — Смеются надо мной, что ли? Им ведь неизвестно, как я находался и чего натерпелся...» И тут я опять вспомнил ночной костёр, волков, Миньку и всхлипнул.

А печник говорит:

— Не всхлипывай, Лёнька. Сегодня всхлипывать не положено.

И как он это сказал, так, вижу, все заулыба-

лись ещё шире. Я утёр слёзы варежкой, говорю:

— Да это я просто так.

— Хоть так, хоть не так, а реветь не положено. Сегодня день-то знаешь какой?

— День моего спасения, что ли?

Тоня, Женька, Фима, кузнец, школьники — все захохотали, а Бабашкин даже хлопнул себя ладошками по бокам, радостно выкрикнул:

— Ничего-то он, ребята, не знает! Да и откуда ему знать? В лесу радио нет!

И тут меня словно вихрем с пенька сорвало. Бутылку я выронил, шагнул к печнику, остановился, оглядел всех и почти шёпотом спрашиваю:

— Что... радио? Что сказало... радио? Война кончилась, да? — Потом заорал: — Да говорите же! Да или нет?!

— Нет, не кончилась. Но немцев, Лёнька, из-под Москвы попёрли. Понимаешь? По-пёр-ли! Драпают они, сынок!

— Правда? — говорю я, а сам уже понимаю, что правда, не могут люди так шутить.

— Вот те крест, — всерьёз перекрестился неверующий печник. — Истинная правда. Сегодня утром сообщили.

И тут я затоптался на месте, начал, как слепой, соваться туда-сюда. Я побежал зачем-то к своим лыжам, не надел их, потом вернулся к печнику, потом опять к лыжам сунулся и всё никак не могу сообразить, за что приняться. Наконец спрашиваю:

— Что делать-то теперь, а? Ведь надо что-то делать! Немедленно делать! Не стоять же теперь просто так?

А кузнец с печником и все ребята опять хохочут, говорят:

— Да сейчас ничего не надо делать! Сейчас домой надо идти. Ноги-то у тебя теперь шагают?

— Шагают! Будь здоров, как шагают.

И мы пошагали. И я пошёл вместе со всеми, а потом остановился и говорю:

— Знаете, кого я в лесу нашёл?

— Кого? — откликнулся кузнец. — Бабу Ягу?

— Нет... — совсем тихо произнёс я. — Миньку... Он в омуте утонул. Его волки загнали.

И тут все опять остановились, и все смотрят на меня так, как будто никогда и не улыбались. Я негромко рассказал им про то, что видел у обрыва. Все слушали и молчали. И даже потом никто не сказал ни словечка. А что было говорить? Нечего. Лишь печник потянул было с себя шапку, да так до конца и не снял.



## Глава 24

### ДО СВИДАНИЯ!

Радость от победы под Москвой была великая. Отмечала её вся станция, а наша компания решила собраться у Бабашкиных. Дома разрешили мне только отоспаться, а потом приказали приходить в гости.

На работу бежать было не надо. Кузнец сказал, что Полина Мокиевна и Павел Маркелыч дали мне на день освобождение. Ведь и в мастерских за меня переживали не меньше, чем в посёлке. Как только ночью меня хватились, так Валерьян Петрович позвонил туда: вдруг обо мне что-нибудь знают? Но в МТС тоже всполошились, вот начальство и отпустило на поиски кузнеца, человека расторопного и на ногу лёгкого.

Когда мы вернулись в посёлок, кузнец не зашёл ни ко мне, ни к Бабашкиным. Он сразу побежал на работу. «Да и митинг в честь победы обязательно будет!» — ликующим голосом сказал он. А я как добрался до дома, так едва успел раздеться, рухнул на кровать.

В конце дня пришла за мной Тоня. Дверь на

крыльце была не заперта, и Тоня сама вошла в дом. Я услышал её только тогда, когда она сказала:

— Лёня, вставай.

А может, она и не сказала ничего. Может, мне это лишь почудилось. Но когда я приподнял голову, то увидел Тоню. Она прислонилась плечом к переборке и смотрела на меня. Лицо её мне показалось грустным, наверное, потому, что в дом заглядывало предзакатное, всегда чуть печальное солнце.

Я сел в постели, укрылся до горла, сказал:

— Здравствуй.

Она ответила:

— Здравствуй... Мы ведь сегодня виделись.

— То встреча была одна, теперь совсем другая. Я хочу тебе что-то сказать...

— Скажи, — негромко произнесла Тоня.

— Знаешь, почему я заблудился? Я хотел принести для тебя горностая.

— Горностая? — тихо удивилась, будто вздохнула, Тоня.

— Да, горностая. Он был, такой весь белый-белый, пушистый. Он был такой красивый, что мне и не рассказать. А ещё знаешь он был какой? Он был смешной и весёлый. Я назвал его Длинный Хвост — Короткие Ушки. И вот поэтому я не смог его убить. Я отпустил его.

Тоня наклонила голову, помолчала, совсем тихо ответила:

— Это хорошо... Это хорошо, что ты не убил его. Пусть бегаёт!

— Пусть! — сказал я.

Она опять помолчала, потом подняла голову и вдруг спросила:

— Ты, наверное, думаешь, я сержусь на тебя? За то... Ну, знаешь за что.

— Теперь не думаю. А тогда думал. Но это я сам виноват.

— Не очень,— сказала Тоня.

— Почему не очень?

— Не надо было нам с Женькой секретничать, надо было свой секрет показать сразу.

И тут, не дожидаясь моих вопросов, она распахнула занавеску, лукаво посмотрела на меня и говорит:

— Глянь!

Я перевесился с кровати, глянул в дверной проём и тихо ахнул.

— Это,— говорю,— и есть секрет?

— Это и есть наш секрет. А ты что думал?

В комнате, на стене, озарённой солнцем, висели старинные часы с медным маятником. С тем самым маятником, который я видел не так давно у Женьки. Минутной стрелки на циферблате не было, стекла в деревянной дверце тоже не было, но жёлтый маятник раскачивался и отстукивал в лад с нашими ходиками: тик-так, тик-так!

А под часами висел плакат. Огромный самодельный плакат. На плакате химическими чернилами был нарисован кособокий колёсный трактор. Из трубы трактора валил густой дым. За трактором тащился плуг с нелепыми закорючками вместо лемехов, а за рулём восседал весёлый человечек: рот — шире масленицы, руки — грязнущие, на голове огромная, как воронье гнездо, шапка. Человечек похож на меня, а вокруг него — большими буквами стихи. Также про меня:

Привет болтам и гайкам!  
Прощайте, клапана!  
За руль возьмётся скоро  
Наш Лёнька-старина!  
Получится из Лёньки  
Не кок, не трубочист,  
А выйдет замечательный  
Пахарь-тракторист!  
Ура!

И в это время часы захрипели, заскрипели

и начали вызванивать: бом-м... бом-м... бом-м... бом-м! Они отбили ровно четыре удара, ровно столько, сколько показывала часовая стрелка. И тут я не только ахнул, я даже с кровати соскочил и стою, как куль, в одеяле:

— Вот эти часы вы и прятали? Этот плакат и сочиняли, когда я к вам вломился?

— Это и сочиняли, это и рисовали. А часы Женька давно приготовил. Минуты они не показывают, но время отбивают примерно точно, с ними на работу не проспишь. Ведь мы вчера хотели, чтобы у тебя праздник был. Настоящий, с сюрпризом. Собирайся, нынче у нас другой праздник будет — для всех.

Тоня ушла в комнату, я стал одеваться, а сам всё поглядывал на часы, на плакат, и так мне весело, так легко — хоть по воздуху лети!

— Здорово,— говорю,— у вас получилось. И часы здорово, и рисунок здорово, и стихи тоже. И про трубочиста верно. На него я и похож, когда на работе. А вот кок зачем? Я что-то не понял.

Тоня смеётся за переборкой:

— Это у меня просто одного слога не хватило, вот я кока и вставила. А что? Кок ведь тоже профессия.

— Точно. Профессия.

А сам думаю: «У тебя, Тонюшка, одного слога не хватило, а у меня целого стихотворения. Хорошо, что чужое вчера со стекла стёр».

Я выскочил из спальни:

— Ну, айда, «кок»! Женьки почему нет? Часы со звоном здесь, а Женьки нет.

— Женька за Валерьяном Петровичем побежал. Бабушка Таля послала.

— И Валерьян Петрович придёт? Вот сила!

— Что значит — сила? Валерьян Петрович к нам в гости всегда приходит.

И вот я опять лечу к дому Бабашкиных, опять

мчусь по широко разметённой дорожке к их высокому крыльцу, но теперь я не один, теперь со мною Тоня. На бегу я подхватываю горсть пушистого снега, швыряю в Тоню, Тоня в меня — мы хохочем.

Правда, я чуть-чуть побаиваюсь встречи с директором. Я знаю, за вчерашние похождения он меня не похвалит. Но это ничего — я стерплю. Я только попрошу и его и Бабашкиных ни слова не говорить маме, когда она вернётся домой, а самого-то меня пусть изругают, как хотят, всё равно всё плохое уже позади.

Я даже представил себе, как сейчас мы с Тоней вбежим в дом к Бабашкиным, а в доме уже все собрались, все сидят вокруг стола, кто на лавке у самых окошек, кто на табуретах спиной к двери, а печник с директором сидят там, где и полагается сидеть почётному гостю с хозяином. Они наверняка заняли место в переднем углу под высокой треугольной полкой. С этой полки во многих деревенских избах и теперь ещё смотрит богородица с младенцем, но у Бабашкиных богородицы нет. У них тут стоит портрет Всесоюзного старосты Михаила Ивановича Калинина.

На божнице портрет стоит давно, и это никого ни капельки не смущает. Даже Анну Фёдоровну. Забежав к печнику по какому-нибудь делу, она ещё от порога всегда начинает креститься, а потом отвешивает бородатому, весёлому, в тонких очках Калинину глубокий поклон. Печник при этом усмехается, но до поры помалкивает. Зато тётя Таля не сдерживается:

— Не грех на партийного-то креститься?

Фёдоровна машет на Бабашкину:

— Почто грех? Какой грех? Праведный старец.

Тут и печник не выдерживает, смеётся:

— Ну ты даёшь, Анна Фёдоровна! Какой он старец, да ещё праведный? Он из тверских му-

жиков. Вот из таких, как я. И годами он мне ровесник.

— Хоть и ровесник, да всё равно тебе не чета. Ты на свой страхолюдный лик в зеркало погляди. Глянь, глянь! Вот то-то и оно-то! Нашёл с кем равняться.

Но про Анну Фёдоровну и портрет я вспомнил просто так, от хорошего настроения. Я даже на минуту остановился и рассказал об этом Тоне. Тоня засмеялась ещё звонче, и так вот — с шумом, хохотом, все в снегу — мы вбежали к Бабашкиным в дом.

Вбежали, и самое первое, что я там увидел, — праздничный стол. А стол тётя Таля сотворила такой, что мне и во сне не снилось. Конечно, белых пирогов на столе нет, да зато на самой середине исходит паром горячий чугунок с рассыпчатой картошкой, в голубом блюде алеет мочёная брусника, а на двух тарелках с зелёными каёмками смачно поблёскивают солёные грузди и боровые крепенькие рыжики. Судя по всему, своими осенними запасами старики тряхнули шибко, да ведь на то он и праздник, на то и победа под Москвой!

Но стол столом, только вижу, вокруг стола происходит что-то не то. Вижу, Валерьяна Петровича здесь нет, Женьки нет, сидят здесь только Шурка с Наташкой, сидят сами старики Бабашкины, и те грустные.

Правда, Шурка с Наташкой как только увидели меня, так сразу соскочили с табуреток, сразу кинулись ко мне. А я их обоих обхватил, даже над полом приподнял, но старики сидят и глядят на меня, на Тоню, на ребятишек, как будто нас совсем не видят. Смотрят в нашу сторону, а сами даже не шелохнутся.

Я разжал руки, отпустил ребят, а Тоня спрашивает:

— Разве Валерьян Петрович к нам в гости не придёт? А Женька где?



— Валерьян Петрович был, да на станцию ушёл,— говорит Наташка.

— Женька вслед за ним убежал,— добавляет Шурка и почему-то испуганно смотрит на тётю Талю.

А та подхватила конец платка, плотно прикрыла губы — лицо у неё сморщилось, задрожало.

— Перестань, мать, перестань,— сказал старик, и вид у него тоже такой: вот-вот заплачет.

И тут мне вдруг словно кто ножом в сердце ткнул: «Неужели с фронта какая весть? Неужто без меня, пока я отдыхал, радио что-нибудь другое, опять страшное, сообщило? А может, маме хуже опять?»

Но тётя Талья обронила руки на стол и, покачиваясь, заговорила:

— Надо же... Надо же... Ну, Валерьян Петрович, дорогой! Целые сутки сам знал, а нам — ни слова. Ребят, говорит, жалко. Ребятам радость, говорит, не хочу портить. Да кому какая нынче радость, коли война? Разве убёгом-то, наспех прощаясь, радости кому прибавишь? Вон они,— кивнула старуха на Шурку с Наташкой,— что понимают? И то давеча заревели.

Слушая плач тёти Тали, я начинаю тревожно догадываться, в чём тут дело. Я хочу спросить об этом вслух, но голос меня не слушается, он пропал.

А старуха всё наговаривает:

— Ведь мы бы ему, Николаша, проводы устроили. Настоящие проводы, красноармейские. Ну что он так-то поехал? Ведь никого-то у него нет, никто ему, бедовой головушке, вслед не помашет. Один как перст. Ох, и как же это мы его, Николаша, послушались, на вокзал не пошли?

— Да уймись ты, уймись! — говорит старик.— Что причитаешь, как Анна Фёдоровна? Вот то и не пошли, что не велено, что на слёзы наши

ему там, у поезда, смотреть невыносимо.

И тут я понял. Я подбежал к дедушке Николаю и не то шёпотом, не то криком, не помню уж каким голосом спрашиваю:

— Что? Валерьян Петрович на фронт, да?

Печник сокрушённо махнул рукой:

— Бумага ему ещё вчера вечером пришла, а он нам только сейчас вот, в последнюю минуту, сказал.

— Как — в последнюю?

— Так, в последнюю. Он сейчас уже на вокзале. С первым попавшим эшелонам поедет.

— Так ведь победа же!

— Ну, до полной-то далеко. Ещё хватит беды.

— А я?

— Что ты? — не понял старик.

— А я? А со мной? А со мной-то что же не попрощался?

— Да он, Лёнька, и с нами толком не простился. Забежал, сказал, обнял да и обратно... Тебе вот ключ оставил и записку.

— Какой ключ? Зачем?

Дед Николай, словно ничего не видя, словно слепой, пошарил по столу, сдвинул блюдо с брусничкой, а там лежал голубоватый, в клеточку, согнутый пополам листок, и на нём — ключ. Тот самый, опаянный медью, тяжёлый ключ от книжной комнаты, за которым я бегал когда-то к Валерьяну Петровичу.

Я даже вздрогнул, когда этот ключ увидел. Я даже помедлил, прежде чем взять, но вот взял, стиснул в кулаке, а другою рукой развернул записку. Там острым, летящим почерком было написано:

*«Лёня!*

*Оставляю на тебя книги и свою комнату. Пускай мой дом тоже не опустеет. Помнишь наш разговор? А что не простились — не горюй. Лучше*

*встречаться, чем прощаться, — верно? Так что до встречи, до полной нашей победы! Из армии пришлю письмо. Крепко жму руку.*

*Твой В. П.».*

Внизу было приписано:

*«За вчерашнее не переживай. В лесу рёл ты себя правильно. Мне рассказали школьники».*

И опять роспись, но уже полная:

*«В. Тихонравов».*

Я пробежал записку глазами раз, пробежал два, руки у меня тоже, как у деда Николая, затряслись; и тут словно бы опять я слышу только что сказанные печником слова: «В последнюю минуту... Он уже на вокзале... Он с первым попавшим эшелонном уезжает...» И всё оцепенение с меня — долой, и я из дома — долой, и за мною лишь дверь да лестница успели прогреметь, а я уже за калиткой, я мчусь что есть духу.

Я бегу так, что в ушах свистит ветер. Неровная тропа подо мною сливается в одну сплошную ленту. Я не слышу ни своего дыхания, ни буханья сердца, я думаю: «Скорей! Скорей! Неужели опоздал?»

Там, где тропа сворачивает к вокзалу и становится шире, меня настигает Тоня. Но я смотрю только вперёд. Я ещё издали при свете закатного солнца увидел на станционных путях красный эшелон. Паровоз в голове его меняется: эшелон вот-вот отойдёт.

Я влетел на длинную, всю в истоптанном снегу привокзальную площадку, махнул Тоне:

— Беги влево, я — вправо!

А уже у самой дальней, самой первой теплушки заиграл, залился горнист. Он торопил бойцов, и они вспрыгивали на подножки. И были они опять все в белом. А я мечусь, высматриваю среди них Валерьяна Петровича. Я понимаю: он в белом быть не может, он форму ещё не получил, он ещё

только едет с этим попутным эшелоном в свою воинскую часть.

Я кидаюсь туда-сюда, но везде вижу лишь незнакомых солдат. Они кричат мне:

— Мальчик! Мальчик! Ты кого ищешь? Отца, что ли? Смотри, шапку потерял!

А я сам чувствую, что у меня слетела шапка. И я нагибаюсь и ловлю её, а в руке белый комоч записки — он тоже падает в снег. Я подбираю шапку, записку и тут слышу — загудел паровоз. Он прогудел, а где-то рядом раздался Тонин крик:

— Лёня! Лёня! Сюда, быстрее!..

Я распрямляюсь и вижу: стоит на перроне Женька, стоит Тоня, и стоит рядом с ними новый, уже без меня поступивший в школу военрук в шинели с пустым, заложенным в карман рукавом, и стоят тут все школьные учителя. Валерьяна Петровича они, видно, не послушались, видно, пришли провожать и вот машут мне, показывают на распахнутую дверь вагона:

— Туда смотри, Никитин! Туда!

Я впиваюсь глазами туда, а там, среди светлых солдатских полушубков, среди белых комбинезонов и башлыков,— знакомое пальто Валерьяна Петровича, его невоенная шапка, его устремлённое ко мне лицо. Но вагон уже тронулся, поплыл, покатился, и напрасно Валерьян Петрович мне что-то пробует крикнуть — уже всё, поздно.

И тогда я побежал по перрону. Побежал вслед за вагоном. Я замахал смятым листочком записки:

— Валерьян Петрович! Валерьян Петрович! Я прочитал, я всё сделаю, я сохраню!..

Но мой крик вряд ли кому был слышен в грохоте колёс. И вагоны уже мелькают рядом со мной совсем другие, и не вижу я больше той невоенной шапки, а лишь белые крылья маскхалатов проносятся надо мною, развеваясь на звенящем, поднятом вагонами ветру.

Прогредел последний вагон, и я остановился. Я встал далеко от вокзала по колено в сугробе.

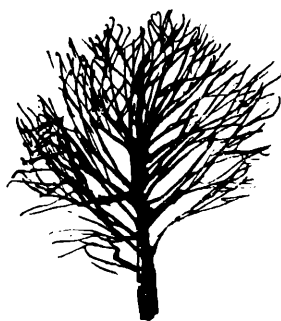
И когда поезд скрылся за лесом, я поднял руку и увидел, что всё ещё держу записку. Ещё не притихший после эшелона ветерок слабо теребил её, будто хотел вытянуть из моих пальцев. Я поднёс её к глазам, но раздумал, перечитывать не стал, а вновь свернул и осторожно опустил в карман, где лежал ключ.

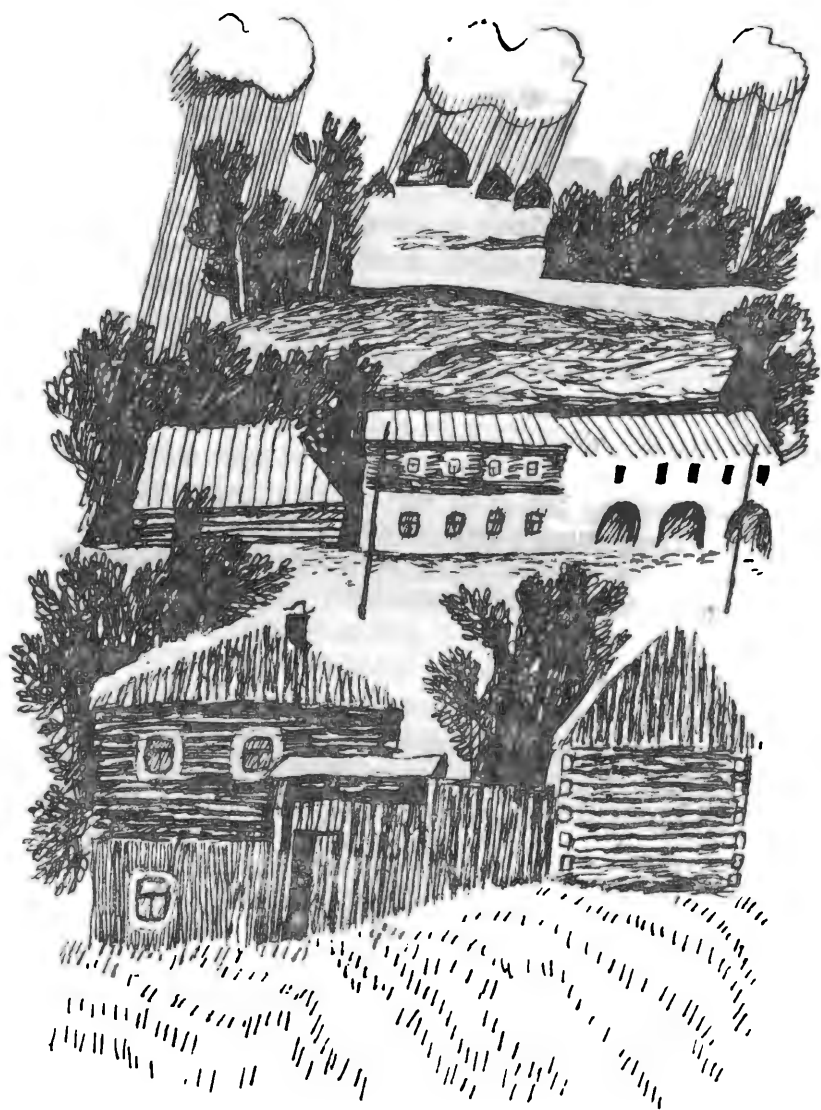
А потом я побрёл прямо по сугробам к тропе, по которой от станции к притихшему вечернему посёлку шли все провожающие, шли Тоня с Женькой. Я тоже пошёл в ту сторону.

Я пошёл туда, где стоит и наш дом, и дом Валерьяна Петровича. Я пошёл туда, где живут все мои друзья, которых я теперь никогда, никогда не променяю ни на какое гордое одиночество. Я остаюсь теперь с ними.

А затем наступит такой день, когда и мама вернётся, и вернётся с войны отец, и, конечно, приедет Валерьян Петрович.

Они все приедут, и вот тогда-то и будет у нас настоящий праздник. Праздник для всех. Я верю в это.





# ОЛЕШИН ГВОЗДЬ

## 1

В городке Батурине живёт вместе с мамой пятилетний мальчик Олёша. Мама у Олёши молодая, характером тихая, и поэтому все соседи зовут её просто Аннушкой. Олёша сам нет-нет да и скажет ей: «Ты моя мамушка Аннушка!»

Городок невелик и тоже очень тих. Он стоит на холме среди зелёных лугов. На его улицах темнеют вековые, прохладные липы. Обочины мостовой заросли крупными ромашками, золотыми одуванчиками. Пёстрое разнотравье разлилось по всему городку, а особенно ярко цветёт на самой окраине, у высоких стен древнего монастыря.

В белых монастырских постройках теперь фабрика. На фабрике всю войну шили солдатские гимнастёрки. Нынче там шьют ситцевые рубахи, мамушка Аннушка тоже шьёт рубахи, а сам Олёша стережёт дом и по вечерам ждёт маму с работы.

Долгая война кончилась не так давно, и жизнь в городке трудная. Но всё равно в нём стало пошумнее. Теперь что ни день, то там, то тут начинают хлопать двери, с весёлым сверканьем распахиваются окна; из окон, заставляя прохожих радостно замирать, доносятся песни, смех, топот, ликующий голос гармоники, и это значит — в Батурино с войны вернулся ещё один солдат.

А вот в стареньком, тёмном и скрипучем от времени Олёшином доме, под стопкой белья в комоде, хранится казённый конверт.

Кто и когда принёс конверт, Олёша не помнит. Он только помнит этот конверт уже у мамы в руках. Мама сидит в белой кофточке у самой стены, русую, с тяжёлым узлом волос голову запрокинула, над нею медленно — туда-сюда,





туда-сюда — качается медный маятник часов, а мама закрыла глаза и тоже, как маятник, медленно поводит головой из стороны в сторону, из стороны в сторону и молчит, молчит.

На лавке бок о бок с мамой печально сгорбились две молодые в чёрных косынках женщины — мамины подруги, тётя Настя и тётя Вера. Они тихонько просят:

— Поплачь, Аннушка... Покричи, Аннушка... Сердце не выдержит, по себе знаем. Ну, покричи...

Но мама всё молчит. Мама всё так же медленно поводит головой, и Олёше вдруг становится жутко, и он кричит сам:

— Ну, мама! Ну, ма-му-шка!

Мама вздрагивает, словно просыпаясь, открывает глаза, протягивает Олёше руки. Он бросается к ней, и вот они плачут вместе.

А когда мамины подруги потихоньку встали и ушли, мама сказала:

— Нет теперь папки у нас, Олёша, нет! Одни мы теперь с тобой, горькие сиротинушки.

И тут она заплакала так громко, что Олёша опять испугался, уткнулся ей головой в колени и не отходил до той поры, пока мама не притихла.

С того дня мама стала совсем другой. Она купила на базаре чёрный платок, сшила чёрную кофту и сразу словно состарилась. Даже голос у неё как будто постарел, стал слабым и жалостным. Она то и дело повторяла этим голосом:

— Одни мы с тобой, Олёша, остались, одни. Надеяться нам теперь не на кого. Никто к нам теперь не придёт, не поможет...

— Почему никто не придёт? — спрашивает Олёша. — А тётя Настя? А тётя Вера? Ты их позови, они придут. А хочешь, я сбегаю. Тут близко.

Но мама склоняется к Олёше, грустно качает головой:

— У них тоже горе. У них горе своё, у нас, Олёша, своё... Чем они нам помогут? И на улицу,

милый сын, ты не выбегай. Там лошади, там машины, и теперь, я боюсь, как бы и с тобой чего не вышло.

— Не выйдет, — успокаивает Олёша. — Я ловкий!

И, желая маму утешить совсем, он лезет к ней на колени, смотрит прямо в синие, печальные глаза и говорит:

— Ты, мамушка Аннушка, не расстраивайся. Ты знаешь, на кого надейся? Ты на меня надейся. Я для тебя всё сделаю... Помнишь, говорила, нам домик поновей надо бы? Так вот я немного подрасту и новый дом построю. Я уже гвоздь припас! Большой, крепкий... Показать?

Олёша срывается, чтобы показать гвоздь, но мама удерживает, гладит ладонью по его рассыпанным белой копёшкой волосам:

— Видела, видела. Я уже видела... Я тебя об одном прошу: ты на улицу не выбегай.

Аннушка так боится теперь улицы, что, когда идёт на работу, запирает калитку, и Олёша уйти дальше двора никуда не может. Но он не сердится. Он понимает, сердиться на маму сейчас нельзя.

Проводив маму на работу, он сразу вынимает из потайной щели за печкой тот самый гвоздь — большой, крепкий, с колким остриём на конце. Подобрал его Олёша на мостовой, когда в последний раз был на улице, и теперь вот, пока до задуманной постройки ещё далеко, употребляет находку на другое, тоже полезное дело. Гвоздь у Олёши — вместо карандаша.

Рисует он гвоздём прямо в прихожей на переборке. В прихожей сумрачно, рисунков мама не замечает или делает вид, что не замечает, и Олёша исчертил всю стенку вдоль и поперёк.

На крашенных тёмных досках проступают здесь и там странные, похожие на большие деревья цветы. Под цветами стоят кривобокие теремки с печными трубами. Из труб вылетает и завивается

пороссячьими хвостиками дым, а вокруг, даже по небу, бегают тонконогие, тонкорукые человечки.

Рисованные человечки улыбаются. Олёше очень хочется, чтобы они были как живые, чтобы в пустом доме было с кем поговорить.

Но человечки улыбаются молча, и поговорить не с кем. Разве только с котом. Кота зовут Милейший. Как рассказывала мама, это имя дал коту ещё до войны отец. Кота он подобрал совсем крохотным где-то в осеннем поле под холодным дождём, принёс домой, посадил на печку и сказал:

— Ну, милейший, отогревайся, живи...

И Милейший стал жить. И вот с тех пор очень вырос. Он стал большим угольно-чёрным котом-котофеем и, хотя он Олёше ровесник, всё равно считает себя намного умней и серьёзней мальчика. Когда мама на работе, кот сам, по своей воле, приглядывает за Олёшей, не отходит от него ни на шаг.

Олёша рисует на переборке, а Милейший вьётся вокруг, проводит по голым Олёшиным коленкам тёплым боком, задевает пушистым хвостом и слушает Олёшины рассуждения:

— Нарисовать бы такой теремок, а в нём такую дверь, чтобы она открывалась по-настоящему. Мы бы с тобой туда вошли и увидели расчудесное чудо. В теремке светлая комнатка, в комнатке столик, за столиком сидят мои человечки. Они болтают ногами, хохочут, разговаривают и пьют чай с малиной. С малиной и с колотым сахаром... Правда, хорошо? Мы бы тоже за столиком посидели, сахарку да спелой малинки попробовали, и было бы нам с тобой, Милейший, весело.

«Мр-р, мр-р...— отвечает Милейший.— Мр-р, мр-р...»

— «Мур-мур! Мур-мур!» — передразнивает Олёша.— Ничего ты не понимаешь, потому что тебе весело и так. Я знаю, ты по ночам бегаешь

на улице, у тебя там дружки. Скажи, есть у тебя дружки?

Но кот о ночных прогулках помалкивает, и Олёше становится скучно.

Шлёпая босыми ногами по скрипучим половицам, он идёт на кухню. Невысокое окно кухни сплошь закрыла черёмуха. Отцветающие кисти ломаются прямо в стёкла, врываются в распахнутую форточку. На полу, на клеёнке стола нежными, белыми чешуйками лежат привядшие лепестки, вся кухня полна их сладковатым запахом.

Олёша выдвигает из-под крышки стола ящик. Там, как всегда, долька хлеба, катаются две серых, неочищенных картофелины да стоит чайная жестянка с крупной солью. Это всё, что по нынешним трудным временам может оставить мама Олёше на обед. Но до обеда Олёша не вытерпливает. Он съедает и картошку, и хлебный ломтик с утра, за один присест, лишь отламывает самую малость от корочки и угощает этой малостью кота. Предлагает он Милейшему и картофельные кожурки, но Милейший на них даже и не смотрит.

— Ишь какой сытый! В подвале за мышами наохотился! Ну, ладно... поели, теперь пойдём посмотрим в дырку.

Чтобы посмотреть в дырку, надо выйти во двор. Олёша отворяет тяжёлую дверь в тёмные сени, потом другую дверь на крыльцо, и в глаза ударяет золотисто-голубой свет.

К лицу ластится ветерок, шевелит волосы, забирается под воротник розовой рубахи, и Олёше приятно и немножко щекотно. Он смеётся, громко чихает от солнца, от ветра, говорит сам себе:

— Будь здоров!

Милейший тоже жмурится от солнца и медленно, по-хозяйски оглядывает узкий дворик. Земля тут сплошь заросла мягкой муравой, по мураве — тропка, она уходит под калитку в старых тесовых воротах. А в плотной калитке проделана

круглая дырка для ремешка щеколды. Ремешок тонкий, дырка почти вся свободна, и в неё можно глядеть.

Олёша, пыхтя и покряхтывая, катит от поленницы толстый чурбан, встаёт на него, припадает к дырке. Видно ему лишь небольшую часть улицы, но смотреть всё равно интересно.

Если выглянуть в дырку с утра пораньше, то в неё видно, как под липами по сизой и влажной от росы мостовой торопятся к фабрике небольшими стайками работницы в белых платочках и с узелками в руках. Они идут, громко разговаривают, поглядывают по сторонам, даже на Олёшину калитку смотрят, но самого Олёшу не видят.

Они даже и не подозревают, что Олёша здесь. И получается так, как будто Олёша уже не Олёша, и стоит он не за калиткой, а надел на себя волшебную шапку и стал мальчиком-невидимкой. Он-то всех в дырку видит, а его — никто!

А если подождать ещё немного, то слева за калиткой сначала зафырчит мотор, потом в дырке по мостовой промчится старый, обшарпанный грузовик. На грузовике, крепко держась друг за друга, проедут куда-то шумные загорелые мужики в солдатских гимнастёрках. И хотя грузовик промелькивает быстро, Олёша каждый раз успевает разглядеть в кабине рядом с водителем знакомого плотника Арсентия.

Арсентий тоже недавно вернулся с войны. Мама и Олёша ходили к нему. «Вдруг Арсентий нашего папку на войне видел? Вдруг он про него что-нибудь знает?» — сказала тогда мама, и стала даже лицом посветлей, и даже перемыла в доме все окна, которые нынешней весной так ни разу ещё и не открывались.

Собрались они к Арсентию на третий день, когда солдат отпраздновал своё возвращение.

Он — широкоплечий, кудрявый, в распушенной поверх галифе гимнастёрке — стоял с топором

в руках у крыльца, видно, собирался его подновить, а когда увидел Олёшу и Аннушку, то сразу топор воткнул и пошёл к ним навстречу. Пошёл, и Олёша тут же увидел, что Арсентий хром. Правая нога у него не гнётся, и при каждом шаге он загребает этой ногой низенькую траву. Но толстогубое, со впалыми щеками лицо Арсентия доброе, карие глаза улыбчивые, и Олёша подумал, что он и расскажет им с мамой тоже что-то хорошее.

Только вышло всё не так. Разговор получился грустный. Мама во время разговора смотрела в землю, теребила дрожащими пальцами чёрные концы платка и всё почему-то называла Арсентия, который был нисколько её не старше, по имени-отчеству: «Арсентий Лукич...»

Тот тоже смотрел в землю. И хотя улыбался, но улыбался так, как будто был в чём-то очень и очень виноват. В чём — Олёша не понял. Он только понял, что Арсентий за всю войну об отце ничего не слышал.

А потом в доме над головой Олёши вдруг растворилось окно, и в нём показалась румяная, гладко причёсанная, в цветастом платье жена Арсентия. Она высунулась из окна до половины и принялась так жалостно вздыхать, так смотреть на маму, что Олёше сделалось неприятно. С той поры Олёша с мамой расспрашивать про отца уже никуда не ходили, и мама стала опять что ни день, то повторять: «Надеяться нам теперь не на кого и не на что...»

Воспоминания наплывают на Олёшу, но он тут же и забывает о них.

Ему очень интересно, куда это каждое утро ездят мужики на машине?

Ему всё-таки хочется выбежать за калитку, и на всякий случай он трогает щеколду за железное кольцо. Кольцо поворачивается, планка с тихим звяком подымается, но калитка — ни с места. На той стороне — висячий замок.

— Опять заперто,— объявляет Олёша ко-  
ту.— Ну, ничего, давай играть. Что ты там  
делаешь?

А Милейший в это время сидит под черёмухой  
у самой стены дома и во все свои зелёные глазищи  
смотрит на тухлявый нижний венец. Там шур-  
шит жук-древоед, по прозвищу Шашель, и кот  
опасается, как бы этот Шашель не выполз и не  
напугал Олёшу. Кот весь так и насторожился.

Но Олёша жука не боится. Он присаживается  
рядом с котом на корточки, ковыряет гвоздём  
стенку.

— Сейчас мы ему поможем... Его там, навер-  
ное, мама-жучиха закрыла, а ему хочется к нам,  
под солнышко. Пусть выходит.

Древесная труха сыплется на траву, на Олё-  
шины коленки, гвоздь работает как бурав, и жук  
внезапно стихает, прячется куда-то глубже.

— Не захотел! — удивляется Олёша.— Вот  
глупый! Разве не знает, что на воле лучше? Если  
бы кто мне калитку открыл, я бы сразу на волю  
выглянул.

И он опять идёт к запертой калитке, опять  
блямкает кольцом, но — бесполезно.

Таким вот манером ходит Олёша по тихому  
двору с утра до вечера, а кот ходит за ним, и все  
дни для Олёши одинаковы, похожи друг на друга.

Но вот однажды он повернул кольцо, железная  
планка поднялась, калитка вдруг скрипнула — и  
**ОТВОРИЛАСЬ!**

Олёша так и замер.

Перед ним распахнулась вся, вся, от конца до  
конца, широкая улица.

Перед ним разбежались вправо и влево тени-  
стые липы. Он увидел голубые и жёлтые, синие  
и розовые, большие и маленькие, деревянные и  
кирпичные соседние дома, белёные заборы, сквоз-  
ные весёлые палисадники, пёстрые цветы — и бы-  
ло всё таким ярким, таким невозможно манящим,





что Олёша услышал, как в груди у него застучало сердце.

Кот выгнул спину, хрипло мяукнул: «Мяу!»

Он днём на улице тоже почти не бывал. Он знал её только серой, ночной, а такой вот празднично-светлой увидел чуть ли не в первый раз.

Правда, на улице было пусто. Все, кому надо, уже прошли и проехали на работу, но за домами в садах громко звенели вёдра, весело гомонили ребятишки, и где-то совсем далеко ласковый женский голос всё выкликал какую-то Манюшку:

— Манюшка, где ты? Манюшка, где ты? Ау! Где наша Манюшка?

Голоса манили, яркая улица звала, но переступить порог калитки Олёша всё ещё не решался.

Он вспомнил: вчера мама до ночи стирала бельё, а наутро проснулась и перепугалась: «Ох, опаздываю!»

На работу она так спешила, что даже оставила на комоде свой чёрный платок и, как видно, калитку не замкнула тоже второпях.

И вот Олёша стоит, глядит и не знает, что делать.

Он уже хотел было толкнуть калитку, закрыть от греха, да вдруг увидел в собственной руке гвоздь.

Увидел — и обрадовался.

Обрадовался и сказал коту:

— Ага! Нам же дом строить надо! Нам же гвоздей собирать надо! Вдруг на улице ещё гвозди лежат? Пошли?

Кот глянул на мальчика так ясно, так понятно, словно тоже хотел сказать: «Пошли!» — и прыгнул через доску-порог. Олёша — раз, два! — перешагнул доску за ним. А потом калитку за собой прикрыл, накинул на пробой цепочку и погладил калитку ладонью:

— Ты не бойся, мы скоро...

Гладкие булыжники мостовой грели как печка. Стоять босыми ногами на них было приятно.

Мостовая уходила одним концом вверх, к белокаменной фабрике, другим концом убегала под гору. Под горой городские дома и верхушки лип исчезали. Там, дальше, просторно распахнулись луга, поблёскивала далеко и чуть приметно речка, за речкой уходил к самому горизонту сосновый бор.

Олёша задумался: куда идти? Вверх или вниз? Но тут из раскрытых ворот фабрики выкатилась конная подвода, затарахтела колёсами по булыжной мостовой. Лошадь бежала рысцей, звонко цокала подковами, а на телеге, на мягких пачках с новыми рубашами сидел рыжий, краснолицый парень без шапки. Он увидел Олёшу, увидел кота, засмеялся:

— Эй, босоногие! Поехали со мной, до Москвы прокачу!

Олёша понял, что рыжий шутит, и ответил тоже весело:

— Не-а! В Москву нам некогда... Нам гвозди собирать надо. Поезжай один.

За грохотом колёс возчик ответа не расслышал. Телега, дробно подпрыгивая, покатила под гору. Олёша посмотрел из-под руки вслед, решительно вздохнул и тоже пошёл под гору.

Гора была длинной. Дорога спускалась тут в луга широкой выемкой, по откосу выемки шагали телеграфные столбы, за столбами виднелись коньки окраинных домишек.

К домишкам по крутой тропе маленькая, сухонькая старуха, в просторной кацавейке и в серых валенках с галошами, тянула на верёвке сердитую козу. Коза упиралась изо всех сил. Как видно, возвращались они с лугов, а время было ещё раннее, и коза идти домой не хотела. Она

орала что есть мочи, крутила рогами, тянула хозяйку вниз, а хозяйка — вверх, и перетянуть друг дружку они не могли.

Они лишь бестолково толклись на месте.

Олёша сказал коту:

— Гляди, что делается! Погоди-ка...

Милейший уселся на краю дороги, Олёша побежал по тропе вверх.

Ни слова не говоря, он шлёпнул козу по мосластой спине: коза удивлённо мемекнула, пробежала шага три-четыре вперёд.

Старушка тоже попятилась вверх по тропе, радостно закивала:

— Спасибо, ангел, спасибо. Шлёпни её, негодницу, ещё разок!

Олёша опять шлёпнул, коза опять пробежала чуть-чуть, и старушка опять похвалила:

— Умница! Погоняй её, погоняй.

Когда взобрались на самый верх, старушка придержала «негодницу», взялась за сердце и сказала:

— Ух!

Потом отдышалась, протянула руку, осторожно пощупала двумя пальцами воротник Олёшиной розовой рубахи.

— Экий ты баский... Экий ты хороший... Чей хоть будешь-то?

— Я мамин, — ответил Олёша. — А ещё — Козырев. Я гвозди пошёл искать.

Он раскрыл потную ладонь, показал гвоздь и торопливо, перескакивая с одного на другое, принялся объяснять:

— Надеяться нам с мамой не на кого, только на самих себя, а надо строить дом, и я пошёл собирать гвозди, и как только набираю, накоплю, так сразу дом и построю... Вот!

Старушка дальнорко отодвинулась, долго смотрела на Олёшу, долго старалась понять, в чём тут дело, и наконец поняла.

— Верно! Собирай, копи. Вырастешь, правильным мужиком будешь. Маминым кормильцем. А для почина вот тебе... На-ко!

Она пошарила в глубоком кармане старинной юбки и сунула в Олёшину ладонь приятно круглое, в белой скорлупе яичко.

— Прими, скушай. Утром варила.

Яички Олёше перепали не часто. Он крепко



стиснул гостинец в кулаке, помчался вниз. Потом встал, оглянулся:

— Бабушка, бабушка! Вот построю новый дом, так ты сразу приходи к нам в гости. Придешь?

— Приду,— засмеялась старушка.— Приду. Только ты поживей строй, поторапливайся...

«Ме-е!» — завопила упрямая коза, и старушка не договорила, поволокла козу дальше.

Олёша понюхал яичко, оно было тёплое и ничем не пахло. Тогда Олёша присел на корточки, показал подарок Милейшему. Тот обнюхал яичко

старательно и даже облизнулся. Нюх у него был тоньше, и он сразу понял, что под скорлупой что-то очень вкусное.

— Не облизывайся, не облизывайся,— сказал Олёша.— Яичко оставим на потом. Обратно идти потом будет шибко тяжело.

После старушкиной похвалы Олёше мерещились целые россыпи новеньких гвоздей. Ему думалось: вот сто́ит пройти ещё немного, и прямо на дороге он увидит гвоздь, потом ещё гвоздь, а потом ещё.

Он даже головой с досадой покачал и сам себя обругал, что не догадался прихватить из дома корзину или пустое ведро.

— Ну, ничего... Унесу сколько смогу в руках и в кармане, потом опять вернусь.

Мостовая кончилась. Дорога стала мягкой, пушистой. Босые ноги тонули в пыли по самые лодыжки. Милейший брезгливо, как тёплую воду, попробовал топкую пыль кончиком лапы, отпрыгнул на твёрдую обочину и, то и дело огибая запашисто-горькие кусты полыни, затрусил стороной.

Вдоль дороги за кустами тянулся колхозный капустник. По его краю медленно, внаклон двигались огородницы. В руках у них взблёскивали тяпки, босые ноги, как в чулках, были в чёрной земле, а головы и лица до самых глаз укутаны от солнца платками.

Одна из них бросила тяпку, принялась подтыкать под платок непослушные волосы, и Олёше показалось — это мамина подруга Настя. Объявляться Насте не стоило, она сразу погонит домой, и Олёша пригнул голову, помчался за кустами вдоль капустника всё дальше и дальше по пыльной и солнечной дороге.

А гвоздей всё не было. Правда, один раз в пыли тускло блеснуло, но когда Олёша кинулся туда и схватил, то это оказалась какая-то непо-

нятная железина, вся в густой тракторной смазке.

Олёша кинул железину в канаву и нечаянно провёл руками по рубашке. На животе, на подоле отпечатались жирные полосы. Олёша попробовал их стереть, но полосы лишь размазались и стали ещё заметней.

Хорошее настроение сразу пропало. Олёша вдруг почувствовал, как знойно и душно вокруг, как непокрытую голову припекает солнце, а во рту сухо, а на губах солоноватая, шершавая пыль. Захотелось пить, захотелось укрыться куда-нибудь в тень.

Олёша перелез канаву, проломился сквозь пыльные, словно в серой муке, заросли пижмы и вышел на край сочной, зелёной луговины. Там он опустился на траву и стал вытирать замасленные руки.

Тёр, тёр и только вытер, как вдруг услышал: где-то что-то шуршит. Олёша приподнялся на четвереньках, да так и замер. Перед ним в двух шагах стоял серый зверь.

Зверь был остроухий, остромордый, с мохнатым большим хвостом.

«Серый волк!» — ужаснулся Олёша, сунул в карман руку, ощупал острый гвоздь, на всякий случай зажал его в кулаке. По спине пошли холодные мурашки, пить сразу расхотелось.

А зверь шевельнул хвостом, шагнул к мальчику.

Олёша гвоздь выпустил, хотел закричать, но тут из травы — злой, чёрный, дико встопорщенный — вымахнул кот. Он упал на все четыре лапы перед врагом, бешено фыркнул:

«Ф-фу!»

Зверь вскинул голову, попятился.

Милейший подпрыгнул на месте, фыркнул ещё громче:

«Ф-фу!»

Зверь поджал хвост и с оглядкой, с тонким визгом помчался в сторону капустника.

Милейший выпрямил спину, прижался к Олёшиным голым, в гусиных пупырышках, ногам и, ласкаясь к ним, сделал круг: не бойся, мол! Со мной не пропадёшь. Это не зверь совсем, а паршивенькая, трусливенькая дворняжка.

— Да я и не боюсь,— разгадал котофеевы мысли Олёша.— Я только сначала напугался, а теперь вот и поесть почему-то захотел... Давай поедим?

«Мр-р!» — сказал кот, и Олёша достал из кармана и расколупал гвоздём яичко.

Они уселись на примятую траву рядом, и на этот раз Милейшему достались не скорлупки, а добрая половина желтка, добрая половина белка — в общем, всё то, что ему полагалось по справедливости.

Но шагать по пыльной дороге уже расхотелось. Теперь хотелось лишь вот так вот, руки в стороны, лежать на спине среди травы и глядеть в небо. «Когда смотришь в голубое небо,— говорит мама,— отдыхают глаза. Отдыхают и становятся чище».

Глаза у Олёши и так чистые, тоже синие, но глядеть в небо он любит.

Он лежит, а над ним качаются на зелёных тонких соломинках зелёные хвостики тимopheевки. Высоко над Олёшиным лицом возносит лилово-красные помпоны сочный клевер. Над клевером бесшумно кружит бабочка, а там дальше, выше, так высоко, что захватывает дух,— бездонное небо.

В небе ни облачка. Взгляду задержаться там не на чем. И Олёше вдруг начинает казаться, что небо не над ним, а далеко внизу под ним, и он вот-вот упадёт, навсегда улетит в эту синюю пропасть...

Сердце наполняется сладким ужасом. Он вскакивает на корточки и даже щупает вокруг себя

лужайку. А под руками опять ласковая трава, а под ногами опять крепкая земля, на согретой солнцем земле хорошо — только вот водички бы!

Жажда приходит снова, и Олёша вспоминает речку, которую видел с горы. Он говорит Милейшему:

— Сбегаем попьём, на рыбок посмотрим, а там и домой... Гвоздей на дорогах нынче нету.

И они опять бредут по краю дороги под жарким солнцем. Близо ли речка, далёко ли, Олёша не знает. «Наверное, не очень близко», — думает он, и на память ему приходит рыжий возчик. Если бы сейчас подвода с возчиком очутилась рядом, то прокатиться до речки Олёша бы не отказался.

И только он так подумал, как позади раздалось очень сильное громыханье и шлёпанье. По дороге от города мчался тот самый старенький грузовик, на котором каждое утро куда-то ездят мужики. Но теперь над ним высилась груда жёлтых длинных досок. Гибкие доски свисали с кузова, и когда грузовик нырял в ухабы, то доски шлёпали друг по другу, и над лугами раздавалось громкое: трах! трах! трах!

— Вот кто нас подвезёт! — обрадовался грузовику Олёша, схватил кота в охапку, выскочил почти на колею.

Грузовик был уже рядом. Олёша даже увидел круглое, распаренное лицо шофёра, даже разглядел его кожаную фуражку, и шофёр кивнул, помахал, но хода не убавил. Он как мчался на полной скорости, так и промчался дальше. Трах! Трах! Трах! — прошлёпали рядом доски, а потом Олёшу накрыло душное облако бензина и пыли.

Олёша закашлялся, отпустил кота, с обидой сказал:

— Жадина! Тоже мне знакомый!

Он совсем позабыл, что знакомство-то это было через дырку. Что сам он шофёра и машину видел сто раз, а они его — ни разу.



И расстроенный Олёша повернул бы домой, да тут навстречу потянуло приятной свежестью. Кот поставил торчком хвост — побежал. Олёша — делать нечего — за ним. А когда они поднялись на небольшую горку, то сначала слышали шум падающей воды, а потом увидели внизу широкий омут. Над омутом играли ласточки, но писка их из-за шума воды не было слышно.

### 3

Омут подпирала новая плотина, усыпанная щепой. Медленное течение в омуте ходило воронками. Вода с протяжным гулом врывалась в деревянный жёлоб, с жёлоба падала вниз, в другой омут, и там вся в белой пене бурлила, старалась подмыть берег с тенистыми большими ивами, но под навесом ветвей мало-помалу успокаивалась и бежала дальше через луга к сосновому бору.

Под самой плотиной у водопада стояли радуги. Они были маленькие, но совсем настоящие — весёлые, семицветные. На гребне плотины стучали топорами плотники, двое разгружали ту самую машину с досками. Шофёр копался в моторе, он почти целиком влез под раскрытый капот.

Олёша как только увидел шофёра, так сердито отвернулся и стал смотреть на новенький бревенчатый сруб на этом, на ближнем, берегу.

Рядом со срубом на траве громоздилось что-то деревянное, круглое, не очень понятное. И там, всё так же закидывая чуть вбок раненую ногу, расхаживал и постукивал молотком Арсентий. Семицветные радуги наплывали на Арсентия, он то и дело утирался рукавом гимнастёрки, но работу не бросал.

Олёша хотел подбежать, расспросить, что это он такое делает, да вспомнил тот грустный разговор, когда они ходили к Арсентию с мамой,



и спрашивать раздумал. Он помчался вслед за Милейшим.

Кот спустился по береговой травянистой крутизне, припал к воде всей грудью, быстро залакал узким язычком. Олёша, хватаясь руками за траву, задом наперёд, полез тоже к омуту, но тут его увидел и сам Арсентий.

<sup>Р</sup> — Ага! Старый знакомый! — закричал он.

А потом широко взмахнул руками, широко шагнул и ловко поймал Олёшу за воротник.

— Ты куда? Утонешь. Тут с ручками не достать. Пить, что ли, захотел?

— Пить,— ответил Олёша.

— Ну, коли пить, так айда за мной,— сказал Арсентий и — ширх-ширх, подминая траву и размахивая рукой так, словно косил, пошёл в тень под ивы.

Там он раздвинул дремучую крапиву, пьяно пахнущие кусты багульника, зачавкал по мокрому сапогами, и Олёша увидел зелёную, всю заросшую мохом каменную кладочку. Из кладочки торчал деревянный желобок, с него тонко цедилась в чистую крохотную лужицу прозрачная струя. С краю лужицы поблёскивала на траве жестяная самодельная кружка.

Арсентий подставил эту кружку, вода зазвела по тонкому донцу, потом зажурчала, потом забулькала, и кружка наполнилась до краёв.

— Пей! Ключевая, сладкая... В омуте совсем не то.

У Олёши заломило зубы, даже внутри живота стало холодно от ключевой воды, и он выпил только половину кружки.

Остальное допил Арсентий, зажмурился, утёр толстые губы ладонью, крикнул:

— Порядок!

Олёше вдруг стало с Арсентием очень просто, свободно. Он сразу позабыл свою обиду на него и спросил:

— Ты что здесь делаешь?

— Колесо.

— Какое колесо?

— Пойдём посмотрим.

У плотины и впрямь лежало колесо. Только это было не какое-нибудь простое колесо, а очень огромное. Оно даже лежащее было выше Олёши, а если бы его поставить стоймя, то до верха не дотянулся бы и сам Арсентий. Меж двух круглых

дощатых боковин в нём виднелись ещё и как бы ступеньки.

— Ого! — сказал Олёша. — Это такая великанская телега будет?

Арсентий засмеялся:

— Чудак! Это колесо — водяное. Оно жернова станет крутить, зерно молоть, муку вырабатывать. Вот достроим, и будет наше Батурино с хлебом. Со своим.

Про муку и хлеб Олёша понял сразу. Понял, потому что не раз они с мамой Аннушкой сиживали на одной картошке. Не раз мама приходила из магазина с пустой кошёлкой, сердито совала её в угол и говорила: «Опять хлеба нет. Опять пекарня без муки. Ну когда это кончится? Когда?»

Муку в городок доставляли издалека, весной и осенью по страшному бездорожью, а своя мельница обветшала и сломалась. Чинить её было некому, потому что все способные к этому делу работники ушли на войну. Мама каждый раз, когда кошёлка была пустой, вздыхала: «Видно, уж тогда только всё наладится, когда солдаты домой придут. Да много ли их придёт? Ох, немного!»

После таких слов у неё набегали слёзы, и она отворачивалась. Она старалась, чтобы Олёша слёз не видел, но Олёша всё равно видел и понимал — плачет мама об отце, и потому в такие дни хлеба не просил.

Он и Арсентию ничего не сказал про всё это, лишь грустно произнёс:

— Хорошо, что хоть ты вернулся...

— Куда вернулся? Откуда? — не понял сразу Арсентий.

— Оттуда... С войны.

Арсентий удивлённо поглядел на мальчика, его худое, со впалыми щеками лицо опять, как тогда, стало немножко растерянным, и он ответил тоже глухо:

— Да, брат, хорошо... Конечно, хорошо...

Но Олёша думал уже о другом. Он окинул взглядом колесо, уважительно притронулся к нему:

— Сам делал? Один?

И Арсентий вопросу обрадовался, даже засиял весь, быстро заговорил:

— Ты что? Разве один такую махину своротишь? Ни в жисть не своротишь! У меня — друзья. Коллектив, так сказать... Я тут последки доделываю.

И, то ли желая немножко похвалиться, то ли желая окончательно убедить Олёшу в будущей замечательной жизни, плотник махнул на колесо рукой, сказал:

— Мельница с водяным колесом — дело невеликое, допотопное. А вот мы настоящую заводскую турбину получим, тогда, друг ты мой, поглядишь и ахнешь! Тогда цельный комбинат построим и будем кормить не только себя, а и всех соседей! Смотри, как фронтовички стараются... Гвардия!

На плотине по-прежнему стучали топорами рабочие, и были они в таких же выцветших добела гимнастёрках, как на Арсентии. Дело у них шло дружно, топоры постукивали так складно — тюки-тюк! тюки-тюк! — что Олёше захотелось и про себя сказать что-нибудь очень хорошее.

— А я вот гвозди собираю, — громко заявил он. — Один уже нашёл. Показать?

— Покажи, — сказал Арсентий и подставил широченную, всю в твёрдых мозолях ладонь.

Олёша вынул гвоздь, и на ладони Арсентия он показался намного меньше, чем был на самом деле. Но Арсентий железную вещицу внимательно осмотрел и даже слегка подкинул:

— Отличная штука!

Олёша обрадовался:

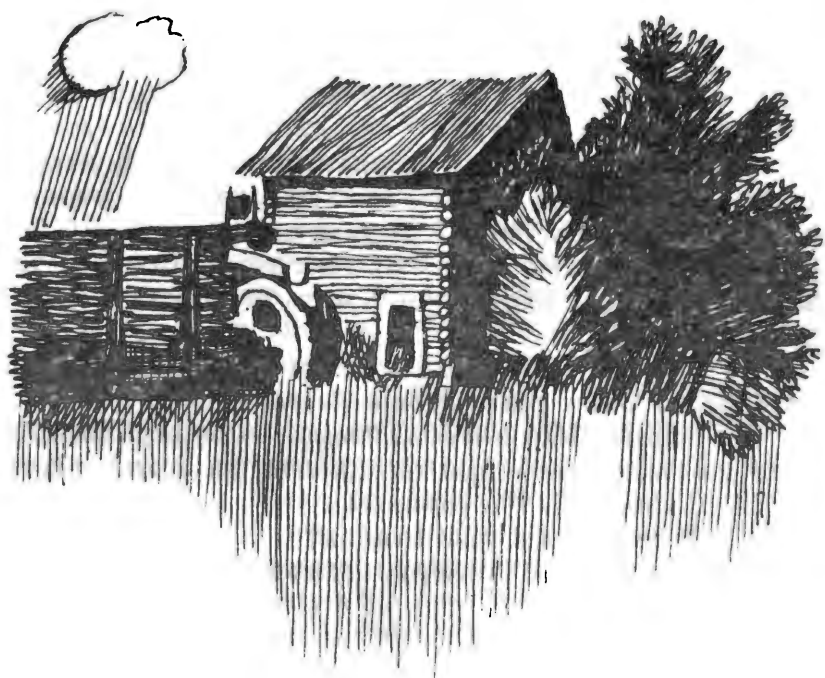
— Отличная, отличная! Ещё какая отличная.



Я знаешь кем буду? Я правильным мужиком буду. Накоплю гвоздей — и буду. Вот!

— Кем? — изумился Арсентий. — Кем, кем?

— Мужиком... правильным... — повторил Олёша, но тут же развёл огорчённо руками: — Только тихо гвозди-то копятся. У меня лишь один вот этот и есть. Я знаешь что им дома делаю?



— Что?

— Человечков рисую. На переборке. Они такие смешные, такие весёлые, только что не говорят... Но зато мы разговариваем с котом. Правда! Как мама на работу уйдёт, так мы с ним и разговариваем.

— О чём?

— Обо всём! О солнышке, о траве, о доме, о маме...

Тут Олёша примолк, задумался, потом добавил негромко:

— А ещё и о папке разговариваем...

Улыбка на лице Арсентия погасла. Он тихо накрыл шершавой ладонью голову мальчика, запрокинул её легонько и пристально взглянул в Олёшины синие глаза:

— Да, брат...

Потом помолчал и опять сказал:

— Да, брат...

И вдруг склонился так близко к мальчику, что Олёша увидел себя в его тёмных зрачках, и зашептал быстро-быстро:

— Ты знаешь что? А ведь папка твой, может быть, и вернётся... Честное слово, может, вернётся... Это бывает. Это с солдатами очень даже бывает. Вот и письмо домой про него пришлют, и уже все навроде бы простятся с ним, а солдат — возьмёт и придёт!

— Верно? — прижал руки к груди и даже отступил на один шаг Олёша.

— Верно! Честное солдатское — верно! Мне бы и тогда твоей маме про то сказать, да, понимаешь, не сообразил я... Растерялся.

— А теперь не растерялся?

— Теперь нет. Теперь, думаю, вернётся... Должен вернуться!

— Живой-живой?

— Конечно, живой! Ну, может быть, раненый. Как я... Ну, может быть, и не очень ещё скоро.

— Это ничего, что не скоро! — замахал руками Олёша. — Это ничего! Мы потерпим. И мама потерпит, и Милейший потерпит, я сам потерплю. Я ужас какой терпеливый! Хочешь, залезу в крапиву и стану терпеть? Не веришь?

— Верю, — уже опять ласково и почти легко сказал Арсентий. Сказал, и даже вздохнул, и даже весь выпрямился, будто сбросил с плеч целую гору. — Верю. Да только в крапиву лазить не надо,



а лучше лезь на колесо. Поработаем вместе... Идёт?

И опять Олёша обрадовался, закивал и полез по шаткой стремянке впереди Арсентия на колесо.

4

На колесе было ровно и гладко, как на столе. Там одиноко торчал плотницкий ящик. Олёша заглянул в него и увидел топор, молоток, пилу-ножовку и кучу гвоздей, очень похожих на тот, что лежал у него в кармане.

Арсентий, опираясь на руки, медленно сел, хлопнул возле себя ладонью:

— Давай молоток, подноси гвозди.

И Олёша стал подносить гвозди.

Арсентий забивал их в доски почти с одного раза. А как забьёт, так обопрётся на руки, пересядет, скажет Олёше: «Давай новый гвоздь», и опять у них на колесе идёт весёлый стукоток.

Время близилось к полудню. Раскалённое солнце поднималось всё выше да выше. Тени от густых ив почти пропали, и работать на колесе стало жарко. Но чуть заметное движение воздуха от плотины нет-нет да и наносило водяную пыль, и тогда Олёша подставлял разгорячённое лицо, ловил эту влажную морось губами, а потом, подражая Арсентию, утирался рукавом своей, теперь уже вконец измазанной рубахи.

Да что рубаха! Про неё Олёша и думать позабыл.

Он смотрел, как ловко взлетает молоток в руках Арсентия, прислушивался, как бойко и складно стучат топоры на плотине; и всё это было для него похожим на весёлую музыку. Под неё у Олёши прямо-таки сама собой выпевалась не то считалочка, не то песенка:

• Туки-тук!  
Туки-тук!

Папка едет,  
Папка тут!

Пел он, правда, не вслух, а про себя. Запеть вслух он стеснялся Арсентия. Но было ему всё равно очень замечательно, и он даже попробовал заманить на колесо Милейшего.

Тот устроился на куче брёвен у самой реки, на Олёшин зов чутко оборачивался, умильно щурил зелёные глаза, но идти на колесо, по которому Арсентий так бухал молотком, всё-таки не желал. Ему там, на брёвнах, было тоже отлично.

Наконец Арсентий пристукнул особенно громко и сказал:

— Всё!

Олёша заглянул в ящик: гвозди там кончились.

Арсентий сказал:

— Надо бы серёдку чуть покрепче уколотить, ну да ладно. Сойдёт.

Он постучал молотком по доскам, прислушался и опять подтвердил:

— Пожалуй, сойдёт...

И тут Олёша вдруг сел на корточки, выхватил из кармана свой гвоздь и протянул Арсентию:

— На! Давай забьём и его.

Он протянул свой драгоценный гвоздь, сам не зная почему. Об этом он не успел даже подумать. Он только испугался, что работа сейчас кончится, что Арсентий встанет и скажет: «Ну, брат, спасибо! Теперь беги домой!» — и тогда всем этим прекрасным минутам придёт конец, и песенке про папку тоже придёт конец, и вот он испугался, протянул гвоздь, повторил:

— Давай забьём! Ну, пожалуйста...

Арсентий кинул на Олёшу быстрый взгляд и сразу всё понял.

— Ну, когда так... — сказал он и на обеих руках придвинулся к центру колеса, туда, где темнела квадратная дыра для толстой оси. — Ну, ког-

да так, бери молоток, забивай. Вот здесь наиважнейшее место.

— Сам? — так и всколыхнулся Олёша.

— Сам... Бей, да только не согни.

И Арсентий показал пальцем, куда бить.

Олёша взял тяжёлый молоток, нацелил на это место гвоздь, тихонько тукнул по шляпке. Гвоздь немного вошёл.

Олёша снова тукнул, и гвоздь ещё чуть-чуть вошёл.

Олёша тукнул два раза подряд — гвоздь как был, так и остался стоять.

— Колоти смелей! — приказал Арсентий, и тут Олёша начал бить смелей, и гвоздь пошёл, пошёл, пошёл и вот весь до самой шляпки скрылся в дубовой доске, в самом наиважнейшем месте.

Арсентий молоток перехватил, добавил ещё один хлёсткий удар, сказал своё любимое слово:

— Порядок! — А потом добавил: — Я так и знал, Олёша, — ты мужик не только правильный, а ещё и компанейский.

— Какой? — переспросил Олёша.

— Компанейский... Не для себя одного, а для всех, значит.

— Твои друзья тоже для всех? — глянул Олёша в сторону реки на плотников.

— Также для всех!

— И даже для меня?

— Даже для тебя. А как же иначе? Ты нам вон как здорово сегодня помог. Ты теперь, считай, наш. Пойдём перекурим...

Они слезли вниз, уселись на старое, щелястое бревно у самого родничка. Арсентий скрутил папиросу, набил махоркой, зажёл спичку, от папиросы поплыл горьковатый дым. Но Олёше этот запах был приятен.

Олёше вдруг почудилось, что когда-то где-то он этот запах уже вдыхал. И он опять услышал в самом себе песенку про папку: туки-тук! Туки-тук...

А в Арсентии ему теперь нравилось всё. Ему нравилось и то, как плотник бережно поглаживает крепкой ладонью своё больное колено, как закидывает кудрявую голову и пускает вверх, подальше от Олёши, табачный дым, и даже то, как после каждой затяжки он морщится и сухо покашливает.

Наконец Арсентий докурил, встал и опять шагнул к родничку. Только на этот раз он вынес из прохладных зарослей не кружку с водой, а солдатский мешок.

— Развязывай,— сказал он Олёше, и тот потянул завязку, и туго набитый мешок раскрылся.

Сверху там заманчиво горбатилась непочатая буханка, сочно зеленели луковые перья, а под ними было что-то ещё.

Арсентий принялся опрастывать мешок. Из мешка появилось объёмистое, величиной с добрый таз, эмалированное блюдо, берестяной тяжёленький бурачок, соль и варёная картошка.

— Чистить умеешь?

— Умею, умею,— сказал Олёша, схватил картофелину, принялся чистить.

Арсентий покрошил ножом-складнем в блюдо картошку, лук, щедро посолил всё это и залил из бурачка жёлтым, шипучим квасом. Затем он вдруг поднёс два пальца к губам и так свистнул, что у Олёши заложило в ушах, а кот Милейший проснулся на своём тёплом местечке, подпрыгнул и кинулся под брёвна.

Стук топоров на плотине разом умолк. Арсентий кинул на траву пустой мешок, разложил на нём, как на скатерти, хлеб и поставил блюдо с квасом.

Олёша и оглянуться не успел, как вокруг собралась целая толпа мужиков. Вблизи он их всех узнал. Это были те самые мужики, за которыми он следил по утрам через дырку в калитке, но они-то Олёшу, конечно, как тот шофёр, не узнали.

Один, седоватый, бровастый, с цыганской бородищей во всю грудь, ещё издали закричал:

— Ого! У Арсентия помощник. Ты где его мобилизовал, Арсентий?

— В кустах нашёл! — смеясь, ответил за Арсентия молодой парень с конопатым, озорным лицом, в распоясанной и расстёгнутой на все пуговицы гимнастёрке.

Двое других — один худой, длинный и очень сутулый, другой маленький, коренастенький, с застенчивой улыбкой — ничего не сказали, только засмеялись.

А конопатый сдёрнул через голову тёмную от пота гимнастёрку. На его молочно-белой спине, под самой лопаткой, мелькнул нежно-розовый, сморщенный и глубоко впалый шрам. И он, мелькая этим шрамом, запрыгал на одной ноге, стал стягивать сапоги, а стянув, кинулся к омуту. Он плюхнулся в глубокую воду всей пластью, заколотил, зашлёпал по ней руками, ногами, заорал:

— Благодать! Ух, благодать! Всю жизнь мечтал!

Старшие мужики в омут не полезли. Они, подставляя по очереди ладони ковшиком под струйку родника, умылись, утёрлись подолами своих солдатских рубаш и расселись вокруг мешка-скатерти. Конопатый был уже тут как тут, он пристроился прямо голышом, лишь натянул на себя брюки.

На мокрой груди у него розовел тоже шрам, только поменьше. Олёша хотел спросить, отчего это, но конопатый парень был такой весь озорной, такой шумный, что Олёша подумал: ответит он обязательно что-нибудь насмешливое.

В это время Арсентий глянул на стоящий вдали пыльный грузовик, всех спросил:

— Чижев почему не идёт? Особое приглашение надо?

— Он свой драндулет чинит. У него искра в колесо убежала. Пока не поймает, Чижа за руки

не оттащишь,— весело объявил конопатый и вытянул из кармана брюк алюминиевую ложку.

Все тоже вынули ложки: кто из кармана, кто из-за голенища. Арсентий пристукнул по краю блюда, громко сказал:

— Наваливайтесь! А то «бульон» простынет... Чижову оставим.

— Куриный бульон, цена — миллион. В нём квас, да картошка, да ещё и луку немножко,— подхватил шутку конопатый, а бородач сверкнул на него синими белками глаз, одобрительно усмехнулся:

— Складно у тебя, Дружков, получается. Тебе стишки надо в газету писать, а не топором тюкать... У тебя бы вышло.

— А я и то и это успеваю, даже с ложкой не отстаю,— ответил бойкий Дружков и принялся хлебать первым.

К блюду потянулись все. Только Олёша как стоял за спиной Арсентия, так и остался стоять, потому что хлебать ему было нечем.

Он шмыгнул носом, Арсентий обернулся:

— Что стоишь? Присаживайся.— И тут же спохватился: — Мать честная! У тебя же ложки нет!

Он схватил с мешка свой складной с перламутровой отделкой нож, закрыл, повернул, опять открыл, и на рукоятке ножа появилась блестящая металлическая ложка.

Олёша на секунду и про квас позабыл, когда увидел эту ложку. Потом взял её, несмело потянулся к блюду, и похожий на цыгана плотник сказал:

— Смотри, какой деликатный... Да ты не бойся, шуруй. Поддевай чаще, тебе расти надо.

— Стесняется,— объяснил Арсентий, а Дружков усмехнулся:

— Значит, не наработался. Вот вступит к нам в бригаду, стесняться перестанет. Как тот солдат...

— Какой солдат? — наконец-то промолвил высокий плотник, его низенький сосед тоже спросил:

— Что за солдат?

— Тот самый! Который зашёл к старушке вечером в избу и говорит: «Бабушка, бабушка, дай попить, а то щей да каши хочется и ночевать негде!»

Все опять засмеялись. Улыбнулся и Олёша и хотел сказать, что не стесняется, что похлёбку с квасом заслужил, что работал вместе с Арсентием и даже забил гвоздь. А ещё он хотел сказать, что папка у него тоже солдат и скоро, наверное, вернётся домой, но тут за рекой оглушительно грохнуло и с раскатистым рокотом покатилося во все стороны.

Плотники перестали хлебать, уставились в небо, а бородатый сказал:

— Ого! Бухнуло, как из гаубицы... Собирай манатки, пошли в сруб.

Олёша вскочил, посмотрел в сторону реки. Там всё нахмурилось. Узкие листья на ивах зашумели, стали белыми. Радуги над омутом исчезли. Быстрые ласточки спрятались в норки, а над высоким обрывом на той стороне клубились, громадились, медленно наползали друг на друга тяжёлые грозовые тучи.

По гребню плотины с берега на берег побежал пыльный вихрь. Он поднял высоко в воздух сосновую щепу и стружки, на небе опять сухо и раскатисто треснуло. Кот Милейший выскочил из-под брёвен, метнулся туда-сюда, увидел Олёшу, поскакал к нему, и Олёша обнял его поперёк живота.

А грузовик на плотине вдруг затарахтел, зафыркал, из выхлопной трубы пошёл кольцами дым, и голый по пояс Дружков захохотал:

— Ёлки зелёные! Чижов искру поймал! Чижов молнию за хвост сцапал и в мотор вставил... Вот ловкач!

Но Чижов уже мотор заглушил, быстро хлопнул капот и, нагибаясь так низко, будто по нему стреляли, кинулся под укрытие в сруб.

Бородатый плотник осторожно подхватил блюдо, тоже заторопился большими шагами к укрытию, его товарищи побежали за ним. Только Арсентий не мог сразу вскочить, он долго и трудно поднимался с примятой травы, упираясь в неё руками.

Олёша, как только обнял кота, как только увидел вихрь, так сразу вспомнил о незапертой дома калитке. Он подумал о том, что калиткой теперь наверняка всюду хлопает ветер: и сейчас прибежит с фабрики мама проверять его, Олёшу, и не найдёт, и заплачет, — и он обнял кота ещё крепче, бросился в ту сторону, где была городская дорога.

— Стой! — закричал Арсентий. — Стой! Пережди с нами. Глянь, что за рекой детсяя!

Олёша глянул — за рекою было черным-черно. Там было пусто и страшно. Там одиноко метался, взблескивая белыми крыльями, чибис, кричал так, словно звал на помощь, но в грозовой полутьме над ним ослепительно полыхнуло, и чибис кувыркнулся в луговое болотце.

Олёша зажмурил глаза и, больше не оборачиваясь, помчался по дороге.

## 5

На городскую сторону гроза ещё только двигалась. В синие прогалы меж чёрных туч падали косые лучи солнца. Они резко высвечивали городские красные крыши, пронзительно белые стены фабрики, чёрно-зелёные макушки лип. Всё там стало таким чётким и таким тревожно светлым, что казалось, город сам своим холмом шагнул к Олёше навстречу. Казалось, ещё минута — и Олёша взбежит на этот пёстрый холм, промчится по крутым улицам и откроет знакомую калитку.



Но лучи погасли, и город опять стал далёким. Над пыльной дорогой засвистел ветер, на телеграфных столбах заныли провода, и Олёше снова стало страшно.

Кот в охапке у него завозился. Бежать с котом в руках было неловко и тяжело. Ноги оступались в глубокой пыли, и один раз Олёша упал, но кота всё равно не выпустил. Он боялся остаться на дороге один.

Когда он поравнялся с капустным полем, на котором уже не было ни души, на дорогу шлёпнулась крупная дождевая капля. Она упруго ударилась в пыль, расплескалась тяжёлыми, как ртуть, брызгами — впереди упала вторая капля, третья. Ветер надул Олёшину рубаху пузырьём, и небо над ним опять треснуло.

Гром ударил с такой силой, что Олёша присел, а потом, не разгибаясь, полез через канаву, через обочину в тёмные, пока ещё сухие и резко пахнущие заросли полыни.

Он свернулся там калачиком, прикрыл кота грудью, а с дороги над ним, над согнутыми полынными кустами, над голым полем понеслась пыль, клочья сухой травы, какие-то перья, и всё вокруг стало ещё чернее, и в этой черноте всё чаще, всё ужаснее, всё ослепительнее стали бить молнии.

Они искали его, Олёшу. Они метили в его худенькую, полуприкрытую розовой рубашонкой спину. И Олёше подумалось: ещё миг, и громовая стрела ударит в него, и он закрыл глаза пыльной ладонью, тоненько закричал:

— Не на-до!

Тут, словно услышав его, совсем близко и пронзительно откликнулся автомобильный гудок. Олёша раздвинул пальцы и одним глазом увидел, как по дороге, вихляясь и подпрыгивая на ухабах, мчится старенький грузовик Чижова. А на самом верху, в кузове, стоит Арсентий и быстро пово-

рачивает голову то влево, то вправо, то влево, то вправо, будто чего высматривает.

— Миленькие! Хорошенькие! Неужели проедут? Неужели не заметят? — вскочил Олёша и с котом в обнимку, неведомо как, перелетел канаву, бросился прямо в колею, чуть не под колёса.

Машина резко встала. Арсентий не удержался, упал грудью на кабину.

Дверца распахнулась, оттуда выглянул Чижов, бледный, злой, глаза смотрят бешено.

— Жить надоело? Очумел?

Он даже замахнулся, но сверху крикнул Арсентий:

— Чижов, не ори! Ладно, что догнали... Сажай его к себе, газуй дальше. Сейчас как из ведра хлынет!

По железному крылу машины, по стёклам кабины, по Олёшиной спине уже и в самом деле начали бить всё чаще хлёсткие, холодные капли. Там, откуда грузовик примчался, дождь шёл мгlistою, сплошною стеной. Эта стена быстро приближалась, и шофёр дёрнул ручку второй дверцы, приказал:

— Садись!

Олёша глянул на распахнутую дверцу, на шофёра, потом на Арсентия, потом опять на шофёра и сказал:

— Нет, я лучше туда...

— Куда туда? — опять заорал сердитый Чижов, да тут Арсентий перегнулся через борт, крикнул:

— Руку!

Он вдёрнул Олёшу в кузов. Олёша больно ударился коленом и выронил кота из рук. Тот присел, собрался прыгнуть обратно через борт на землю, и Олёша упал на него, закричал:

— Убежит!

— Не убежит, — сказал Арсентий, ловко под-

цепил Милейшего, распахнул ворот гимнастёрки, сунул взъерошенного кота за пазуху.

Милейший и мявкнуть не успел, как очутился под солдатской гимнастёркой. У него лишь усатая, глазастая мордочка осталась торчать наружу.

Арсентий хлопнул по кабине:

— Давай!

Машина фыркнула, понеслась.

Олёша уцепился одной рукой за грохочущий борт, другой рукой за Арсентия, за широкий ремень его гимнастёрки.

В лицо ударил сырой воздух. Дождевые капли стеганули по лицу, по голове, потекли под рубаху, но теперь Олёша ничего этого даже и не чувствовал. Он всё ещё не мог опомниться. Ему всё ещё казалось, что молния ударит в него, и при каждом раскате грома оглядывался и приседал.

Но, увидев, как твёрдо стоит у кабины Арсентий, и чувствуя рукой тёплую спину его, Олёша стал понемногу успокаиваться. Он даже подумал: «Хорошо, что ливень так бьёт по лицу, и Арсентий не увидит, какой я зарёванный».

Да и чем ближе был городок, тем больше начинал одолевать Олёшу совсем другой страх.

Когда грузовик, разбрызгивая лужи, подлетел к дому, то Олёша увидел сразу: мокрая калитка закрыта, но цепочка с пробоя скинута. Это увидел, наверное, и Чижов. Он как встал, так сразу принялся давить на гудок, вызывать маму.

А дождь лил всё пуще. В хмуром небе теперь не грохало, не сверкало, там теперь словно бы кто большой и неуклюжий перекачивал с места на место огромную пустую бочку. Бочка рокотала, а гудок машины вторил ей, надрывался что есть мочи.

Арсентий не вытерпел, ударил по кабине кулаком:

— Да перестань ты! Сейчас вылезем.

Гудок смолк, и тут калитка распахнулась, уда-

рила скобой по забору, со двора под дождь выскочила мама.

Гребёнку она где-то потеряла, светлые волосы рассыпались, а на бледном лице темнели огромные, испуганные глаза.

Была она без тапочек, босиком. К мокрым ногам прилипли жёлтые лепестки, подол платья тоже намок. Видно, она уже бегала где-то по дворам, по лужайкам, искала Олёшу.

— Ну, парень... Ну, парень... — плачущим голосом закричала она и ухватилась за высокий борт, хотела вскочить на грязное колесо машины.

Арсентий осторожно снял её руки с борта, спокойно сказал:

— погоди. Шуметь погоди.

А потом распахнул гимнастёрку, под которой сидел кот, и широко улыбнулся:

— Приехали!

Милейший сиганул прямо с грузовика, с рук Арсентия на сырую траву, мокро́ ему не понравилось, и он подскочил и длинными прыжками, хвост трубой, помчался на крыльцо.

Арсентий глянул на маму, засмеялся:

— Одно потеряшку мы тебе доставили, сейчас сдадим второго.

Он медленно слез на колесо, на землю, распахнул руки:

— Прыгай ко мне, Олёша.

Олёша упал к нему на руки, задел щекою колючий подбородок, ухватился за горячую шею, и на него опять приятно пахнуло махоркой. А Чижев из кабины закричал:

— Скоро вы там? У меня время нет! Мне некогда!

Олёша подумал, что Арсентий сейчас тоже уедет, и обхватил его ещё крепче, но Арсентий рук не разомкнул, а лишь крикнул в сторону кабины:

— Езжай!

Машина брызнула грязью и в одну секунду скрылась за поворотом.

Арсентий кивнул ей вслед, подмигнул Олёше:

— Ну и дела! Сочиняет Чижов-то, что некогда... Это он просто грозы трусит. Трусит — и сердится. Войну прошёл, вся грудь в медалях, а грозы, чудак, боится! Только из-за тебя от плотины в поле и помчался.

— А ты не боишься? — спросил Олёша.

— А мы с тобой не боимся, — ответил Арсентий и, хотя мама протянула руки, Олёшу ей не отдал, а сам понёс к дому.

Ливень хлестал по крыльцу так, что от ступенек отскакивали крупные брызги. Когда мама распахнула дверь, то брызги полетели через порог прямо в сени. Кот заскочил туда первым. Он по-собачьи отряхнулся и промчался в прихожую, из прихожей на кухню.

За окном кухни мотались под струями дождя гибкие ветви черёмухи. С них лилось на раму, на мутные стёкла. Из открытой форточки несло зябкой сыростью. Кот глянул туда, мигом запрыгнул на печку, а высокий Арсентий пригнул голову, прошёл на чистую половину дома и поставил Олёшу на пол.

— Полный порядок теперь! Принимай, Аннушка, пропажу.

От Олёшиных ног сразу отпечатались на полу следы, с мокрой рубашки закапало.

— Горе моё! — опять всхлипнула мама, но быстро справилась и начала сдёргивать с Олёши всё: и штаны, и рубаху.

И не успел голый Олёша съёжиться, завернула его в свой длинный с красными горошинами халат и поддала по халату чуть ниже Олёшиной спины.

— Напугал до смерти! Где вы его, Арсентий Лукич, подобрали?

И опять она всхлипнула, и опять собралась

подшлѣпнуть Олѣшу, да тут Арсентий придержал её руку и очень добрым голосом сказал:

— Не надо... Не ругай его, он молодец у тебя. Он гвоздь нам, плотникам, подарил.

— Гво-оздь? Что за гвоздь? — сердито нахмурилась мама, но Арсентий быстренько глянул на Олѣшу и опять, как тогда, подмигнул:

— Самый главный, самый нужный. Он колесо мне построить помог... Верно, Олѣша?

— Угу! — вскинул тот к Арсентию страшно благодарные глаза и торопливо добавил: — Я тебе ещё помогу! Я тебе хоть сто раз помогу! Хоть сто раз, хоть миллион, хоть тысячу!

— Во! — торжественно поднял широченную ладонь Арсентий. — Слышала? Миллион раз. — Потом засмеялся: — Миллион раз не надо, а вот колесо завтра ставить — помоги. Я завтра утречком за тобой зайду. Заходить?

Олѣша чуть не задохнулся.

— Врёшь! Неправда... — осевшим от волнения голосом просипел он.

— Зачем врать? Не вру.

И тут Арсентий этак хитреенько, с прищуром, глянул на маму и совсем негромко, будто невзначай, обронил:

— Разве что мама не отпустит...

— Отпустит! — закричал Олѣша. — Отпустит!

Он ухватился за мягкий ворот своей нелепой одѣжины, стиснул пальцы так, что они побелели, и шагнул к маме:

— Мамушка Аннушка! Мамушка Аннушка! Ведь ты меняпустишь, а?

Мама растерянно развела руками, и Олѣша звонко и торжествующе, на весь дом закричал:

— Отпустит! Она меня отпустит!

— Тогда до утра... — сказал Арсентий, подтянул ещё туже и так очень туго затянутую ремнѣм влажную гимнастѣрку и пошѣл к двери.

Но когда взялся за скобу, то дверь не открыл,

а нерешительно затоптался и опять обернулся к маме, зачем-то покашлял тихо в кулак.

— Ты, Анна Матвеевна, вот что... — сказал он хрипловатой скороговоркой. — Ты на меня и на мою Марью за тот разговор не обижайся...

У мамы лицо сразу потемнело. Она хотела взяться, как всегда, за концы платка, но платка на плечах не оказалось, и руки упали вниз.

— Я не обижаюсь. На что обижаться? На правду?

— Не такая уж это правда... Нет, не такая! — взмахнул и словно что-то отсек ребром ладони Арсентий. — Я, Анна Матвеевна, подумал, снова прикинул и теперь полагаю: Фёдор твой ещё вдруг и вернётся... Ну, мало ли что? На войне случается по-всякому! Я об этом и Олёше сказал, не сердись.

— Вернётся! — схватил Олёша маму за руку. — Вернётся! Ты, мамушка, ему верь!

— Вот видишь? — сказал Арсентий. — Только ты не мне, ты вообще верь, Анна Матвеевна... Мы с твоим Олёшей верим. А меня, за то что сразу тебя хоть каплю не обнадёжил, прости.

И тут мама подняла голову, подняла руки, схватилась на кофте за верхнюю прозрачную пуговку и хоть горько, но всё ж таки улыбнулась.

— Я верю... Я хочу верить. Спасибо вам...

В это время за стёклами окна забарабанило по мокрой листве ещё сильнее. Раскатисто, но уже не сердито и очень далеко снова проворчал гром. Мама подошла к комоду, взяла маленький белый платок, утёрла глаза. Утёрла и вздохнула:

— Льёт-то как... Измочит вас до нитки. Переждали бы...

Но Арсентий опять стал прежним, весёлым:

— Не сахарный, не размокну! Побегу Чижа в обратный путь сватать. Гром попритих — Чиж, поди, успокоился.

— Спасибо ему... Обоим вам спасибо, — опять поблагодарила мама, а Олёша кинулся к окну.

Через потное стекло он увидел, как высокий, немножко сутуловатый Арсентий, сильно отмахивая правой рукой при каждом шаге, идёт прямо по лужам к чёрной от дождя калитке. Олёша посмотрел, как эта калитка распахнулась, потом закрылась, и вдруг обернулся к маме и показал ей на окошко пальцем.

— Вот!

— Что вот? — спросила мама.

— Ты говорила, надеяться нам не на кого... А на Арсентия нельзя, да?

Мама подхватила Олёшу под мышки, перенесла через всю комнату, поставила на печной приступок, на лесенку:

— Можно, можно... На Арсентия Лукича можно. Уймись, полезай на печку, обсохни.

Но Олёша медленно перешагивал со ступеньки на ступеньку вверх и всё не унимался:

— А на Чицова надеяться нельзя, да? А на Дружкова надеяться нельзя, да? А на Цыгана нельзя, да?

— Кто такой Дружков? Кто такой Цыган? — удивилась мама. — Весь белый свет у тебя теперь в приятелях?

— Не весь, а плотники на реке! Я теперь плотником буду. Мы с бригадой для тебя новый дом построим. И для тебя, и для папки, если он раненый придёт. Он придёт, а я уж плотником буду, таким, как Арсентий, вот!

— Ну, будь, будь, — посадила мама Олёшу на самую печку и с тихой улыбкой спросила: — А гвоздя-то своего не жалко теперь?

Олёша на печке мигом развернулся, свесил вниз вихрастую голову, широко распахнул глаза:

— Ты что? Я же его не кому-нибудь подарил, я же его — для всех! Теперь у нас в городе свой хлеб будет. У нас теперь знаешь как всем хорошо будет? Знаешь?

— Знаю, знаю... Теперь знаю, — сказала мама,



протянула руку и ласково поворошила мягкие Олёшины волосы.

Из-за маминой спины с тёмной переборки смотрели весёлые человечки. Они махали Олёше тонкими руками, они словно поняли весь разговор и просились теперь к нему в плотницкую компанию.

А Милейший тихонько подлез под бок мальчика, зажмурил зелёные глаза, уютно замурлыкал. Он тоже считал, что день сегодня прошёл хорошо. Он тоже был согласен, что надеяться им с Олёшей и с мамой Аннушкой теперь есть на кого, и запирать калитку на замок больше не надо.





# ЛУНА НАД ЗАСТАВОЙ

## МОЕ ДЕЛО — ПРЕДУПРЕДИТЬ

За окном шуршал скучный осенний дождик, а в квартире Крутовых было весело. Там собрались все соседи и чуть ли не хором нахваливали Танину маму:

— Молодчина вы, Наталья Петровна! Молодчина и храбрец! Отправляетесь с дочуркой в такое серьёзное место, на пограничную заставу.

Мама укладывала большой, пахнувший кожей чемодан, смущённо улыбалась:

— Храбрость тут ни при чём. Просто мы с Таней — семья офицера-пограничника. И если он приглашает нас погостить, значит, надо собираться и ехать.

А соседи знай твердили своё:

— Всё равно вы молодчаги!

Но тут Павлин Егорыч Велосипедов, персональный пенсионер, человек рассудительный и серьёзный, достал из кармана табакерку, зарядил нос крепкой понюшкой, громко чихнул и сказал:

— Нет! Поступаете вы, уважаемая Наталья Петровна, неверно. Лично я бы на вашем месте Таню не взял.

— Как так? — испугалась Таня, а мама изумлённо застыла над раскрытым чемоданом.

— Почему, Павлин Егорыч? Ну почему?

И тогда Павлин Егорыч сам стал задавать вопросы и сам стал на них отвечать:

— Таня у вас — кто? Девочка... А на заставе — что? Служба... А вы по телевизору видели, какая это служба? Суровая, напряжённая... Ни девочкам, ни мальчикам там не место! И вот поэтому как самый старший среди вас вношу предложение: езжайте, погостите на заставе одна, а мы коллективно за Таней приглядим. Здесь у неё —

друзья, то, что ребёнку в первую очередь и необходимо. А на заставе ей не с кем будет даже словечком перекинуться... Уф! — закончил он долгую свою речь и повторил: — Да, не с кем!

— А с бойцами? — воскликнула Таня.

— А пограничники-бойцы, как я уже отметил, день и ночь на службе. Им не до твоей милости.

— До моей! Я сама там, если надо, послужу! Я всё равно там в чём-нибудь да пригожусь! Я дома не останусь! — закричала в отчаянье Таня, и мама кинулась её утешать:

— Не останешься, не останешься.

— Ну, как знаете... Моё дело — предупредить, — развёл руками Павлин Егорыч, и, уважая его мнение, все взрослые соседи тоже развели руками.

Лишь Танины приятели — девочки Лепёшкины да мальчики Синицыны — сказали:

— Не сдавайся. Поезжай.

Да ещё бабушка Лепёшкиных — Настасья Филипповна — согласно закивала Таниной маме:

— Конечно, конечно, поезжайте к вашему папе вместе. Где иголка, там должны быть и нитки. То есть вы с Таней... Только возьмите с собой хоть несколько баночек сгущённого молока. А то застава и в самом деле не Москва родная — молока там, поди, не купишь. А Таня растёт, ей молоко пить надо.

И мама с Таней послушались, натолкали в чемодан целую дюжину голубых банок, правда, не с молоком, а со сливками. А бабушку Лепёшкину поблагодарили за добрый совет.

Ну, и Павлина Егорыча за его беспокойство тоже поблагодарили. Даже пообещали прислать открытку и всё в ней рассказать про свою жизнь на заставе.

## НА ДРУГОЙ ДЕНЬ

А на другой день большой пассажирский самолёт поднял Таню и маму над мокрыми полями, над стылыми туманами Подмосковья.

Потом вся круглая земля под самолётом как бы повернулась, и они опустились в зелёном аэропорту, в южном городе.

Там, несмотря на позднюю осень, цвели розы, шумели фонтаны. В фонтанах плескались озорные черноглазые ребяташки. Только побыть в этом городе долго не пришлось. Таня с мамой тут лишь пересели с большого самолёта на маленький. Они пересели на шустрого «Антошку», как назвала его ласково мама, и опять понеслись в синей синеве бок о бок с белыми облаками.

«Антошкины» моторы гудели спокойно. Но Таня тревожилась всё равно. После того домашнего разговора она всё думала: найдётся ли ей на заставе какое-нибудь полезное дело или не найдётся? Будет она помехой на заставе бойцам или не будет? Ведь спорить со стареньким Павлином Егорычем — одно, а как выйдет на деле — другое, и Таня попробовала спросить маму, но и от неё ясного ответа не получила.

Мама сказала:

— Не знаю. Я тоже волнуюсь. Папа стал начальником заставы недавно, и я так же, как ты, еду туда в первый раз. Наверное, всё будет зависеть немножко и от тебя, и от меня, от нашей с тобой самостоятельности.

И Таня решила, что как только долетит до места, так сразу и станет самостоятельной. А пока припала к выпуклому стеклу, принялась смотреть, где же они теперь.

Но тут «Антошка» привалился на левое крыло, заложил над удивительно жёлтым полем широкий круг, пошёл вниз, стукнул колёсами и покатил по земле.

## СЕРЖАНТ ПАРАМОНОВ

Жёлтое поле оказалось аэродромом в песках.

Пески и только пески были тут до самого горизонта.

Лишь невдалеке от взлётно-посадочной полосы виднелся единственный домишко да в жидкой тени под деревом у крыльца стояли автобус для пассажиров и небольшой, бурый от пыли автомобильчик-вездеход.

Когда мама с Таней вышли из самолёта на сухой, жаркий воздух, то даже растерялись от такой пустынности. Но тут увидели: бежит к ним, взбивает сапогами жёлтый песок военный человек в зелёной фуражке.

— Вот видишь, одному пограничнику уже до нас! — обрадовалась Таня, опять припомнив спор с Павлином Егорычем.

Мама тоже обрадовалась:

— Точно! Причём это наверняка от папы.

А боец и верно подбежал, вскинул загорелую ладонь к козырьку, сияя карими глазами, сказал, как отпечатал:

— Сержант Парамонов! Прошу в машину... Товарищ лейтенант Крутов находится при исполнении служебных обязанностей, но очень ждёт дорогих гостей!

Тане сразу понравилось, какой Парамонов весёлый, какой уверенный, и тут же вспомнила про свою самостоятельность. Она кинулась к составленному невдалеке от самолёта багажу, ухватилась за ручку своего чемодана. Ухватилась, покачнула — стронуть не смогла.

Парамонов вежливо Таню отстранил, поднял чемодан, удивлённо крикнул:

— Ого! Никак, маленькую пушечку везёте?

— Это не пушечка, это сливки, — засмеялась Таня, а мама пояснила:



— Да, да... Это сгущённые сливки. Так что вы, пожалуйста, не удивляйтесь.

Но сержант Парамонов всё равно пожал плечами, правда, вслух больше ничего не сказал.

А потом они уселись в тот низенький, бурый, с брезентовой крышей вездеход. Пассажирский автобус всё ещё стоял в тени под деревом, а они уже, поднимая пыльную тучу, покатали по дороге в песках прямо к жаркому горизонту.

## ЖИВАЯ ВОДА

Машина мчалась, а навстречу без конца бежали одни лишь сыпучие барханы-холмы. Кустики на них и те росли редко. И от этого однообразия у Тани стала кружиться голова.

А ещё от пыли в кабине, от духоты ей захотелось пить. Но она подумала о том, что едет с Парамоновым не куда-нибудь, а на пограничную службу, и лишь спросила:

— У вас тут, что ли, как в Африке? У вас тут, что ли, все, как верблюды, без воды живут, терпят?

— Не очень терпят,— ответил Парамонов, и, будто по заказу, автомобиль нырнул с бархана вниз на хрусткий галечник, въехал всеми четырьмя колёсами прямо в речку.

Вода окатила стёкла. Таня и мама невольно пригнулись. А Парамонов тормознул, раскрыл друг за другом все дверцы:

— Прошу! Кому умыться, кому попить...

Вот так вот, посреди журчащей речки, да ещё в распахнутой настежь кабине, Таня не сидела никогда. Вдохнув речной ветерок и глядя, как вода плещется у самой подножки, Таня захлопала в ладоши.

Мама осторожно спросила:

— Машина не застрянет?



Парамонов шлёпнул по рулевой баранке:

— Наш «козлик» надёжный! Мы на нём с товарищем лейтенантом и не по таким дорогам езживали.

И снова Тане понравилось, как Парамонов улыбается, как хорошо, уважительно называет её отца товарищем лейтенантом. А тут ещё Парамонов наклонился из кабины к прозрачной воде, сквозь которую пестрели голубые и белые гальки, сложил руки лодочкой, сполоснул разгорячённое лицо, принялся, ахая и похваливая, пить прямо из ладоней. Выходило это у него так вкусно, что Таня с мамой тоже наклонились за дверцы, тоже стали поспешно черпать воду пригоршнями, пить.

Таня сказала:

— Эта водица слаще, чем самый лучший лимонад.

Мама засмеялась:

— Ни с чем и сравнить нельзя! Студёная, живая!

А затем Парамонов опять включил скорость, и, всколыхнув перед собой шумную волну-бурун, автомобиль выскочил на другой берег.

## ЗОРКИЕ ГЛАЗА

По стёклам захлестали зелёные ветки. Дорога тут была совсем иной. Колея уходила в прибрежный лиственный лес, как в узкий тоннель. Плавно двигались, колыхались в этом тоннеле золотые пятна света. Качались, пестрели чёрные и воздушно-синие тени деревьев. Парамонов, не отрывая рук от руля, кивнул в сторону всей этой цветовой неразберихи, самым что ни на есть спокойным голосом сказал:

— Вот она и линия государственной границы... Вот, рядом! — И не успел точно показать, где эта

самая линия, как вдруг сунулся к переднему стеклу:

— Нарушитель пошёл! Нарушитель!

А по колее впереди, распластав великолепный хвост, бежало, наддавало что есть духу бойкое пернатое существо. И вот всхлопнуло яркими, как бронза, крыльями, скрылось в тени на обочине, в густой путанице ветвей.

— Фазаний петушище! — хохотнул Парамонов, надавил на гудок, вслед фазану подбибикнул.

А мама сказала:

— Ох-х... — И взялась за сердце. — Разве можно так, товарищ сержант, шутить? Я думала, вы всерьёз.

— Да я вполне серьёзно. Фазан с той, с не нашей, стороны перебежал, — оправдался Парамонов.

Но Таня и мама не согласились:

— И всё-таки — это птица. А вот что бы мы стали делать, если бы тут оказался нарушитель заправдашний?

— Ничего бы не стали... За нас давно бы всё сделали другие.

— Кто?

Парамонов опять кивнул на пролетающую мимо чащобу:

— Тут везде смотрят зоркие глаза. Тут на посту — мои товарищи. Они про этого петуха и то уже успели на заставу сообщить.

— И про нас успели? Но ведь мы-то их не видели...

— А так и положено. Пограничник в секрете видит всех и всё, а его — никто.

— Вот здорово! — сказала Таня и принялась вглядываться в каждый пробегающий мимо машины куст, в каждую лесную тень. Но сколько ни старалась, никого не разглядела. Только один раз ей почудилось, будто бы кто-то в солнечной листве

у дороги шевельнулся, подмигнул ей лукавым глазом и — пропал.

Но это, наверное, ей и вправду померещилось. Потому что вряд ли какой пограничник станет кому-то подмигивать на своём секретном посту, на своей солдатской, очень серьёзной работе.

## ВОРОТА СО ЗВЕЗДАМИ

Но вот машина выскочила из леса на крутой перевал, и Таня с мамой ахнули.

Впереди просторная долина. В долине снова петляет река, а в стороне от реки — чудо!

Стоит гора, на ней острый снежный колпак.

За той горой — опять гора, на ней тоже снеговой колпак.

И так всё вверх, и так всё круче, до синих небес.

А там уж и облака самую высокую вершину задевают, и падает от вершины к горному подножию прохладная тень.

В тени, будто сахарные, белеют небольшие домики, с ними рядом тонкая, словно из лучинок, вышка.

— Застава! — догадалась мама.

— Застава! — подтвердил Парамонов, а Таня не сказала ничего.

Таня увидела, как всё нарастает навстречу машине каменная ограда у домиков, как надвигаются всё ближе зелёные ворота с двумя красными звёздами на широких половинах, и там, возле ворот, толпятся военные люди в таких же фуражках, как у Парамонова.

И широкие ворота со стуком распахнулись. Люди быстро отшагнули туда и сюда. И Таня по ним, молодым, в пограничной форме почти одинаковым, растерянно зашарила глазами, угадывая через пыльное стекло, который тут папа.

А дверцы автомобиля кто-то раскрыл совсем с другой стороны.

И кто-то её, Таню, подхватил, радостно поднял, тепло прижал к себе; и тут уж — теперь и глядеть было не надо — Таня поняла, что вот он, её папка, рядышком с ней!

Мама тоже очутилась рядом. Папа, не спуская Таню с рук, обернулся ко всем пограничникам, сказал весёлым басом:

— Знакомьтесь, товарищи, это моя семья!

Товарищи все до единого не то всерьёз, не то в шутку подтянулись, улыбнулись, взяли под козырёк и, глядя на Таню с мамой, звонкими голосами грянули так, что с тополей во дворе взвились пёстрые скворцы и сизые горлицы:

— С бла-гополучным-вас-прибытием!

Мама от такого мощного приветствия даже зарделась, немножко смутилась, всем закивала:

— Здравствуйте, здравствуйте...

Папа совсем теперь по-домашнему щекотнул Таню мягкими усами, крепко поцеловал:

— Верно! С прибытием. С благополучным. Сам-то я от радости вас и не поздравил.

Мама негромко, но тоже весело добавила к папиным словам:

— Ты не просто с прибытием Таню поздравь. Ты её поздравь с прибытием на службу. Она все уши мне прожужжала: найдётся ей здесь какое дело или нет?

— Как не найдётся! — ответил уверенно папа. — Но для начала да с дороги полагается попить пограничного чайку.

## ВНЕЗАПНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

С чаепитием вышла почти сразу заминка.

Не успел папа внести Танин и мамин чемодан в командирский домик, такой же густо побелён-

ный, как все постройки во дворе, не успела мама в домике оглядеться, сказать: «Ой! Да у тебя тут не хуже, чем в Москве у нас!» — как на улице вдруг что-то загудело, засигналило и в комнате рядом с прихожей так и взорвался бешеным звонком телефон.

Папа бросил чемодан, схватил трубку:

— Слушаю!

А через секунду скомандовал:

— Тревожная группа — в ружьё!

И одним махом припечатал трубку к телефону, резко повернулся, одёрнул на гимнастёрке ремень с тяжёлой пистолетной кобурой и вмиг стал опять почти неузнаваемым. Глаза из-под чёрного козырька — строгие, всё лицо — напряжённое. Только голос всё ещё добрый.

— Я — скоро! Обживайтесь пока что без меня... — сказал он этим голосом, легко прикоснулся к Таниной щеке ладонью и выскочил на улицу.

— Что такое? Почему — в ружьё? Отчего тревога? — застыла на месте мама, а Таня тоже сначала было замерла, а потом ринулась вслед за папой, да мама поймала Таню и остановила за порогом на крыльце.

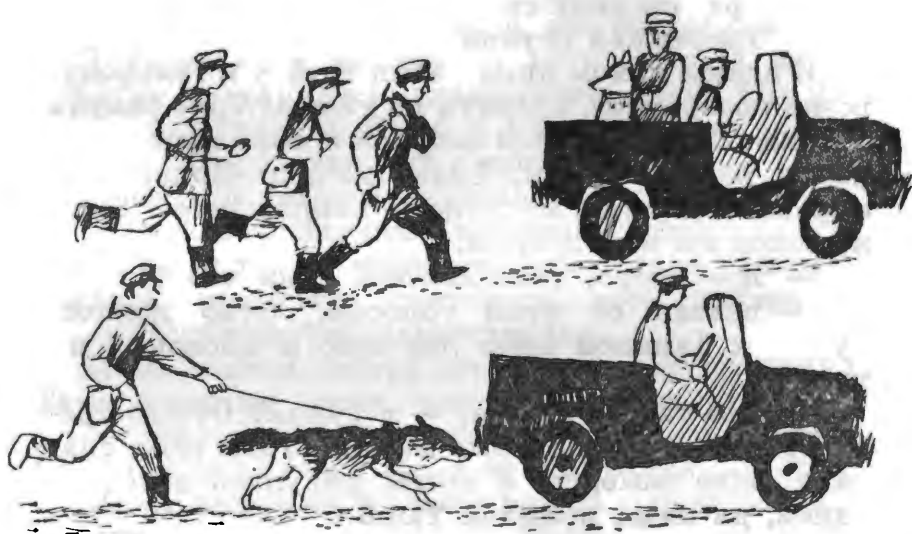
Остывшее солнышко уже упало за горные вершины. Синяя тень на дворе заставы налилась холодком. Вечерний розовый свет теперь лишь ловили макушками тихие тополя, а под ними на плацу почти без шума и в то же время стремительно всё двигалось, всё поспешало.

Железные ворота были опять настежь. Папа стоял почти за ними, нетерпеливо оглядывался.



Знакомый сержант Парамонов закрутил водяной вентиль, отбросил от себя шланг, из которого мыл, поливал машину, кинулся к рулю, подкатил к воротам.

Из тёмного проёма гаража выскочила вторая машина, тоже подлетела к воротам.



Проверяя на ходу под сумки, перекидывая с руки на руку воронёные автоматы, бежали к машинам и усаживались в них бойцы.

И вот, натягивая ремённые поводки, таща за собой своих прытких хозяев-проводников, из собачника вымчался один могучий пёс, за ним другой, и все они вместе со своими вожатыми тоже ринулись по машинам.

А тут и Танин папа вспрыгнул на своё командирское место. И не успели захлопнуться дверцы кабин, как всё разом стронулось, всё унеслось.

Только пыльный вихрь оседал теперь у ворот, и мама сказала ещё испуганней:

— Что хоть произошло-то?

— А ничего... Идёт нормальная пограничная служба, — ответил негромкий голос, и Таня с мамой обернулись на него.

Они увидели возле крыльца, возле перил, небольшого росточком, сероглазого, румяного, складненького бойца в ефрейторских погонах. В пограничной фуражке, в погонах, но почему-то ещё и в белом, с широким нагрудником, фартуке.

И наверное, оттого, что фартук придавал ефрейтору вид не слишком-то боевой, он и представился просто:

— Вася!

Потом помолчал, добавил:

— Полухин... Передаю приказ товарища лейтенанта. Несмотря ни на что, вам велено с дороги подкрепиться. Хотите — доставлю всё прямо сюда, на квартиру, а хотите — пойдём к нам в столовую.

Мама всё так же растерянно оглянулась на пустые ворота, зябко поёжила плечами:

— Мы лучше к вам.

Вася обрадовался, сказав, что в столовой-то он их ещё лучше угостит, и повёл к белой казарме через темнеющий плац. А мама шла и по-прежнему оглядывалась на ворота.

— Вы нам честно скажите, Вася, куда умчалась тревожная группа? Настоящего нарушителя ловить, а? И это очень опасно? Очень?

Вася на ходу вскидывал коленями длинный фартук, разводил руками:

— Что вы?.. Говорю честно, идёт нормальная пограничная служба.

На все мамины вопросы он только и отвечал: «нормально» да «нормально», и Таня подумала даже: «Раз он работает в столовой, то про тревогу,

наверное, не знает всего и сам. Не знает и просто утешает нас».

А Вася показал на широкое крыльцо казармы:  
— Прошу в гости!

## НА ВСЕ РУКИ

Гости и ефрейтор Полухин оказались в просторном коридоре перед раскрытой комнатой. Там чуть слышно позвякивали, мигали настороженно зелёными лампами какие-то аппараты. Низко склоня стриженую голову, пограничник-радист в чёрных наушниках тихо, но ясно кому-то наговаривал в трубку:

— «Иволга» на приеме... «Иволга» на приеме... Я — «Иволга»...

Тут же стояли ещё бойцы и младшие командиры. Только теперь при виде Тани и мамы они не заулыбались дружно, как тогда под тополями, а лишь вежливо и даже строго им кивнули. Они быстро отприветствовали Таню с мамой и опять принялись слушать, что говорит в трубку радист.

Вася Полухин пошёл мимо комнаты осторожно, на цыпочках, совсем тихо сказал:

— Вот видите, обстановка нормальная. С товарищем лейтенантом держат связь. Так что не волнуйтесь.

— Ничего себе — «не волнуйтесь»!.. Что же вы сами-то вдруг притихли, заговорили шёпотом? Опасность всё равно есть, да?

И мама взяла Таню крепко за руку, поближе к себе, но Вася уже открыл дверь в полутёмную столовую, включил там свет, сказал громко:

— Да успокойтесь, пожалуйста! Не шумел я затем, чтобы связистам не мешать. А опасность...

И тут вместо фуражки на голове у Васи оказалась белая шапочка, в руках — полотенце. Он, как заправский официант, смахнул со стола во-



ображаемую пыль, шутливо поклонился, шутя проговорил:

— Опасность, конечно, есть... Да ещё какая! Если вы моего угощения не попробуете, я обижусь.

Вася надул щёки, нахмурил коротенькие брови, надвинув пониже белую шапочку, нарочито грозно глянул на Таню:

— Вот так вот обижусь... У-ух!

Таня засмеялась, мама тоже засмеялась: им обоим стало легче, свободнее.

А потом Вася их даже удивил. Он сказал:

— Вашему вниманию предлагаю гуляш с картофельным пюре и сладкий чай. Но если не желаете чая, могу предложить парного молока.

— Чего? — подумала, что услышалась, Таня.

— Какого? Повторите, какого молока? — подняла изумлённо брови мама.

— Парного, свежего. Я только что отдоил нашу Пестрёнку, — повторил спокойно этот странный ефрейтор Вася Полухин и так же спокойно вынес из-за кухонной перегородки цинковый тяжёлый подойник, накрытый марлей.

— Вот... Хотите налью в стаканы, хотите — в кружки.

Он поставил на стол большие кружки и наполнил их через рыльце подойника самым что ни на есть парным молоком.

Молоко в кружках ещё слегка пенилось. И Таня с мамой на какой-то миг вдруг забыли про тревожную обстановку, не веря своим глазам, потянулись к кружкам, попробовали молоко на вкус.

Таня глотнула, облизнула губы, сказала:

— Ого!

Мама прихлебнула, сказала:

— Ну и ну!

И тут они, перебивая друг друга, начали засыпать Васю Полухина вопросами. Что, мол, за

чудеса? На Васе погоны, а он рассказывает в белом фартуке, стряпает гуляши с картофельным пюре... Что за диво? Пограничная застава и — совсем как в подмосковной деревне — корова! Откуда она здесь? Ведь, по мнению всех Таниных и маминых знакомых, так быть не должно.

Ефрейтор Вася Полухин вопросы выслушал, не спеша, толково ответил:

— Почему не должно? У вас там, в Москве, есть добрые друзья-соседи, и у нас они есть. Пестрёнку нам как раз и подарил соседний совхоз. Подарил вместе вот с этим подойником. Для нашего... — тут Вася подмигнул Тане, — а также для вашего здоровья! А что касается гуляша, так этим делом я занимаюсь в очередь с товарищами. Нынче — повар, завтра — пекарь, послезавтра — швец, а в любую минуту и пограничник-боец. У нас так каждый. Иных пограничников у нас на заставе не бывает.

— Разве? Ничего себе... — опять удивилась Таня.

А мама уважительно покачала головой:

— Выходит, пограничники на все руки мастера!

Вася тут стал подливать молоко в кружки, и на гимнастёрке под белым нагрудником фартука у него что-то блеснуло.

Таня встрепелась:

— Ой, что это там у вас?

Вася прихлопнул блестящее пятнышко ладонью:

— Ничего... Это — так...

— Покажите, покажите! — привстала с табуретки и мама. — Неужели орден?

Вася Полухин — отступить ему некуда — фартук на груди на защитной своей гимнастёрке чуть сдвинул, объяснил:

— Это у меня знак — «Отличник пограничных войск».

Выпуклый, совсем ещё новенький знак при свете лампочки так и запылывал, и Таня восхищённо прошептала:

— Он всё равно как орден. Можно дотронуться?

Но мама спросила ещё быстрее:

— А за что он, Вася, у вас? Расскажите!

Вася сначала было заотнекивался, стал говорить, что рассказ об этом чересчур длинный, но, поскольку мама и Таня не отступались всё равно, махнул в конце концов рукой, согласился.

Но прежде чем начать рассказ, плотно прикрыл дверь, за которой связист всё продолжал наговаривать:

— «Иволга» на приёме... «Иволга» на приёме...

### ДЛИННЫЙ РАССКАЗ ВАСИ ПОЛУХИНА

— Был точно такой же вечер, в том лишь разница, что более поздний... — начал Вася Полухин и подошёл, посмотрел, качнув шторы, в сумеречное окно.

Таня в нетерпении подсказала:

— И вы, наверное, Вася, вот так же поехали на машине с моим папой...

— Да, — кивнул Вася, — я поехал по тревоге с твоим папой и с нашими ребятами-бойцами... Но, чур, ты, пожалуйста, меня больше не перебивай.

Ну а по правде говоря, мы тогда не ехали, а сломя голову летели. Мы уже знали: границу нарушил матёрый диверсант — враг. Он наткнулся на постовых, вступил в перестрелку, а затем куда-то исчез. Он так исчез, что постовые его обнаружить больше не могли, — вот мы и неслись к ним на подмогу. А в небо вылезла луна. И была она жуть какая огромная и жуть какая светлая. И это нам было совсем некстати. При луне-то

враг нас мог видеть из своего укрытия, как на ладошке, а мы его с дороги — нет...

Тут Вася поглядел в окно ещё раз, раздвинул шторы ещё больше, а вслед за ним поглядела теперь и Таня.

И она увидела в густых сумерках над заставой тоже большую, очень яркую луну. И ей сделалось опять тревожно. Тревожно не только за папу, но и за всех бойцов, которые, может быть, в эту минуту тоже вот так же вот мчатся по ночной дороге, а где-то рядом — враг. И Таня прерывисто вздохнула. А мама сказала вполголоса:

— Знаете, дорогой Вася, если у вас там дальше ещё страшнее, то лучше не продолжайте.

Но Вася ответил, что нет, дальше почти не страшно, и стал продолжать:

— Ну вот... Домчались мы, значит, до места, до постовых. А место там — сплошное болото. На нашем погранучастке такие сюрпризы кругом. Вот здесь пески, вот здесь горы, а вот здесь, рядом с озерцом, непролазная хлябь. Высоченный камыш шуршит, а под ним, куда ни встань, чёрная вода чавкает. Следов, конечно, никаких даже днём не увидишь, а тут — ночь. И фонари нам включать нельзя, как раз по фонарям диверсант и пальнёт.

Ваш папа, товарищ лейтенант, спрашивает постовых: «Возможно, он из камышей уже ушёл? Вы проверяли?» Постовые говорят: «Проверяли. Похоже, он всё ещё тут...» — «Похоже или точно?» — сердится лейтенант, а постовые подтверждают: «Точно!» И тогда товарищ лейтенант ставит задачу: «Будем прочёсывать камыш. Встанем цепью, пройдем болото вдоль и поперёк. На ходу не шуметь, овчарок с поводков не спускать... Пошли!»

Но это лишь сказать можно: «Пошли!» — а на самом деле мы по болоту, как по хлюпкому киселю, полезли. Лейтенант первым провалился так, что сапоги скрыло, но всё равно шёпотом по цепи

приказывает: «Вперёд! Вперёд!» И мы лезем впотьмах вперёд, собаки больше плывут, чем идут. И таким вот манером прочесали мы камышовые чащи вдоль, поперёк и даже наискось, а того, кого разыскивали, так и не обнаружили.

А уже светать стало. Заря зажглась. Дикие утки засвистели крыльями, откуда-то с ночёвки к приболотному озерцу потянулись. Кто-то из наших ребят ругнулся тишком, говорит: «Неужто этот жох-нарушитель тоже вот так вот по воздуху улетел?» А товарищ лейтенант усы сердито пощипывает, хмурится. «Нет,— говорит,— и нет! Я сам теперь уверен: он где-то здесь. И мы его всё равно доймём. А вернее — перетерпим. Не может он всю жизнь в болоте сидеть. Ему своё шпионское задание выполнять надо. И вот как он из камышей на сухое место полезет, так мы его тут и накроем».

И приказывает товарищ лейтенант всем нам спрятаться, наблюдать за камышами. Меня, как самого молодого — я тогда четверти срока ещё не прослужил,— он поставил в секрет возле самого утинового озера. Через открытое пространство, мол, нарушитель вряд ли поплывёт, а всё ж для порядка перекроем ему лазейку и тут...

Ну, я и скоронился на берегу в кустах, а место мне это, в общем-то, знакомое. Я сюда с водителем Парамоновым раза два за рыбой приезжал. Не с удочкой, конечно, приезжал — с удочкой бойцу забавляться некогда,— а ловили тут испокон веков пограничники рыбу для своей кухни такими прутяными кошелями — длинномордыми вёршами. Они здесь так в кустах и валялись: которые уж старые, ломаные, которые — поисправней, поновей... Подскочишь сюда на машине вечером, на дно омута верши забросишь, утром вернёшься, за бечёвку вытянешь, а там — караси, как золочёные блины, так с боку на бок и ворочаются, так и плещутся!

Но дело, конечно, не в карасях. Я же тогда в боевом секрете был. Я даже не столько на озеро, сколько по вдоль берега смотрел. Думал: по воде нарушитель и правда не пойдёт, он же не лягушка, а вот у самой воды по кустам прошмыгнуть, возможно, постарается.

Гляжу и гляжу, затаился так тихо, что даже селезень-чирок, нарядный, словно жених, плюхнулся на воду невдалеке от меня. Опустился и давай плескаться, давай охорашиваться... А потом как гаркнет не своим голосом да как брызнет в камыши, в чащу наулёт,— только звон по всему озеру пошёл!

«Что такое? — думаю.— Кто его спугнул?» Щук в озере нет, никто на том месте из воды за селезнем не вынырнул. Только листья кувшинок там, как зелёные плотики, покачиваются да единственная, вдали от всех, камышинка торчит. Обломанная такая камышинка, довольно толстая и — совсем одна. И тут — стоп! Я в эту камышинку так и впился глазами. Она постояла, постояла да прямо с места торчком, не торопясь, и пошла! Даже две струйки за нею клином расходятся, и правит она к берегу, на моё укрытие...

Не хочу врать — я даже вздрогнул.

Вздрогнул, этак вот привстаю да тут и догадываюсь: «Это же он, диверсант, самолично!» Он там под водой всё время и отсиживался, дышал через пустую камышинку, потому мы его и не могли разыскать даже с собаками. А теперь вот он решил: раз тут утки-селезни садятся, то всё успокоилось, значит, можно выходить. И гребётся по дну к берегу, а меня ему из глубины, конечно, не видать.

Ему не видать, да зато мне хорошо видно. И я ещё не знаю, что делать. Диверсантов я сам, один, не брал никогда, хотя и обучался. Но на учениях можно ведь и ошибиться, там поправят,

там выручат, а здесь поправлять меня некому. Здесь надо действовать наверняка.

И вот я шарю зачем-то вокруг себя и тут натыкаюсь на остатки старой, но здоровенной верши.

А как нашарил её, так вмиг и к встрече изготавился. Благо верша-то без горловины, без воронки теперь, и входное отверстие — не то что рыбина, но и целый кабан туда проскочит.

Я эту вершу уцепил одной рукой за бок, за прутья; другая рука — на автомате, на спусковом крючке.

И вот камышинка к самому берегу, и я с вершей к берегу. Вода зашумела, и вылезит оттуда мокрая, как у моржа, голова. Тут я прямо на эту голову, на плечи тому водолазу снасть свою как ўхну сверху, так она вся целиком на него и наделась!

Он дядька ничего себе, крепкий. Покачнулся, не упал. Стоит по пояс в воде, из верши из нутра что-то мычит. А я ору:

— Руки вверх! Руки!

Но это уж я от заполошности, сам в первый-то миг мало чего соображаю. И только потом, чуть спустя, до меня доходит: руки ему поднять невозможно, он весь как спелёнутый.

Он и на берег в таком положении вскарабкаться не может. Ну, а я держу его под прицелом, выхватываю ракетницу и — ба-бах-х! — запускаю в небеса зелёный сигнал: попался, мол, который так ловко скрывался, бегите, братцы мои пограничники, ко мне скорей!

Через минуту слышу: топают, мчатся. Товарищ лейтенант подбежал раньше всех, но и ребята не мешкали ничуть. А как увидели мою обстановку, встали, хохочут:

— Вот так карася Полухин изловил!

Лейтенант хотя и ухмыляется сам, но всё же так приказывает:

— Смех отставить! Пленного нарушителя из воды вытащить, корзину эту с него снять.

И мы пленного моего на берег выбуксировали, обезоружили, а потом уж и сдёрнули с него прутьяную ловушку. Причём сдёрнули еле-еле, до того она на нём сидела туго. А он, водолазище, освободился, дюжие плечи свои размял да и говорит с этакой обидой на чистом русском языке:

— Безобразие какое! По-другому не могли меня взять? Так не по правилам.

Товарищ лейтенант, Иван Иванович Крутов, теперь засмеялся вместе с нами, на жалобу ответил:

— Извините, господин-сковородин, нарушитель государственной границы! Брал вас новичок. Он ещё к правилам не привык. А вот кто следом за вами через границу пойдёт, того мы и по всем правилам возьмём... Только не по вашим, а по нашим!

Тут Вася Полухин рассказ прервал и опять — в который уж раз! — глянул в окно на тёмную улицу. Да вдруг обернулся так быстро, что Таня с мамой вздрогнули, привскочили:

— Что там ещё случилось?..

А Полухин рассиял:

— Тревожная группа вернулась! Бегите встречайте!

Он так легко вздохнул, что теперь сразу стало видно: о сегодняшней тревоге, о своих уходивших на задание товарищах он тоже помнил каждую минуту.

Он повторил:

— Бегите! Группа у самых ворот.







## ПОСЛЕ ТРЕВОГИ

Таня с мамой выбежали на плац.

С той стороны, где над ночным, едва заметным горизонтом совсем высоко поднялась полная луна, прямо из-под этой луны в распахнутые ворота, в слабо залитый лунным светом белый двор въезжала тревожная группа.

Обе тёмные, без включённых фар машины теперь катились тихо. Моторы пошумливали устало. А когда машины остановились под чёрными тополями и дверцы распахнулись, то и бойцы оттуда стали выскакивать не так уж бойко. Они разминались, чиркали в темноте яркими и мгновенными огоньками спичек, прикуривали, в казарму уходить не спешили, а так и грудились тут у машин тесною компанией.

Они пошучивали, поглаживали молчаливых собак. Они говорили о трудной теперь по осенним ночам дороге, всё почему-то упоминали сержанта Парамонова. А когда сержант и сам вылез из кабины, то все его окружили и одобрительно, по-дружески засмеялись:

— Ну, Парамонов, ты теперь дважды именинник!

А ещё они говорили о камышах, о реке, о кабанах. И если бы в их разговоре то и дело не проскакивало слово «тревога», если бы не так холодно и опасно взблёскивало при луне оружие за плечами бойцов, то вполне можно было подумать, что это и не пограничники вовсе, а только что вернувшиеся с поля усталые охотники.

Но Таня была мала и так не подумала. Она ещё хорошо помнила тот Васин рассказ с жутковатым началом и, оглядев тёмный, с тёмными фигурами бойцов плац, сказала маме:

— А папа где? Все приехали, а папы нет...

Мама не знала и сама. Она хотела было спросить про папу у Парамонова, но тут в стороне от

машин из двери, из прихожей домика, упал на тёмную землю косою свет.

Из домика донеслось:

— Ау! Где мои хозяйки?

— Ой, он уже дома! — сразу обрадовалась Таня. — Он сам нас потерял!

И они вбежали в освещённый домик. Они чуть не запнулись в прихожей о свой так и не разобранный чемодан. А папа сидел в передней комнате у стола, смотрел на них, тихо улыбался. Был он без фуражки. Фуражка лежала на скатерти рядом, а сам он облокотился на край столешницы — он тоже, как видно, устал, но глаза его смотрели всё равно ласково.

Таня ткнулась ему лицом в грудь, в тугую, плотно облегающую тело гимнастёрку. Она услышала, как пахнет от гимнастёрки какою-то горьковатою травой, ночной влагой, бензиновым дымом; услышала, как папа положил на её, Танино, узкое плечо свою ладонь и сказал:

— Вот теперь-то вы заступили на пограничную службу полностью.

— Как заступили? Мы ничего ещё и не сделали... — пробормотала Таня ему в гимнастёрку, а папа ответил по-прежнему улыбочиво, мягко:

— Нет, сделали. Ждали меня с задания. Это ваша служба и есть. Причём, уверяю, нелёгкая.

— Видим! Поняли, что нелёгкая, — улыбнулась и мама, но тут же добавила: — Только всё равно она не такая трудная, как твоя.

Папа вновь посерьёзnel:

— Да-а уж... Если бы не Парамонов, то мне и всей нашей группе сейчас шутить не очень-то пришлось бы.

— А что Парамонов? И почему бойцы говорят: он два раза именинник? — спросила быстро Таня и папа ей ответил:

— Говорят бойцы правильно.

Тут, не отпуская от себя Тани, но больше по-

глядывая на маму и называя её, конечно, не по имени-отчеству, а просто Натой, он стал показывать рукой на скатерти, как на карте:

— Вот, Ната, представь: это — наша застава, это — река, далеко за рекой застава соседняя. И с той, соседней, заставы радируют: у них по всему участку, по камышам, всполошились кабаны. А что сей переполох может означать?

— Не знаю... — пожала плечами мама, и папа сразу объяснил:

— Кабанов кто-то мог взбудоражить нарочно! А сам под шумок пытается перейти границу в каком-нибудь неожиданном месте. Ну, а где это неожиданное место?

— Опять не знаю... Откуда мне знать? — ответила мама таким голосом, как будто извинялась.

Папа тут даже пристукнул ладонью по столу:

— Вот! Этого не знали до поры и наши соседи. Потому и радировали нам: «На всякий случай да как можно быстрее прикройте наш фланг!» И мы, ясно-понятно, мчим, как можем. Но — я тебе уже показывал! — фланг-то соседский на том, на левом, берегу. А река в этом месте — омут на омуте. Подходы к реке — обрыв на обрыве. Причём один круче другого, и объезжать их надо вверх по броду, который вы с Таней и сами сегодня видели.

В общем, получается — надо нам сделать изрядный крюк, а сосед всё радирует: «Быстрее да быстрее!» Но куда уж быстрее? Мы и так в кабине как космонавты: кто за что держимся. Рация у меня из рук чуть не вылетает, я показываю на неё Парамонову, кричу: «Слышишь, что сосед просит?» — «Так точно, слышу!» — кричит он, да только скорости ему больше не добавить — и так летим на самой на сильной. «Эх, — переживаю я, — небывалое дело, можем опоздать!» И тогда Парамонов оборачивается ко мне — глаза большущие, фуражки на голове давным-давно нету, — кричит ещё громче, сердито: «Опоздать не до-

лжны! Я тут знаю один прямой ход... Разрешаете?» Ну, расспрашивать бойца в такой обстановке некогда, в такой обстановке в бойца мне приходится только верить, и я отвечаю ему: «Знаешь — так давай тем ходом и жми!»

Тут папа смолк на миг, потом, как бы сам себя осуждая, крутнул этак головой и продолжил:

— Ох, если бы мне известно было тогда, что у Парамонова на уме! Ни за что бы ему согласия не дал... Но тут, повторяю, обстановка... И как только я махнул ему: «Давай!» — так он тут же на секунду притормозил, отсигналил второй нашей машине: «Делай, как я!» — и опять за руль ухватился.

Ухватился, пригнулся — да и с дороги через кусты, через лужайки прямо к реке, прямо к омутам, к обрывам. И нет чтобы рулить туда, где берег пониже, газует к самой крутизне. Кричит нам всем, кто в кабине: «Держись!» И не успели мы ахнуть, чувствую: летим над рекой по воздуху. «Ну,— думаю,— конец! Ухнем к рыбам!» И конечно, ухнули... Брызги над нами — столбом. А Парамонов опять кричит, только теперь уже не нам, а машине своей: «Давай жми, выноси!» И ведь в самом деле — вынесла нас. А вслед за ней и вторая машина пролетела над омутом метров пять и выкатилась рядом на мелкое место.

Привстали мы отдышаться. Парамонов фуражку в кабине у себя под ногами ищет, на меня поглядывает: как, мол, оно? А я сгоряча: «Ну сержант! Ну рискач! Почему сразу толком не объяснил? Машины могли угробить, операцию сорвать!» А он: «Никак нет, я не рискач... Вы же сами учили: ко всему готовься заранее. Вот я к этому месту всё и приглядывался. Как днём еду мимо, так и посмотрю. Один раз даже до трусов раздевался, с шестом тут лазил, высоту и глубину промерял... А сегодня, видите, всё и пригодилось!» Ну, что тут скажешь? Ничего! Благодаря пара-

моновскому «ходу» примчались мы на место тютелька в тютельку, и, как нам вскоре отрадировал сосед, нарушитель от злости, что везде всё перекрыто, пошёл напропалую — чуть ли не у самой их заставы, да там и влопался. Вот и выходит, Парамонов — именинник!

— Но это во-первых — именинник... — сказала Таня. — А во-вторых?

— А во-вторых, у Парамонова сегодня день рождения. Если силёнки у вас ещё остались, пойдём его поздравим. Бойцы для Парамонова затевают чуть ли не целый бал.

Мама сказала:

— Поздравим обязательно! Только нам надо с дороги переодеться. Давай сюда наш чемодан.

И она отстегнула замки, тугая крышка подскочила, и оттуда, из набитого всякой всячиной чемодана, выпала одна голубая банка, выпала вторая банка, а за ними с тяжёленьким, жестяным рокотом — ну совсем как игрушечные паровозики! — покатались по полу и все остальные банки со сгущёнными сливками.

— Это что за молочно-продуктовый эшелон? — опешил папа.

А мама сконфузилась, принялась банки ловить, подбирать, ставить на стол.

— Нам сказали, на заставе ничего такого нет...

— А у вас — есть. Даже Пестрёнка есть! — развела руками Таня и тоже хотела подхватить с пола одну банку. И папа на эту банку нацелился. Тут они так стукнулись головами, что охнули, потом присели друг против дружки и давай хохотать.

Смеялись, смеялись, наконец папа махнул на голубую грудку:

— Ладно! Раз привезли, значит, привезли. На заставе ничего попусту не пропадало. Собирайтесь быстрее! Айда к Парамонову.

И мама с Таней унесли лёгкий теперь чемодан

в другую комнату, быстро переоделись, немножко прифрантились, вместе с папой пошли поздравлять Парамонова.

За порогом Таня спохватилась:

— А подарок-то?

— Ничего,— сказал папа.— Сержант поймёт: вы всё ещё с дороги. А от заставы, от пограничников, подарок ему готов.

### ПОДАРОК ПАРАМОНОВУ

На чёрно-синем краю неба, куда не достигало серебряное сияние луны, высыпали крупным горохом звёзды. На сторожевой вышке, за воротами заставы и везде, где полагается, уже давным-давно заняли свои места ночные караулы.

А на самой заставе тоже ещё никто не спал. Все, кто был свободен от дежурства, собрались в столовой. Там полыхало электричество, раздавались шутки, смех, но когда папа, Таня и мама вошли, то все бойцы вскочили, подтянулись.

Ефрейтор Вася Полухин, всё ещё облачённый в свой длинный фартук, устремился к папе, хотел ему о чём-то докладывать.

Папа Васю остановил:

— Отставить, отставить... Прошу без формальностей. Сейчас и так известно, зачем мы собрались.

Потом сказал всем бойцам:

— Вольно... А ну-ка, покажите нам нашего именинника. Где он?

Вперёд уверенно, легко вышагнул стройный Парамонов. Он улыбался, он сиял новыми, в честь события, лычками на погонах, сиял всеми начищенными на парадном мундире пуговицами и, хотя была команда «Вольно!», предстал перед папой, перед Таней и мамой, щёлкнув каблуками, грудь — вперёд.

Папа одобрительно крикнул, сам подтянулся, сказал:

— Молодец! К собственному торжеству готов?

— Так точно! — ещё веселее и опять щёлкнув каблуками ответил Парамонов.

— Тогда приступим к вручению подарка.

Но сказать-то папа про подарок сказал, а в руках у него ничего не было.

Папа обернулся туда, где на стенде с красной надписью «НАШИ ЛУЧШИЕ ЛЮДИ» блестели глянцем в тонких рамочках фотографии бойцов. С одной из них смотрел и сам сержант Парамонов. Он стоял там во весь рост с оружием в руках у своего вездехода, а вернее, как подумала Таня, вездехёта. И сразу было видно, что он вот-вот готов отправиться на какое-то очень ответственное задание — такой там был у Парамонова вид.

Фотография была замечательной, и папа, взглянув на неё, так и сказал:

— Замечательно...

И вдруг стал вынимать фотографию из рамочки, снимать с почётного места.

У сержанта Парамонова, у того Парамонова, который стоял здесь рядом с товарищами, сделались большими глаза.

Товарищи загудели:

— Что такое? Зачем снимать? Надо бы наоборот — его фотографию сегодня чем-нибудь украсить...

А папа засмеялся:

— Я наоборот и делаю.

Он снял фотографию, перевернул, положил на стол, вынул из кармана авторучку и принялся аккуратно писать на белой стороне, повторяя, не торопясь, вслух:

— «У-ва-жа-е-ма-я Ан-на Три-фо-нов-на!»

Поставил восклицательный знак, полубовался и, будто гордясь самим собой, спросил у Парамонова:



— Верно я запомнил имя твоей дорогой ма-  
тушки? Не ошибся?

— Так точно! Не ошиблись! — всё ещё в силь-  
ном недоумении ответил Парамонов.

А папа написал на фотографии ещё и полное  
имя Парамонова-отца и снова спросил: «Так  
ли?» — а затем громко прочитал всё, что теперь  
вышло.

А вышло вот что:

*«Уважаемая Анна Трифоновна!*

*Уважаемый Сергей Алексеевич!*

*Спасибо Вам за то, что воспитали такого хорошего  
сына. Ваш Николай — пример для всей нашей за-  
ставы, и эту фотографию мы посылаем Вам в день  
его двадцатилетия!*

*Начальник заставы И. Крутов».*

А ещё папа приписал слово «комсорг» и ог-  
лянулся:

— Если комсорг согласен, пусть тоже поставит  
свою подпись.

— Конечно, согласен! Вместе всё придумыва-  
ли! — отозвался не кто иной, как ефрейтор Вася  
Полухин и с превеликим удовольствием поставил  
рядом с папиной подписью свой росчерк-завитуш-  
ку. Поставил, сказал Парамонову: — Вот подарок  
тебе, Парамоша, так подарок! В родной деревне  
увидят! А за доску Почёта не беспокойся. Мы с  
тебя новое фото сделаем и опять под рамку  
поместим.

— Да я и не беспокоюсь... — растерянно-радо-  
стно топтался Парамонов, не зная, что больше  
сказать. — Я не беспокоюсь... Спасибо вам всем.

## БАЛ

И тут грянул бал. Точнее, сначала не грянул,  
а наплыл на всех в виде большого-пребольшого  
сладкого пирога.

Но прежде чем пирог появился, произошло ещё одно очень важное событие.

Когда Вася побежал на кухню за именинным пирогом, то он позвал себе на подмогу и Таню с мамой. И они как на кухню пришли да как пирог увидели, так мама сразу принялась Васю хвалить.

✓ Пирог был румяный, круглый, размером с хорошее колесо. А по всему кругу — сахарные вишенки, числом ровно двадцать штук. Числом ровно столько, сколько Парамонову исполнилось лет.

Пересчитав вишенки, мама похвалила Васю ещё раз, а Таня вдохнула ванильный запах, посмотрела на пирог, на его поджаристую, но пустую середину и решительно сказала:

— Хорошо, но можно сделать ещё лучше. Я — сейчас!

Она кинулась было к двери, но мама заступила ей дорогу, и Таня стала поспешно объяснять:

— Вот здесь-то и пригодятся сгущённые сливки. Ими на пустой середине на пироге можно нарисовать ещё что-нибудь красивое... Помнишь, как мы рисовали в мой день рождения дома?

— Верно! — спохватилась мама.

— Идея отличная! — подхватил и Вася и, так как на дворе было темно, в командирский домик за голубой банкой слетал сам.

Потом они проткнули тонкое донце и тягучими сливками изобразили на пироге жёлто-белый цветок. А в середине цветка косо, но зато вкусно вывели — КОЛЯ.

В таком вот совсем расчудесном виде пирог и вплыл на широкой доске в столовую. Папа и бойцы сразу встали, захлопали в ладоши. А сам Парамонов пожал Васе руку, пожал Тане руку и лишь маме пожать руку постеснялся.

Когда же бойцы пирога отведали, все опять захлопали Васе. И счастливый Вася разошёлся на полную катушку:

— Раз такое дело, то дайте я ещё скажу в честь

именинника речь. Заздравную! Я её подготовил вместе с пирогом. То есть в то время, когда пёлся пирог. Я даже придумал к этой речи вот такое вот заглавие: **Сержант Парамонов — лихой пограничник, в службе и в дружбе — во всем он отличник!** Ну, а дальше...

Тут Вася засунул руку в карман фартука. Пошарил, пошарил — полез в другой карман:

— Ну, а дальше у меня всё на бумаге. Пирог мог сгореть, разучивать речь было некогда.

И опять он пошарил по карманам, и опять ничего не нашёл. И тогда он развёл руками:

— Вот те на! Бумагу-то я, кажется, позабыл на духовке или даже в духовке... Подождите, сбегая.

Тут все засмеялись, все сказали:

— Если в духовке, то, считай, речь твоя тоже спеклась. Но хватит и заглавия. Про Колю Парамонова там сказано всё. Это даже не заглавие, а целое стихотворение. Мы его перепишем в стенгазету. А сейчас, ефрейтор, давай-ка включай музыку.

Но Вася разыскивать пропажу всё-таки пошёл. По пути он снял с тумбочки, с магнитофона, прозрачный колпак, нажал там какую требуется кнопку, и в столовой раздалась очень живая старинная полечка.

Папа встал из-за стола, поправил усы, по-старинному поклонился, приглашая маму. Бравый Парамонов одёрнул мундир, подлетел к Тане. Бойцы за неимением других дам пустились в круг друг с дружкой.

Парамонов для Тани кавалером был, конечно, высоковатым, она доставала ему лишь до пояса. Но Парамонов так ловко наклонялся, так ловко держал Таню за руку, так плавно и вовремя поворачивался, что танец у них получался — лучше не надо.

Тут вернулся Вася Полухин. «Заздравную речь» он, как видно, не нашёл, потому что лицо

у него было всё ещё расстроенное. И совсем уж он затуманился, когда увидел, что ему теперь и танцевать не с кем. Все проносились мимо Васи парами, все были заняты. И тогда Вася поступил так, как в этом случае поступать и следует: сделал вид, что танцевать ему не очень-то хочется. Он присел к магнитофону, стал там деловито ковырять какой-то винтик.

Но Таня всё это заметила, кивнула сержанту Парамонову: «Наклонитесь чуть пониже!» — и тихо, почти на ухо Парамонову сказала:

— Хорошо бы сделать как-то так, чтобы и Вася потанцевал.

— Сделаем! — ответил безо всяких яких Парамонов. И тут же вдруг заприхрамывал, заохал во весь голос: — Ох, ох! Видно, у меня в каблуке гвоздь. Видно, я на сегодня отплясался.

Припадая на один бок, он отошёл к окну, а Таня подбежала к Васе, протянула ему руки.

Вася — куда всё нежелание девалось! — мешкать не стал, тут же пустился с Таней по кругу.

Танцевал он не хуже Парамонова. Таня сразу ему сказала об этом, да ещё и добавила:

— Вы сегодня, Вася, тоже как именинник. С вами тоже очень весело. Вон сколько умеете всего, даже стишки придумывать. А для меня, Вася, вы могли бы придумать стишок?

Вася улыбнулся, ответил честно:

— Вряд ли! Я этот заголовок к речи и то чуть ли не весь день складывал... Но придумать для тебя что-нибудь хорошее всё равно постараюсь.

Вася с Таней поговорили бы ещё, но тут музыка смолкла, и танец оборвался. Танин папа, лейтенант Крутов, сам подошёл к магнитофону, сам щёлкнул выключателем.

Он поднял руку, постучал по запястью, по стеклу своих часов:

— Всё! Балу конец.

## Я ПРИНЕС ЛУНУ...

С бала расходились быстро. Те бойцы, кому полагалось тежерь отдыхать, ушли по длинному коридору в спальные помещения. Те, кому надо было в караул, на смену товарищам, надевали тёплые бушлаты, подпоясывались, разбирали из стоек оружие.

А минут через пять Таня увидела с тёмного крыльца, как папа провожает их.

Отбрасывая при лунном свете короткие тени на плац, бойцы чётким, рубящим шагом плотными группами подходили к папе, и старший группы скидывал к козырьку ладонь:

— Пограничный наряд для получения приказа на охрану государственной границы подготовлен!

Папа включал фонарик, освещал бойцов. У иных он брался за широкие с патронными под-сумками пояса, крепко встряхивал, проверял, хорошо ли всё подогнано; у иных осматривал оружие. И лишь после этого не очень громко, но торжественно отдавал приказ выступить на охрану государственной границы.

Группа вся враз поворачивалась и сначала всё тем же крепким, чётким шагом, а потом свободно, бесшумно скрывалась за воротами в белёсом тумане. Следом в туман, в ночь, в прохладную тьму уходила вторая группа, за ней третья...

Дома, в пахнувшей краской квартире, папа распахнул окна, и по обеим комнатам пробежал сырой сквознячок. Таня от усталости чуть не падала, но потянулась к высокому подоконнику:

— Можно, я досмотрю, как эти бойцы уходят дальше, а другие возвращаются?

Папа придвинул стул, посадил Таню:

— Смотри, только тут ничего не увидишь, тут — сад. А встреч да провожаний на тебя ещё

хватит... Ты ведь и познакомилась ещё не со всеми.

Мама пошутила:

— И не всем ещё преподнесла именинный пирог со сливками.

Папа сказал:

— А что? Сколько на заставе бойцов, столько и дней рождения. Так что дел теперь у Тани — оё-ёй! Боюсь, банок со сливками не хватит.

— А мы Пестрёнку добавить попросим! А ты нас завтра ещё и с Пестрёнкой познакомь! — засмеялась Таня.

И папа ответил, что, конечно, познакомит, причём не только с одной Пестрёнкой, а ещё и с овчарками, и с кавалерийскими лошадьми, которые тоже живут и служат на заставе.

И вот они стояли разговаривали у раскрытого окна, сдвинутые занавески шевелил сквознячок, а из густой темноты сада к распахнутым белым рамам, к свету жилья так и тянулись яблоневые ветви. И почти в самой их тьме, куда свет из комнаты долетал уже слабо, неярко алело, отливало каплями росы крупное яблоко.

— Ой,— сказала Таня,— сбегая сорву! Я никогда не срывала с яблони яблок.

— Сейчас вымокнешь вся. Лучше утром сорвёшь,— сказал папа.— Утром оно будет ещё вкусней. А теперь пора спать.

Но только он хотел захлопнуть рамы, как вдруг в саду что-то треснуло и зашуршало. Закачались ветки, и перед окном в светлом пятне возник Вася Полухин. Был он в полной пограничной форме, знак-награда на кителе так и блестел, когда Вася встал почти вплотную к подоконнику.

Папа, завидев бойца Полухина в неположенном в ночное время месте, неодобрительно нахмурился. Папа что-то хотел сказать, но Вася его опередил:

— Прошу прощения, товарищ лейтенант! Разрешите обратиться к вашей дочурке!

— Разрешаю... Но по какому вопросу?

— А по такому, что я должен исполнить обещание. Я принёс ей луну.

— Чего? — изумлённо замер папа.

— Чего, чего? — вытянула шею мама.

А Таня поглядела на яркий, большой лунный круг над яблоневым садом, над покатыми кровлями заставы и недоверчиво улыбнулась:

— Луна на своём месте...

Но Вася уверенно положил перед Таней на окно спичечный коробок:

— Я тебе другую принёс... Маленькую.

И Таня, стоя на коленях на стуле затаив дыхание, коробок приоткрыла. Папа с мамой тоже к нему наклонились. И все они увидели ночную лёгкую бабочку. На серебристо-белых крыльях её желтело, слабо переливалось тонкими тенями овальное пятнышко, и всё тут было точно так, как будто на самом деле в спичечном коробке светится маленькая луна.

— Ох, Ва-ася... — одно лишь это и сумела прошептать Таня.

А мама и прошептать ничего не смогла. Лишь один папа совсем не командирским голосом, совсем не по-командирски взглянув на Васю, произнёс:

— Я всегда про вас, ефрейтор, знал: вы удивительно добрый человек.

Васе, как видно, от таких невоенных папиных слов сделалось неловко, непривычно; он тут же заторопился, даже позабыл поднять ладонь к фуражке.

— Разрешите отбыть на отдых? Моё дежурство по кухне закончилось.

И папа всё тем же голосом ответил:

— Отдыхайте, отдыхайте... Утром нам с вами,

ефрейтор, опять на службу, опять в боевой наряд.

А затем, когда Вася ушёл через тёмный сад к себе в казарму, Таня улеглась в постель, но настольную лампу над своим изголовьем выключила не сразу.

Опершись на мягкую подушку, она снова раскрыла коробок и долго разглядывала маленькую бабочку-луну. Она слушала, как за полуоткрытой дверью в другой комнате папа и мама всё ещё разговаривают — сначала про Васю, потом про Парамонова, потом про то, как они, Таня и мама, добирались сюда на заставу из Москвы. И под их негромкие голоса Таня тоже припомнила весь сегодняшний день, всю длинную дорогу. Припомнила и то, как они с мамой в Москве собирались в путь.

Вспомнила и чуть слышно про себя рассмеялась:

— А ведь мы обещали Павлину Егорычу открытку. А раз обещали, надо, как Вася Полухин, обещанное выполнять.

И Таня стала думать, что же они с мамой расскажут в открытке. А наверное, вот что. Таня продиктует, а мама напишет: «На заставе хорошо.

На заставе не только служат, на заставе все ещё и дружат. Очень. А кроме того, нам уже подарили...»

Но тут Таню поборол сон. И она, так и не выпуская из тёплой пригоршни коробок, уснула.

Она даже не слышала, как мама вошла в комнату, выключила лампу.

Не слышала, как за яркозвёздным прямоугольником окна поднялась в небо зелёная ракета и опять по всей заставе захлопали двери. И в её, теперь Танином,







домике хлопнули за папою двери, и вновь зафырчали во дворе машины, и распахнулись и опять закрылись широкие створки ворот.

Суровая пограничная служба позвала папу и его товарищей не завтра, не утром, а снова и, как всегда, в самое неожиданное время — прямо сейчас.



# **МАЛЫЕ ЗВОНЫ**

РАССКАЗЫ





## ГРУСТНАЯ ЭЛИЗАБЕТ

Пётр Петрович Иванов был хорошим детским врачом. Сначала он работал в небольшой амбулатории, в пригородном селе, а потом его пригласили в областную больницу, в сам город.

С Петром Петровичем на новое место переехали, конечно, и его сын Вася и Васина мама.

В городе Вася опять стал ходить в школу, а Пётр Петрович и тут лечил ребятишек, и лечил по-прежнему замечательно.

Маленьких пациентов на приёме у Петра Петровича было всегда полно. Он их выстукивал и выслушивал с утра до вечера, а когда приходил в поздних сумерках домой, то, случалось, и дома, не успевал он снять шляпу, не успевал протереть нахолодавшие на морозе очки, как тут же в прихожей начинал названивать телефон.

И Пётр Петрович, опережая Васю и Васину маму, хватался за трубку, отвечал в неё: «Алло... Я слышу! Я сейчас!» — и снова нахлобучивал шляпу.

Но вот как-то по весне уж, в одно из воскресений, когда Пётр Петрович был всё же дома и вся семья Ивановых была дома, в квартире у них затренькал не телефон, а дверной электрический звонок.

Пётр Петрович отворил, и в прихожую прямо-таки влетел кругленький пряткий гражданин в лохматом полупальто и в барашковом картузике.

Весь красный от великой поспешности, он сначала привалился к дверному косяку, отпыхнулся, а потом сдёрнул картузик, быстро, но вежливо отвесил поклон маме, отвесил поклон Васе и, запрокинув круглое лицо, уставился на высоченного и сухопарого Петра Петровича:

— Доктор, я к вам! Вы самый авторитетный медик в городе!

Пётр Петрович от смущения тоже весь покраснел, тоже быстро ответил:

— Не самый, не самый... Я рядовой детский врач.

Но гостя было уже не остановить. То и дело взмахивая короткими ручками, он сбивчиво и заполошно затараторил:

— Вот и славно, вот и расчудесно! А я — Чашкин... А я заведую здешним зоопарком. Но речь идёт сейчас, доктор, не о наших с вами должностях-званиях, речь идёт о жизни или смерти одного прекрасного существа. Крошка Элизабет вчера вечером и сегодня утром окончательно и бесповоротно отказалась от всякой еды!

Пётр Петрович, конечно, сразу насторожился весь и даже, как всегда в экстренных случаях, сразу потянулся к вешалке за своим пальто и за шляпой.

— Говорите толковей, быстрее!

Говорить ещё быстрее Чашкин не мог, но толковее объяснился:

— Элизабет — наша единственная во всём зоопарке лошадка-пони, и с нею творится что-то неладное. Овса, сена не ест, воды не пьёт, сегодня утром отказалась даже от пареных отрубей, хотя очень их всегда любила.

— Что не ест? — замер от удивления Пётр Петрович. — Кто не ест? Какая такая пони? Какие такие сено овёс и при чём тут я, детский врач?

У него и брови поднялись торчком, и лицо вытянулось, а потом он вдруг рассмеялся, закинул пальто обратно на крючок, на вешалку:

— А я-то сначала подумал, Элизабет — это ребёнок... Ну и приходит же кое-кому в голову такая вот несуразица: давать лошадям человеческие имена, да ещё — заграничные.

— А она и есть заграничная! Чистейшая шотландская! Она и есть как ребёнок! — взмолился Чашкин. — Все животные, когда болеют, становятся

ся ну прямо совершеннейшими детьми! Хоть слон, хоть бегемот, хоть такая крохотуля-невеличка, как наша Элизабет... Рассказать о своей болезни она не может ничего, а глядит на вас, моргает глазами так, что вам и самим хоть впору зарыдать!

И Чашкин, действительно едва-едва не плача, принялся объяснять уже не криком, а быстрым, тревожным полушёпотом, что вот именно из-за этой-то схожести его четвероногих питомцев с ребяташками ему и пришла в голову такая невероятная, такая, можно сказать, сумасшедшая мысль: позвать к Элизабет детского врача! А прямой специалист по лошажьим болезням — ветеринарный фельдшер — у неё уже был... Был, ничего не нашёл, сказал, что у лошадки просто такой временный каприз и что скоро всё это пройдёт. Но он, Чашкин, фельдшеру не верит! Слишком Элизабет грустна для капризов, и если тут ещё и Пётр Петрович откажет, то неизвестно что и случится, то неизвестно что и делать.

— А ничего пока и не надо делать,— совсем теперь спокойно, даже безо всякой усмешки ответил Пётр Петрович.— Советую день-другой обождать. Послушаться вашего, как вы сказали, прямого специалиста. А сейчас, милости прошу, к нам на горячие пирожки, на кофеёк!

Но расстроенный Чашкин лишь расстроено посмотрел на Петра Петровича, сказал: «Эх-х.а» — и пошёл не туда, откуда у Ивановых так аппетитно потягивало горячим кофейком, а медленно и понуро шагнул к входной двери.

И тут неведомо что и стряслось бы дальше, если бы не Вася и не его мама.

Вася чуть ли не крикнул:

— Эх, папка! А сам говорил: «Кто бы где бы ни просил о подмоге, отворачиваться не честно!»

Мама тоже подхватила:

— Не честно! Пускай это не твоя обязанность, пускай это не ребёнок, а лошадка, но раз мы про

эту лошадку узнали, то и отказать ей в помощи нельзя никак.

— Конечно, нельзя...— сразу остановился у порога и вздохнул Чашкин.

А Вася добавил:

— Я теперь про эту лошадку буду думать каждый день.

— Я тоже,— сказала мама.

И тогда Пётр Петрович нахмурился, широко на всю прихожую развёл руками:

— Я-асно... Вы, получается, добряки, вы, получается, хорошие люди, а я — нет...

И он, как бы всё больше и больше сердясь, глянул на маму, глянул на Васю, немножко по-приветливее посмотрел на Чашкина и опять потянулся к вешалке. Он стал во второй раз снимать с крючка шляпу и пальто.

Вася мигом ринулся за своей тёплой курточкой, закричал:

— Можно, и я с вами?

Пётр Петрович кивнул молча, зато воспрявший Чашкин радостно выпалил:

— Можно! И даже обязательно.

## 2

И вот перед ними распахнутая навстречу весеннему ветру городская улица. На ней шум, весёлая людская толкотня. Дома, домишки, деревянные заборы золотисто-жёлты от солнца. На асфальтовых, ещё не полностью очищенных ото льда тротуарах — журчание ручьёв. На голых, но по-мартовски тёплых тополях — воробьиный ор. За тополями — сверканье рельсов, радостный трезвон трамваев.

Пётр Петрович с Васей сразу и пошагали было к трамвайной остановке, да Чашкин забежал вперёд:

— Не туда!



Он повёл их то узкими, почти пустынными переулками, то проходными полутёмными дворами, где всё ещё синел мокрый снег и где по водосточным жестяным трубам неистово грохотали падающие с крыш сосульки.

Под этот грохот Чашкин отважно нырял из одной сумрачной арки в другую, услужливо показывая:

— Налево, доктор, теперь направо... Простите, что веду такими ходами-переходами, тут намного быстрее.

А Пётр Петрович и сам теперь торопился, и Васю подгонял:

— Не отставай, нажимай, Васёк!

Но и Васю подгонять было тоже не надо. Вася торопился не только на выручку к неведомой лошадке — побывать в зоопарке ему хотелось давно.

Хотелось, да вот до нынешнего дня всё как-то не выходило, потому что и у Васи на это были тоже свои уважительные причины.

Сперва, когда Ивановы переехали в город, Вася просто не знал, что тут есть такое интересное местечко. А когда узнал, то наступило первое сентября и начались занятия в школе. А потом Васю приняли в хоккейную команду, и ему стало совсем уж не до чего, в том числе и не до зоопарка.

Кроме того, с этим-то вот хоккеем у Васи вышла такая история, что о ней сто́ит рассказать чуть подробнее...

Команда была, конечно, детской, школьной, и тренировал её учитель-физкультурник. Он быстро увидел, какой Вася после деревенской жизни крепенький да ловкий, и очень скоро назначил его вратарём. Но назначил не одного, а в пересменку с другим мальчиком, с Никулушкой Копейкиным. На одну игру, скажем, в сегодняшний вечер, тренер выпускал на лёд Васю, на другую игру, скажем, в следующий вечер, выпускал всегда Никулушку.

И всё было бы тут хорошо, если бы однажды вдруг Вася не взял, не удержал страшнейший удар — булит. Николушка ни разу таких ударов не брал, а он — взял!

Он и сейчас помнит, как ахнули все, когда шайба оказалась у него в руке, в ловушке, — и вот с этой-то минуты Вася Иванов крепко-прекрепко заужавал сам себя. Сначала заужавал молчком, тишком, а потом учудил номер и при всех.

Когда к ним на ледовую встречу приехала знаменитая команда тридцать третьей городской школы, когда Васиные боевые соратники и сам он выходили, грохоча коньками, из раздевалки, когда Николушка Копейкин провожал всех добрыми пожеланиями и немножко завистливым взглядом, потому что был в этот вечер запасным, — то Вася поравнялся с Николушкой и прищёлкнул перед его носом пальцами:

— Вот так-то! Нечего завидовать! Всё верно. Сегодня и безо всякого черёда должен был бы играть я. Сегодня сражаются хоккеисты — первый сорт!

Николушка мигом вскинулся, но тут же и грянул бас тренера:

— Отставить! Это кто это первый сорт? Это ты, Иванов, первый сорт? Отставить и твой выход. Садись в запас, на лёд идёт вратарь Копейкин.

А ещё он сказал, что за такое зазнайство и хвастовство его, Иванова, надо бы отправить даже не на запасную скамейку, а домой, но поскольку грех с Васей вышел впервые, то пускай Вася пока посидит вот тут в раздевалке у окошечка да и подумает: какой он сорт-фрукт на самом деле — наилучший или так себе, с пятнышком...

И, ошарашенный, расстроенный, Вася остался в раздевалке один. Перешагивая через вороха ребячьих обувок, не снимая коньков, он проковылял к длинной под окошком скамье и, почти ничего не видя от слёз, уткнулся в холодное стёкло.

О том, какой он теперь «сорт-фрукт», Вася понял сразу. На душе у Васи сделалось так, как будто он только что шёл на какой-то удивительно весёлый праздник, шёл вместе с друзьями, и вдруг все ушагали вперёд, а перед ним с треском захлопнулась дверь.

Она захлопнулась, и остался для него, для Васи, лишь вот этот квадратный проёмчик с надбитым стеклом: смотреть смотри, а проходить дальше и не пробуй! Там, на празднике, и без тебя, Васёк, хорошо. Там, на празднике, и без тебя, Васёк, обойдутся...

Но и в окошко почти ничего нельзя было разглядеть. Выходило оно чуть в сторону от хоккейной площадки на белые кусты, на утопанную дорожку, на белеющий в сумерках школьный сад, и Вася не столько видел, сколько лишь слышал, что там, на площадке, начиналось теперь.

А там, как всегда, орали, визжали, галдели, хлопали в ладоши ребяташки. Там заливался судейский свисток, хлестали по сосновым бортам крепкие удары шайбы, звенели на виражах коньки. Оттуда, как всегда, бил на все четыре стороны, достигая и Васиного окошка, радостный электрический свет, и только одно там было не как всегда.

Всё это ликующее, всё это светло-шумное празднество проходило теперь без Васи Иванова. И от этого Васе было ещё нестерпимей, ещё тошней.

Он так уж и думал, что на веки вечные одиноким и останется, но тренер был хотя и суров, да справедлив, наказал Васю на одну лишь тогдашнюю игру, простил тогда Васю и Николушка. Тем более что в матче-то с тридцать третьей школой Николушка сыграл превосходно.

А вот Вася с той поры и хвастаться зарёкся, и тренироваться стал ещё старательней, и вот из-за этого старания ни разу, как приехал жить в город, в зоологическом парке и не побывал.

Но теперь в зоопарк Васю вела, можно сказать, сама судьба.

Судьбой этой был толстенный, прыткий, пыхтящий на ходу, как паровоз, Чашкин. Перебежав ещё один не ведомый ни Васе, ни Петру Петровичу сугробный проулок, пронырнув ещё один сумрачный двор, он вдруг выскочил сам, а за ним и его попутчики, на весеннюю улицу. Обегая прохожих, повернули за угол, и вот — ворота зоопарка, фанерная рядом будочка.

Из будочки выглянула рыжая контролёрша в сиреновой фетровой шляпке:

— Прошу-у билетики...

— Это со мной! — бросил ей на бегу Чашкин, опять махнул Петру Петровичу и Васе, чтобы не задерживались, и запетлял теперь в толпе меж длинных вольер, построенных тут в солнечном затишке под огромными липами.

На самых макушках лип, под самой синью неба в тонком прутье возились, горланили, делили меж собой прошлогодние гнёзда вольные грачи. А у вольер гомонила тоже, но чуть поспокойнее, гуляющая публика. Больше всех тут было девочек и мальчиков. И больше всего их толпилось у бассейна, возле байкальской нерпы Нюрки.

Не могли ни в какое сравнение с нерпой Нюрой идти ни белки, которые, задрав пушистые хвосты, лихо накручивали деревянные мёленки-колёса, ни поразительно жирный, с полосатой и плутоватой мордой барсук, ни два развесёлых, кувыркающихся через голову тибетских медвежонка.

Вася даже про лошадку на миг забыл и сам прилип к парапету бассейна, уставился на Нюрку.

А она там, стремительная, вёрткая, чёрно-блестящая, то уходила в прозрачной воде к самому дну, то, плавно и красиво изогнувшись, абсолютно

бесшумно, без единого всплеска выставляла к зрителям из воды странно синеглазую, усатую голову.

И тогда кто-нибудь из ребят с бетонной, не очень высокой стенки кричал:

— Нюра, пас!

И швырял заранее приготовленный тут оранжевый целлулоидный мячик.

Нюрка почти на лету ловила его крепким носом, и — плюх! банг! — упругий мячик взвивался и вот уже снова лежал у самых ребячьих ног.

— Пас! — кричали снова ребяташки и снова швыряли Нюрке мячики.

Банг! Банг! — опять взлетали они, падали на парашет, ребяташки хохотали, довольная Нюрка повёртывалась кверху гладеньким брюхом, сама себе, как в ладоши, хлопала мокрыми лапами.

— Вот так провора! — захолопал было и Вася, да вдруг почувствовал, что остался в толпе один, что прыткий Чашкин и быстроходный Пётр Петрович ушагали далеко вперёд, и припустил за ними следом.

Настиг он их возле нешироких, с прочною сетчатою оградой загонов.

В одном загоне Вася тут же увидел горбоносого, надменного верблюда, который что-то медленно жевал и который в свою очередь глянул на Васю с высоты своего верблюжьего роста так по-барски, с таким пренебрежением, что Вася не выдержал, сказал ему ехидненько:

— Хо-хо!

Сказал скороговоркой и в общем-то, конечно, не вслух, а про себя, так чтобы верблюд не слышал.

Тем более, что рядом с верблюдом обитало ужасное страшилище. Сквозь железную ограду таращился на Васю лесной бычище — зубр. Он заслонил крепколобой башкой своей чуть ли не весь крепко-накрепко зарешеченный просвет меж

бетонными столбами в загородке, и казалось, сто́ит ему слегка приналечь, и вся ограда так с треском на Васю и рухнет.

Но это только казалось. Бык, видимо, отлично знал, давно проверил, что бетонные столбы куда прочней его лба, и стоял не шевелился. Он лишь разок совершенно мирно, совершенно по-коровьи фукнул широченными влажными ноздрями и ловко их прочистил одну за другой шершавым толстым языком.

А вот рядом с ним в уютном, симпатичном загончике не было никого.

Там только в самой глубине, у призакрытой двери жёлтого хлевушкá, на согретой солнцем земле копошились, выискивали что-то в соломенной трухе и нежно гуркали залётные голуби-сизари.

На прутьях ограды висела табличка с надписью:

## ПОНИ

А чуть пониже, помельче:

### *Шотландская,*

Пётр Петрович быстро взглянул на эту надпись:

— Гляди-ка... И верно, иностранка. Но где же она сама, ваша грустная Элизабет?

— В том-то и дело... — пропыхтел, отдуваясь, Чашкин и утёр взмокший лоб подкладкой картузика. — В том-то и дело: не ест, не пьёт, даже на прогулку в загончик свой не выходит... Пожалуйте, доктор, сюда.

И вот они все трое оказались на другой, на закрытой для посетителей, стороне зоопарка, и Васе почудилось на какое-то мгновение, что они снова в деревне.

По всему тесному задворью меж чёрных бревенчатых служб тут плыл, мешался с талым за-

пахом сугробов тонкий, напоминающий о деревенском лете, о лугах запах сена. Голуби и воробьи, поднимая шумный ветер крыльями, кидались тут прямо под ноги. Они хватали, поспешно подбирали кем-то рассыпанный у сарая овёс, а кто-то где-то, кажется за оконцами хлебов, по-гусиному гоготал, по-телячьи взмыкивал и даже, как Васе показалось, кукарекнул.

4

Чашкин звякнул щеколдой, открыл низенькую набухшую дверь. Из тёмного проёма пахнуло тёплой конюшней, свежими сосновыми опилками.

— Вот и сама Элизабет,— сказал Чашкин.

Но после светлого двора, после солнца здесь, в полутьме, Пётр Петрович и Вася лишь слепо заморгали.

Тогда Чашкин распахнул дверь полностью. А потом прошёл вперёд и толкнул вторую дверь, что выходила в загон с табличкой на ограде. И в сумеречное помещение сразу ворвался мартовский сквознячок, сноп света упал на истоптанные опилки, золотисто отразился на щелястых стенах, на потолке, и вот в самой тени в углу, за широкой, полной душистого сена кормушкой, Пётр Петрович и Вася увидели чудесную крохотную лошадку.

Масти она была тёмной, вороной. Аккуратно подстриженная гривка её топорщилась ёжиком. А из-под чёлки смотрели на Васю, помаргивали нечастыми длинными ресницами удивительно ласковые, с влажной искоркой глаза.

Очень ласковые глаза, очень добрые, но и очень печальные.

Вася сразу понял, что они печальные, и шагнул к лошадке, стал быстро обшаривать свои карманы. Пётр Петрович стал тоже охлопывать карманы да

ещё и заприговаривал, переименовав имя лошадки на свой собственный лад:

— Сейчас, Лизок, сейчас... Потерпи, маленькая.

Но Лизок-Элизабет и ждать не стала, что они отыщут, а вздохнула, повернулась и уставилась опять в свой угол, в какую-то там узенькую светлую дырочку.

Вася не нашёл в своих карманах ничего, тоже вздохнул.

И Пётр Петрович ничего не нашёл. И тогда раскрыл саквояж, вынул докторскую деревянную трубку.

— Ну-с... Приступим к прослушиванию. Только, пожалуйста, Чашкин, сделайте так, чтобы она не взбрыкнула.

— Да что вы, доктор! Да Элизабет ручная, как котёнок! — опять засуетился Чашкин и похлопал лошадку по круглым бокам, по спине, взворошил пушистую гривку, чтобы показать, какая Элизабет не брыкливая.

Действительно, ко всей длинной и утомительной процедуре прослушивания лошадка отнеслась очень покорно. И лишь когда Пётр Петрович легко прикоснулся к её мягким ноздрям своею прохладною ладонью, чтобы проверить, нет ли у лошадки жара, то она фыркнула и мотнула головой. Но это лишь оттого, что от ладоней Петра Петровича и от его одежды, наверное, пахло лекарством.

А потом он опять принялся её выстукивать, опять принялся выслушивать. И лицо его было так же серьёзно, как если бы он склонился не над лошадкой-пони в зоопарке, а над маленьким пациентом у себя в детской больнице. И только вот Чашкин нет-нет да и мешал ему сосредоточиться.

— Ну что? Ну как? Ну ясно что-нибудь? — нетерпеливо совался он под руку, а Пётр Петрович всё отмахивался от него, всё бормотал: «Подождите... Дайте разобраться...»



И вот наконец выпрямился, решительно сказал:

— Ничего не нахожу! Ветеринарный фельдшер прав был абсолютно. Ах, Чашкин, Чашкин, я же вам говорил!

И он подхватил с пола, с опилок, пузатенький саквояж, спрятал в него трубку, защёлкнул замок.

Пони шевельнула хвостом, опять уткнулась в полутёмный угол, в сияющую там светлой звёздочкой дырку.

У Чашкина глаза сделались такими же горестными, как у самой Элизабет, и даже ещё горестней.

Упавший опять духом Чашкин лишь молча раскрыл и закрыл рот, будто хотел вымолвить: «Как же так? Отчего же она тогда такая?» — да, глядя на непреклонного доктора, вымолвить этих теперь уже бесполезных слов не решился.

Промолчал и Вася.

Он лишь всё смотрел и смотрел на лошадку, на то, как она понуро склонила голову к своей мерцающей в углу дырочке, как всё тянется к ней. И вдруг вспомнил себя самого, вот такого же грустного на катке в раздевалке у окошка, вспомнил все там свои горькие переживания и бросился к Чашкину:

— Стойте! А что у вас за щёлкой, в которую Элизабет всё глядит и глядит? Может, у неё друзья там? Может, для неё там что-то такое интересное, а вы её туда не пускаете,— вот она и загрузила у вас!

Тут и Пётр Петрович спросил быстро Чашкина:

— В самом деле, что там?

— Ровным счётом ничего,— недоумённо пожал плечами Чашкин.— Всё тот же пустой двор, по которому вы только что прошли, во дворе, напротив дырки, сарай, в сарае — мешки с овсом да рессорный тарантасик.

— Какой, какой тарантасик? — не то недопо-

нял, не то недослышал Пётр Петрович, и Чашкин пустился очень пространно объяснять:

— Ну, такой вот обыкновенный... Неужто не знаете? С колёсами на специальных пружинах, чтобы не трясло, с мягкими сиденьями для ездовых, с двумя оглобелями, чтобы запрягать туда...

И тут Чашкин смолк, и тут Чашкин вытаращил глаза.

Вытаращил, помигал, хлопнул себя ладошкой по лбу и радостно закричал:

— Ах, как это я сам не догадался и всех с толку сбил! Она ведь, конечно, по тарантасику и грустит! Ждёт не дождётся, когда ей опять скажут: «А ну, поехали!»

Элизабет при этих словах наострила уши, вдруг повернулась, негромко ржанула и, простучав по деревянному полу, по тонким опилкам ладно подкованными копытами, сама подбежала к Чашкину.

— Ура! — сказал, весь так и просияв, Чашкин. — Диагноз точный. Васёк — молодец! Не спроси он про дырочку, мы бы и теперь ещё ни в чём не разобрались... Ну, доктор, и сын у вас! Ну и дотошный сынище — сразу видно, это именно около своего папы он набрался такого ума-разума! Наверняка готовится тоже стать врачом.

— Вполне возможно, вполне возможно... — смущённо и в то же время радостно улыбнулся Пётр Петрович.

Смущённо, потому что ему было всё ж таки неудобно, что не он первым догадался спросить у Чашкина, куда это заглядывает Элизабет, а радостно, потому что ему было всё ж таки приятно, что его сынишку Васю вот так вот нахваляют. Ведь сам-то он про историю с раздевалкой, с окошком ничего не знал, а значит, и предполагать не мог, откуда на самом деле вдруг Вася набрался такой тонкой проницательности, такого ума-разума.

А повеселевший Чашкин надевал на лошадку узду и всё говорил, всё говорил.

Он рассказывал о том, что вот уже года три подряд, как только солнце станет совсем высоким и тёплым, как только в зоопарке просохнут дорожки, Элизабет катает по этим дорожкам ребятишек-гостей и лишь в зимнюю пору получает как бы трудовой отпуск. Отдыхает до новой весны в хлевушке или разгуливает, когда захочет, в той ограде, на которой висит дощечка с надписью: «Пони шотландская».

Но только вот что странно: раньше Элизабет к тому, когда придёт отпуску конец, относилась совершенно спокойно. Когда придёт, тогда и придёт, когда запрягут, тогда и запрягут... А нынче — вот на тебе! — ударилась в такую печаль! Ну, разве сам тут с толку не собьёшься? Вот и он, Чашкин, сбился. И конечно, побежал к ветеринару, а потом и к Петру Петровичу...

— Вы уж, доктор, на нас не обижайтесь!

— Да что вы, дорогой Чашкин. Визит был не напрасен ни капли. Я даже рад, что теперь с вашей лошадкой познакомился. Она в самом деле чем-то похожа на человека. И неожиданности в её поведении нет никакой. Всё это означает, что раньше она у вас была действительно как беспечный ребёнок, а теперь вот взяла да и повзрослела и гулять ей просто так уже не интересно. Я вот сам в своих отпусках сначала радуюсь, а потом жду не дождусь конца... Это очень славная лошадка, Чашкин, я поздравляю вас!

— А мне вот тоже безо всякого дела гулять никогда, даже в каникулы, не интересно, — засмеялся Вася. — Так, выходит, я тоже взрослый?

— Если вон там, за дверью, во дворе, на высокий чурбанчик встанешь, то получится — почти взрослый... — ответил Пётр Петрович, и теперь засмеялись все.

Лошадка и та глянула на Васю так живо, так светло, будто ответ Петра Петровича поняла полностью и очень, очень с ним согласна.

5

А потом началось самое приятное.

Как только Чашкин вывел вороную складненькую Элизабет под уздцы во двор, так мигом туда сбежались чуть ли не все служители зоопарка.

Они ведь из-за пони наволновались тоже. Они теперь тоже поздравляли Чашкина.

Да Чашкин скромно повёл рукой в сторону Васи, в сторону Петра Петровича — вот, мол, кого надо поздравлять-то, вот кого благодарить! — и приказал побыстрее отпереть сарай с тарантасиком.

Ах, каким расчудесным был этот тарантасик!

Когда его выкатили из холодной темноты сарая под светлое солнышко, когда смели с него мусор и пыль, он так и заиграл весь легко изогнутыми рессорами, своими точёными колёсами, крашеными лаковыми крыльями и облучком!

А когда Элизабет встала в 'оглобелки и над её гривкой поднялась тёмно-синяя с алыми розанами и с медным колокольчиком дуга, и когда Чашкин, взяв вожжи в ладонь, широким, приглашающим жестом показал Васе и Петру Петровичу на кожаное сиденье, то Вася даже захлебнулся от радости, а потом вдруг испуганно спросил:

— Разве пони троих увезёт?

— Больше увезёт. Да ещё как! С музыкой, с ветерком... Жаль, наш кучер Ваня Чемоданов тоже гуляет в отпуску — он бы прокатил вас ещё и с посвистом!

И вот под Петром Петровичем и Васей приятно скрипнуло сиденье. Кругленький расторопный Чашкин легко вспрыгнул на облучок, поправил картузик, махнул помощникам: «Расступись!» —

и Элизабет сама, не дожидаясь ни свиста, ни окрика, стронула рессорный тарантасик и пошла, пошла, пошла по мощёному двору меж обтаявших сугробов сначала ходким шагом, а потом и напористой рысцой.

На асфальтовую, в мелких лужах дорожку выкатили с таким звоном, с таким цокотом копыт, что теперь даже и байкальская нерпа Нюрка никого не могла возле себя удержать.

Все мальчики, все девочки так и замерли, услышав эту летящую, гремющую, весеннюю музыку подков, колёс и колокольчика.

А когда увидели, как бодро несёт Элизабет над собою дугу, словно маленькую радугу, когда сияющий Чашкин вдруг обернулся к Васе, поманил к себе на облучок и отдал вожжи: «На, да не бойся! Лошадка сама не сойдёт с круга!» — то и все мальчики, все девочки закричали:

— Нас прокатите! И нас!

Чашкин спрыгнул, подхватил двоих, ловко усадил в тарантасик прямо на всём его на ровном, на быстром ходу.

— Следующие занимайте очередь, — весело сказал он.

Пётр Петрович тоже выпрыгнул, тоже усадил вместо себя двух тоненько ахнувших девчушек.

И вот так вот, под ребячий писк, под стукоток подков, Элизабет покатила ходкий тарантасик всё дальше и дальше по широкому кругу.

Она катила, а из-под небесной сини со старых лип её приветствовали всюду грачи:

— Здра-а! Здра-а!

Ей что-то хорошее провизжали тибетские медвежата, просвистели белки, а нерпа Нюрка, нимало не завидуя чужой доброй славе, взвилась над бассейном свечой и звонко похлопала широкими ладошками-ластами.

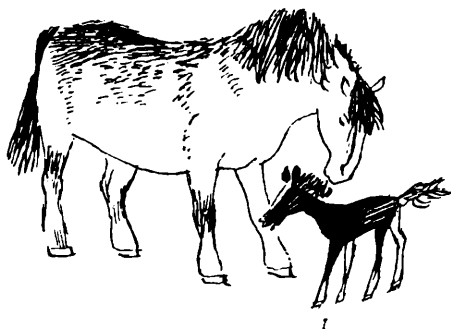
А Вася, весь так и падая стремительно вперёд, ещё крепче подбирал вожжи и, глядя, как ходит

перед ним, шевелится на встречном ветру лошажья гривка, радостным полушёпотом всё наговаривал и себе, и Элизабет, и сидящим рядом ребятишкам:

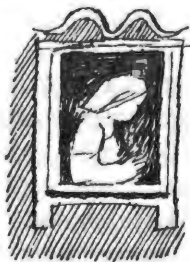
— Ах, какой молодец Чашкин, что сбился с толку! Ах, какой он умница, что позвал меня и папу сюда!

И в лад его словам звонкие подковки Элизабет тоже радостно и складно выстукивали:

— Именно так! Именно так! Именно этак!



# БЕГЛЕЦ



Раскидистая, высокая, вся усыпанная чёрно-глянцевыми блёстками ягод — эта черёмуха стояла перед нашей избой у самой дороги, и кто бы когда бы тут ни проходил, ни проезжал, обязательно задира́л голову и ахал:

— Вот так сад-виноград!

А Ваня Звонарёв — колхозный тракторист, так тот даже пробовал под черёмухой останавливаться и, ловко вскочив чуть ли не на самый верх трактора, старался тяжёлые кисти ухватить. Но ухватить не получалось. И Ваня махал с весёлою досадой: «Эх-х! Хороша Маша, да не наша!» — и, опять заставив мотор взреветь на всю улицу, катил себе дальше.

Нацеливались, конечно, на эту черёмуху и мои дружки, деревенские мальчишки. Да только и у них не выходило ничего. Когда-то кто-то нижние сучья на черёмухе обрубил, и теперь до первой более или менее удобной развилины не было никакой возможности ни докарабкаться, ни допрыгнуть.

Ребята пытались подсаживать друг дружку, но, лишь пообдирав напрасно колени и руки, в конце концов отступались и убегали к другим, более доступным черёмухам за прохладный овраг, за деревню.

А я вот путь на эту черёмуху всё-таки нашёл.

И нашёл не просто так, а с горя. А точнее, из-за того, что однажды случилось между мной и моей тётушкой Астей, у которой я жил-гостил в то лето.

Тётушка моя работала в колхозе, была совсем ещё молодой и по характеру горячеей. Невысокая ростом, тоненькая — бывало, чуть что, брови свои тёмные наморщит, серыми глазами блеснёт, руками всплеснёт и — зашумит! Так зашумит, что хоть на улице от неё спасайся, а всё равно и там



услышишь, как она обещает задать тебе хорошего дёру.

Но до настоящего дёру дело не доходило никогда, а к шуму я скоро привык. И, честно говоря, все тётушкины попытки приструнить меня, припугнуть не ставил ни в грош. Я даже самые её строжайшие запреты стал нарушать, и вот из-за одного такого нарушения всё и случилось.

Возвышались у нас на крыльце деревянные перила. Решётка перил была сделана из гладко обструганных, круглых столбиков. Сразу за ними, обочь крыльца, зеленели грядки палисадника. Забегать в палисадник полагалось, разумеется, через калитку, до которой и ходу-то было всего ничего, но я приспособился попадать туда ещё быстрее, а главное, интересней.

Я проскакивал в палисадник прямо с крыльца, прямо сквозь перила. Перемахивать их сверху я не отваживался, боялся, что ветхий поручень затрещит и обрушится, а вот меж столбиков проныривал прекрасно. Сначала просуну голову, потом весь, как ящерка, извернусь, и, глядишь, я уже на тёплом краю мягкой грядки, и зелёно-пушистые, пряно пахнущие зонтики укропа ласково щекочут моё лицо.

Мало-помалу вытоптал я в укропной чаще за крыльцом порядочную пролысину, наследил и на грядке с огурцами. И зоркая тётушка всё это увидела. Ну, а раз увидела, то и опять получился шум. А за шумом последовал наистрожайший наказ ходить в палисадник только там, где люди ходят, а не там, где лазает лишь блудень — соседский козлёнок Яшка. Но и опять я тётушкиным словам не придал никакого значения, и вот в один прекрасный вечер она приходит с работы, с колхозного поля, и говорит:

— Сбегай-ка, Лёнька, в палисадник за луком, за пёрышками. Ужинать пора...

Я, конечно, помчался и сразу кинулся к своей прямушке.

Голову сквозь перила просунул, боком извернулся, стал проталкиваться плечом вперёд, но вдруг чувствую, что просвет между столбиками сделался отчего-то тесен, и я никак на другую сторону протиснуться не могу.

«Не в ту дырку, что ли, второпях попал? — подумал я. — Тогда переменюсь...»

И я попятился, стал вытаскивать голову, да тут обнаружил, что голова моя обратно не пролезает.

Туда проскочила, а назад — нет. И стою я теперь, действительно как козлик, на четвереньках на крыльце, и ни туда ни сюда.

А тётушка Астя из избы, из-за распахнутого окошка, поторапливает:

— Ну где ты там, с луком-то? Скоро ли?

— Сейча-ас... — пыхчу я, но из плена вырваться не могу. Если голову вот так вот боком поверну и потяну между столбиков, то мешают подбородок и затылок, а если прямо, то мешают уши.

Тётушке ждать надоело, и, слышу, она на крыльцо поспешает сама.

Появляется на пороге, всплёскивает руками и, нет чтобы меня пожалеть да маленько помочь, снимает вместо этого свой фартук, складывает его повдоль, а потом ещё раз повдоль и начинает меня этим фартуком пониже спины, пониже задранной рубашонки охаживать:

— Что тебе говорила? Что тебе говорила? В калитку ходи! В калитку ходи!

От шлёпанья фартуком было не очень-то больно, да зато так стыдно и обидно, что я, не жалея ушей своих, рванулся теперь со всей силой. Круглые столбики в пазах повернулись, меня отпустили, я кубарем скатился с крыльца.

Скатился, закричал тётушке:

— Ужинать с тобой не буду, жить у тебя больше не буду; я от тебя, тётушка Астюшка, убегу!

— Убегай... — ничуть не испугалась тётушка. — Набегаешься, вернёшься.

И она пошла в избу, а я, разобиженный ещё больше, заметался по широкому нашему подворью, по лужайке.

Я и в самом деле хотел убежать, да только куда в нашей маленькой деревеньке убежишь-то? Куда ни беги, везде тебя скоро найдут. Все наши детские захоронушки, укромные местечки — и за колхозной конюшней, и за банями в гуменниках — известны каждому взрослому давным-давно.

И вот я кинулся к той неприступной черёмухе, что росла рядом с избой. Обхватил шершавый ствол руками, ногами, полез вверх, да почти тут же и сорвался. Кинулся опять и опять сорвался.

Но отчаянность моя не утихла ничуть. Я пошёл на этот штурм в третий раз. Не считаясь ни с тем, что ситцевая голубенькая рубашка моя затрещала, не обращая внимания на то, что ладони и голые колени, елозя по сухим и острым заламам коры, обдираются в кровь, я всё равно карабкался, я всё равно не сдавался, и вот совершилось почти невероятное: высокую и широкую развилину на старой нашей черёмухе я всё-таки оседлал!

А там чуть передохнул, глянул — не смотрит ли в окошко тётушка, и, шагнув по крепким и частым теперь ветвям ещё выше, скрылся в густой черёмухе, как в лесу.

Я устроился там, словно петух на нашесте, обнял толстый ствол, притих и стал ждать.

Стал ждать, потому что весь мой прошлый опыт подсказывал: вспыльчивая тётушка очень скоро переменит гнев на милость, очень скоро меня спохватится. Ну, а как спохватится, тут-то я свою душеньку и отведу! Сколько мне надо, столько и покуражусь. Выгляну из черёмухи лишь тогда, когда тётушка всполошится окончательно, когда, может быть, даже закричит из окошка: «Лёня, золотко, где хоть ты? Иди, милый племя-

шок, домой! Это я просто так, маленько погорячилась...»

И чтобы не выдать себя раньше времени, я на своём сучке и притих.

Даже ягоды, которые так тут и нависали чёрными гроздьями над самой головой, боялся общипывать. Даже вытерпел, когда, то ли от пробежавшего по листве сквознячка, то ли от душновато-сладкого запаха самих листьев, на меня вдруг напало желание чихнуть. Раскрыл широко рот, сделал глубокий вдох-выдох и — перемогся. Ведь тётушка-то Астя почти рядом; я отлично слышал, как за распахнутым окошком в избе она собирается ужинать.

Вот она прошла на кухню и загремела печной заслонкой. Вот она, шаркнув кочергой по кирпичному поду, вытянула томящийся в печи, в глиняной плошке ячневый крупеник — я прямо так и слышу его тёплый, масляный дух! Слышу, смекаю: «Ага! Сейчас и начнёт тётушка меня звать, кричать. Сейчас и спохватится... Одна за стол, когда на нём такая вкуснотища, она не сядет!»

Но, к удивлению моему, тётушка за стол уселась. В прогал меж листьев, в очень близком от меня окошке, я хорошо видел тётушкину спину, видел её бумазейную, в линялых цветах кофту. А чтобы крикнуть, позвать или чтобы посмотреть — нет ли меня где близко, тётушка и не подумала.

«Ладно,— сглотнул я слюнки,— ладно... Значит, всё ещё горячится. Значит, всё ещё очень сердится, но пообреет обязательно. Ну, не может же быть, что ей всё равно: жив я теперь на белом свете или не жив?»

И тётушка к окошку довольно скоро оборотилась, да только лишь оттого, что на деревенской улице затарахтел трактор Вани Звонарёва.

Ваня тормознул под самой черёмухой, прямо подо мной.

Трактор сразу напустил вокруг такого дыму-керосину, что нечем стало дышать, исчезли мигом все другие запахи. А когда дым маленько пронесло, то Ваня соскочил на дорогу, запрокинул курносое, перепачканное в тракторной копоти лицо и, глядя снизу вверх на усыпанные ягодами ветви, сказал своё привычное:

— Эх-х!

Я весь так и поджался, чтобы Ваня меня раньше срока не заметил, а в эту минуту и выглянула из окошка моя тётушка Астя.

Чумазый Ваня заулыбался во всю ширь, поднял над головой кепку:

— Августе Андреевне привет! Не найдётся ли чем прохладненьким промочить горлышко?

Этакое неопределённое «не найдётся ли?..» Ваня говорил лишь из одной деликатности. А на самом-то деле он отлично знал, что прохладненькое у нас всегда найдётся. Это он намекал на квас, которого перепробовал тут, под тётушкиным окошком, наверное, уже не меньше чем полкадки.

Ну, а как только он про квас намекнул, так я опять подумал: «Теперь — всё! Теперь они про меня вспомнят!»

Бежать для Вани за квасом в холодный чулан, потом подавать ковш через окошко была моя и только моя всегдашняя обязанность. Делал я это с удовольствием, и Ваня принимал ковш из моих рук тоже с удовольствием, да ещё при этом шутливо подмигивал тётушке, весело говорил:

— Шустряк у тебя мальчонка, молодец! Вырастет, в помощники возьму!

А потом кивал мне:

— Айда, прокачу вдоль деревни...

И действительно, с громом, с великолепным рёвом мотора, под галдёж деревенских ребятишек и лай собак прокатывал до самой околицы, до бабки Катериной избу, у которой стоял в то лето на квартире.

Вот я и дожидался теперь, что ни тётушка Астя, ни Ваня без меня не обойдутся. Сразу заоглядываются, заговорят: «Где это Лёнька-то? Куда это он пропал?»

Но на Ванину просьбу тётушка и улыбнулась сама, и повернулась сама, сбегала в чулан и через минуту подала в окошко наполненный квасом ковшик тоже сама.

Ваня ковш принял не за ручку, а подхватил под круглое донышко. Оттопырив — опять же из деликатности! — на широкой своей пятерне толстый мизинец, тётушкино угощение выпил одним духом, засмеялся:

— Квас из твоих рук, Андреевна, слаще мёда-сахара!

И, оглядываясь на тётушку, на ходу утирая губы рукавом, побежал к трактору.

Вспрыгнул за руль, включил скорость, напустил опять дыму и — уехал.

А про меня так и не вспомнил. Не вспомнила и тётушка.

И я загрустил совсем. Солнце закатилось за крыши, черёмуху накрыла прохладная тень, а я сидел в этой тени, окружённый остывающей листвой, и теперь думал: «Как же так? Ну, Ваню-тракториста ещё можно понять... Ваня мне всё-таки не свой... Ваня, наверное, считает, что я сейчас бегаю где-нибудь с ребятами; а вот тётушка-то Астя отчего ж всё не спохватывается и не спохватывается меня? Ведь ей же известно, что я сейчас и не гуляю, и не бегаю, а я — УБЕЖАЛ. Я, может быть, как в сказке, за тёмные леса, за синие горы, за дальние просторы теперь умчался; я, может быть, в дремучей чаще теперь один-одинёшенек пропадаю, а она обо мне и не беспокоится... Не нужен я ей больше, что ли? А ведь вчера ещё, когда у нас было хорошо да мирно, говорила: «Ты у меня, Лёнюшка, как сынок! Я к тебе, Лёнюшка, за летечко вот как привыкла... Ты у меня

оставайся жить на всю зиму, в школу, не бойся, определимся и здесь». И вот определились! Я сижу на своём сучке, тоскую, а она меня и не покричит...»

Мало-помалу я так себя разжалобил, что зареветь впору. И хотя в деревне было полно живых звуков — кричали, собираясь на вечернюю игру в прятки, мальчишки и девчонки, постукивали молоточками, топориками, ладили всякую домашнюю свою работу вернувшиеся с полей мужики, — мне моё высокое убежище и в самом деле начало казаться невылазной, дремучей чащобой, а сам я себе — пропадающим в ней, несчастным, всеми позабытым потеряшкой.

Немного меня лишь обнадёжил звяк пустого подойника, которым тётушка обо что-то задела, спускаясь с крыльца.

«Корову доить пошла, Чернавку... Вот теперь тётушке без меня не обойтись!»

А Чернавка у нас была очень ласковой, умной. Она сама — лишь бы ворота стояли открытыми — заходила после поля в хлев, сама коротким, добрым мыканьем напоминала, что её пора поить и доить. И всегда ждала, чтобы мы приходили к ней с тётушкой вдвоём. И вот при распахнутых настежь воротах, в которые светит угасающая заря, тётушка подсаживается под Чернавкин бок на деревянную скамеечку, а я стою и гляжу, как Чернавка, опустив широкую морду в широкое ведро с пойлом, это пойло не торопясь выцеживает. И потом всякий раз медленно взглядывает на меня выпуклыми, задумчивыми глазами, а я подношу ей на добавку круто посоленный кусок хлеба.

Но особенно Чернавка любит, когда я выколуываю из тёплой ямки промеж её кривых рогов, из короткой там, мягкой шерсти травяные мусоринки и лесные, колючие хвоинки.

От этого Чернавке, должно быть, немножко

щекотно и в то же время хорошо. Она ко мне, маленькому, большую свою лобастую голову наклоняет всё ниже, шумно и горячо попыхивает в подол рубахи и негромко помыкивает — благодарит...

Теперь и жду я: Чернавка без меня забеспокоится, а вслед за ней наконец-то встревожится и тётушка Астя.

Жду, уши наострил, шею вытянул.

А там, в хлеву, Чернавка шумно, со вздохами, с передышкой тянет из ведра пойло, а тётушка, что-то тихо наговаривая, подставляет под Чернавку скамеечку и принимается доить. Парные струйки молока зазвенели по цинковому подойнику сначала тонко, а потом всё глуше и глуше. Я даже представил себе, как молоко в подойнике стало прибывать, как над ним зашипела и начала подниматься белой шапкой тёплая пена.

Струйки по подойнику всё дзиркают и дзиркают; Чернавка ведром всё побрякивает и побрякивает, вылизывает остатки пойла, а я жду не дождусь, когда она там подымет голову.

И Чернавка брякать перестала, в полутёмном хлеву, как видно, огляделась да тут же меня, умница-разумница, и вспомнила!

«Мы-ы...» — подала она голос коротко, совсем как в ту минуту, когда я угощаю её хлебцем, и, не обнаружив меня рядом, замычала опять.

Замычала во всю силушку, и в голосе её мне так и послышалось: «Му-у! Ничего не пойму-у! А куда это мой кормилец Лёнька подевался?»

Всего этого я больше не выдержал, я так у себя на черёмухе ревмя и заревел.

А Чернавка услышала, заголосила ещё пуще, и тётушка Астя из-под неё с подойником выскочила и не знает, что делать.

С одной стороны корова теперь на весь хлев надрывается, блажит, а с другой стороны — я заливаюсь на всю улицу.



Тётушка сунула подойник с молоком на крыльцо, кинулась к черёмухе, сама кричит:

— Лёнька, а Лёнька! Ты что таким дурным голосом орёшь-то? Что это с тобой, дурачок?

— Да-а... — глотаю я слёзы, чуть слова выговариваю. — Да-а... А почему ты меня не ищешь и не ищешь? Почему обо мне ни капли не расстраиваешься? Чернавка и та вон расстраивается, а ты — не-ет...

— Да зачем мне расстраиваться, зачем тебя искать, когда ты здесь, рядом с избой! — удивляется тётушка Астя, а я ещё пуще заливаюсь:

— Это сейчас рядом, а раньше ты и не знала, где я... Может, в лесу-у! Может, меня волки съели...

— Ну, уж волки... Да я тебя, дурашка, всё время вижу. Я тебя сразу заметила, как ты на черёмуху полез.

— Как так? — изумился я и даже реветь перестал.

— А так... Что у меня, глаз, что ли, нет? Ты полез, а я из-за косяка посматриваю... Ты лезешь, а я думаю: «Рассердился парень! Пускай поостынет, а потом и сам спустится...»

— Ты тоже рассердилась! Ты больше меня рассердилась! А я-то уж давным-давно остыл, — всхлипываю я, а тётушка добрым голосом говорит:

— Ну, если остыл, тогда слазь...

Она подставила мне руки, помогла спуститься, и уже на земле, на траве, я спохватился:

— Ой! Ягод не попробовал! Ни одной веточки не сорвал.

— Ничего! — засмеялась тётушка. — Теперь путь проторил, завтра сорвёшь. Главное, из бегов вернулся. Чернавку мне поможешь дойти.

И тут она давай утирать мне всё тем же фартуком зарёванные щёки, давай приговаривать:

— Эх, Лёнька... Эх ты, беглец! Я к тебе вот как привыкла. Оставайся у меня до осени, а хочешь — круглый год живи. Но в лазейку больше не ныряй. Как бы тебе там крепче не застрять. Ведь ты, чудак, растёшь, прибываешь, а она — нет! Она всегда — маленькая.



# ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА



Любаша собирается в третий класс, а ростом она и поныне как самый крохотный первышонок. Из-за этого все только и называют её «чижиком», и она, конечно, очень расстраивается.

Она нет-нет да и уходит за дом в огород, садится там на завалинку рядом с луковой грядкой и, сорвав горькое пёрышко да подпершись рукой, мечтает о том времени, когда «чижиком» для всех быть всё ж таки перестанет.

Ей хочется придумать что-нибудь такое, отчего бы вдруг все стали её уважать вот так же крепко, как бабушку Елизавету Марковну. И даже, может быть, хотя бы раз-другой, тоже как бабушку, по-величали по имени-отчеству. Но бабушку так величают ещё и потому, что она — старушка, а Любаше старушкой становиться рано, и вот она не знает, что делать.

«Ладно,— вздыхает Любаша,— придумаю что-нибудь в другой раз...» — и она идёт домой к бабушке.

Отец с матерью в эту пору днюют и ночуют на дальних совхозных покосах, и Любаша с бабушкой живут вдвоём. Вот и в сегодняшний вечер бабушка управилась с коровой, Любаша поставила самовар, а потом они уселись пить чай у распахнутого окошка.

Свет не зажгли, и в сумерках широкую, длинную улицу видать далеко. Там дремлют берёзы, в соседних домах уютно светятся огни, пыль на дороге остыла, и в окно из палисадника тянет прохладой и тонким запахом огуречных листьев.

Хорошо слышно, как на той стороне улицы, у себя во дворе, бабушкина подруга Анна звякает подойником, негромко поругивает беспокойную бурёнку, а на краю посёлка на школьной усадьбе стучат по тонкому железу кровельные молоточки, перекликаются строительные рабочие.

— Это они к первому сентября стараются...

Вечеруют, дай бог им здоровья,— тихо говорит о рабочих бабушка и наливает себе чаю в блюдце.

Блюдце она подняла, утвердила на широко расставленных пальцах, не спеша подула, отхлебнула, тут же вспомнила:

— В новой-то школе в третью группу пойдёшь. Старше становишься... По этому случаю надо тебе подарок купить. В магазине я новые портфели видела, так уж матери подскажу.

Любаша тоже налила себе чаю из чашки, но поднимать блюдце не стала, а низко наклонилась к нему и отхлебнула шумно.

— Нет, бабушка. Портфель покупать не надо, я с прежним похожу. Лучше купите мне туфли на каблуках.

— На чём? — так и поперхнулась бабушка. — На каких таких каблуках?

— Да нет, нет! Не на модных... Не на самых высоких... А вот на таких... Чтобы я стала чуть побольше ростом.

И только Любаша собралась объяснить, на каких именно каблуках ей нужны туфли, как на улице затарахтело, чихнуло и смолкло под самым окном.

Бабушка с Любашей про туфли позабыли, перевесились через подоконник, увидели у тёмной калитки мотоцикл с коляской. В седле и в коляске никого уже не было, а в сенях заскрипела, затрещала лестница.

Через миг в дверь избы стукнули и, не дожидаясь ответа, вошли. Вернее, вошёл-то всего-навсего один человек, да зато это был почти самый главный в совхозе человек: бригадир-полевод Иван Романыч Стрельцов.

Любаша ойкнула. Она сразу, даже в сумерках, узнала Ивана Романыча по его военной фуражке, а главное — по голосу.

— Здравия желаю! — так громыхнул Иван Ро-

маныч, что лёгонькая, сутулая бабушка за столом подскочила.

— Ну и голосина у тебя, Иван! Ты ведь теперь уж не в армии... Так до смерти напугать можешь.

— Это я нечаянно, по привычке. Всё, ясно-понятно, пограничную заставу забыть не могу, — засмеялся Иван Романыч и добавил: — Вы что тут в потёмках сидите?

Бабушка выбралась поспешно из-за стола, пошарила по стене, щёлкнула выключателем.

Свет хлынул, и Любаша увидела, что Иван Романыч с ног до головы весь в пыли. Пыль — на сапогах, на плечах, на лаковом козырьке фуражки и даже на бровях.

Он и сам глянул на себя, развёл руками:

— Прости, Лизавета Марковна. С работы...

— Знамо, не с гулянки, — мигом простила бабушка, открыла буфет и сняла с полки цветастую праздничную кружку.

— Садись, чаем угощу. Небось на лугах был? Поклон от наших привёз?

Но Иван Романыч скинул фуражку, быстро и вежливо наклонил голову: :

— Угощаться некогда, а вот поклон, Лизавета Марковна, привёз, это точно. Только не с лугов, ясно-понятно, а с поля от ребят-комбайнеров. Приглашаем тебя к нам в повара.

Бабушка как стояла с кружкой в руках, так и застыла. Вид у бабушки стал такой, будто она услышала что-то немыслимое.

— Ты всерьёз?

— Ясно-понятно, всерьёз! — опять кивнул Иван Романыч, прижал к груди фуражку и торопливо заговорил о том, что на полях в Заложье началась уборка, что хлеба там вызрели — аж звенят! — и комбайнеры поспешают из всех сил. Да вот беда, бригадная стряпуха прихворнула, и людей завтра в поле накормить некому... Если, конечно, не согласится Лизавета Марковна, если,

конечно, она сама не уважит ребят-комбайнеров, а комбайнеры-то, ясно-понятно, все помнят её замечательную стряпню ещё с прошлого лета и, ясно-понятно, низёхонько кланяются!

Иван Романыч говорил всё напористей да напористей и всё ближе да ближе подходил к бабушке. А бабушка отступала да отступала и вот села на лавку у самой стены:

— Ох, не знаю, Иван...

— Бабушка, соглашайся! — пискнула из-за стола дрожащим от волнения голосом Любаша.

Ей-то самой так захотелось туда, в Заложье, где спелые хлеба «аж звенят!», что позови Иван Романыч не бабушку, а её, Любашу, так она бы и секунды не раздумывала, а подхватилась бы и побежала хоть сейчас вприскок до самого Заложья. Она, Любаша, именно о таком вот событии и мечтала всю жизнь и, конечно, вновь тоненько пискнула:

— Я тоже согласная...

Но шумный, большой, занявший собою чуть не пол-избы бригадир на Любашу и не взглянул, а бабушка её голоса будто и не слышала.

Бабушка сама до того разволновалась, до того разволновалась, что так вот и сидела с кружкой в руках и всё глядела в кружку, словно ответ на вопрос был написан где-то там, на самом донце.

— На один день, рассказываешь?

— На один... — поспешно кивнул Иван Романыч. — Туда и обратно на собственной карете домчу.

— Ну, ежели так... — вздохнула бабушка и поставила кружку на стол. — Ну, ежели так, утречком заезжай.

И она опять вздохнула, но теперь было видно — вздыхает бабушка притворно, добрые глаза смеются. Тому, что решилась, она рада теперь и сама.

— Подомовничать Анну уговорю,— заключила бабушка.

— Пр-равильное решение! — опять на всю избу пробасил бригадир, надел фуражку и, щёлкнув каблуками, козырнул бабушке. А потом он козырнул и Любаше.

Любаша покраснела, уткнулась носом в столешницу, а когда глянула опять, то Ивана Романыча в избе уже не оказалось. Под окном хлопнула калитка, опять затрещал мотор. Гулкий шум его стал удаляться и вот пропал, затих в дальнем конце улицы.

Улица теперь была ночной, синей. Там теперь и огни в домах погасли, и кровельщики перестали стучать, а над тихими деревьями зажглись звёзды.

Бабушка стала закрывать окно, и тут Любаша сказала:

— Завтра утром я тоже поеду в Заложье.

Бабушка стукнула оконным шпингалетом, подавила рукой на раму, проверила, заперлось ли, ответила спокойным голосом:

— Ну да... Поедешь... Только там тебя, чижа, и ждали... Там ведь, милая моя, надо не шутики шутить, а рабочих мужиков кормить. Знаешь, там хлопот сколько? Нет, нет, и не собирайся, и не выдумывай.

И тут всегда крепкая на слёзы Любаша заплакала:

— Эх, бабушка, бабушка! Я-то думала, ты со мною всегда по правде, а ты такая же, как все... Сначала говоришь: «Старше становишься!» — а как до главного дошло, так опять — чиж. Ну и пусть! Пусть навсегда я чижом и останусь, и не надо мне никаких туфель-подарков, ничего не надо... Пускай теперь другие ходят в новых туфлях, пускай другие разъезжают на мотоциклах с колясками, пускай мужиков кормят, пускай хлеба убирают, а я... А я...

И Любаша залилась так горько, что слёзы по-



катились по щекам, по подбородку, и одна слезинка капнула прямо в недопитый чай.

Бабушка такой грустной картины, конечно, не перенесла. Она подбежала к Любаше, обняла и принялась утирать мокрые Любашины щёки. Потом заставила высморкаться, сказала:

— Ну вот, а то сразу и реветь... Возьму я тебя, возьму. Утром с Иваном Романычем потолкую и возьму.

А наутро бабушка сама разбудила Любашу:

— Вставай, поторапливайся!

И Любаша так стала торопиться, что собралась даже вперёд бабушки и выскочила босиком на крыльцо, в палисадник.

Прохладные ступени крыльца были ещё в тени. И весь палисадник был в тени. А от заплёснутой утренним солнцем школы опять долетал дробный перестук молоточков. Любаша глянула туда и увидела крохотных, будто муравьёв, вчерашних кровельщиков. Они сидели на самом коньке, быстро взмахивали молоточками, и звон оттуда долетал такой радостный, что Любаше захотелось крикнуть: «Эге-гей! Здравствуйте! У меня сегодня тоже рабочий денёк. Я уже не чиж, я — бабушкина помощница, еду в поле мужиков кормить!»

Крикнуть так Любаша, конечно, не крикнула, только подумала об этом, а тут донёсся и дальний голос мотоцикла. Сначала за яркими от солнца берёзами, где-то в переулке, словно бы заныл комарик, потом комарик превратился в басовитого жука, и вот из-за поворота выскочил и сам трескучий мотоцикл, а на нём Иван Романыч.

Бригадир тормознул у калитки, соскочил на траву. Лаковый козырёк его фуражки сегодня сверкал, пряжка ремня на свежем комбинезоне блестела, а на боку висела полевая армейская сумка, а от всего этого Иван Романыч был похож на строгого командира.

Любаша как глянула на него, так сразу поду-

мала, что весь её вчерашний уговор с бабушкой он ещё может отменить, и заполошно крикнула:

— Ой, бабушка! Ой, скорее! Иван Романыч приехал!

— Иду-у... Слышу, слышу,— донеслось из избы, но бабушка вышла не вмиг.

В избе сначала погромело, в избе сначала постучало — похоже, платяной шкаф, похоже, ящики комода,— и вот хлопнула дверь, и заскрипели ступени, и наконец-то бабушка появилась на крыльце.

А вернее сказать, бабушка не появилась. Вернее сказать, бабушка выплыла из тёмных сеней таким светлым-пресветлым корабликом.

С ног до головы бабушка нарядилась во всё новое. На ней была длинная сатиновая юбка, белая кофта мелким горошком, передник в светлую голубую клетку, а на правой руке, чуть отставив локоть, бабушка важно и бережно несла увязанную другим, запасным фартуком корзину.

— Ух ты-ы! Хоть на бал...— распахнул Иван Романыч перед бабушкой калитку.— Прошу! Карета подана.

И хотя он сказал это шутливо, бабушка так вся и зарделась от удовольствия, медленно поплыла от крыльца к распахнутой калитке.

А Любаша забеспокоилась. Любаша всполошилась ещё больше. «Этак и про меня она забудет!» — и потянула бабушку за рукав:

— Скажи Ивану Романычу скорее, скажи...

— Не суетись,— ответила строгим голосом бабушка, остановилась у мотоцикла, принялась ощущать в коляске узкое сиденье.

— Ну и карета у тебя, Иван! Зыбка на одном колесе... Поди, встряхнешь где-нибудь на колдобине?

Иван Романыч поставил в коляску корзину, засмеялся:

— Не вытряхну. Колёс, ясно-понятно, не одно, а целых три. Нам хватит.

— Нам хватит, да куда помощницу посадим? — ловко перевела разговор бабушка, и Любаша опять замерла: «Сейчас бригадир ответит: какую помощницу, что за помощницу? Эту вот, что ли? А ну, беги, чижик, домой! Давай, давай, не задерживайся, беги!»

Иван Романыч в самом деле сказал:

— Какую помощницу? Что за помощницу? Эту вот, что ли? А ну, покажи, руки у тебя крепкие?

— Что? — удивилась Любаша.

— Я спрашиваю, руки у тебя крепкие?

— Крепкие, крепкие! Очень крепкие.

И Любаша вскинула руки, стиснула их в кулачки:

— Вот какие крепкие!

— Тогда садись позади меня и держись...

Иван Романыч топнул по стартёру, мотоцикл фыркнул, заржал, как жеребёнок, рванулся с места вперёд.

Бабушка в «зыбочке» ахнула, обняла корзину. Любаша ухватилась за ручку седла, припала щекой к спине бригадира и увидела, как помчалась назад вся поселковая улица.

Понеслись берёзы, понеслись избы, лужайки, совхозная контора, магазин, а из-под самой коляски с дороги сорвался петух, и взлетел на крыльцо магазина, и что-то заорал там сквозь грохот мотоцикла, наверное: «Батюшки! Спасите! Караул!»

Так быстро Любаша не ездила никогда. У неё обмирала душа, щекотало в пятках, но было это не от страха, а от огромной радости. Она словно бы летела, и весь мир летел ей навстречу.

Он был очень добрым — этот утренний мир. По голубому небу бежали белые, удивительно светлые облака. Зелёная земля во все стороны от дороги то

медленно всплывала холмами, то вдруг раскрывалась тенистыми овражками. В глубине овражков держался лёгкий туман. Невдалеке из тумана выходило пёстрое стадо. Коровы щипали траву, а заслышав мотор, все по очереди, как бы приветствуя Любашу, поднимали большие влажные морды; и даже пастух, который сидел на карей лошади верхом, привстал столбиком в стремянах, ласково Любаше помахал.

А бабушка по сторонам не смотрела. Платок у бабушки сбился, кофта надулась пузырями. Испуганной бабушке, наверное, казалось, что ветер вот-вот выхватит её из коляски и унесёт, как пушинку, неведомо куда. Но мало-помалу мотоцикл сбавил ход, нырнул по пыльной колее в лес, а потом выскочил из-под тёмных елей на солнце, и от света и простора у Любаши зарябило в глазах.

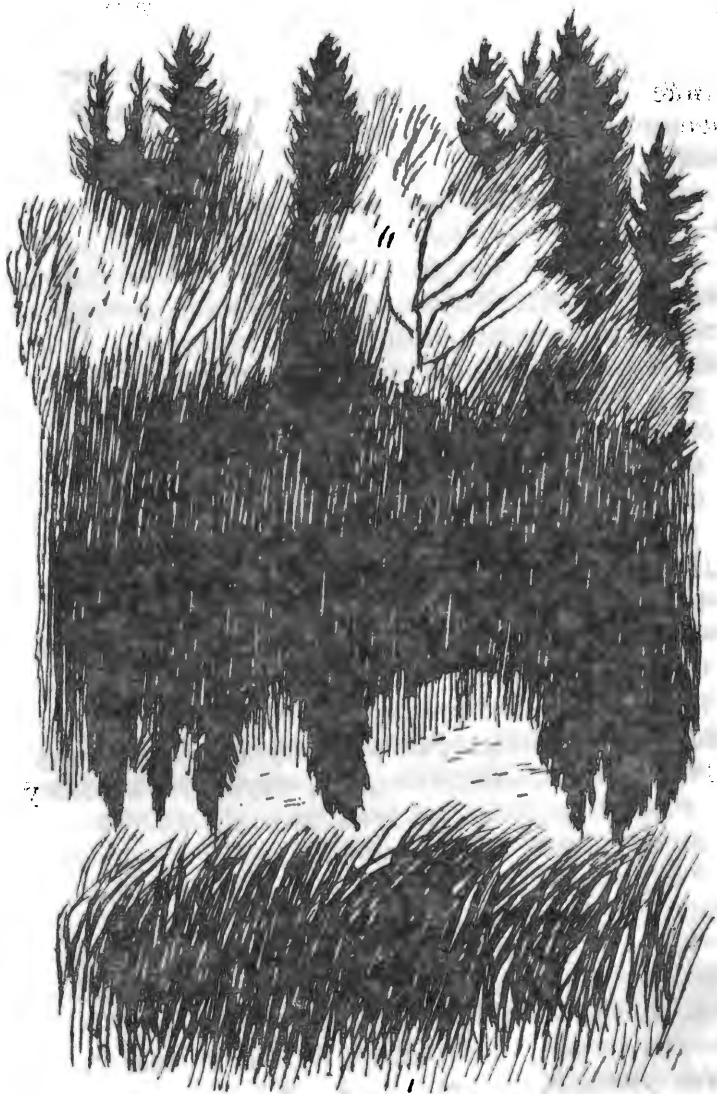
Здесь небо синело ещё ярче, вокруг, куда ни глянь, золотилась рожь.

Комбайны работали уже вовсю. Их было три. Огромные, бурые от пыли, грохочущие, они ползли прямо на зыбкую стену, хлебов. И высокая рожь покорно сгибалась им навстречу, падала на широкие жатки, и там, где комбайны прошли, поле становилось колючим, ровным, словно подстриженным под машинку. Лишь копны соломы почти до горизонта светло желтели на нём.

Когда мотоцикл и первый комбайн поравнялись, то Иван Романыч весело взмахнул ладонью, показал комбайнеру на бабушку: смотри, мол, кого я сюда к вам привёз!

Чёрный, весь обгорелый на солнце комбайнер со штурвала рук не снял, но улыбочиво и глубоко с высокой площадки поклонился.

Бабушка приосанилась, тоже хотела поклониться, да поклон у неё не вышел: на коленях, чуть ли не упираясь в бабушкин подбородок, стояла высокая корзина.



А навстречу двигался уже второй комбайн с комбайнером, и опять Иван Романыч, как бы хватаясь, показал на бабушку.

«Ну и ну! — улыбнулась Любаша. — Елизавету-то Марковну мою как встречают! Даже завидно».

Тут от самого дальнего комбайна к дороге помчалась грузовая, полная зерна машина. Она лихо перескочила дорожный кювет, тяжёлый кузов подбросило, зерно плеснулось через борт, и бригадир в седле мотоцикла даже привстал:

— Эх-х!

— Господи! Что делает, супостат! — охнула бабушка, а Иван Романыч сердито крутнул руль, поставил мотоцикл поперёк дороги.

Машина остановилась. Из кабины остолбенело смотрел на Ивана Романыча молоденький шофёр. У него там, в кабине, на тонкой цепочке покачивался игрушечный утёнок с круглыми, удивлёнными глазами, и у шофёра глаза были точно такие же удивлённые.

Шофёр выскочил:

— Чё такое, чё? Стряслось чё-нибудь?

— Стряслось, — ответил Иван Романыч. Он весь так набычился, что Любаша загодя пригнулась: «Сейчас как крикнет!»

Но Иван Романыч не крикнул, а только шумно, всей грудью набрал воздух, шумно выдохнул и взял этак бережно, двумя пальцами шофёра за кармашек расписной рубахи:

— Случилось, Петенька-дитятко, случилось... Ты скажи, хлеб в магазине буханками берёшь?

— А чё? Буханками! Как день, так три буханки... Семья у нас великущая, уминают — будь здоров. А чё?

— Ни «чё», милый... В магазине буханки считать умеешь, теперь пойдём, посчитаем на дороге.

— На какой дороге? Я тороплюсь, — попробо-

вал освободить рубаху шофёр, но Иван Романыч рубаху не выпустил, а прямо так, за кармашек, и повёл Петеньку к тому месту, где расплеснулось по траве янтарное зерно.

— Любуйся, милоч, считай буханки. Да пока не твои собственные, а, ясно-понятно, государственные.

Шофёр почесал кудрявый затылок, развёл руками:

— Ну-у, Иван Романыч... Ты из-за этого? А я-то думал — беда... Ну, газанул! Ну, просыпал малость... Так ведь спешка! Сам знаешь, где пироги едят, там и крошки летят.

Петенька, похоже, успокоился совсем. Он даже подмигнул бригадиру:

— А в общем-то, я ещё молодой! А в общем, я ещё исправлюсь! Дай дорогу, мне ехать надо.

И тут Иван Романыч опять тихим голосом, медленно, очень медленно, чуть не по слогам сказал:

— Нет, не поедешь... Сначала подбери «крошечки».

— Так лопаты нет,— улыбнулся было Петенька, да глянул в глаза Ивану Романычу, мгновенно осекся: — Ты что? Вы что? Я сейчас... Я — мигом.

Петенька даже чёкать перестал, даже на «вы» перешёл и сдёрнул с головы кепку, присел на корточки, быстро-быстро пригоршнями начерпал в кепку зерна, помчался к машине.

Иван Романыч стоял, не говорил ни слова. Бабушка с Любашей тоже притихли. А шофёр всё черпал и черпал, бегал туда и обратно, торопливо объяснял:

— Я, Иван Романыч, не видел... Я кабы видел, так сам бы остановился... Я нечаянно, вы не думайте.

А когда всю рожь собрал, то спросил:

— Ну, я поехал?

Бригадир молча откатил мотоцикл с бабушкой

и с Любашей в сторону. Шофёр хотел помочь, да бригадир ему не дал. Тогда Петенька вздохнул, полез к себе в кабину. Игрушечный утёнок там давно покачиваться перестал, вид у него был тоже сконфуженный.

А у Любаши пропало праздничное настроение. Она робко поглядывала на сердитого Ивана Романыча, и на душе у неё было так, как будто это не шофёр виноват во всём, а она сама.

Лишь бабушка сохраняла спокойствие. Когда грузовик осторожно стронулся с места, а хмурый бригадир опять взялся за руль мотоцикла, бабушка сказала:

— Успокойся, Иван. Петька-то и в самом деле молодой, потому и маховитый. Ещё наживёт ума, исправится.

Потом тихо рассмеялась:

— Нас быстрее вези. А то проштрафимся и мы с Любашей. Комбайны по второму кругу идут, а мы всё ещё не на месте.

Комбайны и в самом деле заходили на второй круг. Они обошли поле со стороны леса и теперь поднимались к дальнему пригорку, над которым темнела какая-то кровля и макушки старых рябин.

Иван Романыч глянул на пригорок:

— Место вот оно...— И на ходу уже добавил: — Вы-то у меня вряд ли проштрафитесь.

Заложье, куда привёз бригадир новую повариху с помощницей, было когда-то маленькой деревенькой. Но теперь все здешние жители перебрались на центральную усадьбу в Любашин посёлок, и от Заложья осталось только название местности, колодезный сруб весь в крапиве и лопухах да замшелый амбарчик.

Вокруг амбарчика высились алые рябины. Под ним стоял грубо тёсанный стол и маленькая печка с чёрною самоварной трубой. Бригадир подкатил прямо к печке:



— Приехали!

— Приехали с орехами,— подтвердила бабушка и, покряхтывая, зашевелилась в тесной коляске, стала выбираться.

Иван Романыч тут же заспешил:

— Ну, я помчался. К комбайнам помчался.

Он в самом деле, не мешкая, побежал, забухал сапогами по тропке к околице, потому что комбайны там вновь разворачивались, заходили на третий круг.

Бабушка смахнула со стола рябиновые сухие листья, подняла корзину, распустила запасной фартук.

— На-ка примерь...

Фартук оказался Любаше длинен, да зато был в голубую клетку, не хуже, чем у бабушки. А когда Любаша повязала его и сверху подвернула, то и по длине он стал почти в самый раз.

— Умница,— похвалила бабушка.— Теперь можно начинать.

И они начали.

Перво-наперво бабушка отправила Любашу в полутёмный амбарчик набрать из мешка в кастрюлю молодой картошки.

Сама бабушка сходила к колодцу и принесла полное ведро воды.

Потом они вынесли кастрюлю с картошкой на лужайку, бабушка плеснула в неё из ведра, нашла в дровах палку и давай этой палкой картошку крутить. Покрутила, покрутила, грязную воду слила, добавила чистой и опять принялась крутить.

Бурая картошка стала сначала светло-розовой, потой белой, а когда начали выбирать картофельные глазки, то и Любаша от бабушки не отставала.

Бабушка ковырнёт ножиком мокрую картошину — и Любаша ковырнёт.

Бабушка кинет картошину в другую, в чистую кастрюлю — и Любаша кинет.

Картошина за картошиной — шлёп да шлёп! — падали в воду, вода из кастрюли брызгала на стол и протекала в широкие щели столешницы. А там, под столом, пушились тёплые шары одуванчиков. Они щекотали Любашины пятки, над головой шелестели рябины, и к Любаше опять пришло очень ласковое настроение. Она сказала:

— Ох, бабушка, бабушка, как хорошо, что ты взяла меня в поле. Спасибо тебе, бабушка.

Бабушка вся так и засветилась, склонила голову набок:

— Я сама в поле-то ездить люблю. Мне самой тут славно. Сижу вот рядом с тобой, а на душе будто пташки заливаются... Была бы помоложе, запела бы.

— А ты, бабушка, и теперь спой.

— И спою...

— Ну и спой!

И бабушка улыбнулась и вдруг тонким-тонким дрожащим голосом запела:

Ехал Ваня с я-ярмонки  
Да заехал в яблоньки.  
Соловей, соловей во саду,  
Канареечка во зелёном —  
Тёх-тере-рёх!  
Яблоньки садо-овые,  
А груши медо-овые.  
Соловей, соловей во саду,  
Канареечка во зелёном —  
Тёх-тере-рёх!

— Ой, бабушка! — засмеялась Любаша. — Какие песенки ты знаешь, я и не думала.

— Мало ли чего ты не думала. Ты думала, бабушка-то всегда старая была... Вот погоди, придут с поля комбайнеры, так здесь и не то будет. Комбайнеры — страсть весёлые! Я для них сальца домашнего привезла. Сальце порежем, на сковородке растопим, а как наши мужички явятся, так мы им сразу на стол горячую картошку да

эту сковородку со шкварками и выставим.

— А шкварки будут шипеть,— подхватила Любаша,— а комбайнеры будут горячую картошку макать и всё приговаривать: «Ай да вкуснота! Ай да Лизавета Марковна! Ай да Любовь Николаевна!»

— Хвастё-ёна...— засмеялась бабушка.— Давай-ка бери ведро, чистой воды принесём. Чистая вода кончилась.

Бабушка подняла кастрюлю с картошкой, понесла сливать, а Любаша подхватила пустое ведро и, бренча на всю лужайку, припустилась к колодцу, не дожидаясь бабушки.

Обросший лопухами сруб был невысокий, с откидной западнёй. На столбах над ним навис толстый деревянный ворот с цепью, с железной рукояткой. Любаша встала на цыпочки, заглянула в колодец. Там было холодно, пахло грибами и плесенью, а в далёкой воде шевельнулся кто-то тёмный с рожками.

Любашка отпрянула, но тут же и поняла, что это она сама там в колодце отразилась, а кривые рожки — её собственные косички.

— Ау! — крикнула громко Любаша в колодец, и оттуда ответило эхо густым-прегустым, словно у Ивана Романыча, басом:

«Бу-у...»

— Эге-гей! — снова крикнула Любаша, и снизу отозвалось ещё басовитее:

«Эбе-бей-бей-бей!»

— Ты что делаешь? Упадёшь! — зашумела издали бабушка, и Любаша заторопилась, потянула к себе цепь, стала втискивать дужку ведра под стальную пластину защёлки.

Пластина больно прихватила палец, и Любаша вскрикнула:

— Ой!

Она отдёрнула руку, а ведро, не успев зацепиться, полетело вниз.

Цепь тоже полетела со звоном вниз. И толстый ворот закрутился, рукоять ворота завертелась, и вот внизу, в колодце, ухнула вода, и... всё стихло.

Бабушка — откуда только прыть взялась — подскочила к вороту, крутнула рукоять обратно.

Скрипучий ворот повернулся легко, цепь стала наматываться легко, потому что там внизу на цепи никакой тяжести теперь не было.

— Господи! — так и села бабушка на край колодца. — Господи! Любка! Ты же ведро утопила...

— Как? — сказала Любаша, и по спине у неё побежали, побежали холодные мурашки.

— Как так? — повторила она, косички её поднялись торчком, а у бабушки побелели губы. Бабушка едва выговаривала:

— Чем теперь воду-то доставать, а?

— Может, другим ведром? — прошептала Любаша. — Я сбегая...

— Так нет второго... Нет! Одно было. Единственное.

И бабушка сорвалась с места, обежала вокруг колодца, заглянула в него, взялась за сердце и опять села.

— Что буде-ет! Что будет! Вот тебе и допелись,дохвастались... Скоро мужики придут, а вода где? А еда где?

— Кастру-улей достанем... — растерянно прогудела Любаша совсем таким же голосом, как тот голос, что недавно гудел в колодце. — Там на кухне кастру-уля есть.

— «Кастру-уля»! — сердито передразнила бабушка. — Наказанье ты моё, вот кто! Неси, попробуем.

К колодцу бабушка Любашу больше не допустила. Охая и всё повторяя: «Господи, господи...» — она сама продела сквозь обе кастрюльные ручки цепь, сама опустила кастрюлю в колодец. Наверх кастрюля вернулась с водой, но не полная.

Неудобные ручки скользили по цепи, кастрюля съезжала набок, и воды в ней оказалось на донце.

— Вот так! — сказала бабушка. — Теперь будем таскать в час по чайной ложке. А время-то всё идёт, а мужики вот-вот явятся... Бери, нескладёна, неси, выливай в картошку. У меня ноженьки отнялись...

И Любаша всхлипнула, обняла мокрую, всю в печной копоти кастрюлю, понесла вверх по тропинке на кухню.

Сходить туда и обратно пришлось не единожды. Сарафан и фартук промокли, испачкались. Бабушка тоже вся уплескалась, отвязывая и привязывая несподручную кастрюлю, но вот наконец Любаша сказала робким голосом:

— Уже всё... В картошку хватит. Это в последний раз.

— В последний! — сердито переговорила бабушка. — Ещё намаемся, наревёмся до последнего-то... Мужики умыться спросят, да ещё обед и ужин надо варить.

Она забрала кастрюлю сама, пошла на кухню через лужайку. Любаша поплелась рядом. Бабушка с громким стуком, всё ещё сердясь, поставила кастрюлю на стол.

— Что теперь Ивану-то Романычу скажем? Он ведь не похвалит, нет.

А Любаша и сама знала, что не похвалит. За что ему теперь Любашу хвалить? Не за что.

Она села на скамейку, вздохнула, но бабушка сказала:

— Вздохать нечего, за дело берись. Аханьем да воздыханием беды не исправить.

И Любаша принялась за дело, да только теперь у неё всё валилось из рук. Стала доставать из корзины соль, чуть не опрокинула банку. Стала вынимать спички из коробка — спички рассыпала.

— Сама управлюсь. Ладно... — махнула рукой на Любашу бабушка и сама растопила печку, сама

поставила картошку на огонь, сама принялась резать на сковородку розовое, крепкое сало. А Любаша прислушивалась к гулу комбайнов, думала об одном:

«Вот придут комбайнеры, придёт Иван Романыч, про всё узнает и сразу скажет: «Ну, ясно, никакая ты не Любовь Николаевна, а как была чижом, так чижилом и осталась. У тебя только и уменья, что государственные вёдра в колодце топить!» Он прямо так и скажет — «государственные!» — как сказал про буханки Петеньке. И наверняка так же вот потом нахмурится и замолчит. И куда ей, Любаше, тогда деваться? Хоть пешком уходи обратно в посёлок...

Но в посёлке, наверное, всем известно, что Любаша уехала с бабушкой кормить комбайнеров. И конечно, кто-нибудь спросит: «Ну как? Накормила? Съездила?» — и это будет совсем уж стыдобушка.

Она поглядела в ту сторону, куда убегала дорога. Там, за жарким полем, стоял хмурый лес. За лесом подымались холмы, на одном, на самом далёком, чуть виднелись крошечные домики посёлка, и от этого Любаше стало ещё тоскливей.

А шум комбайнов нарастал. Они подходили к самой околице. Хорошо было слышно, как гремят перегретые на солнце моторы, и вдруг они смолкли, настала тишина, и бабушка сказала:

— Всё! Сейчас придут комбайнеры.

Сердце у Любаши оборвалось, Любаша кинулась бежать.

— Куда ты? — закричала бабушка, да Любаша даже не оглянулась.

Она мчалась из всех сил. Длинный фартук распустился, мешал ей, она приступила его, чуть не упала, но лишь взмахнула руками и помчалась дальше.

Она бежала всё шибче к комбайнам, перелезла старую изгородь, а навстречу ей уже шагал Иван

Романыч, за ним — комбайнеры, и даже Петенька-шофёр был тут.

Все пятеро улыбались Любаше ещё издали, но она подхватила фартук, зажмурилась, остановилась и, почти задыхаясь, крикнула:

— Я ведро утопила! Государственное! На кухне воды нет.

Иван Романыч улыбаться перестал. Комбайнеры улыбаться тоже перестали. А кудрявый Петенька испуганно спросил:

— Чё? И шамовки никакой нету?

Любаша хотела сказать, что «шамовка» есть, но только стояла, да комкала в руках фартук, да моргала мокрыми ресницами.

Иван Романыч оглянулся на комбайнеров, пожал плечами:

— Ничего не понимаю...

Комбайнеры тоже пожали плечами. Они все растерянной Любаше показались одинаковыми. Все — в кирзовых сапожищах, в пыльных брюках, в мокрых от пота майках. Плечи, руки обожжены солнцем. Только головы у них у каждого были накрыты по-разному. На одном татарская тюбетейка, на другом соломенная шляпа, на третьем ситцевая шапочка с целлофановым козырьком.

Они переглянулись, а Иван Романыч легонько повернул Любашу за плечо, подтолкнул обратно к изгороди.

— Ясно-понятно, что ничего не понятно. Кухня-то всю дымит, работает. Пошли, разберёмся на месте.

Бригадир шагнул через изгородь. Любаша перелезла за ним, побежала следом. Фартук всё время спадал, она его подхватывала, и Иван Романыч шагал быстро, и комбайнеры шагали тоже очень быстро.

Из-под ног у них вылетали с сухим треском кузнечики. Комбайнеры шли прямо к рябинам, к бабушкиной кухне. А бабушка их увидела и,

морщась от печного жара, засуегилаь, подхватила тряпкой сковороду, понесла к столу.

Петенька потянул носом воздух:

— Ого! Шкворками пахнет.

— Не шкворками, а шкварками,— поправил Петеньку комбайнер в ситцевой шапочке. Поправил, сразу повеселел и гулко хлопнул здоровенной ладонью Петеньку по спине.— А ты боялся, шамовки нет... Как так нет, когда кухарит сама Лизавета Марковна?

Петенька дурашливо присел, растопырил руки и на полусогнутых ногах, гусем, пошёл к бабушке:

Лизавета Марковна,  
Миленький дружок!  
Шкварок нам нажарила  
Целенький горшок!

Все засмеялись, и даже Любаша не то громко всхлипнула, не то засмеялась.

Бабушка схватила со стола полотенце, шлёпнула Петеньку по кудрявой голове, тот изобразил ужас, повалился на скамейку, замахал руками, ногами:

— Оё-ёй! Оё-ёй!

А бабушка всё нахлёстывала, всё приговаривала:

— Вот тебе, вот тебе... Вечно ты, Петенька, дуришь! Вечно у тебя шуточки! Какой горшок, когда сало на сковородке.

И было видно, что бабушка очень рада Петенькиной выходке, что шутка пришлась к месту, потому что и сам Иван Романыч стоял да тоже посмеивался.

Потом он кивнул на Любашу, негромко спросил бабушку:

— Что хоть стряслось-то?

Бабушка сразу принялась вытирать кухонным полотенцем совершенно чистый стол:



— Дак ведро утопили... Воду кастрюлей таскали... Вон той вот. Прямо смех и грех.

Она подняла голову и виноватыми, жалостными глазами тоже повела на Любашу:

— Ты уж, Иван, прости её. Не ругай.

А Иван Романыч слушал, слушал бабушку, всё усмехался да усмехался помаленьку и вдруг сел на скамью рядом с Петенькой и захохотал во всю мочь.

— Ну и ну! Только-то! А я думал невесть что...

Он утёр ладонью мокрые от смеха глаза, поманил к себе Любашу:

— Иди-ка сюда, паникёрша, иди. Значит, расстроилась? Очень?

Любаша опустила голову, а он улыбался опять:

— Сейчас мы это дело поправим.

Он весело глянул на комбайнеров, на всех троих:

— Кто у нас по таким делам мастак? Ведро надо вытащить.

— Так пара пустяков! — сказал комбайнер в тубетейке.

— Так надо жердь подлинней да гвоздь поострей! — сказал комбайнер в шляпе.

А комбайнер в ситцевой шапочке ничего не сказал. Он повернулся, побежал к изгороди, снял длинную жердь, а его товарищи нашли у печки топор, со скрипом выдрали из косяка амбарчика старый гвоздь, и вот комбайнер в шапочке — раз, два! — вогнал гвоздь топором в жердь и помчался с ней к колодцу.

Он управлялся с длинной жердью, как с карандашиком. Опустил её в колодец, пошарил, закричал:

— Есть!

А потом, звонко шлёпая ладонями, стал жердь перехватывать, подымать и вот отбросил её, и в руке у него засверкало мокрое ведро, и с вед-

ра полилась вода, потому что оно было полнѣхонько!

Легко, не расплескав ни капли, комбайнер донёс ведро до Любаши, поставил на траву:

— Принимай, да больше на колодец не ходи — ты ещё совсем чижик.

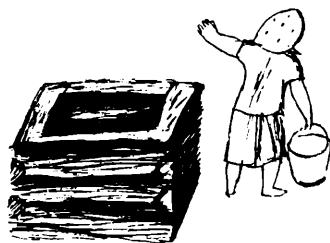
— Нет! Ничего не чижик! — вдруг очень громко сказал Иван Романыч. — Ничего не чижик! Она — работница, заботливый человек. Она воду-то для нас кастрюлей таскала, одного страху сколько натерпелась, другой бы на её месте прятаться побежал, а она — нет. Она — к нам! Она посчитала: «Я сама за всё в ответе и прятаться не хочу!»

И тут Иван Романыч взял со стула кружку, зачерпнул воды, протянул Любахе и, нисколько даже не усмехаясь, попросил:

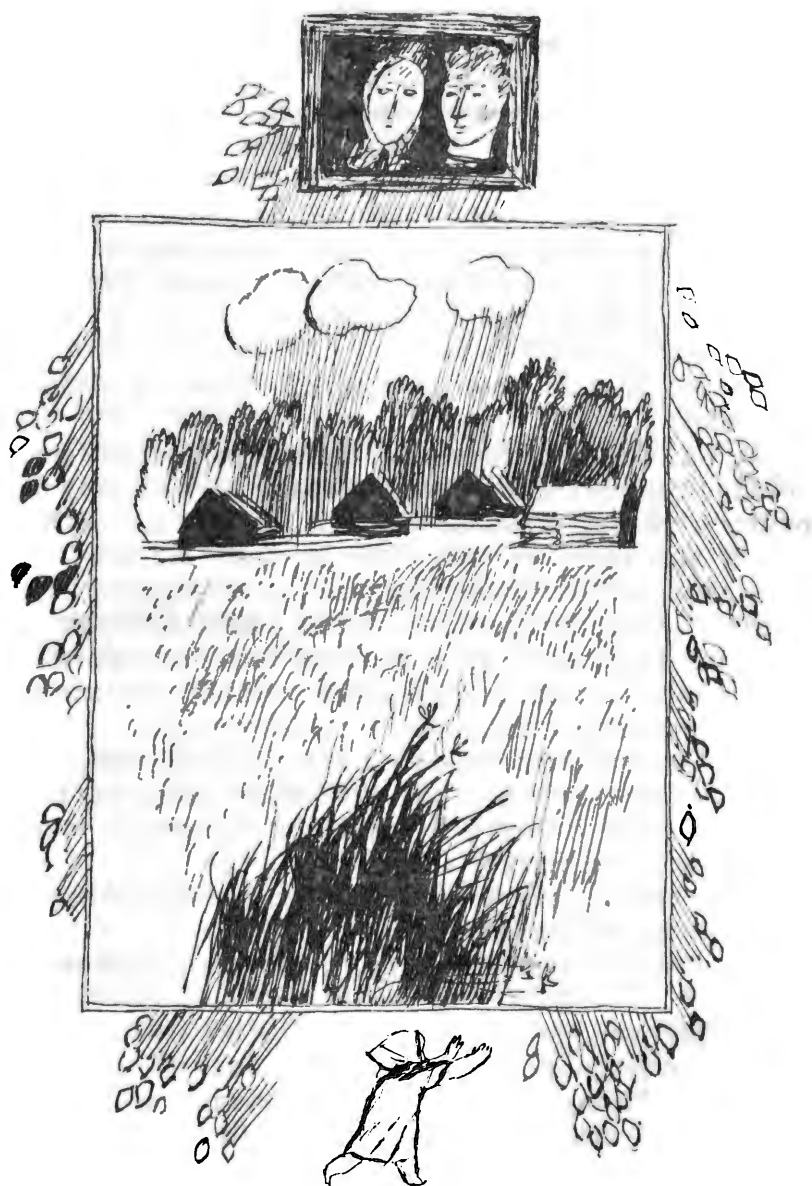
— Слей мне, пожалуйста, на руки, Любовь Николаевна!

Шофёр и комбайнеры тоже подошли, тоже подставили свои ладони, и каждый из них тоже сказал:

— И мне, Любовь Николаевна, и мне...



# МАЛЫЕ ЗВОНЫ



Малые Звоны — это Катина деревенька. За деревенькой в кузнице пылает горн, у горна — Катин отец. И вот как только он выхватит из огня жаркую подкову или раскалённый лемех для тракторного плуга да начнёт бить по ним молотом, так сразу и становится понятно, откуда у деревеньки такое название.

— От кузнечной музыки! — подтверждает отец, если у них и дома с Катей да с матерью заходит об этом разговор. — От моей музыки, от дедовой, от прадедовой... Ну и, конечно, оттого что деревенька наша в самом деле маленькая. Была бы побольше, называлась бы погромче. Скажем, Большие Звоны или даже Великие.

Катя смеётся:

— А зачем нам Великие? Нам в Малых хорошо!

И начинает объяснять, как ей в родной деревеньке хорошо. Она рассказывает про корову Бурёнку с телёночком, которые по утрам из тёплого хлева выходят. «Мы-ы тебе ра-ады, Катя!» — на весь двор мычат; рассказывает о быстрых стрижах и стрижатах, которые вьются над здешней речкой; говорит про кота Ваську, про его ласковое на крылечке, на солнцепёке мурлыканье; вспоминает даже отцовых приятелей — трактористов.

— Они вон какие заботливые! Лишь где встретятся, обязательно спросят: «Как жизнь, Катя Кузнецова?» Да ещё и скажут: «Передай твоим папе с мамой привет!»

Тут Катя делает передышку, взглядывает на отца, на мать, добавляет:

— Нет, я когда вырасту, и то отсюда ни за что не уеду!

— Не уедешь, так скоро уйдёшь... — ласково, но чуть с подвохом улыбается мать. — В интернат уйдёшь, в школу. А школа в посёлке за речкой, отсюда за четыре километра; а в интернате — друзья, подружки... Поживёшь ты с ними, пожи-

вёшь да родную-то деревеньку вдруг и забудешь. Что тогда нам делать?

— Ещё слышней названивать! — отвечает за Катю отец. — Если случится такое, я так трезвонить в кузнице примусь, что долетит и до школы, и Катя нас мигом вспомнит... Ну, а если нет, — корову на верёвочку, дом на трактор, кота в охапку да и сами двинемся за Катей. Были жителями деревенскими, станем поселковыми. Чем плохо? Может, так сразу и сделаем в первое сентября?

Катя смотрит изумлённо на отца, потом хохочет:

— Тогда выйдет уморушка: все в школу бегут сами, на своих на двоих, а я чуть ли не верхом на тракторе, да ещё и с Бурёнкой... Нет, я же говорю, что не забуду!

И вот наступает день, когда Катя в самом деле отправляется в школу. Идут они вместе с матерью, и настроение у Кати прекрасное. Она в новом платье с белым фартуком, у неё новенький портфель, а мать повязалась розовой косынкой и вся стала от этой косынки ещё моложе, ещё красивей. В одной руке у матери пёстрая сумка с Катиными запасными платишками, а другой рукой она крепко держит Катину тёплую ладонь.

Дорога вьётся по скошенным лугам. Утро синее. Ивы у речки начали кое-где желтеть, но стрижи на юг ещё не улетали. Они, как бы провожая Катю, проносятся низко над дорогой, а сама Катя всё оглядывается на только что пройденный мостик, на крутой обрыв над речкой и на деревеньку.

Чем дальше они с матерью уходят в луга, тем обрыв с красными наверху рябинами кажется ниже, деревенька меньше. А скоро не стало заметно даже крыш. Только в том месте, где кузница, поднимается тонкий дым. Он слабый, лёгкий, и Катя говорит:

— Папка горн разжѐг, а не работает. Наверное, стоит и смотрит нам вслед. Видит он нас теперь или не видит?

— Видит,— отвечает мать.— Тут раздолье!

— А правда, если он по мне соскучится, то так начнѐт названивать, так названивать, что я и в школе услышу?

— Может, и услышишь. Если постараться... Папкину кузницу по хорошей погоде слышать далеко. Я сама, бывало, уйду за чем-нибудь в посѐлок, а как про дом вспомню, так тут же мне и чудится, что слышу звон в нашей кузнице... Слабенько, издалё-ёка-издалёка, но — различаю, и мне уже спокойнее.

Так, разговаривая и крепко держась за руки, они шагают всё дальше.

Гладкая дорога ведѐт их сначала опустелым лугом, потом через холмистые, в молодой озими поля. Навстречу им, как белые гуси, облака плывут; вокруг, тоже медленно, по голубому воздуху скользят серебряные паутинки, и светлое настроение у Кати не убывает.

А когда наконец показалась окраина районного посѐлка со старым парком, когда открылась из-за осенних, словно оплѐснутых золотом, берѐз шумная школа с просторными окнами, то и тут всё у них пошло замечательно.

Заведующая Елена Петровна, плотная, невысокая, не старше Катиной матери женщина в коричневом под цвет глаз платье, быстро через весь свой кабинет простучала каблуками навстречу и прямо так и сказала:

— Вот как славно, что Катюша теперь тоже у нас! С днѐм первого сентября, с праздником!

Катя сначала удивилась, откуда заведующая знает её, но и тут же догадалась: «Это она маму знает, а я очень похожа на маму!» — и от удовольствия зарумянилась, а мама за Катю и за себя с поклоном ответила:

— И вас с праздником, и вас...

Елена же Петровна как начала со слова «славно», так потом это «славно» говорила всё время.

Она говорила его и тогда, когда они шли по коридору сквозь весело глазающую на Катю мальчишечью и девчоночью толпу. И тогда, когда показывала маме на распахнутые двери классов. И когда зашли в комнату для тех девочек, которые так же, как Катя, станут здесь жить от выходного до выходного дня.

— Вот видите, все ребята у нас очень славные... Вот, гляньте, как славно мы нынче успели всё покрасить, всё подготовить в классах к началу занятий... Посмотрите, какая у нас тут славная, очень удобная спальня для девочек. Я думаю, Кате понравится.

Кате действительно всё тут понравилось, только вдруг почему-то пригорюнилась мать.

Она опустила на тумбочку сумку с платяшками, провела тёмной, почти дочерна загоревшей на солнце, на полевой работе рукой по светлому покрывалу Катиной койки, вздохнула:

— Надо же! Такие несмышлёныши, и уже — в общежитии. Прямо не могу... Елена Петровна! Миленькая! Вы уж за Катей-то присмотрите. Она лишь с виду шустрая, а на самом деле ничего ещё не видывала, нигде не бывала. Затолкают её ребяташки.

— Не затолкают,— успокоила Елена Петровна.— У нас все точно такие же, как Катя. А в классе я к ней подсажу Иванову Манечку, девочку славную, рассудительную. Да и сама всегда буду тут. Катин класс — мой класс, так что ни себя, ни Катю не расстраивайте.

Мать, чтобы Катю не расстраивать, заторопилась, заизвинялась, да тут и грянул на школьной половине колокольчик.

Мать обхватила, небожно стиснула тёплыми

ладонями Катина лицо, поспешно чмокнула в губы один раз, другой, третий:

— Что это я в самом деле сбиваю тебя с толку? Беги с Еленой Петровной, беги, старайся, учись...

И Катя осталась в школе, стала стараться, и старание это ей сразу показалось ничуть не трудным.

Весело было учиться приветствовать Елену Петровну, когда она входит в класс. Она специально для этого опять вышла за дверь, опять вошла, и все как надо вскочили, и все как надо прокричали хотя и вразнобой, да зато громко, словно стрижи на Катиной речке:

— Здравствуйте!

Интересно было рассматривать вместе с Еленой Петровной букварь. Слушать, как на учительском столе в маленьком проигрывателе вдруг зашуршала пластинка, и там кто-то запел песенку: «То берёзка, то рябина...» — и все стали песенку подтягивать. Не очень трудно было срисовывать с доски в тетрадки косые палочки, а потом в классе произошло даже смешное. Елена Петровна сказала, что если кому что надо спросить, если кому что срочно понадобится, то для' этого сначалалагается поднять руку,— и руку сразу поднял Лёша Пухов. Он сказал:

— Мне надо скорее доесть пирожки с морковкой. Мне их бабушка назавёртывала целую сумку, сказала: «Ешь, пока горячие!» — а я их сразу все съесть не успел, а они уже чуть тёплые. Так давайте, пока не совсем остыли, доедим их вместе.

Лёша тут же полез было в парту за пирожками, но Елена Петровна остановила его:

— погоди, Лёша! Вот когда пойдём в столовую, тогда твоих пирожков и отведаем. Да не только отведаем, а ещё и скажем спасибо тебе и твоей бабушке. Пирожки с морковкой если остынут — всё равно очень славные на вкус. Потерпишь?



И Лёша ответил, что потерпит, заулыбался, и весь класс тоже заулыбался, потому что всем очень и очень понравилось, что Елена Петровна так вот хорошо потолковала с Лёшей.

А Катя тронула соседку Манечку, шепнула ей на ухо:

— Нам бы тоже о чём-нибудь Елену Петровну спросить. А то она с Лёшей поговорила, а с нами ещё нет.

И рассудительная Манечка ответила очень рассудительно:

— Будем на уроке шептаться — поговорит. Да ещё как!

Но Елена Петровна сказала:

— Я вижу, все устали, всем хочется побеседовать, так давайте побеседуем. А ну, кто знает какие загадки?

Тут мигом руки подняли все. Весь класс зашумел:

— Я знаю! Я!

И все теперь по очереди вставали, все говорили свои загадки. А ответы кричали опять хором, потому что загадки-то были простенькие, давным-давно каждому знакомые.

— Над бабушкиной избушкой висит хлеба краюшка,— начнёт торопливо загадчик, а класс уже радостно шумит:

— Месяц!

— Без рук, без топорёнка построена избёнка,— скажет другой, а класс уже опять шумит:

— Птичье гнёздышко!

И только когда Катя загадала свою загадку, класс притих, не зная, что ответить.

Катя сказала складно:

Стоит высоко,  
Видать далеко,  
Звенит весь день:  
Динь-дилинь-день-день!  
Что это такое?

Кто-то неуверенно произнёс, что это, быть может, школьный колокольчик. Кто-то ещё неувереннее возразил, что это больше смахивает на поднебесную тучку с весёлым дождиком, да тут же от своей отгадки и отказался. Даже Елена Петровна пожала плечами:

— И я такой загадки никогда не слыхивала.

— Её никто ещё не слыхивал! — засмеялась Катя. — Мы её с папкой придумали. Это знаете что? Это — наша деревенька Малые Звоны с кузницей. Понятно? Это она:

Стоит высоко,  
Видать её далеко,  
И звенит в ней весь день —  
Динь-дилинь-день-день...

— Теперь понятно! — обрадовалась Елена Петровна. — Молодцы вы с папой. Сочинили не только загадку, а и настоящую песенку.

И тут, конечно, все ребяташки в классе загалдели, что и они могли бы рассказать немало интересного про свои сёла, деревеньки и даже, может быть, тоже сочинить песенки, но Елена Петровна замахала:

— Верю! Уймитесь. Времени у нас в году много, послушаем всех.

Уроки пролетели незаметно, а потом был обед, где, кроме супа, каши, киселя да молока, ели ещё и Лёшины пирожки с морковкой. Правда, целиком пирожков на всех не хватило. Каждый пришлось резать на три части. Но то, что пирожки вкусные, распробовали все, даже нянечка, которая помогала накрывать столы, даже румяная, улыбчивая повариха на кухне за раздаточным окном и, конечно, сама Елена Петровна.

И все сказали:

— Спасибо тебе, Лёша. Спасибо тебе и твоей бабушке. Передай ей от нас самый сердечный привет.

Большеухий, волосы ёжиком, Лёша сидел именинником, улыбался:

— Передам, передам... Обязательно передам! Завтра ещё пирожков принесу.

А когда Елена Петровна объявила, что тот, кто живёт в посёлке, может идти домой, а для интернатских наступил тихий час, то интернатские мальчишки пошли в свою спальную комнату, девочки — в свою, и скоро всё стихло.

Стихло в спальне, в коридоре, даже на улице. Елена Петровна осторожно затворила за собою дверь, ушла к себе в кабинет, а Катя лежит калачиком под одеялом и — не спит.

Не спит она, во-первых, потому, что спать в такую пору не привыкла. Комната хотя и полутёмная, над окнами комнаты с воли хотя и нависают ветви берёз, но за берёзами — день, солнце, высокая в просветах листвы синева.

А во-вторых, Катя лежит и видит: с койки рядом из-под одеяла на неё посматривает Манечка. Глаза у Манечки шустрые, чёрненькие, весёлые — сразу понятно, спать она тоже не думает.

— Ка-атенька... — шепчет она. — Тебе тут хорошо?

— Хорошо-о... — ещё тише отвечает Катя. — Хорошо, да вот не сплю.

— И я не сплю, — выпрастывает голову из-под одеяла Манечка, опирается на руку, на подушку. — Я всё знаешь про что думаю? Про то, что давай, Катенька, теперь дружить. Давай так, чтобы и тут в школе всегда вместе, и по выходным дням, и по всем праздникам тоже вместе.

— Не получится, — отвечает шёпотом Катя. — По праздникам папы-мамы нас домой будут забирать.

— А мы попросим, чтобы они нам разрешили ходить друг к дружке в гости. Сначала ты ко мне, в мою деревню, на Октябрьские праздники, потом я в твою на Новый год... Я знаю, тебя отпустят.

Папа у тебя вон какой, загадки помогает тебе придумывать, да и мама, наверное, очень добрая.

Слышать хорошее про своих мать-отца куда как приятно. Катя негромко, так чтобы не разбудить в спальне других девочек, смеётся:

— Папка-то с мамкой у меня — чудак! Говорят, если соскучимся по тебе, так сразу дом на трактор, корову на верёвочку и подкатим сюда, к школе. Скажем: «Стук-постук! Где наша Катя тут? Не желаем жить от неё вдалеке, желаем жить рядышком!» Правда, обсмеёшься?

— Правда! — улыбается Манечка. Но тут же добавляет: — И всё-таки жить всем вместе, конечно, лучше... Вон Лёша Пухов — раз! — и дома. Сидит теперь со своими, хвастается, как пирожками нас угощал.

— Про школу рассказывает, — соглашается Катя. Потом вдруг вздыхает. — Я бы вот тоже так посидела, я бы вот тоже с папой, с мамой сейчас поговорила хотя бы чуть-чуть...

И девочки смолкают, каждая думает о своём. Но у спокойной Манечки и думы спокойные, она мало-помалу начинает задрёмывать, а вот у Кати желание спать пропало совсем.

Ей видится Бурёнка с телёночком, стрижи над речкой, кот Васька на лавке; она припоминает и тот весёлый разговор с отцом, когда он сказал, что если чуть что, так сразу начнёт звенеть в наковаленку. Так начнёт, что Катя даже и здесь, в интернате, даже вдали от дома его услышит.

Катя медленно поднялась, медленно натянула платье, тихо пошла меж узеньких коек к окну спальни.

— Ты куда? — сонно, не открывая глаз, спросила Манечка, но Катя лишь молча показала рукой: «Лежи, лежи, я сейчас...»

У подоконника она привстала на цыпочки, прислушалась. Потом перешла к другому окну, опять

прислушалась. Ни там, ни тут дальнего звона было не слышать.

«Деревья мешают... На улицу надо...» — подумала Катя, а Манечка опять, но теперь во весь полный голос спросила:

— Да куда же ты? Елена Петровна увидит, заругается.

Но и вновь Катя показала рукой: «Лежи, лежи!»

Она отворила дверь, прошла по коридору, открыла осторожно вторую дверь и оказалась на крыльце. Только не на том широком крыльце, через которое они входили утром с матерью, а на запасном, рядом с кухней.

Окна кухни были раскрыты настежь, затянуты белой марлей. Оттуда слышались негромкие женские голоса. Там плескалась вода, брякала посуда. Потом что-то звонкое упало, все на кухне рассмеялись, опять заговорили неразборчиво.

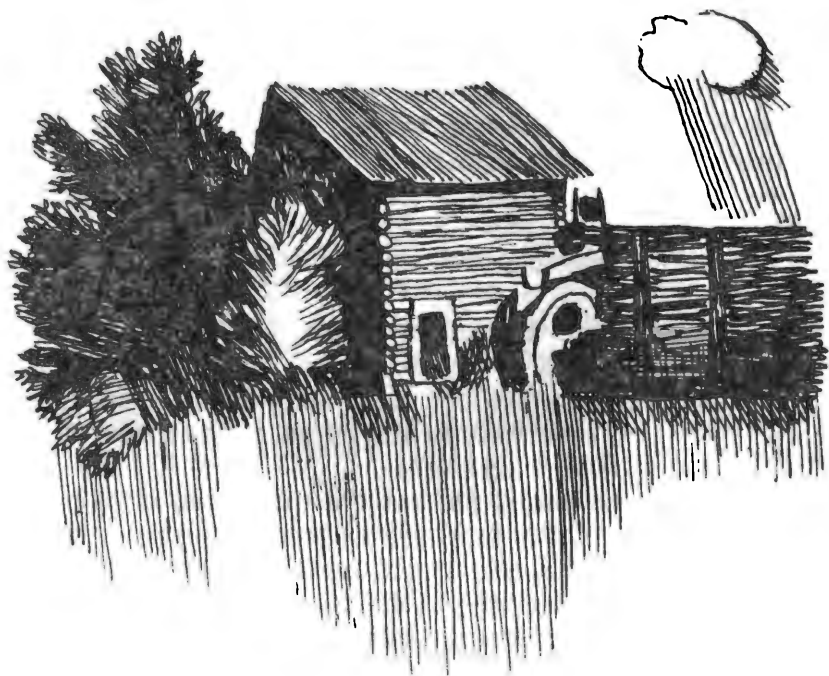
Оттого что голоса доносились как бы с расстояния, школьный двор показался Кате удивительно пустынным, совсем тихим. В этой тиши хорошо был слышен слабый шелест роняющих листву берёз, робкий треск запоздалого кузнечика в примятой траве, воробьиная возня под окнами кухни, а вот дальний звук папкиной наковаленки, сколько бы Катя ни прислушивалась, сюда не прилетал.

— Да что это такое? Почему папка не звонит? То говорил — названивать буду, а теперь не звонит и не звонит... Неужели сам про меня позабыл?

Кате стало тревожно.

Катя шагнула вниз на одну ступеньку, на другую ступеньку, спустилась с крыльца, всё быстрее, быстрее пошла через двор к калитке.

За спиной у неё, уже не на кухне, а в самой школе, в гулком и, наверное, всё ещё пустом коридоре вдруг хлопнула какая-то дверь, вдруг кто-то закричал, заговорил — похоже, Манечка, похоже, Елена Петровна, — но Катя выскочила на



просторную под берёзами улицу, понеслась во весь дух.

Она теперь не думала, догоняет её кто или не догоняет. Ей казалось теперь, что если и там, за окраиной посёлка, за покато уходящим вверх огромным полем наковаленка не зазвенит, то, значит, произошло что-то совсем непоправимое. Испуганной Кате мерещилось: если кузнечного звона не слышно во дворе за школой, не слышно за посёлком в поле, то, значит, больше нет нигде и самого папы, нет мамы, и вся их деревенька вместе с речкой, вместе со стрижами, с белыми облаками сгнула тоже.

И Катя на бегу, чуть ли не плача, всё приговаривала:

— Ой, папонька, позвени! Ой, миленький, возьми молоточек, стукни скорей по наковаленке!

Топот собственных ног мешал ей слушать. Она приостанавливалась, на миг замирала и опять ударялась по тропе вверх.

А сзади кричат, стараются настичь Катю Елена Петровна и Манечка.

— Постой! Куда ты? Постой!

Мчаться за Катей им пришлось бы долго, да тут на полпути к полевому перевалу, к высокому гребню холма тропка вдруг раздвоилась. Один поворот вильнул круто влево, другой вправо, и Катя замешкалась.

Елена Петровна догнала Катю, обхватила:

— Что хоть такое случилось-то?

— Мне вон туда надо! Мне надо там наверху постоять, на свою деревеньку посмотреть!

— Зачем? — удивилась Елена Петровна, да лицо у Кати было такое, что тут же Елена Петровна и сказала: — Давай тогда скорее вместе поглядим!

И они прямо без тропки, по колючему, скошенному, но уже с новыми яркими листиками клеверу побежали ещё выше.

Шустрая Манечка семенила рядом. Она-то уж давно всё поняла и теперь торопливо объясняла Елене Петровне про тот разговор в спальне и про то, как Катя пустилась наутёк.

Елена Петровна Манечку не перебивала, лишь всё поглядывала на неё:

— Не отставай, Манечка, сама не отставай...

Катя Манечку не перебивала тоже. Она торопилась подняться на макушку холма и вот поднялась, всплеснула руками, счастливо крикнула:

— Стоит моя деревенька! Стоит! А ну, тише, Манечка... Давайте поглядим, послушаем.

И они все трое примолкли, стали глядеть. И хотя через всю долину, которая теперь лежала у них под ногами, до Катиной деревеньки было не близко, они увидели и узенькую вдали речку, и

стрижиный обрыв над речкой, и даже, как показалось Кате, дымок над папкиной кузницей.

А когда прислушались, то всем ясно почудилось, что мчится к ним по синему воздуху и тонкий звон кузнечной наковаленки: динь-дилинь! динь-дилинь!





# ПОЛОСА НЕВЕЗЕНИЯ



**Ж**ил я до нынешней весны, не тужил, в школу бегал, и всё у меня там шло — о'кей.

Да вдруг это «о'кей» кончилось.

Урок выучу, а меня не вызывают. День не вызывают, два не вызывают, на третий день уроков не учу, а тут — хлоп! — к доске. И конечно, двойка. А потом снова двойка, и что дальше делать, не знаю.

Но вот мой лучший друг Эдя — он уже в седьмой класс ходил, его в нашем подъезде все мальчишки уважали — мне всё как следует и растолковал.

— А ничего, — говорит, — делать не надо. Надо лишь знать, Паша, что жизнь — всегда в полоску. То тебе везёт, то не везёт... Вот и сейчас у тебя наступила полоса невезения. Ну а раз она наступила сама, то и отступит сама. Твоё дело — ждать, не расстраиваться. Я лично, — говорит Эдя, — не расстраивался из-за двоек никогда, а, видишь, всё равно в седьмом классе. Понял?

И я, конечно, понял.

И жил опять нормально до той поры, пока в самый что ни на есть канун весенних каникул не вызвали в школу мать.

Она из школы вернулась, шумит:

— Это всё компания твоя! Это всё на тебя влияет твой Эдя!

Я за друга заступаюсь:

— Эдя здесь ни при чём...

И сам объясняю про полосу невезения, да мать не желает слушать.

— Нервов, — говорит, — моих с тобой разговаривать больше нет... Вот приедет отец, пускай — он!

А отец тут возьми да в тот же вечер и нагрянь домой.

Он у нас — шофёр. Он от строительной конторы всю нынешнюю зиму, а теперь и весну в дальние рейсы в подшефный колхоз ездил, дома, бывало,

не ночевал сутками, а тут — привет! — прибыл. И мать, ясно-понятно, с полным к нему докладом про меня.

В общем, всё в точности как Эдя говорил, всё одно к одному. Да я-то уж знаю: пройдёт и это. Отца, понятно, боюсь, но не слишком боюсь — сам первым перехожу в наступление.

Мать после доклада своего суетится, на кухне перед отцом хлеб, соль, горячие щи ставит; ну а я устроился на всякий случай поближе к двери, поближе к выходу в коридор, и оттуда таким соловьём заливаюсь про полосу невезения.

Заливаюсь, а отец хлебает, слушает.

Внимательно так слушает, но всё молчит.

Только когда откусывает от краюхи, зеленые из-под рыжих бровей глазищи поднимает на меня, лоб морщит, жуя хлеб, шевелит усами.

Шевелит и всё помалкивает.

И таким вот манером он до того молчал, что и я замолчал.

Я подаюсь теперь подальше, в самый коридор, а отец откладывает ложку, утирает усы да вдруг совершенно спокойным, но ужасно твёрдым голосом и объявляет:

— Завтра в шесть ноль-ноль утра собирайся в путь-дорогу.

— В какую дорогу? — опешил я.

— Куда ты его? — напугалась больше моего мать.

А он нам так и отрубил:

— В колхоз!

Отрубил, встал, шагнул из кухни в комнату. Мать тоже вскочила:

— Опомнись! Ты что? Зачем Паше в колхоз?

— За умом! — отрезал ещё круче отец, ушёл в комнату, повалился там на оттоманку да и захрапел.

После дальнего рейса он всегда так. Навернёт

тарелки три, а то и четыре горячих-прегорячих щей, на оттоманку повалится, и хоть стреляй над ним из пушки.

Он нахрапывает, а мы с матерью на кухне сидим, друг на друга смотрим. И если честно говорить, мне даже страшновато. В другое-то время, если бы мне сказали по-хорошему: «В колхоз!» — я бы, может, и обрадовался, а тут, чувствую, дело неладно, и едва не реву.

— Что это, — говорю, — мама? Неужели он меня насовсем в колхоз-то? Полоса ведь у меня пройдёт...

Мать такому обороту не рада и сама. Она тоже разводит руками:

— Ох не знаю, Паша... Подождём утра, голубчик, может, утром папа поотмякнет...

Наутро отец не отмяк, но кое-что прояснилось.

Встали мы по трескучему нашему будильнику в шесть ноль-ноль: в окошках ещё темь-распротемь, холод.

Отец включил свет, со мною по-прежнему ни слова, но матери говорит:

— Выдай ему — это мне, значит: «Выдай!» — носки потолще да свитер потеплей. И положи в сумку еды на двоих. Раньше чем через сутки нам не вернуться.

Ну, а раз он так говорит, то, стало быть, вернуться мы всё-таки вернёмся, и я — ожил.

Настолько ожил, что пробую от поездки даже увильнуть.

— Чего это, — бубню, — в колхоз ехать, когда я — школьник? У меня теперь школьные каникулы, а в каникулы я должен отдыхать.

Но отец — мы в это время уселись завтракать — фыркнул до того презрительно, что я чуть не поперхнулся вчерашними щами.

— Отдыха-ать... — передразнил отец. — От чего отдыхать-то? От полосы?

И я опять скис. А он вновь замолчал. И так, без единого слова, мы вышли. Молчал отец и в трамвае, пока мы ехали по пустым забким улицам, молчком он поздоровался и с вахтёром в гараже, молчком осмотрел да завёл свой старый грузовик, который называл в добрую минуту «газончиком», а в хмурую — «газоном».

И только когда мы прикатили на строительный склад, то отец поговорил с грузчиками, да и то безо всякой охоты.

Я сижу в кабине, он зачем-то полез опять к мотору под задранный капот; грузчики кидают к нам в полураскрытый кузов длинные водопроводные трубы, на меня мимоходом поглядывают, кричат весело отцу:

— Смотри-ка, у тебя настоящий помощник-стажёр подрос!

— Подрос...— пытит из-под капота отец.

— И рыжиной весь в тебя!

— В меня...— пытит всё так же отец.

— И, поди, деловой такой же?

— Куда-а как деловой... Деловитее не бывает...— совсем глухо, даже с насмешкой отвечает отец, а я в кабине ёрзаю, голову от этих надоедлых грузчиков отворачиваю, не могу дожидаться, когда они трубы уложат, увяжут да и отпустят нас в дорогу.

Но вот наконец и дорога!

В полях под рассветным солнцем ослепительно полыхают снега. В каждой лужице по обочинам пути будто горит электросварка. И смотреть, не жмурясь, можно только на асфальтовую ленту шоссе, которая к нам под колёса так самоходом и стелется.

Она встречу нам бежит, а мы с отцом едем, помалкиваем опять.

За кабиной тонко звенят стальные трубы: мо-

тор, глотая прохладный воздух, фырчит бодро, а мы снова ни гугу.

Отец разговоров не заводит, потому что не желает, а я опасаюсь.

Я думаю: «Начни, а он мне вновь как чего-нибудь этакое ответит — и хоть сиди тогда в кабине, хоть падай... Да и зачем он в рейс-то меня всё-таки забрал? Ведь не покатать же! Прокатиться, хоть и до какого-то там неизвестного колхоза, любой мальчишка был бы не прочь, даже Эдя, и вряд ли отец задумал мне устраивать такое увеселение... Нет, наверняка тут затеян какой-то очень и очень крепкий подвох!»

В общем, еду я, тревожусь, а отец, должно быть оттого, что и дорога хороша, и погода светла, начинает как будто бы маленько отмякать. Он даже усмехнулся, когда ловко обошёл одного совсем по-цыплячьи жёлтого «Жигулёнка», помахал встречному на чумазом тракторишке «Беларусь» трактористу, ну а я, пользуясь моментом, пробую к отцу подольститься:

— Трубы в колхоз для чего? Разве там тоже есть, как в городе, водопровод?

— Строим... — кивает отец, но мигом снова строго поджимает губы.

А я и такому началу рад. «Ага, — думаю, — по делу-то он мне отвечает! Сейчас подкину ещё какой-нибудь умный вопрос...»

Но тут стало не до вопросов. Подкинуло и мотануло весь наш грузовик.

Трубы в кузове загревели — мы свернули с асфальта на разбитый в пух и прах просёлок. Колея тут в глинистых рывтинах, в мутных лужах, и только белые поляны меж голубых вдоль дороги перелесков сверкают чистым снегом, горят подплавленным на солнце настом.

Но и на этой дороге мы тоже не одни. Впереди идут, ныряют по ухабам в солнечных снегах два больших автомобиля, два ярко-красных «Урала».

Их — могучих — нам, конечно, не нагнать. Да отец, похоже, и рад, что они — первые. Они нам по талому льду, по весенней грязи дорогу обминают, и мы по их следу катим смело. Правда, фонтаны поднимаем тоже — куда там! Но всё равно идти нам за «Уралами» полегче, и теперь отец заводит со мною разговор сам:

— Вот, глянь... Не хуже танков прут! Это — леспромхозовские... Они нам попутчики почти до самого конца.

Я подхватываю взхлёб:

— Ага, ага! Как танки, как бульдозеры, как ледоколы... Мощнецкие, будь здоров! И это, папа, хорошо. Это выходит: у нас сегодня полоса удачи!

Ляпнул я такое на радостях и вновь всё испортил. Отец сразу: «Хэх-х!» — и опять доброе меж нами как ветром сдуло. Запутался я с ним, с отцом-то... До того запутался, что и сам злюсь: «Ну, коли так — довольно перед папаней юлить! Пускай меня везёт куда желает, как желает — спрашивать больше не стану ничего!»

Ну, катим мы дальше за «Уралами».

Их алые кабины мелькают теперь на самом краю белого поля. За тем полем, по всему видно, крутой спуск и овраг. Из оврага тёмные макушки ёлок, голые вершины берёз торчат. «Уралы» бесстрашно ныряют под них — отец, понятно, жмёт в том же направлении.

Да вдруг видим: передовые наши пятятся.

Выползли, стали поперёк пути.

Мы к «Уралам» подлетели — наш старенький «газончик» возле них, как запыхавшийся моська рядом со здоровенными, странно краснобокими слонами, — из передней кабины высунулся тоже здоровенный водитель. Рукой нам, большим пальцем показывает через плечо, за свою кабину: смотрите, мол, смотрите вниз!

А сам кричит:

— Прорва вздулась!

Что за прорва, мне не понятно. Я вылезаю на скользкую подножку, встаю за приоткрытой дверцей на цыпочки, по-за макушки ёлок глазами тянусь, да так и отшатываюсь.

Ёлки-то держатся за обрыв чудом и сбегают отвесно в самую настоящую пропасть. А там, в пропасти, река. Лёд на реке дымится чёрными разводами. По ледовому закрайку взъерошенный — крохотный издали — ворон ходит, и сразу видно: глубина под ним тоже непомерная. Название Прорва кто-то придумал реке точного точней!

Отец тому здоровенному водителю и его товарищу кричит:

— Да уж! Ход — на тот свет, к водяному в омут! Но и обратно поворачивать нельзя... Меня с моим грузом люди ждут. Неужели другой переправы нигде больше нету?

Водители отвечают:

— Есть... Через кордон Незабудку. Крюк — километров двадцать, да там сплошняком леса. Прорва мельче. В лесах река и дорога должны ещё стоять. Жмите, мужики, и дальше за нами!

Это они, значит, и меня как бы называют мужиком. Причём глядят в мою сторону безо всякой усмешки, не то что в городе грузчики, не то что отец.

Я сразу привстал на цыпочках на подножке ещё повыше, да тут они заторопились, торопят и нас: «Не мешкайте! А то скоро и Незабудку не проскочить...» — и поддали газу, погнажи тяжёлые свои «Уралы» вдоль высокого берега к дальнему лесу.

Мы тоже к лесу рулим. А они там уж скрылись, только, уходя, помаячили нам красными кабинами да оставили рубчатый, на лесных просеках-перекрёстках чёткий след. Но и за это им — благодарность! По такому следу не собьёшься, где, в какую сторону свёртывать, заметишь вмиг.



А ещё я еду, радуюсь, что водители таких серьёзных машин так вот запросто называли меня мужиком.

А что? Почти всё верно... Ростом я не коротышка, силёнки какие-никакие имею, в рейс еду с отцом, можно сказать, чуть ли не на равных, и если бы он на меня не хмурился, то я бы даже мог подержаться и за руль.

Но с рулём — потерпим. Перво-наперво надо проскочить эту самую Незабудку. Отец хотя и не очень ко мне улыбочив, да я ему плохого не желаю. Пускай груз свой доставит вовремя и куда надо, а там, глядишь, и прояснится: зачем он потащил и меня в эту поездку.

В общем, еду — всё настраиваюсь на хороший лад. А с обеих сторон мелькают теперь сосны да сосны. Их лохматые макушки над дорогой сомкнулись, как сплошная крыша. Синие, в холодных тенях сугробы здесь держатся почти ещё крепко. Но влетающий в кабину ветер и тут уже не зимний, а весь он пропитан воздушною влагой, промыт свежестью, пахнет подталой сосновой корой и даже — как будто после грозы — дождиком. Так и кажется: выскочишь сейчас из-под сосен, а там впереди — чуть ли не распрекрасный месяц май.

И вот через часок-полтора просека распахнулась, а навстречу и впрямь — золотое с голубым!

Золотятся под ясным небом на снегу тонкие кусты ивняка. Играет золотом в снегах за ивняком узкая речка, которая и на Прорву-то не похожа. Через речку — мостик. А за мостиком дорога взлетает мимо крутых сосен чуть ли не в небо, а оттуда — навстречу нам — золотыми под солнцем водопадами прыткие ручьи.

Я на всю эту красоту ахнул:

— В самом деле — Незабудка!

Отец — стоп! — машину на тормоза:

— Чёрт! Опоздали!

Он хлопнул дверцей, пошёл по следам «Уралов» к мостику.

На мостике потоптался, побил каблуком одно бревно, другое бревно, полез на тот, на весь в ручьях, берег. Там, придерживая шапку, долго снизу вверх разглядывал уходящий в крутую гору и весь измолотый колёсами «Уралов» путь. «Уралы»-то сами здесь, наверное, вскарабкались едва — вот отец и думал, прикидывал, как быть теперь.

Наконец на что-то решился, пришагал обратно, сел за руль, спрашивает:

— Штурманём высоту?

А мне — что? Моё дело — подчинённое. Тем более вижу: он и сейчас со мной беседовать не шибко рад, не до беседы ему, — и отвечаю коротко:

— Штурманём.

— Тогда держись! — буркает отец, врубает скорость.

Речная ложбина, мостик, крутой подъём двинулись нам навстречу.

Трубы у нас в кузове загревели, опять друг по дружке захлестали.

И вот этот берег под нами — долой, мостик под нами — долой, ещё миг — и «газон» со всего маха так и прёт, так и лезет в гору.

Лезет — да на промоинах его мотает, по раскислой глине уводит то влево, то вправо. Мотор стонет, чуть не захлёбывается, и я чувствую, и отец наверняка чувствует: силёнок у нашего грузовичка до самого верха, до перевала, ну никак всё равно не хватит.

И тут вдруг за самой кабиной да за кузовом как грохнет что-то. Вдруг будто какая держалка как оборвётся, как выпустит нас, так мы тут на гору-то и вылетели...

Отец — скорость долой, дверцу настезь:

— Что такое? Почему полегчало?

И вот мы уже стоим рядом с нашим бедолагой-грузовичком на дороге, смотрим под гору,

и — не знаю как у отца, а у меня пошёл под шапкой мороз.

Вся наша стальная поклажа валяется на скатерях в грязи, и как её вызволять да обратно в кузов укладывать, представить невозможно. Обстановка — хоть кричи караул.

Да и что тут кричать! Стоим мы под светлым небом лишь в компании тихих у дороги сосен, рядом с нами только опустелый «газончик» пофыркивает устало да слышно, как вокруг нагретых солнцем древесных стволов оседает снег. И сочится из-под снега в колеи, собирается в светлые струйки, катится под гору по мелким камушкам с торопливым бормотанием талая вода.

Она заплёскивает раскатившиеся по дороге трубы, ныряет в них, булькает пузырями, словно радуется нашему несчастью.

И вся просторная у нас под ногами долина будто смеётся вместе с солнцем: что, мол, штурманули Незабудку? Вот то-то! Потому она и называется Незабудкой, а не отчего-либо иного...

Мне в голову опять лезут мысли про везение-невезение, да я уж молчу.

Отец сердито сплюнул, заругался на грузчиков. На то, что они играли за работой в хахоньки, трубы покидали кое-как, увязали проволокой на живую руку. Потом забранился на «Уралы», на то, как они избуrowили весь подъём, а тут принялся костерить и самого себя:

— Нет чтобы перед броском слазить в кузов да всё проверить!

При этом он и на меня поглядел с досадой, будто я тоже был обязан проверить, и я чувствую себя виноватей всех. Чувствую, а что делать, не ведаю.

Только вдруг вижу: отец сам пошёл по колее, по ручьям под гору к трубам. Выудил сразу три штуки — с них, длинных, гибких, коричневая грязь, прямо как масло, льётся, да он всё равно

взвалил их концами на плечо и зашлёпал наверх, на перевал, к машине.

«Ишь ты! А меня даже не зовёт!» — возмутился я. И хочу кинуться на подмогу, да однако ещё смотрю и на свои полусапожки.

На отце — всё рабочее, а у меня полусапожки из тех, что называют фирменными. Я их приобрёл по совету Эди. Вернее, вырел эту покупку у матери и вот теперь топчусь, «фирму» свою жалею, и новую курточку жалею. На ней, на курточке, тоже наклейки вроде фирменных.

Но жалей не жалей, а отец — работает! И я на «фирму» машу, выуживаю из ручья скользкую трубу, волоку в гору. Я теперь вполне могу отцу сказать: гляди, мол, хотя ноша моя не так велика, как твоя, а стараюсь я ничуть не меньше.

Отец же таскает трубы чуть ли не бегом. В переговоры со мной не вступает по-прежнему. Лишь нет-нет на ходу в мою сторону глянет и опять — вприпрыжку через ухабы да за дело.

Он — вприпрыжку, ну и я — трусцой. И хоть уплескался я весь, как утка, хотя руки болят, а ноги заплетаются, да я понимаю: спешим мы не просто так. Время теперь не за нас. Вернее, солнце жарит, как нанятое, — лесные дороги впереди за горой рушатся тоже.

Но вот трубы все до единой улеглись на место. Мы лазаем вокруг кузова и по кузову: утягиваем борта и поклажу обрывками проволоки. От её колких концов ладони мои в глубоких ссадинах, но я терплю, не охаю. А тут и отец начинает на меня поглядывать почаще. Более того, он даже просит:

— Вот здесь, Пашка, помоги подтянуть... Вот тут, сынок, давай ещё закрутим... Ехать нам теперь придётся ещё быстрее, а то забедует на этой горе среди водополя, как дед Мазаевы зайцы.

А когда он отошёл чуть в сторону от машины,

когда оглядел увязанную поклажу, то, довольный, и ко мне обернулся всем лицом.

Обернулся, тут же встопорщил испуганно брови:

— Ёжки-ложки! На тебе ведь сухой нитки нет!

— Одна, может, есть... — пробую я пошутить и, держась за крыло машины, силюсь расстегнуть левый, полный воды, полусапожок.

А самого так вот и покачивает, так вот из стороны в сторону и водит... А в глазах — то ли от солнца, то ли ещё от чего — золотые комарики. Они ходят кругами вместе с солнцем, вместе с соснами, вместе с отцом туда-сюда, туда-сюда.

— Стой! — кричит мне отец. — Стой!

«Стою, — хочу я ответить, — стою...» А он уже распахивает кабину, хватает меня под мышки, бухает на мягкое сиденье — срывает с моих ног «фирменные», а теперь похожие на осклизлые чуни, обуви.

— Что ты, как маленького! — порываюсь я вывернуться, а он всё равно полусапожки с меня сдёрнул, мокрые носки сдёрнул, ватную стёганку с себя смахнул, под босые мне пятки подсунул, прямо орёт:

— Грейся! Сейчас костёр ещё запалим!

— Какой костёр? Сам говоришь: надо ехать поскорее...

А он не слушает, скачет вдоль дороги, вдоль опушки по влажным сугробам, корёжит там сучья, пеньки, валежины. Я глазом моргнуть не успел: на проталине под сосной полыхнуло розовым столбом пламя.

И опять отец сгребаёт меня в охапку, тащит к сосне, сажает на опрокинутый, горячо нагретый близким огнём пенёк:

— Теперь штаны скидывай!

— Штаны-то зачем? Высохнут на мне... Вдруг кто по дороге всё же и проедет...

— Не проедет. Одни мы тут. И будем сидеть

тут, пока ты у меня не прожаришься насквозь.

Я так и присвистнул. «Вот,— думаю,— помогался! Опять, выходит, не столько пользы отцу от меня, сколько незадачи. Нет, Эдя прав совершенно: когда не везёт — лучше не ворошись».

И я сижу — не ворошусь. Сижу, укутанный в отцову стёганку, как грудное дитяtko, а всё моё барахлишко висит, исходит паром перед жарким костром.

Но отец — удивительное дело! — теперь совсем как подменённый. Он теперь будто сказочному сивке-бурке в одно ушко влез, из другого вылез. И сам переменялся, и слышит все мои мысли.

— Ничего, Пашка, ничего! Зато подсобил ты мне расчудесно. Без тебя я трубы-то всё ещё таскал бы да таскал, а ты — раз! — и помог. И давай, Пашка, если у нас с тобой что было до этой поры не совсем так, то теперь пускай будет так.

— Пускай! — в один миг воскресаю я.

У меня даже из головы вон, что на мне нет ни куртки, ни штанов, я так и прыгаю:

— Давай тогда и дальше держаться заедино! Давай тогда теперь же и поехали. Ты вон сам весь измок, а сидишь, ожидаешь только меня...

И так мы вдруг у костра-то помирились, что и отец со мною — словно в самые лучшие наши денёчки, и я с ним — душа настежь.

А когда подсохла моя обувь-одежда, то отец глянул на яркие под солнцем лужи, на прямо уходящую вперёд просеку, сказал:

— Я, Паша, пожалуй, и тут сначала сделаю пешую разведку. Что-то мне там, в конце просеки, не по нраву, и как бы нам не забуриться хуже прежнего.

— Вместе тогда пойдём! — отвечаю я. — Мы же уговорились во всём заедино.

Да он посмотрел на мои слинялые, подгорелые скороходы, засмеялся:

— В кабину залазь. Доставай сумку с провизией, подкрепляйся. Я — мигом.

И он зашагал то напрямую через лужи по дороге, то в обход по талым меж сосен полянам, а я расселся в кабине на мягких подушках. Вынул из багажного ящичка сумку, крутнул головой. Оттуда, из сумки, так и пахнуло чесночным, колбасным духом, кисловато-приятным ароматом ржаной буханки.

Я прямо руками отломил колбасы, отломил хлеба, сижу, провизию уминаю, чуть ли не мурлычу.

Аппетит у меня богатырский, настроение солнечное. За обсохшим, в грязевых кляксах стеклом — высокое небо. Под ним дымится тёплый, рассечённый надвое весеннею просекой бор. А там, где просека и бор обрываются, — в той стороне уходят совсем уж куда-то за синий край земли беспредельные и тоже светло-синие ельники да березники. Они смыкаются с горизонтом, как море-океан. И вот так бы вот и глядел всё туда, а сам бы с места не торопился. Жил бы в кабине, как в домике, и нигде тебе никакой школы, никаких передрыг.

И я сижу, прекрасным видом да колбасой с хлебом наслаждаюсь, или, как бы сказал Эдя: «Кейфую!» — а отец там вдали на лесной дороге всё шагает да шагает, всё перепрыгивает через чёрные кочки-проталины, через яркие лужи.

И такой он там весь под большими соснами маленький, такой весь от усталости пригорбленный, такой одинокий, что я так и замер вмиг.

Замер — и будто меня чем резануло: «А ведь хорошо-то мне оттого, что со мной — он! Оттого, что он старается не только из-за этой предназначенной неизвестному мне колхозу поклажи, а бредёт там по лужам, по снеговой хляби и для меня. Да что — для меня... Для мамки — тоже! Мы вон с ней, с мамкой, если разобраться, круглый год

под крепкой нашей крышей живём-поживаем, никакого горя не знаем, а он, чтобы всё у нас так и было, круглый год пластается на этих дорогах... Ведь ему, поди, ни зимой, ни летом, хоть в жару, хоть в стужу не легче, чем теперь. А он нам ни разу не пожаловался, ни разу на то, как ему всё достаётся, не намекнул и единым словом... Вот мы-то жалуемся ему — это верно! Я на мамку жалуюсь, мамка на меня, а он — никогда ни на кого. Он так вот изо дня в день и штурмует километры, а я ему в помощь — портфель двоек. А я ему — всякие дурацкие рассуждения насчёт полос, причём даже не свои рассуждения — Эдины. Эх! Вот тебе и «всегда вместе», вот тебе и «заедино»!»

Тут кусок в горло у меня больше не пошёл, я отпихнул сумку, из кабины выскочил, бросился отца догонять.

Да он до конца просеки дошагал, постоял там, повернулся, торопится ко мне сам. Кричит:

— Ты что? Ты, куда? Садись, поехали!

А лицо у него тревожное такое, куда тревожней, чем было перед штурмом горы.

— Теперь, — говорит, — предстоит нам, Паша, ещё и форсирование водной преграды. Впереди не ручьи, не даже река, а сплошной по болоту разлив. Придётся мне с шестом шагать, а тебе садиться за баранку и на малом газу рулить за мной... Не сдрейфишь?

— Не знаю... — сразу ёжусь и честно отвечаю я. — Давай поглядим.

А у самого душа в пятки и под шапкой вновь холодок. Ведь если я за баранку и брался когда, так только лишь с отцом рядышком. И езды моей было: от нашего крыльца через двор и обратно, потом ещё раз туда и обратно — вот и всё.

Однако вида сейчас не показываю, о том, что трушу, не говорю.

— Поехали, — вздыхаю, — поехали...



И вот отец, будто заново меня обучая, потихоньку да полегоньку спускает грузовик на самом малом газу по некрутой отлогости меж сосен, а перед нами — во всю ширь вода, море! Точно такое море, какое мне недавно из кабины мерещилось...

Ну, море не море, да всё же расплеснулось и блестит под солнцем по мелкоколосью такое водополье, что той стороны почти не разглядеть. Торчат только из воды тоненькие берёзки, кустистые, в жёлто-зелёной дымке вербы, а меж них по голубому и по синему, как бы перевёрнутые книзу куполами, белые облака плывут.

Отец вылез, шагнул по уходящей под воду колее к самому заплеску. Подобрал мокрую берёзовую жердинку, потыкал впереди себя.

Забрёл по колена в перевёрнутое небо, в облака, пощупал опять жёрдочкой, меня подбадривает:

— Айда, Павел! Только дверцы на всякий случай не захлопывай... Ногу на педаль, рукой — включай первую, педаль отпускай помалу... Езжай, как двором ездживал. Ну что же ты?

А я не то что «отпускать-нажимать», я взяться за баранку боюсь. Я глядеть через стекло на отца, на воду боюсь. Меня так и колотит.

И в глазах опять будто золотые комарики — они даже явственно гудят. И гудят всё громче. И вот сливаются в одно ярко-алое пятно, превращаются в красного, летящего по-над самою водой жука.

Жук всё растёт — с боков, как две радуги-дуги, сверкающие крылья, — и тут я вижу, что это не крылья, а брызги, и как сумасшедший кричу:

— Катер! Катер!

Отец наверняка подумал, что я в самом деле умом тронулся, мне тоже криком отвечает:

— Какой тебе в лесу катер? Очнись!

Да тут гудение над водой и сам расслышал, голову поднял, пошибче моего завопил:

— Ежки-ложки! «Урал» к нам шурует! «Ура-лушка»!

А это и в самом деле «Урал-Уралушка». Да ещё и с тем здоровенным водителем! Он, водитель, на всём ходу в брызгах-радугах на наш берег правит, машину свою разворачивает, во всю здоровенную глотку и почём зря кроет нас.

Он ругается, а мы от радости чуть ли не пляшем.

— Какого,— орёт он,— лешего, не зная броду, суётесь в воду? Почему подмоги не стали ждать?

Отец весело и в то же время смущённо разводит руками:

— Я думал, вы уехали — и всё... Я думал, не до нас вам.

— Как это не до вас! — возмущается шофёр. — Как это не до вас, когда ты — водитель и мы — водители. Мы на место приехали, ждём-пождём, домой не уходим, на дорогу глядим: тебя не видно. Раз не видно, значит, Незабудку не одолел... Ну а если товарищ где-то на дороге в переплёт попал, что надо делать?

— То и делать, что ты уже сделал. Спасибо тебе! — смеётся отец.

А шофёр сам смеётся, да, видно, и раньше был не очень-то сердит:

— Спаси-и-бо... Эх, ты! Рисковал своим мужичком.

Это он, значит, опять намекает на меня, да не только намекает, а прямо так мне и подмигивает. А у меня у самого — рот до ушей, хоть завязочки пришей!

— Папка мной не рискует ничуть, — улыбаюсь я. — Мы с папкой давным-давно заедино.

— Ну-у, — говорит водитель, — тогда понятно, отчего вы такие герои. Вам двоим нипочём всё! Цепляйтесь на буксир, хабрецы.

И наш «газончик» зашлёпал на стальном по-

водке за «Уралом», и глядеть мне из кабины на глубоко опрокинутые среди берёз под нами облака было теперь не страшно в самом деле.

Ну а потом было вот что.

Потом мы уже сами, своим ходом приехали на стройку в колхоз. Приехали в ночь-располночь, и ничего я там как следует не разглядел. Видел только какие-то огоньки, тёмные крыши да слышал, как звенят, бухаются торопливо на землю при разгрузке наши трубы и как кто-то в темноте настойчивым голосом всё повторяет отцу: «Обратно через Незабудку в одиночку ехать и не думай! Одного не отпустим... Сопроводим с трактором!»

И нас проводили с трактором. Но и тут я всех в пути подробностей не помню. Я всё время, мотаясь с боку на бок в кабине, то клевал носом, то засыпал напроочь.

Да дело ведь совсем и не в тех, пропущенных ночью, подробностях. Про них, если надо, я мог бы спросить отца, а спросил я его совсем о другом.

Когда я очнулся, когда увидел, что уже рассвело, что впереди нет ни лохматых сосен, ни гремящего трактора, а бегут нам весело навстречу окраинные городские домишки, трамвайные столбы да заводские ограды, то я удивился и сказал:

— Папка, а папка! А зачем ты меня всё-таки в рейс-то брал в этот?

А он как бы тоже очнулся.

Он, не упуская руля, провёл всею правою ладонью по совсем теперь осунутому лицу, резко мотнул головой, как бы усталость отгоняя, и сам повторил:

— Зачем — в рейс? — и пожал плечами. Пожал, кашлянул да и говорит: — Чего теперь, Паша, о том толковать? Теперь, я думаю, ты и сам всё понял... — И тут этак хитровато покосился. —

Ну, разве что какая полоса опять тебя в чём-то и подведёт...

Тогда я сам хитренько взглянул на отца:

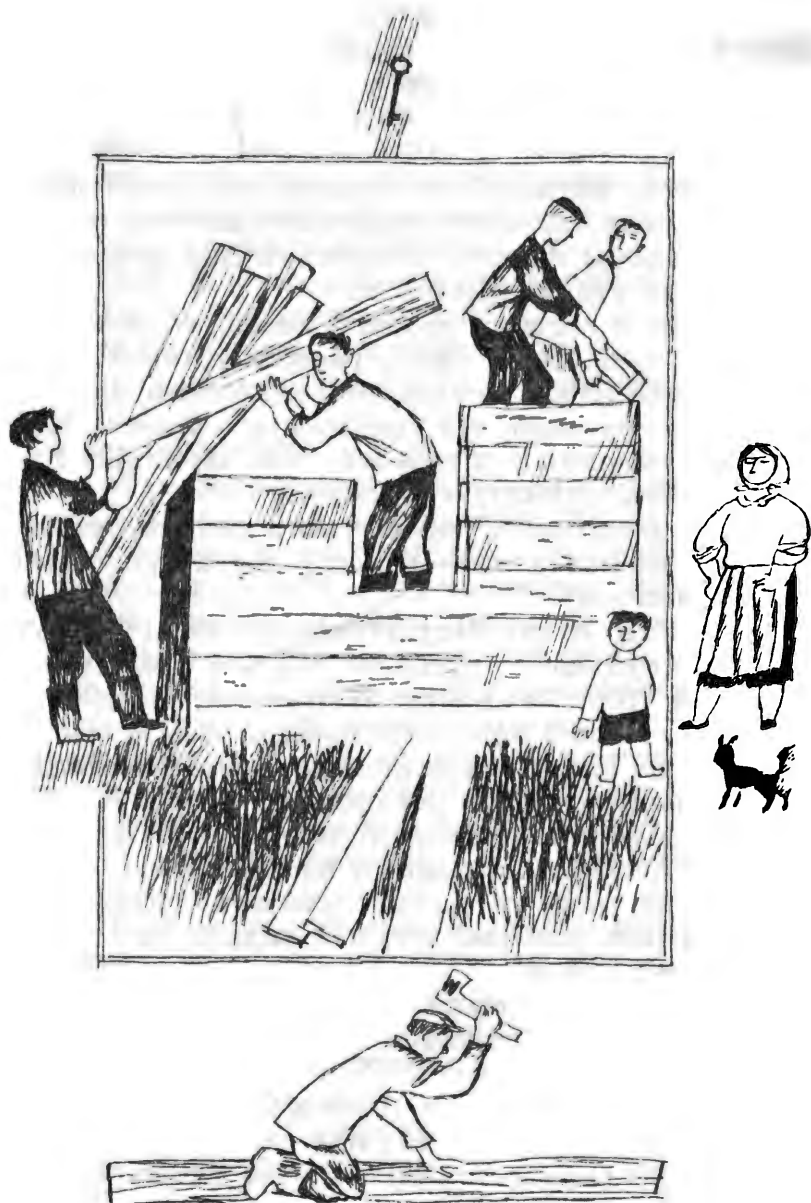
— А вот и не подведёт! Полоса — это когда сидишь, ничего не делаешь. А если делать, то откуда ей, полосе-то, взяться?

— Вот и я думаю: откуда? Вроде бы неоткуда! — совсем уже лёгким утренним голосом подтвердил отец.

Подтвердил, даже на гудок нажал, и наш свободный теперь от груза «газончик» резво бибикнул, помчался навстречу первым городским улицам, навстречу первым, самым ранним, самым звонким трамваям ещё быстрее.



# КЛЮЧИК-ЗАМОЧЕК



За тёмными от ночной росы палатками зафукали тормозами тяжёлые автомашины.

Из передней выпрыгнул прораб Веня Капитонов.

Он, большой, в сером тумане, запрокинул голову, хлёстко свистнул. Сонный люд в палатках очнулся, загомонил. Через минуту-две высокие борта машин упали, началась торопливая разгрузка.

А потом, когда в степи рассвело, когда плеснуло розовым солнце, все здешние рабочие и приезжие шофёры сидели завтракали под сквозным, на крепких столбах навесом.

Рабочие с гостями дружно хлебали стынувший на ветру суп. Лишь Веня, распахнув свой неуклюжий брезентовый плащ, то и дело поправляя на круглом лице очки, всё ещё ходил и ходил возле жёлтых смоляных штабелей, всё заглядывал в истрёпанную записную книжечку.

И вот довольный, что ничего в долгом пути не сломано, не потеряно — каждая доска тут, — книжечку захлопнул.

Стряпуха Юля Петушкова схватила чистую миску, кинулась к струящей голубой дым плите. Сынишка Юли, семилетний Николка, выудил из посудного ящика запасные ложку, вилку, быстро положил на стол, на всегдашнее Венино место. Но Веня Николку и Юлю остановил:

— Намажьте бутерброд, и — точка! Я опять в путь, я опять с машинами на станцию...

И, видя, что он желает сказать что-то ещё, причём очень важное, все, кто сидели за столом, хлебать перестали.

Да Веня не сказал ни слова. Веня вынул из плаща, из кармана довольно солидный гвоздь.

И вдруг подшагнул к торчащему рядом со столешницей высокому столбу навеса, и вдруг вдавил одним лишь большим пальцем этот гвоздь чуть не

по самую шляпку в столб, в сухую, крепкую древесину.

Приезжие шофёры ахнули. Ойкнул во весь голос Николка. Только рабочие-строители удивились не слишком. Им про Венину могучесть было уже известно. Они её видели на сегодняшней ночной разгрузке, когда Веня всем помогал, и теперь все ждали: что будет дальше?

А дальше Веня вытянул из кармана брякнувшую связку: новенький врезной замок и длинный к нему, с фигурной бородкою ключ.

Связку накинул на гвоздь:

— Вот ключик-замочек от четвёртой квартиры... Что будем делать с ней?

И все очнулись, все зашумели:

— С какой — четвёртой? У нас первой ни у кого нет!

Веня объяснил:

— Я сегодня привёз всё, что нужно для сборки двух домиков. Они одинаковые. В каждом — по паре квартир. А дважды два, ясно даже Николке, — четыре. В трёх — по вашей же общей просьбе — мы срочно должны открыть медицинский пункт, свою пекарню и хоть какую-то, но непременно баньку... С прорабской конторой я и в палатке погожу. Всё равно больше на ногах да в разъездах... И вот по этой арифметике выходит: четвёртую квартиру можно отдать уже и под жильё. Но — кому? Знаю, вы тут без меня думать, гадать начнёте, так давайте решим сразу.

И Веня связку на гвозде, словно колокольчик, покачнул, всех оглядел. И тут улыбнулся молодой бригадир Иван Петушков, отец маленького Николки:

— Я не заспорю, если отдашь ключик-замочек мне...

Иван шутливо привскочил, протянул шутя руку. Его товарищи подхватили весело:

— А что, прораб? Отдай, и точка! Петушков — трудяга. Он, кроме того, сюда с семьёй приехал. Вот видишь, у нас всё решено...

— Зато у нас ничего не решено! — вдруг раздалось оттуда, где сидел со своими помощниками другой строительный бригадир — Дюкин.

Рассерженный Дюкин при этом даже не ворохнулся. Вскидывать, суетиться Дюкину не подходило ни по его возрасту, ни по его характеру. Он лишь опустил под стол, под ноги, баранью косточку, которую сцапал там его питомец — пёсик Люсик, а сам Дюкин опять исподлобья оглядел весёлых петушковцев:

— Решить должна только работа и лишь работа... Чья бригада соберёт один домик раньше, вот той бригаде и ключ.

Дюкин хотел добавить что-то ещё, вероятно, уже в личный адрес Петушкова, тот тоже изготовился на быстрый ответ, да Веня поднял широченную ладонь:

— Стоп! Верно. Ключик-замочек преподнесу лучшему из лучших, когда возвращусь. А пока приз пускай висит для поднятия, так сказать, вашего духа.

— Дух у нас всегда высокий! — засмеялся было Петушков по-прежнему, да Дюкин обрехал:

— Не говори «гоп»...

И помощники Дюкина так согласно, так дружно набычились, что сразу стало понятно: как ни храбрись Петушков, а за одно лишь здорово живёшь ключика-замочка ему не получить.

— Ой, Иван... Что будет теперь? — испуганно прижала Юля к губам смятый фартук.

Иван живо выбрался из-за стола, Юле помаhal:

— Будет всё тики-так. Готовься к новоселью. Мои ребяташки не подведут.

И он выскочил из-под навеса, его «ребятишки»



повыскакивали следом, и все они помчались туда, где под солнышком за палатками должна была начаться степная новостройка.

Дюкин с бригадой пошагал в том же направлении. И шагала эта бригада — будто шла на стенку. На такую стенку, которую надо прошибать кулаками. А кулаки дюкинцев — у каждого куда с добром! Даже Веня Капитонов мог бы позавидовать... А уж пёсик-то Люсик явно гордился своим хозяином сверх всякой меры. Он семенил рядом с Дюкиным, держа свой хвостик тоже куда как гордо, тоже неприступно.

Николка кинулся было вслед, да Юля Николку остановила:

— Тебя лишь там не хватает... Смотри, сомнут в горячке. Дюкин вон какой пошёл... Трактор! Бульдозер! Необоримая гора! — И повернулась к Вене: — Зачем ты бригадиров-то этак раскипятил? Ивана моего не знаешь? Дюкина не знаешь? Теперь сшибутся — не унять. Разве это соревнование? Это гонка какая-то! Ну, сказал бы: мол, объявлю благодарность, а ты ведь повесил — КЛЮЧ!

Веня нахмурился не хуже Дюкина:

— Гонка, говоришь? — И чуть ли не прикрикнул на Юлю: — А ты как бы хотела? Приехала по боевой комсомольской путёвке, а трудиться тут предлагаешь от звоночка до звоночка, тихо, мирно, по аккуратному расписаньицу? Вот столько часиков на труд честный, а вот столько часиков и на травяной кочке под гитару позагорать? Не-ет! С таким настроем, Юля, новый совхоз до зимы не построить. А не построим, то какие же мы тогда первопроходцы-пионеры? И ты меня гонкой не упрекай! Это не гонка. Это нас время не ждёт. Не успеем до буранов, до метелей — разъедутся отсюда все, даже самые упорные. Ты тоже не захочешь морозить своего Николку в палатке... Или захочешь?

— Ох! — ухватила Юля испуганно за свой фартук.

— Тогда не осуждай... Нет у нас иного выхода, как только строить день и ночь. Сюда ещё ведь люди придут... Ну, а кто для будущих людей старается сейчас, кто — первый, кто не жалеет себя и своих рук, тот, я считаю, имеет право знать наперёд, какая ждёт награда и его... А теперь, где мой бутерброд? Слышишь, машины сигналият, то-ропят?

И Юля снова ойкнула, выхватила из кухонного ларя пачку масла, непечатую буханку хлеба. Длинным ножом растакала буханку вдоль:

— Которую половину, Веня, тебе намазать?

Веня глянул, ответил:

— Обе мажь!

И Юля всё масло размазала по обеим половинам, а Веня их схлопнул и с таким вот двойным бутербродищем в руках заторопился на призывное бибиканье машин.

Побежал, обернулся:

— Насчёт «сшибки» бригадиров ты, Юля, всё же не трусь... Знай себе кухарь. Ну и заодно за ключиком-замочком приглядывай.

— Почему — приглядывать? Ты думаешь, они Ивану, они нам достанутся? Ты в Ивана больше веришь, да? — так и распахнула во всю ширь серые глаза Юля, но Веня лишь хмыкнул, пожал плечами:

— Вот на это ответить не имею права. Сама верь!

И побежал дальше, отломил, отправил на ходу в рот такой кусок бутербродища, что тут и Николка вытаращил глаза. И пока Веня не уселся в кабину, пока не уехал, всё глядел Вене вдогон.

Потом покачал головой, спросил у матери:

— А что, мама? На прорабов учатся?

— Конечно, учатся...

— Долго?

Юля засмеялась:

— На таких, как Веня, наверное, долго.

А в степи за палатками всю теперь звенели и звенели плотничьи топоры. И Юля Николку, когда он туда засматривался, больше не одёргивала. Ей самой теперь было любопытно, что же такое там происходит.

И хотя после завтрака надо было вновь приниматься за кухонные дела — мыть посуду, чистить картошку, открывать консервные банки, всё приготавливать для обеда, — Юля с Николкой успели слетать поглядеть на плотников не один раз.

Бегали они от раскопчегаренной плиты, от булькающих на огне кастрюль по очереди. И рассказывали друг дружке всё по очереди.

Николка возвращался со стройки, переводил дух, сиял:

— Стараются! Вовсе и не сшибаются, а — стараются. Дядька Дюкин с помощниками подымает вот такую, чуть не до неба, деревягу, и папка подымает... Дядька Дюкин командует своим: «Раз-два — взяли!» — и папка командует: «Раз-два — взяли!» А ещё они кричат: «Тащи, Николка, воды! Жарко!»

Юля хватает ведро:

— Воды отнесу сама!

И, оплёскивая босые ноги, оплёскивая подол платья, мчится с полным ведром на стройку сама. Потом тоже говорит Николке:

— Да-а уж! Я такого нигде ещё, ни на какой работе и не видывала... Я и не думала, что наш папка такой на деле хваткий.

— А Дюкин? — спрашивает Николка.

— Что — Дюкин?

— Дюкин хваткий тоже?

— И не говори... Ты видел сам. Иначе бы он наших и на спор вызывать не стал.

Тогда Николка обводит взглядом степь, палат-

ки, глядит — не слушает ли кто? — заговорщицки подмигивает матери:

— Давай папкиной-то бригаде хоть как-нибудь да помогать. Давай, когда туда бегаем, хоть доски от штабелей незаметно подносить, что ли...

Но Юля сразу машет на Николку:

— Нечестно! Папка нам за эту подмогу такую баню устроит, не обрадуешься. Я думаю, он справится сам.

— И ключик-замочек будет наш?

— Лучше не гадать. Сглазим!..

И они опять кашеварят. Юля заправляет кипящие кастрюли картошкой, лавровым листом, перцем. Николка домывает в тазу и раскладывает вверх донцами на скамье металлические миски.

Тень от кухонной крыши всё короче. Она теперь только под самым навесом. Сквозь редкие щели в крыше пробиваются почти отвесные лучи, пятнают дощатый стол, касаются столба с гвоздём, и там золотятся ключик с замочком. А за палатками всё не смолкает перезвон топоров. А вокруг зелёный простор, голубое до горизонта небо, жаркое солнце, и настроение у Николки с Юлей отличное. Юля даже говорит Николке совсем теперь уверенно, совсем как взрослому:

— Завёз нас папка сюда, похоже, не зря... Похоже, кончилось наше мотание по всяким общежитиям и будет у нас наконец отдельная, своя квартирка. Да ещё на таком приволье! Как въедем, так сразу посажу под окошками сирень, яблони. На ту весну они распустятся, красоту дадут. А папка весь посёлок отстроит и перейдёт в механизаторы. Он всё умеет. Он станет пашню пахать, хлеб сеять. Я в совхозную столовку определюсь; ну а ты здесь начнёшь ходить в школу... И будет у тебя, Николка, в этом краю настоящее родное место!

— А сейчас оно мне какое? Не родное, что ли? — улыбается Николка и начинает умело, при-

вычно расстанавливать обсохшие миски по длинному столу.

А тут как раз стихает заметно и стук топоров на стройке. Юля хлопочет ещё быстрее, говорит:

— Которая-то бригада собирается на обед.

— Дядька Дюкин... — смотрит, подтверждает Николка. — Вон они вышагивают все, и даже Люсик... На стройке стучат теперь только наши, только папка.

— Папка у нас — тако-ой! Папка у нас — работник! Обедом и то оторвёшь не вдруг... — гордится Юля, отстраняя от бьющего пара, от кастрюли подальше лицо, пробует горячее кушанье в последний раз.

А бригада Дюкина хотя подошла к кузне всего лишь на обед, но подошла опять куда как деловито. Дюкинцы и за ложки взялись, будто за самый что ни на есть важнейший инструмент. И хлебать начали — ну прямо как снова работать. Никаких тебе лишних слов, никаких тебе шуток. Только звяк да бряк, да иногда басовитое покашливание.

Лишь сам Дюкин за весь обед сказал два слова.

Первый раз он сказал «тубо!» Люсику, когда тот, не в пример хозяину, разыгрался. Не успев вылакать то, что ему Дюкин отплеснул из своей миски в специальную посудинку, Люсик понюхал под столом какую-то щепку и давай её грызть, трепать, шумно с нею возиться — вот и получил «тубо!» от Дюкина.

А ещё раз Дюкин высказался лишь в самом конце быстрого обеда. «Спасибо!» — буркнул он неизвестно кому: то ли Юле, то ли Николке, то ли висящим над столом ключику с замочком, и тут встал, и потопал во главе своей молчаливой команды опять на строительство.

— Ну и бирюк! — безо всякого теперь настроения сказала Юля вдогон Дюкину. — Сам бирюк и себе в бригаду напринимал таких же...

И вдруг Юля закричала:

— Иван, а Иван! Ну что же ты с дружками прохлаждаешься, когда Дюкин опять на работу пошёл?

Закричала она так, потому что Иван Петушков с товарищами теперь и в самом деле прохлаждался. Они все поливались за кухней у водозаборной колодки, и — хоть бы им что! Они там хохотали, дёргали рукоять насоса, подставляли под холодную струю головы, ладони, а сам Петушков, скинув на траву тёмную от пота рубаху и блестя голыми плечами, махал Николке:

— Иди к нам! Побрызгайся, не трусь!

А потом когда мокрые, шумные уселись обедать, то и за столом спешили не очень.

Юля летала с поварёшкой, с кастрюлей вдоль стола метеором, а они — хлебали, расслаивались, будто им не только сегодня, а и завтра на работу не нужно. Наконец Юля не стерпела, даже назвала Ивана, как не своего, по фамилии:

— Петушков! Дом достраивать собираешься?

Иван глянул, усмехнулся, словно поддразнил:

— По закону Архимеда после сытного обеда полагается нам, плотникам, ещё поспать...

— Что-о? — замерла возмущённо Юля.

— По какому закону? Почему спать? День же! — вовсе опешил Николка.

— Не нагоняй, бригадир, на родню страха... — засмеялись Ивановы помощники. И давай объяснять Юле, что работать в такую жарынь совсем не выгодно, только измаешься. А вот когда они поспят, да наберутся силы, да когда жарница посвалит, тогда они вновь начнут гнать работу вперёд — только, Дюкин, держись!

— Мы и ночи на стройке прихватим. Дюкину, не бойся, не уступим, — сказали плотники, отправляясь «набираться силы», но всё равно такое объяснение Юлю и Николку не успокоило ничуть.

Теперь было так: со стройки доносился стук-

ток топоров дюкинской бригады, а невдали от навеса взвизывался над палатками молодецкий храп спящих петушковцев.

Храп был настолько могуч, что казалось — от него именно и дрожит весь жаркий степной воздух. И дрожал он час, дрожал два, а потом пошёл и третий час. И как Юле ни хотелось, но подойти к палатке и скомандовать подъём она не могла. Иван Петушков об этом не просил. А то, о чём он не просил, то и делать в бригаде было не положено.

Юля с Николкой лишь старались возиться пошумней у плиты. Они брякали чугунными конфорками, стучали кочерёжкой, даже раз несколько, как бы нечаянно, смахивали с высокого стола на низенькую кухонную скамеечку порожний, звонкий таз.

А тут ещё вдруг явился со своим Люсиком Дюкин.

Красный, распаренный от жары Дюкин, шумно дыша, уставился на Юлю:

— Что задумали? Где Иван? Отчего не работает?

«Гав, гав! Р-ры, р-ры...» — поддержал пёсик хозяина.

Юля на пёсика — ноль внимания, но от Дюкина на всякий случай отшагнула подальше:

— Вон — палатка, вон — в палатке Петушков. Поди да сам всё у него и разузнай.

Но Дюкин не пошёл. Дюкин лишь послушал богатырское храпение, скосоротился ехидно:

— Ага... С тылу меня обойти решили! Ночь себе захватить. Ну поглядим! — И выговорил Юле: — А ты, значит, болеешь только за своё? Нам воды на стройку не подносишь? Нарочно?

— Ой! — вмиг стала Юля куда красней лицом, чем Дюкин. И, повторяя: «Да это я просто забыла! Да это я просто запамятовала!» — схватила сразу два ведра, помчалась к насосу. Вцепилась в же-

лезную рукоять, изо всей мочи застучала, за-качала.

Но когда оба ведра тяжело подняла и шагнула с ними, то Дюкин ведра отнял, понёс, как пушинки, сам.

А Юле пропыхтел:

— Ладно уж! Через силу не рвись.

Он ушёл, а Юля после этого так шуранула опять со стола звонкий таз, что храп в палатках оборвался — из ближней вылез Иван Петушков.

Вылез, поглядел на вечернее солнце, на мгlistые вдали сопки, потянулся, сказал:

— Вот теперь — тики-так! Налаживай, Юля, чаёк: я подниму ребятишек, а там и на дом, на работу.

— Ребяти-ишки... На до-ом... — передразнила Юля. — Проспал ты со своими ребятишками дом-то! Дюкин небось уж крышу кроет.

— Точно? — не поверил Иван.

— Точно не точно, а всё ж он после обеда не дрыхнул, как некоторые.

Иван засмеялся, приоткинул полог соседней палатки, закричал туда, будто в глубокий туннель:

— Вылазь, «некоторые»! Нас тут прорабатывают. Надо исправляться.

И вот, напившись чайку да ещё пошутив над расстроенной Юлей, бригада Петушкова наконец-то собралась.

Выпросился у матери и Николка. Да она ему сказала и сама:

— Конечно, глянь, что теперь там творится. Вернёшься, доложишь.

Иван, всё в том же хорошем настроении, привлёк Николку к себе:

— На батю не докладывают... Пойдём-ка лучше не в контролёры, а в ученики.

— Поработать дашь? И там Дюкин не закричит, что нечестно? — обрадовался Николка.



— Не закричит... Мы ему ответим: «Учеников учить не запрещается!»

А кто-то из молодых бригадников даже уточнил:

— Мы тебя, Николка, перво-наперво научим самому главному плотницкому слову. Вот лежит, к примеру, бревно. Оно тяжёлое. Его впятером не поднять. А гаркнешь хором: «Ух!» — и бревно почти само подскочит куда надо. А ну-ка, для тренировки ухни...

И, понимая, что это с ним просто балагурят, Николка шёл и хотя ухаты не ухал, да от души смеялся. И смеялись, продолжали шутить все.

Но когда пришли на место, смешливость с бригады Петушкова сдуло как ветром.

Пока Петушков «набирался силы» в палатке, Дюкин резко вырвался вперёд. Домик, который он собирал, был, правда, пока ещё без крыши. Но уже и щитовые, гладко струганные стены стояли на месте, и оконные, отливающие янтарной желтизной рамы стояли на месте; и светился весь этот домик на степном вечернем просторе — ну прямо как большая свеженькая шкатулка.

Сам Дюкин — усталый, при косых, закатных лучах багроволицый — ходил по самой верхотуре, тяжело басил помощникам вниз:

— Доски стропильные подавай... Доски!

— Ого! Он и в самом деле до крыши добирается... Мы в самом деле со спаньём-то перехватили чуть лишка... — сказал Петушков. — И подал команду: — Засучай, братва, рукава! Задача — догнать и перегнать!

И тут все враз про Николку позабыли. Позабыла вся бригада, позабыл даже батя — Иван Петушков.

Отдохнувшие плотники бросились к своему домику, и вот там тоже пошла, закипела, забурилась неистовая работа.

Грохнулся со штабеля на гулкую землю ши-

роченный, грузный стеной щит. Подхваченный сильными руками и плечами, он встал на торец, затем покачнулся, подвинулся — и занял в стене своё место.

Грохнулся второй щит, тоже встал на ребро, на торец, и тоже занял в стене своё место.

Блеснули перевёрнутые обухом наперёд в руках плотников топоры, ударили по шляпкам гвоздей, и щиты в стене связались накрепко.

А потом стена стала расти всё шире. И вот уже в проёме её появилась первая оконная рама, а там и целую дверь пронесли рабочие на плечах мимо Николки, и он ничуть, что его на помощь не приглашают, не обижался. Он видел: ему, маленькому, тут никакого сподручного дела пока что нет.

Но зато Николка мог здесь теперь, сколько сам пожелает, сидеть, смотреть, не бояться, что скажут: «Под ногами не путайся!» И он сидел под зыбким, серебристо-перистым, ещё не смятым людьми и машинами ковыльным кустиком, глядел на слаженную работу плотников, слушал дробную переключку топоров, вдыхал горьковатый влажный запах посвежевших 'к ночи степных трав.

И наверное, эта предночная зябкость и привела к нему неожиданного соседа. И был это не кто иной, как Люсик. Он ткнулся холодным носом Николке в руки, безо всякого приглашения сел рядом.

— Ну и ну! — удивился весело Николка. — То рычал, задавался, а теперь греться ко мне прилез... Вот так-то, Люсик! Раньше времени на кого попало хвост не поднимай! А может, ты всё-таки хвалиться пришёл? Тем, что твой Дюкин впереди моего папки? Так это ненадолго. Ваши уже устали, складывают инструменты, а у наших впереди ещё целая ночь. Работать в такую ночь — папка говорит — самый раз! Ветерок и — звёзды по кулаку. Ты посмотри, какие звёзды-то, посмотри...

Николка обнял щенка за голову, стал принуждать его взглянуть на звёзды, которые начали зажигаться на той, на чёрно-синей стороне, куда не достигал уже своею меркнувшей аlostью закат. Но щенок лишь пятился, вырывался, и Николка наставительно заключил:

— Вот видишь! Ты всё ж таки хитрец. Сидишь под кустиком со мной, а думаешь про Дюкина. Не нравятся тебе ясные звёзды!

И Люсик, то ли сконфуженный таким своим двойным поведением, то ли заслышав, что бригада Дюкина в самом деле пошла на ночлег, вывернулся и, подпрыгивая в тёмной траве, поскакал догонять своих.

Там, вдали, хорошо теперь видный, мерцал полевой кухонный огонёк. На этот огонёк утомлённо, медленно уходил с помощниками Дюкин. И Николка всё тем же наставительным, насмешливым, но не слишком, конечно, громким голосом сказал:

— Что, Дюкин-тюкин? Спорить с моим папкой нелегко?

Сказал, шалости своей испугался, опять было нырнул под куст, а в это время в отцовской бригаде про него и вспомнили.

Помогая рабочим стягивать с белеющего в ночи штабеля новый здоровенный щит, отец спросил:

— Где это Николка у нас?

— Нико-олка! Иди, ухать помогай! — засмеялся тот молодой плотник, что по дороге сюда балагурил всех больше. И вдруг он, упираясь руками в тяжёлый щит, распевно, озорно затынул: — О-ой, прошёл, друзья, о нас напрасный слух...

— У-ух! — толкая груз, грянули вслед за певцом товарищи.

— Будто спали нынче мы часов до двух...

— У-ух! — опять поддержали запевалу рабочие.

— А по правде, пробудились мы поздней... От-

того идёт и дело веселей! — допел озорной плотник, и рабочие заголосили уже на иной лад:

— Идёт, идёт, идёт... У-ух! Пришло! Встало! — И новый огромный щит очутился тоже на месте, и теперь на домике образовалась не одна стена, не две стены, а появилась и третья.

Николка подпрыгнул, закричал:

— Дом почти готов! Вот это «ух», так «ух»!

— О чём тебе и говорили,— хлопнул Николку по плечу тот плотник-запевала.— Давай, ухай и ты!

И Николка «ухал» с бригадой до того времени, пока в звёздное небо не поднялась ещё и луна.

Светила она так сильно, что все предметы на стройке стали ещё белее, тени чернее, а быстро растущий домик стал казаться таким высоким, что у Николки, когда он запрокидывал голову, вдруг начинало всё плыть в глазах. Ему даже разок померещилось, что домик качнулся и полетел вместе с ним, с Николкой, в этот ночной сияющий над головою океан.

Николка ойкнул, а отец услышал, сказал:

— Всё! Уморился, парень... Беги к матери, отдыхай.

И Николка пошёл без споров, потому что устал в самом деле. А когда добрёл до места, то на все Юлины вопросы только и ответил, что папка вот-вот догонит Дюкина. А потом взял со стола кусок хлеба, сунулся в палатку и прямо так, с куском в кулаке, и уснул.

Наутро — спать бы ещё да спать — Юля принялась тормошить Николку.

Он подумал, что это снова надо идти на давным-давно надоевшую кухню, досадливо замычал, но Юля спросила странно осторожным голосом:

— Скажи честно... Ты не брал ключик-замочек?

— Что? — так и вынырнул из-под одеяла Николка.— А на гвозде? На столбе? Разве нет?

— В том-то и дело, что нет... Отец велел спросить: может, ты взял как-нибудь нечаянно? Дюкин думает вроде бы на тебя...

— Да он в уме? — совсем взвился Николка, и сна будто не бывало.

Николка выскочил в одних трусах на прохладную улицу, помчался по седой росе к навесу.

А там гудела, теснилась толпа. И конечно, там были оба бригадира. Они, опираясь по очереди руками на щелястую столешницу, разглядывали чуть ли не в упор тот столб с одиноко торчащим гвоздём, а потом глядели друг на друга.

Причём Петушков смотрел на Дюкина всего лишь удивлённо, а Дюкин на Петушкова — удивлённо, да ещё и сердито.

Николка, не боясь, что в толпе ему отдавят босые ноги, полез вперёд. А тут подросла и Юля. Она помогла Николке сквозь толпу пропихнуться, поставила перед бригадирами:

— Пожалуйста... Николка здесь. Только он ключика-замочка не брал и не видел.

Петушков тут же повторил Дюкину:

— Вот видишь! Не брал и не видел.

Дюкин от Николки отвернулся:

— Кто же тогда? Моя бригада спала при мне в палатке всю ночь...

— А моя — плотничала...

— Дедектив какой-то! — совсем нахмурился Дюкин.

— Детектив... — чуть поправил Дюкина Петушков. — Не хватает нам теперь только собаки-ищейки.

— А что? — вдруг Дюкин ожил. — Давайте попробуем Люсика! Он мне не так давно мой собственный портсигар отыскал.

И Петушков согласился: «Пробуй...», и Юля согласилась: «Пробуй...», и все, в том числе Николка, заглядывались, высматривая, где Люсик.

Люсик сидел, как всегда, под столом, под хо-

зыйским местом, ждал завтрака. Дюкин вытащил его за пушистый загривок, поставил на столешницу. Потом приподнял за передние лапы, заставил нюхать на столбе гвоздь.

— Ищи! — сказал по всем правилам Дюкин, и, когда Люсика из рук освободил, тот сделал по столешнице меж пустых мисок небольшой круг, спрыгнул на скамейку, со скамейки на землю. И вот с таким деловым видом затрусил из-под навеса, что Иван Петушков воскликнул:

— Смотри-ка, ведёт! Чего-то знает, чего-то чувствует!

— А как же... — ответил солидно Дюкин. — Дармоеда, пустолайку я бы не стал держать и одного дня.

Все тоже тут повалили за Люсиком, а он закрутился у плиты, возле кучки дров.

— Ха! — сказала сразу Юля. — Это место моё. У меня искать нечего.

— Нечего — не нечего, а со следа собаку не сбивай, — сказал Дюкин, и Юля так вдруг к нему повернулась, что не миновать бы шума.

Да Люсик побежал дальше.

А дальше была широкая палатка дюкинской бригады. И тут Дюкин сам сказал: «Ха!» И Юля не замедлила вернуться:

— Не сбивай собаку.

Люсик нырнул под входной полог, Дюкин недоумённо полог приподнял, согнувшись, полез в палатку.

За Дюкиным полезли опять все. Но Люсик там куда-то шмыг — и пропал. Там теснились только заправленные по-солдатски одинаковыми одеялами койки, и Люсика под ними, да в палаточном розовом сумраке, было не разглядеть.

И вдруг из-под той койки, через спинку которой перевешивалась дюкинская клетчатая рубаха, раздалось всем знакомое:

«Р-ры... Р-ры...»

А вслед за этим:

Дрень-дрень... Звяк-звяк...

Николка, пользуясь своим малым ростом, быстро присел, быстро вниз глянул, радостно объявил:

— Ключик с замочком! Он там с ним играет. Он его там за шпатагину треплет и трезёт.

— Да ну?! — выдохнул басом Дюкин, схватился за спинку койки, отмахнул в сторону всю койку с постелью целиком.

А Люсик, привалился там к хозяйскому чемодану, полёживал на мягкой, поблёклой траве, держал связку-прошажу в зубах и глядел на всех очень доброжелательно. Привет, мол! Вы ко мне в гости? Ну что ж, у меня есть чудесная игрушка... Если надо, поиграйте! Замочек, а особенно ключик вполне можно погрызть, как суповую косточку...

Дюкин так головой и заводил, словно его из ведра окатили, а Юля засмеялась.

— Глупая! — шлёпнула она сама себя по лбу. — Люська-то ещё с вечера на это дело целился. Как ветерок чуть под навесом потянет, так ключик по замочку сбрыкает, а Люське — интерес! Я посуду убираю, а Люська всё слушает, сидит. И вот, видно, мы все — по палаткам, а он — на стол. Мы — на покой, а он — «игрушку» в зубы да и к тебе, Дюкин, под кровать... Ну да ладно! Не ругай теперь пёсика. Что с него спросишь?

— Чего уж... Чего уж... — ещё круче повёл головой Дюкин. А когда глянул на Николку, то и сам тут вроде как улыбнулся. Только не от веселья улыбнулся, а, на удивление всей компании, с ничуть не похожей на него, на Дюкина, сконфуженностью.

Более того, сунул злополучную связку Николке в руки да ещё и провёл ладонью по Николкиным вихрам:

— Ключик-замочек повесь на место. А за напраслину, птаха-Николаха, прошу прощения.

От такой небывало внезапной дюкинской ласки у Николки расширились глаза, а Дюкин обернулся ещё и к Ивану:

— Неладно вышло... Пересол! Виноват.

И, не сказав больше ничего никому, даже своим помощникам, он опять упрямо набычился, отмахнул брезент палатки, пошагал на стройку.

Петушков только руками развёл:

— Ну, даёт!

— Не «даёт», а показал своё собственное переживание... Хотя показывать не любит! — ни с того ни с сего обиделся, решил заступиться за Дюкина один из его помощников. — У него тоже ведь есть личные тревоги-заботы... Причём не меньшие, чем у нас, Петушков, с тобой. Только он про них не всем говорит.

— Ясно! И тут у него всё, как в детективе. Он — товарищ куда там, секретный, и мы ему не чета, — попробовал снова всех настроить на шутку вчерашний запевала, да заступник Дюкина рассердился сильней.

— Чета — не чета, но и вы ему не сватья, не братья. Живём вместе без году<sup>1</sup> неделю: так отчего он тут станет перед вами рассыпаться? Личное есть личное. А Дюкин о личном, не в пример кое-кому, на каждом перекрёстке не кричит.

И заступник этот смерил задиристым взглядом Петушкова, смерил запевалу, махнул своим «Айда!», и они все пошли догонять Дюкина.

В общем, как началась эта история с пропажей ключика-замочка нескладно, так и кончилась совсем нескладно.

Правда, Иван призадумался: «Что же это такое у Дюкина за личное переживание?»

А Юля Ивану сказала:

— А ведь, несмотря ни на что, Дюкин не такой уж и бирюк. Вон нашего Николку погладил и птахой назвал.



...Но всё равно главное сейчас решалось на строительной площадке. Ведь и теперь, на вторые сутки работы, будущего победителя определить было ещё невозможно. За время ночной вылазки Петушков, конечно, Дюкина догнал, чуть перегнал, даже начал ставить над сборными стенами стропила, но и петушковцам требовалось сделать короткую, да всё же передышку, и тут Дюкин опять наверстал своё.

Бригады снова шли вровень. И, боясь дорогое время потерять, сегодня никто не пожелал ни в полдневный зной отсыпаться в палатках, ни идти обедать на кухню. Все прямо тут, в тени недостроенных домиков, так и легли на траве.

Полегли бригады не вместе, а врозь. Юля с Николкой притащили обед тоже в разных, хотя и в одинаковых по величине кастрюлях. Но плотники там и тут за ложки лишь подержались.

— Вот только воздуху чуть хватим в холодке, а перегружаться едой нам нельзя, — сказали не то всерьёз, не то в шутку плотники. — Идём на последний рывок! Причём — на верхолазный. И тут необходима лёгкость.

И вот на этой верхолазной работе, на которой действительно нужны были лёгкость и ловкость, вдруг стало заметно, что бригада Петушкова уходит вперёд. Идёт помалу, медленно, но всё равно соперников опережает, и тут не изменить уже ничего.

Не изменить не потому, что дюкинцы вдруг ослабли — они не ослабли ничуть! — а оттого, что Иван Петушков пустился на новый манёвр.

В предночное, опять звёздное время, когда оставалось на том и на другом домике расстелить да приколотить по кровлям листы шифера, Иван Петушков скомандовал:

— Всем вверх!

— Как так всем? — заспорили товарищи. —

Вон у Дюкина двое подают листы снизу по лесенке, а у нас кто будет подавать? По воздуху к нам матерьял на крышу-то полетит, что ли?

— Полетит! — сказал Петушков.

И поднял длинную крепкую доску, отёр её концом в землю, другой конец опустил на край будущей кровли.

Потом он эту наклонную доску опробовал, покачал.

Потом снял со штабеля пару тяжёлых шиферных листов, закинул за спину, глянул вверх, и тут — ни мигнуть, ни ахнуть никто не успел, только наклонная доска под ним трескуче прогудела, — взбежал на самую крышу, на вышину.

Груз там оставил, перепрыгивая через две ступеньки, опустил на землю уже не по доске, а по стремянке-лесенке, махнул своим:

— Полезай, приколачивай! На меня нечего глядеть. Я всё же не только совхозные домики страивал, а и мосты через реки, и линии электропередач. Летал с грузом не то что по доске — по тонкой проволоке.

И вот так вот и получилось, что хотя «взлётывал» с шиферными листами на крышу Петушков один, да работал-то он за двоих. А может, и за троих! И вот поэтому бригада Петушкова начала не так чтобы очень быстро, да зато очень верно уходить вперёд.

Юля с Николкой сидели теперь под тем прохладным ковыльным кустом. Возвращаться к палаткам, пока всё не закончится, они даже и не думали. Они отвлеклись только тогда, когда вокруг кастрюль с нетронутым обедом начал, повизгивая, топтаться Люсик. И они отчерпнули ему на траву добрую порцию каши и опять стали слушать да смотреть, как грохочут молотками плотники, как растут да растут на том и на этом домике серые волнистые откосы кровель.

Они всё смотрели, как летает Иван со своею,

теперь уж казалось, бесконечной ношей вверх-вниз, вверх-вниз, и Юля всё пугалась:

— Ой, как бы не упал... Ой, как бы не сорвался...

А Николка хотя каждый раз, когда отец пробегал по гибкой доске, и сам за отца боялся, и сам жмурил от страха глаза, но матери говорил:

— Не упадёт! Наш папка не упадёт...

Короткая летняя ночь не успела потемнеть да и тут же начала наливаться медленным светом. И вот этот свет, как огромный, в полнеба, костёр полыхнул алым, и молотки в бригаде Петушкова, ударив ещё сильнее, разом смолкли.

Тишина стояла секунду, потом рухнула.

— Ура-а! — посыпались вниз с крутой кровли товарищи Ивана, а он бросил на траву очередную ношу, опустился с ней рядом.

— Всё, Иван? Всё? — подбежала к нему Юля, подбежал Николка, но Иван лишь сидел, утирал кулаком лоб, щёки да ошарашенно глазами моргал.

А когда и на домике Дюкина смолкли молотки, то, всё ещё как бы себе не веря и даже боясь на соперников оглянуться, Иван спросил:

— Там закончили тоже?

— Нет! — шумнули радостно друзья Ивана. — Это они смотрят на нас, а работы им ещё хватит.

— Поздравляю с победой, бригадир... С законной! — вдруг раздалось, как с неба, со стороны соседнего домика.

И когда, всё ещё не набрав сил с травы подняться, Иван медленно обернул лицо, вскинул глаза, то увидел, что это кричит ему со своей незаконченной крыши Дюкин.

Кричит, конечно, без особого ликования. Какое уж там ликование! Но нет на небритой физиономии Дюкина и вполне бы сейчас уместной досады.

И опять, как вчера, удивляя Петушкова, он вроде бы даже улыбается. Он повторяет:

— Спор закончен. Всё, всё теперь, Петушков, по закону. Шагай, забирай ключик-замочек.

И тогда Иван встаёт, Иван кричит сам:

— Ты что? Поздравляешь-то всерьёз?

— Серьёзное не бывает. Я ведь тоже — рабочий человек. Понятие кое о чём имею.

И Дюкин поднял руку, как бы этим разговор прекращая, и опять застучал, забухал по кровле молотком. Застучали и его помощники. И теперь уж было видно, что, конечно, Дюкину далеко-далеко не весело. Да тут Ивана подхватила под руку Юля:

— Ну и нечего смотреть! Раз ты победитель, то пошли забирать приз.

Николка тоже сказал:

— Побежали, если так... Вон, кажется, машины опять со станции пришли. Библикают.

Друзья Петушкова загалдели всей бригадой:

— Точно! Мы своё дело сделали, и Веня тут как тут. Сейчас он тебе, Иван, вручит награду со всею торжественностью.

И они побежали. А рядом с палатками, рядом с кухонным навесом опять вставляли друг за другом тяжёлые грузовики. Из передней кабины опять вылез прораб Веня Капитонов. Только теперь он свистеть, шуметь не стал — зашумели сами петушковцы:

— Вручай, Веня, приз!

— Вы, что ли, победители-то?

— Мы! А вот главное — он! — показали товарищи на Ивана, и прораб сказал:

— Молодчинушка... Сейчас будет и вручение. Только вот примем сперва одну тут делегацию.

— Что за делегацию? Откуда? — вмиг все повернулись к той машине, на которой приехал Веня, но он заторопился ко второму в колонне грузовику.

Сам заспешил, Петушкову кивнул:

— Подключайся! В одиночку здесь я не управлюсь.

И пыльная дверца в кабине грузовика раскрылась, и шофёр оттуда выкатил Вене огромный, пропылённый вещевой узел, потом выпихнул узел поменьше, а следом под общий недоумённый гул передал с рук на руки Вене лет пяти-шести девочку.

— Ого! Вот так делегация! — сказал Иван, а Венья уже вручил ему и девочку, и узлы.

Девочка ухватила горячую ладошкой Ивану за шею:

— Я, дяденька, не делегация, я — Вера...

— Вера-то чья?

— Дюкина...

— Ого! — повторил, не находя что дальше сказать, Иван и прямо так с узлами, с тяжёленькой, тёплой в охапке девочкой шагнул к Юле под навес.

— Усаживай на скамью пока... Мать её где? — сказала, не совсем ещё всё понимая, Юля.

А там уж, из очередной автомобильной кабины, прораб принимал новый узел, да ещё девочку, да ещё и мальчика.

Тут подхватывать да перетаскивать принялась вся бригада Петушкова.

Носить было чего и было кого! Из самого дальнего в ряду грузовика выпал на подножку чемодан, за чемоданом саквояж, потом оттуда с коллективной помощью выбралась маленькая синеглазенькая женщина с двумя щекастыми близнецами-карапузами на руках.

И теперь Юля, конечно, тоже бросилась навстречу. Она подхватила у женщины одного из малышей. Малыш сначала заревел, но, видя, что мать рядом, что эта незнакомая тётя его не роняет, бережёт, притих.

— Ну и ну! — сказала Юля. — Как это вы с таким детским садом решились на такой путь?

А женщина дошла до навеса, присела устало на скамью.

Она тронула, приласкала свою старшую, по-взрослому сложившую на коленях ладони, Веру, пересчитала взглядом всех ~~меньших~~ — всю их лесенку, поправила на том, что на руках, близнеце красную шапку и сама как бы пришла в тихое удивление:

— Выходит — решилась... Откладывала сто раз. Батьку нашего тут, наверное, отсрочками с ума свели... Но всё же — смелости набрались.

И вновь, уже с улыбкой, приласкала Веру:

— Моя главная помощница — вот... Но и мир не без добрых попутчиков.

— Попутчики попутчиками, а вы бы хоть отстукали телеграмму! — всё равно ужаснулась Юля.

Веня-прораб засмеялся:

— Они отстукали. Даже «молнию» отбарабанили. Да ведь дальше станции к нам проводов через степь ещё нет. Вот и вышло, что заместо Дюкина их встретил, да и то случайно, я.

— Ничего... Вручим нашему папе «молнию» сами... Будет ему сюрприз. Верно, доча? — опять погладила девочку женщина, а Николка, желая привлечь внимание девочки тоже и к себе, вдруг выскочил:

— У вас — сюрприз, а у нас есть приз!

Выскочил, да и тут же получил быстрого шлепка от Юли и пока соображал: «За что?», Юля, всё ещё покачивая на руках малыша, Николку собою загородила.

А Иван приотодвинул Николку к своим друзьям-плотникам, а плотники Николку придержали тоже:

— С призом погоди... Лучше вон глянь: Дюкин мчится.

А тот, и верно, бежал, пути под собой не разбирал.

Он и бригаду с собой не успел позвать: он и Люсика где-то оставил, он и шапку где-то обронил, но зачем-то всё ещё держал в руке плотницкий молоток. И вот нелепо им размахивал, а сам на бегу кричал во всё горло:

— Приехали! Наконец-то приехали! Наконец-то объявились! А я с крыши гляжу: вы или не вы? А это — вы! Ну, здравствуйте! Ну, с приездом!

И он так, с молотком в руке, и полез было к ребятишкам. Да опомнился, сунул молоток в накладной карман рабочих штанов, начал ребятишек всех подряд хватать, целовать в щёки, утанавливать друг рядом с другом к себе поближе.

Обнял и мать ребятишек. Тут же отобрал у неё близнеца, тоже чмокнул, на вытянутых руках отстранил, вгляделся:

— Это у нас, мать, кто? Александр или Павел? — И сам ответил: — Конечно, Сашка! А Пашка где?

— Вот он твой Пашка, у меня. Вовсю пузыри пускает. Видно, тоже поздороваться спешит... — сказала Юля, и Дюкин впервые за все тут дни жизни на степной стройке легко рассмеялся. И не очень ловко, но осторожно перевалил с Юлиных рук толстенького Пашку к себе на плечо.

На другом плече Дюкин держал Сашку. И как будто близнецы что могли понять, он им сказал:

— Пошли, пошли... Домой к папке пошли... Дома как следует поздороваемся, дома обо всём поговорим... Я вас там ещё и с Люсиком познакомлю. Я вам всем подарок приготовил, хорошего щенка Люсика.

И, придерживая крепко близнецов, он направился к бригадной брезентовой палатке. За ним послушно потянулась вся ходячая часть его семейства. Потянулась той вереницей, той цепочкой, какой ходят в незнакомом месте — через поле или

через дорогу — не очень ещё смелые гусята за своим надёжным папой-гусаком.

Они уходили, а Ивановы плотники, Иван, Юля, Николка, Веня смотрели на них из-под навеса.

Смотрели, смотрели, сквозь молчание своё слышали, как вдали стучат, докрывают крышу дюкинцы, как завизжал вдруг радостно, выпрыгнув из травы у дюкинской палатки, Люсик, и вот Иван будто очнулся, перевёл взгляд на тёсанный столб навеса, на ключик с замочком, поглядел на Юлю.

А Юля поглядела на Ивана.

Николка в каком-то странном ожидании уставился на обоих; и тут Иван шагнул, закричал, замахал:

— Постой, Дюкин, постой! Куда ребятишек тащишь? Дом твой, Дюкин, теперь совсем в другой стороне.

Дюкин с малышами на руках развернулся, встало всё его семейство. А Иван, ни на кого больше не оглядываясь, не спрашивая даже Вени, сорвал ключик-замочек с гвоздя, огромными прыжками поскакал к Дюкину.

Подбежал и, видя, что руки у Дюкина заняты, сунул ключик-замочек ему в карман:

— Иди, вселяйся! Мы сейчас туда подтащим ваши узлы.

И Дюкин совершенно точно так же, как полчаса тому назад его спрашивал у новых домиков Иван, сам теперь спросил Ивана:

— Ты что? Всерьёз?

А Иван ответил Дюкину по-дюкински:

— Серьёзнее не бывает... Я ведь тоже рабочий человек, я ведь тоже кое о чём имею понятие.

И Дюкин засмеялся во второй раз:

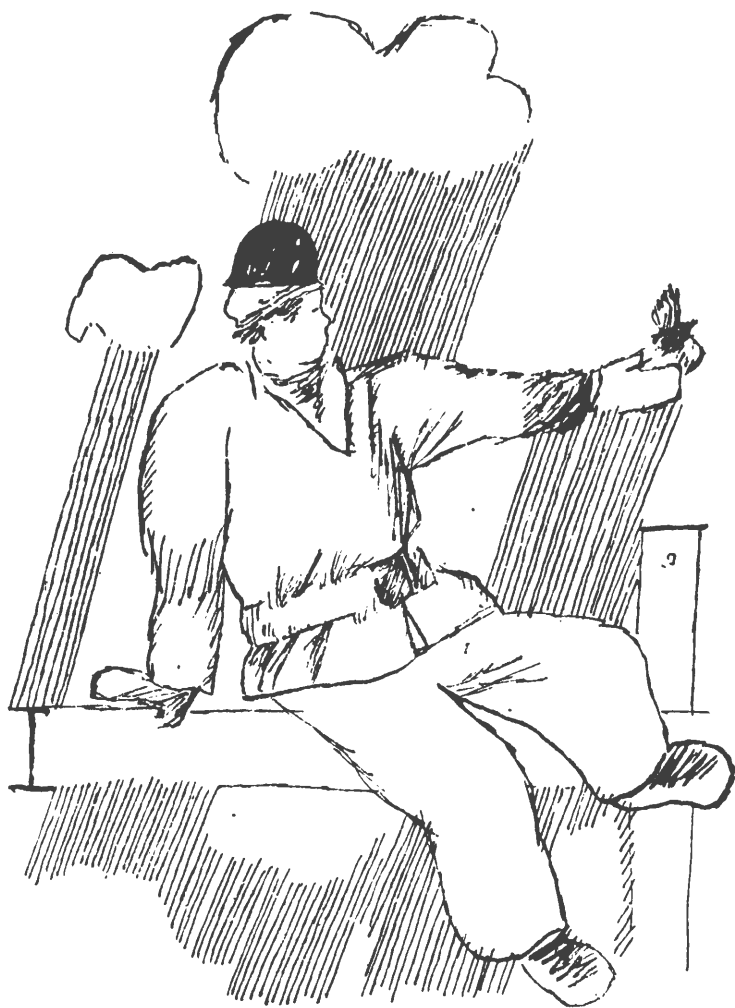
— Тогда, считай, беру в долг. А долг, Петушков, платежом красен! Мы будем с тобой, Иван, наверняка добрыми соседями.

— Причём скоро, — уверенно кивнул прораб



Веня на тяжёлые, с поклажей смолистых досок грузовики.

— Конечно, скоро! Нас, помощников, теперь вон сколь! — весело указал Николка на малышей — на Сашку да на Пашку, — и теперь засмеялись все. Засмеялась даже белобрысенькая тихая Вера, засмеялись даже ходячие её братишка с сестрёнкой, имена которых пока никто ещё Николке не сказал, но они и сами скажут вот-вот.





## **ВОТ КОМУ НАШЕ СПАСИБО**

МАЛЕНЬКИЕ РАССКАЗЫ

### **ПАЛАТКИ И ЛАСТОЧКИ**

**М**ежду лесом и рекой раскинулось чистое поле.

В нём с утра до вечера тихо и пусто. В нём только белые ромашки да летнее солнце.

Но вот однажды в полдень сюда прикатили тяжёлые грузовики, юркие самосвалы и небольшой оранжевый экскаватор на резиновых колёсах.

На траву прыгнули весёлые люди в строительных касках. Они посмотрели вокруг, они сказали:

— Как славно! А построим завод и посёлок — будет ещё лучше. Давайте натягивать палатки, мы тут самые первые жители.

Очкастый, бородатый прораб Лёня повёл рукой над ромашками:

— Палатки поставим здесь. Прямо на рабочем месте.

Молодой каменщик Вася запрокинул курносое, всё в ярких веснушках лицо, посмотрел на солнышко и заспорил:

— Тут жарко! Лучше поставим палатки на краю леса. В лесу грибы и земляника.

А первогодок-строитель Катюша сняла лёгкую каску, тряхнула тёмными кудрями, засмеялась:

— Что спорите? Самое лучшее место у реки. Там старая сосна шумит, там свежий ветерок веет, белый пароход плывёт... У реки весело!

— Верно! — сказали Катюшины товарищи, подхватили палатки, побежали к сосне.

А под сосной был обрыв. Он, крутой, песчаный, весь отразился в речном заливе. В глубокой тихой воде плыли, как по небу, медленные облака. Меж облаков стояла такая же раскидистая сосна, но только вниз макушкой.

— Внимание! — сказала Катюша. — Забиваю первый колышек.

Она стукнула обухом топора по стальному колышку. Колышек звякнул: тан-н! Эхо над рекой откликнулось: «Тин-тан-н!» — и солнечная тишина исчезла.

Из-под кореньев сосны, из-под обрыва прянули чёрные молнии. Воздух наполнился щебетом, свистом, и строители увидели множество ласточек.

Ласточки тревожно взвились над сосной, над заливом. Они пикировали к самой воде, чиркали по ней грудками, всё старались подлететь поближе к обрыву, но не решались и опять уходили в небо.

Катюша глянула вниз и увидела, что вся песчаная крутизна источена круглыми норами. В прохладной глубине нор пищали птенцы.

— Ой, — сказала Катюша. — Вот кто здесь первые-то жители!

Прораб Лёня тоже глянул под обрыв и тоже сказал:

— Правда! У нас тут соседи. Крылатые соседи

с уютными домишками и с маленькими ребятишками. А если так, то давайте по-соседски и поступим. Давайте унесём палатки обратно в поле. Пусть ласточки нас не боятся, пусть спокойно воспитывают своих малышей.

— Пусть воспитывают! — сказали строители и потихоньку ушли из-под сосны и поставили палатки в ромашковом поле.

А потом зафырчал оранжевый экскаватор. А вслед за ним зашумели, заперекликались гудками голубые самосвалы. Экскаватор начал рыть влажную, чёрную землю; он стал нагружать её автомашины, от разрытой земли запахло весенней пашней, свежестью — и стройка началась.

## БОРЬКА

Робкие ласточки привыкали к строителям долго, а вот серенький полевой воробей Борька подружился с ними сразу.

Имя такое дал воробью машинист Иван Тимофеевич. Рабочее место у Ивана Тимофеевича высоко. Оно почти под облаками, в стеклянной кабине башенного крана.

Машинист сам, как птица, видит из кабины всю стройку. Помашут ему со стены каменщики, Вася да Катюша, и машинист включает кран, подхватывает на земле пакет шершавых, звонких кирпичей и подаёт каменщикам. Помашут ему верхолазы-монтажники, и кран осторожно возносит к монтажникам на высоту бетонные и стальные балки.

Работа у Ивана Тимофеевича серьёзная. Зевать по сторонам некогда. Он только во время обеда и глядит на поля вокруг, на светлую реку за полями, на синий лес за рекой. Он любит, а сам вынимает из чемоданчика хлеб с маслом и наливает в кружку чай из голубого термоса. В такую

вот минуту и залетел к нему воробей, но залетел не по своей воле.

В один погожий денёк только собрался Иван Тимофеевич пообедать, как глядь: мчится по воздуху растрёпанный воробышка, а за ним — ворона. Глазищи у вороны злые, вот-вот она долбанёт серенького...

Иван Тимофеевич распахнул стеклянную раму в кабине:

— Давай, парень, сюда!

Воробей в окно — порх! Ворона каркнула: «Карр!» — метнулась от окна в сторону и, тяжело махая крыльями, полетела восвояси к дальней роще.

— Вот так-то! Не обижай маленьких! — сказал машинист и глянул на гостя. А тот сидит в углу, пёрышки дыбом, в глазах ужас. — Ты тоже хорош, — сказал Иван Тимофеевич. — Не иначе хотел у старой карги стащить какую-нито корочку... Хотел? А ну, признавайся!

«Чив-чив!» — чирикнул воробей, и машинист рассмеялся.

— Да ты — толковый! Тодковый и разговорчивый, как мой племянник Борька. Вот теперь и тебя я стану звать Борькой... Давай, Борька, работать вместе. Полно тебе чужие корочки таскать! Давай сами свой хлеб зарабатывать. А для начала отведай моего. Он у меня с маслицем.

И Борька склюнул крошку с маслицем да так с того дня в кабине и прижился.

Во время работы воробей любит слушать шуршание металлических тросов над кабиной, любит слушать тихое гудение электромоторов. Вид у него при этом такой, словно он и не воробышка вовсе, а большое-пребольшое начальство. Контролёр-механик!

Но больше всего Борьке нравится вылетать из окна и садиться на подъёмный крюк. Этот крюк

висит под стрелой высоко, держит на стальных канатах то широкую плиту, то балку, неторопливо плывёт в летнем, золотом воздухе, а Борька на крюке посиживает и задиристо смотрит вокруг. Ему очень хочется, чтобы его увидели вороны и позавидовали.

Иван Тимофеевич делает Борьке замечание:

— Ты, Борька, нарушаешь правила. Садиться на крюк нельзя. Смотри, кран опрокинешь...

Но Борька шутку понимает. Он весело откликается:

«Чивли-чив! Я лёгонький!»

Рабочие воробья тоже не пугают. Даже строгий бригадир каменщиков дядя Федя посмеивается и каждый раз говорит:

— Это наш Борька. Борька с башенного крана.

### «ПТИЧКА-НЕВЕЛИЧКА»

В поле за домами поднимался новый заводской корпус. Завод строили монтажники. Они работали на такой высоте, что у Катюши, когда она смотрела вверх, замирало сердце.

Издали могучие балки и колонны завода казались тонкими соломинками, а рабочие перебежали по ним, словно муравьишки. Казалось, ударит ветер и соломинки закачаются, муравьишки упадут.

Но ветер налетал, а колонны и балки стояли прочно. Ловкие монтажники соединяли их крепко-накрепко огнём электросварки, и здание всё росло да росло.

И вот монтажники забрались так высоко, что башенный кран Ивана Тимофеевича уже едва доставал до них. Кран поднял свою стрелу почти отвесно. Он словно бы привстал на цыпочки, но всё равно самые верхние, кровельные балки занести

к верхолазам на такую высоту, в поднебесье, не мог.

Стройка остановилась. Иван Тимофеевич слез по лестнице на землю. Спустились и монтажники, загорелые парни в брезентовых куртках. Куртки у парней были туго перетянуты поясами с железными заклёпками. На поясах — цепи, ими верхолазы пристёгивают себя к балкам на высоте.

Парни уселись рядышком на траву. Они все, как один, стали смотреть в небо.

Иван Тимофеевич тоже устался на кучевую тучку за рекой.

Катюша пробежала мимо, крикнула:

— Кого ждёте? Борьку, что ли? Думаете, башенный кран не помог, так птичка-невеличка поможет?

— Конечно, поможет! — ответили монтажники. — Вон она, тут как тут! Уже летит...

Из-за лёгкого облака и вправду вынырнула блестящая точка. Она быстро приближалась. Она росла и жужжала. Она становилась всё больше, и вот все увидели, что это мчится, сверкает винтами огромный, с алыми звёздами вертолёт.

Он обогнал быстрых ласточек. Он пролетел над зелёной сосной и вдруг пошёл тише, тише. Вертолёт остановился и, вращая винтами, повис в гулком воздухе над самой землёй.

По траве, по ромашкам побежал ветер. Монтажники вскочили, замахали руками. Катюша ахнула:

— Вот так птичка! Только зачем она? Лётчики-вертолётчики в гости к нам прилетели, что ли?

Но лётчики прилетели не в гости. Они спустили к земле два крепких троса. Рабочие прицепили тросы к тяжёлой балке, вертолёт загудел ещё громче и понёс балку вверх.

Монтажники быстро-быстро покарабкались по металлическим трапам вслед и наверху, на крыше, балку приняли и бережно поставили на место.



Катюша захлопала в ладоши, потом сказала Ивану Тимофеевичу:

— Придётся тебе, Иван Тимофеевич, скоро переучиваться. Придётся из машинистов переходить в пилоты.

Иван Тимофеевич рассмеялся, кивнул:

— А что? Вполне возможно... Теперь на стройке всяких чудес полно. Теперь у нас что ни день, то и новенькое что-нибудь!

### САМОХОДНАЯ ДОРОГА

Нависли холодные тучи. Заморосили обложные дожди. Палатки промокли, и строители перешли в новый дом на краю леса. Ходить на работу стало дальше, да ничего не поделаешь... Осень!

Ласточки тоже улетели. В последний погожий денёк они долго носились в небе над стройкой. Они щебетали: «Прощайте! Прощайте!» — и рабочие махали им шапками, а прораб Лёня крикнул:

— До свидания! На ту весну прилетайте опять. Вашу сосну и песчаные домишки мы не тронем...

Дожди не унимались целую неделю. Земля набухла, раскисла. По дорогам ни пройти, ни проехать: машины с кирпичом, с цементом то и дело буксовали.

Не успеют рабочие вытолкнуть из ухаба один грузовик, как, глядь, уже второй грузовик библикает, просит помощи. Он тоже застрял в грязи по самые ступицы.

Вася с Катюшей устали, измокли, нахмурились. А больше всех нахмурился усатый бригадир дядя Федя.

— Так дело не пойдёт! Надо что-то придумать.

Прораб Лёня ответил:

— Всё уже придумано. Придумывать ничего не надо.

Но дядя Федя не слушает, всё равно ворчит:  
— Вчера машины вытаскивали, сегодня машины вытаскиваем, а строить когда?

— Завтра утром!

— Почему завтра? Почему утром?

— Утро вечера мудреней! Разве не знаешь? — отшутился Лёня, да так ничего больше и не объяснил.

А на рассвете, грохоча мотором и раздвигая по сторонам липкую грязь, пошёл бульдозер. Он сровнял ухабы, а за ним двинулись автокран и грузовик с толстыми железобетонными плитами.

Путь автокрану показывал прораб Лёня. По команде Лёни автокран брал с грузовика плиты, опускал перед собой на мокрую землю, въезжал на них, потом опять брал, потом опять опускал — и позади оставалась гладкая, прямая дорога.

Катюше на миг почудилось: дорога сама идёт вперёд. Она сама, будто широкая река, втекает в посёлок.

— Самоходная дорога! Самоходная дорога! — обрадовалась Катюша и вспрыгнула на дорогу. Полотно дороги было крепкое, оно даже гудело под каблуками.

А мимо Катюши уже вовсю поспешали автомобили с бетоном, с кирпичами, со звонким железом и с длинными, пахнущими сосновым бором досками.

И хотя по-прежнему накрапывал дождь, настроение у всех на стройке опять стало отличное. Дядя Федя подошёл к Лёне, крепко пожал ему руку:

— Молодец! У тебя и вправду утро вечера мудреней.

## ЖЕЛТЫЙ, КРАСНЫЙ, ГОЛУБОЙ

Холодно зимой на стройке. Поднимаются утром каменщики на работу, на высокие леса, а мороз кругом так и потрескивает: «Ух-х... Ух-х... Вот я вас!» Морозу подсвистывает ветер: «Виу... Виу... Всех застужу!»

Но усатый, в лохматой шапке бригадир дядя Федя говорит:

— Это мы ещё посмотрим!

Дядя Федя командует громким голосом:

— Катюша! Подавай раствор! Вася! Подавай кирпичи!

Расторопные Вася с Катюшей быстренько подают раствор и кирпичи, а дядя Федя широченной ручищей в рукавице хватает железный мастерок.

Он проводит мастерком по раствору, как по тесту, — раз! Опускает на раствор увесистый кирпич — два! Пристукивает по кирпичу мастерком — три! Подрезает по шву раствор — четыре! И вот уже кирпич лежит в стене прочно и точно, а дядя Федя хватает другой кирпич, потом ещё кирпич, потом ещё, и дело пошло! Стена растёт всё выше. Катюша с Васей едва поспевают за бригадиром, им жарко.

Сероглазая, румяная Катюша расстёгивает на телогрейке верхнюю пуговку. Вася расстёгивает на своей телогрейке сразу три пуговики. А дядя Федя сбрасывает рукавицы — от горячих, голых рук идёт пар.

Дядя Федя говорит ветру и морозу:

— Что? Взяли?

Но работать весь день с такой быстротой нельзя. Надо отдохнуть. И тут ветер с морозом опять подбираются к рабочим. Румяные Катюшины щёки становятся лиловыми. Вася вновь застёгивает на телогрейке все пуговики. А у дяди Феди усы от инея становятся пышными, как у моржа.

— Одолевают нас неприятели, — говорит Ка-

тюша бригадиру.— Дело делать они не мешают, а вот отдохнуть не дадут.

Но дядя Федя опять говорит прежние слова:

— Это мы ещё посмотрим!

— Куда посмотрим-то? — разводит руками Катюша.

— Вниз посмотрим. На дорогу...

Вася с Катюшей смотрят на дорогу и видят: по белому полю едет поезд. Вместо паровоза впереди трактор, за трактором катятся три вагончика. Катятся они на салазках, и все три — разноцветные.

— Ой, что это? — спрашивает Катюша, потому что работает на стройке первую зиму.

— Это вагончики-обогревалки. Они к нам приехали на всё время.

— А зачем они цветные?

— Затем, чтобы каждый выбрал себе такой, какой нравится.

— Красный, жёлтый, голубой — выбирай себе любой? — смеётся Катюша.

— Правильно. Любой...

А Вася добавил:

— Мы выберем красный. Потому что мы каменщики. Потому что работаем с красным кирпичом.

— Потому что красный — самый прекрасный! — поправляет Катюша, и они сбегают вниз и мчатся по снегу к своему вагончику. К другим вагончикам тоже торопятся рабочие.

Голубой выбирают монтажники-высотники. Ведь та высота, на которой они работают, в ясные дни — голубая.

Жёлтый выбирают машинисты и мотористы. Ведь здесь, на стройке, почти все краны, все машины выкрашены в оранжевый, желтоватый цвет. Даже воробей Борька нырнул в жёлтый вагончик.

А в каждом вагончике теплота. В каждом вагончике светится малиновым жаром круглая печка. У печек строители сушат рукавицы, дядя Федя

обтаивает свои усы — у печек строители отдыхают. А когда отдохнут, то снова примутся за работу. Вот и получается: мороз и ветер ухают зря!

## СОЛНЕЧНЫЕ ОКОШКИ

С тёплыми ветрами, с высокими облаками пришёл месяц май.

На стройке запахло дымком асфальта, свежей масляной краской, и вот однажды утром Лёня сказал:

— Посёлок и завод почти готовы. Нам скоро уезжать на другую стройку. Давайте дадим посёлку имя.

Все рабочие Лёню окружили, все заговорили:

— Давайте, давайте! Да только какое?

Рассудительный дядя Федя пробасил:

— Назовём посёлок посёлком Строителей. Это будет в самую точку.

Лёня ответил:

— В точку, да не очень. Мы и так в прошлом году на Урале назвали один посёлок таким именем. Два одинаковых имени — не интересно. Давайте придумывать что-нибудь новенькое, веселое.

— Веселое? Пожалуйста! — выкрикнул бойкий Вася. — У нас на работе Катюша самая веселая. Самая веселая и расторопная. Пусть посёлок называется Катюшино!

Катюша тут же ответила:

— Вася работал не хуже меня. Пусть посёлок называется Васино!

И вот пошло-поехало. Все зашумели, все наперебой стали кричать:

— Манино! Петино! Лёнино! Дяди Федино! Иваново-Тимофеевичево!

А кто-то из монтажников гаркнул:

— Воробьёво-Борькино!

Тут высоко над толпою в распахнутом окне дома раздалось:

— Что за крик? О чём шумите?

Все подняли головы и увидели там старого мастера-стекольщика по фамилии Штукин.

Мастер Штукин только что навесил на петли застеклённую оконную раму. Он распахнул её, любуясь на собственную аккуратную работу, и в чистых стёклах вдруг вспыхнуло солнце.

Яркое солнце играло, переливалось во всех окнах. Оно сверкало по всему посёлку, и Катюша даже зажмурилась от этого сверкания.

Она крикнула:

— Гляньте! Везде солнышко, везде солнечные окошки! Пускай посёлок называется Солнечным!

— Пускай называется Солнечным! — подхватили каменщики, монтажники, маляры, а мастер Штукин подмигнул из окна дяде Феде:

— Вот теперь вернѣ! Вот теперь можно ставить точку.

И с тех пор посёлок над рекой называется Солнечным. И живут в нём теперь не строители, а заводские рабочие. Воробей, Борька живёт-поживает тоже здесь. Уезжать на другую стройку ему было нельзя, у него появилась подружка-воробьяха.

Борька выбрал для неё самый красивый дом, самый высокий оконный карниз и свил там гнездо. В гнезде сидит шестёрка глазастых крепышей-воробьят, и Борька им начирикивает: «Чивли-чив! Этот чудесный посёлок строил и я чуть-чуть! С Иваном Тимофеи-чём!»

Заводским рабочим посёлок тоже нравится. Они тоже говорят своим ребятишкам:

— Хорошо поработали строители! Большая-пребольшая им благодарность.

А над зелёной сосной у реки опять вьются ласточки. Они вспоминают Катюшу, Лёню, Васю. Они вспоминают всех строителей и тоже щебечут

по-своему, по-ласточьи: «Спасибо! Спасибо!»

И в этом нет ничего удивительного. Добро помнят все. Добро помнят и люди, и птицы.

### ПОЛЕВОЙ ХОЗЯИН

Бабка Дуня Рогожникова, её восьмилетний внук Пашка да я идём ржаным полем домой из соседнего села, из магазина.

Пашке там купили обнову — ситцевую шапочку с нарисованными на ней разноцветными пичугами. Пашка доволен. Пашка от радости сам принимается изображать не то птицу, не то самолёт. Зафырчит, раскинет руки, взбьёт пятками пыль и помчится обочь дороги, по краю высокой ржи так, что с шумом, с треском расшибаются колосья.

Бабка Дуня глядела, глядела, потом не вытерпела:

— Неладная забава, хлеб мнёшь...

А когда внук не послушался, припугнула:

— Вот тебя полевой хозяин заберёт!

Пашка не испугался, но ему и мне стало любопытно:

— Кто, кто заберёт?

И бабка то ли всерьёз, то ли понарошку оглянулась тревожно и давай объяснять, что живёт, мол, в полях этакий удивительный, почти невидимка, старичок-полевичок. Зимой старичок зимует в соломенных скирдах, а с весны, лишь прилетят жаворонки, начинает бродить по пашням. От людей он прячется, но смотрит, как люди работают. И если видит, что пашут, сеют, ухаживают за посевами хорошо, то втихомолку помогает и сам.

Он сгоняет с молодых зеленей прожорливых жуков, в ночные холода укрывает поле тёплым туманом, в сушь-беду отпаивает слабые ростки утренними росинками.

Хлебá при такой подмоге вызревают славно, и старичок, так же как все деревенские, этому очень рад. А вот кто в хлебах начнёт вольничать, тому от старичка будет лихо!

— Я сама,— говорит бабка Дуня,— один раз, когда была совсем девчоночкой, чуть было впросак не угодила. Шли мы с нашим папонькой да вместе с моею старшей сестричкой по какое-то дело вот так же тропинкой через рожь. Папонька шагает ходко, мы за ним — почти бегом. Но сестричка всё равно наклоняется, рвёт васильки. Говорит: «Заплету себе голубой венок...» Ну а я, маленькая да несмышлёная, завидую: «У тебя — голубой, а у меня будет — золотой!» И давай рвать колосья, хотя сестричка и останавливает: «Не надо...» — «Надо,— отвечаю,— надо!» От папоньки, от сестрички отстаю, рву колос, подбираю к другому колосу. А глубже в хлебах они ещё краше, и я — туда. А дальше колосья ещё золотистей, и я снова — туда... Опомнилась, повернулась — да так и ахнула. Тропинки, по которой я шла, уже нет. Не слышать папоньки, не слышать сестрички, только над головой колосья этак страшно: шур-шур, шур-шур... Заблужила я с перепуга: «Ау-у!» И вот слышу, отзывается вроде бы сестричка. И я — к сестричке. Бегу, об рожь вся исхлесталась; а там, откуда отклик был,— никого. Только как бы и папонька теперь вскричал: «Дуняша! Дуняша!» — да его крик совсем уж не там, где сестришкин... И совалась я, малюсенькая, совалась по ржи-то, неба над собой из-за колосьев не могу разглядеть — и на корточки села, навзрыд заплакала. Думаю: «Конец! Тут и пропадать мне, в этом золотом колодце!» И пропала бы, да папонька меня всё-таки нашёл. Схватил на руки, поднял, удивляется: «Как ты так?» А я сама не знаю — как. Только потом на ушко мне растолковала сестричка. «Это,— говорит,— тебя водил полевичок. Водил за то, что обрывала колосья по пустякам...»



В общем, расписала нам бабка Дуня про хозяина полей, про старичка всё с такими подробностями, что Пашка и рот раскрыл, и притих, тоже стал оглядываться.

Но вот смотрел, смотрел на рожь, на синие в ней глаза васильков да вдруг и выпалил:

— А я знаю этого хозяина! Только он живёт не в хлебах, а у нас в деревне. И зовут его Мария Петровна.

— Ты что городишь? — опешила бабка.

— Ничего не горожу... Полевой хозяин — никакой тебе не старичок, а Мария Петровна Семёнова, наш агроном.

Бабка удивилась ещё больше:

— Ишь ты! А ведь и верно, похоже... — Потом строго добавила: — Ну что ж... Пускай по учёным по нынешним временам так оно и есть. Но сшибать колосья — всё равно не дело. За это не похвалит и Мария Петровна.

— Я уж не сшибаю! — ответил Пашка, опять раскинул руки, засверкал теперь пятками по горячей дороге напрямик.

Мчался он по мягкой пыли, по узкому, рубчатому следу. А тот след наверняка оставил, отпечатал мотоцикл Марии Петровны. Она частенько по таким вот просёлкам летит, спешит в окрестные поля. А там мотоцикл выключает надолго, ходит вдоль пшеничных и ржаных межей, наклоняется почти над каждой картофельной бороздой. И со стороны можно подумать даже: это она беседует, шепчется со всеми там колосками и зелёными листьями.

А что? Так оно и есть, пожалуй... Ведь всё, что растёт, всё — живое. У всего там, на полях, свой особый нрав. Всё требует догляда разного. Тут вот стебелькам требуется подбавить питания, здесь надо успеть с прополкой, а там посевы следует и подлечить...

А ещё, увидев как-то Марию Петровну за ра-

ботой в поле, я подумал: возможно, она знакома и с тем старичком. Возможно, советуется с ним, отчего в полях у неё и поднимается всё так славно.

Я даже спросил:

— Живёт на колхозных пашнях сказочный старичок? Помогает он вам?

Мария Петровна улыбнулась:

— Догадывайся сам...

## ВАНЯ

Летние заботы велики у всех, особенно у колхозного пастуха Вани.

Для работы у Вани есть хороший конь под кавалерийским седлом.

Деревенские лужайки от росы ещё сизые, а Ваня уже в седле: он едет к ферме за околицу.

Там громкие голоса доярок. Там звон, стук цинковых фляг, гудение электрических моторов. По всему подворью тёплый запах парного молока — на ферме заканчивается утренняя дойка.

И вот ворота настежь. Ваня, привстаёт в стременах, и мимо него с басовитым мычанием, с торопливым щёлканьем копыт выкатывается со двора под солнцем пёстрое стадо. Ваня гонит его по узенькому прогону меж овсяных, в клочьях белого тумана полей и заворачивает в лог к прохладным перелескам.

На пастбище Ваня за коровами не просто глядит, не просто стережёт, чтобы не разбрелись, — Ваня коров угощает.

Найдёт за тёмными елями светлую поляну и теснит конём стадо туда. А на поляне среди ромашек и одуванчиков бодро топорщит под ветром лиловые шапки сочный клевер-дятельник, качаются вперемежку с кисленьким щавелем колосистый мятлик, духовитый тмин и колышется хрусткая, аппетитная тимофеевка.

Коровы рвут вкусную траву — так и хватают, так и хватают и оглядываются на Ваню благодарно: «Ух! Не поляна, а скатерть-самобранка!»

Ваня усмехается:

— Ешьте, не отвлекайтесь! Работайте!

За долгий день Ваня найдёт таких полянок-самобранок не одну. А когда направит стадо домой, то накормленные до отвала коровы уже не бегут и даже не шагают. Они словно плывут по узкой дорожке к ферме, степенно покачивают боками, довольно отпыхиваются: «Пых-х... Пых-х... Пых-х...»

Доярки встречают стадо, говорят Ване:

— Ну, Ваня! Постарался опять. Сегодня, наверное, и фляг под молоко не хватит. Ты прямо какой-то чудесник, хотя и совсем ещё молодой.

Ваня с коня глядит устало, отвечает серьёзно:

— Нет, чудеса тут ни при чём. Просто я пасу коров как полагается: со вниманием, с толком. Сыта коровка — полон и подоюничек.

## УШАСТИКИ

Поутру пастух Ваня отъезжает вслед за стадом к перелескам, а Таня, его жена, тоже спешит на работу. Она быстро приберётся в доме, закроет дверь на тонкую палочку вместо замка и, подхватив туфли в руки, мчится босиком по холодку, по гладкой тропинке вдоль берега речки.

Если кто крикнет вслед: «Ты куда это летишь?» — Таня, не убавляя ходу, тут же и ответит: «К своим ушастикам!»

А близ соснового бора у реки — летний лагерь для колхозных телят. Их там полно. Завидев Таню, они жмутся к жердям изгороди, пучеглазо таращатся, тянутся влажными мордами Тане навстречу: что, мол, так долго-то? Взрослые коровы

давным-давно мимо прошли, давно на полянах пасутся, значит, и нам завтракать пора!

И Таня их ждать, терпеть больше не заставляет. Она разгораживает тесный загон, выпускает телят на широкую поскотину, на зелёную траву. А чтобы наедались лучше да скорей росли, подносит от свежей копны, разбрасывает по траве ещё и сочную овсяную, вперемешку с клевером, подкормку.

Рассыпает длинную дорожкой, одинаково для всех. Но телята малы, глупы. Им кажется: самое вкусное спрятано у Тани в охапке; и они так, вереницей, вдоль поскотины за своей нянькой и шествуют.

А ещё каждый из этих малышей надеется, что, закончив своё дело, Таня обязательно его, маленького, за ночь наскучавшегося, приголубит.

И действительно, Таня кладёт ладонь на шёлковый загривок лобастенькой, в белых «чулках» тёлочки, гладит раз, другой, спрашивает:

— Хорошо?

Тёлочка, конечно, молчит, но от удовольствия растопыривает уши, ставит их то так, то эдак, словно два солнечных лопушка.

Настоящий ушастик! Рыжий, смешной, ласковый.

### «БЫЧОК»

— На дружбу-ласку откликается всё, даже техника! — любит говорить тракторист Кокин.

Товарищи добродушно подначивают Кокина:

— А ты погладь свой тракторишко-то, погладь. Как Таня-телятница гладит телят... Тем более что он у тебя ростом и мастью похож на бычка. Краснобокий и маленький.

Трактор у Кокина действительно не такой боль-

шой, как у других трактористов. Но это Кокина ничуть не смущает.

— Поглажу! — кивает он. — Поглажу, потому как есть за что... Вы думаете, если на ваших великанах-громобоях можно пятикорпусным плугом пашню пахать, так мой «бычок» никуда не гож? Не-ет! Он у меня хотя и мал, да удал: мы с ним наработываем не меньше вашего.

И правда. Нет такой минуты, чтобы трактор-малыш оказался без дела. То он для Таниных телят сочную подкормку навесной косилкой срезаёт, то в поле картошку опахивает, то зелёный силос в ямах утаптывает — мнёт колёсами, а то и буксирует по дороге из бора смолистое бревно к речному перекату. Там плотники чинят мост, по которому возят на маслозавод фляги с молоком, а осенью колхоз направит на станцию грузовики с хлебным урожаем и деревенские мальчишки и девочки побегут в школу.

Короткий отдых у «бычка» и у его водителя бывает только в полдень, в самую жару, когда Кокин заезжает домой на обед. Но и тут у них происходит деловой разговор.

Сидит Кокин со своею хозяйкой да с сынишкой-подростком Серёгой у раскрытого на улицу окна, хлебают за столом крошку, а сам всё посматривает на «бычка» на лужайке. Посматривает, будто спрашивает:

«Ну как? После обеда ещё постараемся? Ещё поднажмём?»

И тракторишка готовно таращится фарами, тоже как бы отвечает:

«Поднажмём! Только ты и меня угостить не забудь. Долей в бак бензину, а в радиатор — свежей водички».

Бессловесный разговор вполне понятен быстроглазому, смышлёному Серёге. Он говорит вслух:

— Взяли бы и меня с собой...

— А что? — живо и громко откликается старший Кокин.— Пожалуй, возьмём! Привыкать к рулю тебе, в общем-то, пора...

И Серёга из-за стола выскакивает, мчится искать кепку, работяга «бычок» за окном под солнышком ещё ярче таращится зеркальными фарами.

## БРИГАДА

По деревне перекличка: «Завтра на луга! В бригаду! Сено убирать!»

К уборке сена бригадой, всею здешней, пусть и небольшой, но артелью, деревня готовится загодя. Собирается туда и Аркадий Васильевич, глава дома, в котором я живу из лета в лето.

Аркадий Васильевич берёт плотницкий рубанок и, широко, как пену, отгребая с верстака тонкую стружку, мастерит грабли. Выходят они у него ловкие, лёгкие. Есть большие с длинным цевьём, есть и поменьше, покороче. Готовит их Аркадий Васильевич на всю свою многочисленную семью, на всех родственников и соседей. Пилит он, сколачивает, строгаёт дотемна, до той поры, пока под навесом во дворе не приходится включать электрическую лампочку.

Да только не успеют по деревенским затишкам раскрипиться как следует ночные сверчки, не успеют заспанные петухи откукарекать полночь, а над покатыми кровлями опять голубизна и утренний, торопливый щебет ласточек.

На площади под берёзами разворачивается с высокой, на резиновом ходу телегой кокинский «бычок». С граблями на плечах, с кошёлками и узелками в руках спешит к телеге деревенский люд. Ребятишки сами, а взрослые, подсаживая друг друга, взбираются с шутками, с прибаутками

наверх, на выструганные Аркадием Васильевичем скамейки.

Кокин-старший, потеснив в кабине своего новоявленного помощника, сына Серёгу, приоткрывает дверцу, кричит:

— Готовы? Бригада в сборе?

— Давно в сборе. Поехали!

Утро ведренное, езда не дальняя — и через короткое время бригада рассыпается по луговому раздолью вдоль речки. Там сохнет ещё вчера подкошенное тракторными косилками сено. Теперь его, лёгкое, ароматное, как чай, надо вершить в стога. А то промедлишь — налетят гроза, ливень, и, считай, всё пропало.

Но сейчас ни за речкой, ни за лесом ничто не погромыхивает. На лугах лишь людской гомон да бойко тарахтит мотор трактора. Кокины подвесили теперь к трактору что-то стальное, очень похожее на ловкую пятерню; сгребальщики — женщины, старики, ребята-школьники — стаскивают сено в охапки, а трактор охапки захватывает, подаёт на стог.

На стогу Аркадий Васильевич, с ним рядом — взъерошенный, быстрый, в распоясанной рубашке дядька. Оба они упарились, но подгоняют и трактористов, и сгребальщиков:

— Дава-ай! Дава-ай!

А воздух всё жарче. На горизонте возникает кучевое облако, рядом — другое. Они растут, громоздятся, и от этого простор вокруг ещё огромней.

Облака в неоглядном просторе — как белые башни.

Стога на лугу — как нацеленные в космическую синь корабли.

А люди — их косынки, майки, пёстрые рубашки — кажутся издали живыми, радостными цветами.

## ПРАЗДНИК

Над полями, над деревенскими кровлями раскалённый зной. Всё живое ищет холодка, лишь агроном Мария Петровна спешит по солнцепёку, и в руках у неё усатый сноп колосьев.

— Смотрите, смотрите! — говорит она сидящим в тени у колхозного правления комбайнерам. — На угорах пшеница поспела совсем, время начинать уборку!

Комбайнеры обступают Марию Петровну, рвут со снопа колосья, катают их меж ладоней, сдувают шершавую полову, пробуют крепкие зёрнышки на зуб:

— Пора, в самом деле!

И они все мчатся туда, где стоят их комбайны, а там уже давно похаживает сам старший Кокин. Похаживает не просто так, не из любопытства. Под его началом здесь тоже комбайн, такая же, как у других комбайнеров, «Нива» с крылатой жаткой, с высоко вознесённой штурвальной кабиной.

Кокин-старший — водитель хоть куда, механизатор широкого профиля. На этой «Ниве» он выходит на уборку вот уже девятое лето, а она у него и теперь — это даже на холостом ходу видно! — работает, как часы.

Да что — часы... Ход часов настроить куда проще. В них и винтиков-то, колёсиков всего, может, сотня вместе со стрелками. А вот в комбайне — сто по сто не один раз, целых двенадцать тысяч! И все они в кокинской «Ниве» рокочут мягко, без малейшего сбоя, уверенно помогают друг дружке, не подведут комбайнера ни на ровной дороге, ни на тряской полевой борозде.

Не заброшен в эту уборочную пору и шустрый работяга «бычок». За его рулём Серёга — Кокин-младший. Нынче Серёге за руль напрашиваться не пришлось, отец сам ему сказал:



— Теорию со мной прошёл, практику прошёл — наступил час показать себя заправским трактористом. Будешь возить с поля на ток зерно от моего комбайна.

И Серёга, взяв на буксир четырёхколёсный, с широким кузовом прицеп, сидит в кабине «бычка» королём.

Деревенские малолетки во главе с Рогожниковым Пашкой глазекот на Серёгу, канючат:

— Серьга, а Серьга! Прокати!.. Хоть немножко прокати, только до поля!..

Но Серёга даже и не смотрит на них. Не смотрит, не потому что важничает, а потому что боится колхозного председателя, у которого и фамилия-то вон какая строгая: Генералов! Он, председатель, давно тоже здесь; он может сказать: «Не успел ты, Серёга, получить трактор, а уже — нарушаешь... Насажал на рабочую машину посторонних седоков».

Но поскольку Серёга всё-таки не нарушает, поскольку все комбайнеры и трактористы тоже готовы занять свои водительские места, председатель подаёт команду. Подаёт звонко, напористо, в самом деле, чуть ли не по-генеральски:

— Механизаторы Кокины, отец и сын, вперёд! Остальные — держать на них! Пошёл!

И, пыля, грохоча, вся железная колонна катит сперва по одной узкой, меж хлебов, дороге, а потом растекается по знойным холмам. И валится под ножами комбайнов спелая пшеница, плывут вперевалку за тракторами по колючему жнивью к деревне наполненные доверху телеги. Их обгоняют тяжёлые, тоже гружённые до самых бортов грузовики. На колхозном току растут горы зерна, пахнущие солнцем.

Зерно на току досушивают, веют, сортируют. Работа здесь жаркая совсем. Но потные, загорелые, накрытые золотисто-пыльным облаком люди

смеются. Им весело, они поздравляют друг друга с новым хлебом.

Много исхожено, изъезжено за лето стёжек-дорожек. Много исполнено всякой работы, но эта — наиважнейшая. Хлеб — кормилец, он — везде всему начало.

Шумят на току машины, большие и малые. Мелькают, взмётывая сыпучее зерно, деревянные новенькие лопаты в руках наехавших на подмогу из города парней и девчат. Здесь, то ли просто по доброму желанию, то ли доказывая Серге Кокину, что на таком великом празднике посторонних людей нет, старается и восьмилетний Пашка Рогожников.

Трудится он на пару с бабкой Дуней. Бабка, принаряженная в светлый платок, светлую кофту, крутит колодезную кованую рукоять. Она таскает ведром прохладную воду наверх, а Пашка в двух белых бидончиках носит воду на ток.

Воды надо много. Разгорячённые зноем и работой люди подставляют Пашке ладони, оплёскиваются, пьют, нахваливают Пашку на все лады.

И Пашке приятно. Пашка, названивая бидончиками, всё бежит да бежит по тропинке, и, хотя к вечеру не чувствует ног под собой, на душе у него расчудесно.

А когда прибредает в сумерках Пашка домой, когда, глотнув молока, валится спать, то ему ещё долго мерещатся яркие груды зерна.

Груды растут выше рябин и черёмух. Они заполняют, пересыпаясь через дорогу, через плетни, всю Пашкину деревню. Вокруг растерянно хлопочут, пытаются остановить пшеничную реку лопатами председатель Генералов, агроном Мария Петровна, все знакомые Пашке деревенские работники, даже сказочный старичок-полевичок.

Они суетятся, Пашке кричат: «Что, Пашка, теперь делать-то? Нам столько хлеба не надо!» — «Ну, а если не надо,— отвечает Паш-

ка, — то давайте отправим всю эту пшеницу в город. Городские ведь вон как нам помогали: и комбайны, трактора строили, и на току работали — так пускай у них там для всех городских мальчишек и девчонок испекут огромный каравай!»

И все, кто спрашивал у Пашки, что делать, счастливо смеются: «Верно, Пашка! Молодец! Опять ты нас выручил!» — «Ну и хорошо... — говорит Пашка. — Значит, я теперь могу и поспать».

И засыпает он теперь совсем уж накрепко, а на току за деревней всё ещё полыхают электрические огни, шумят машины, гомонят люди. Праздник труда и урожая ещё не кончается.

## КАРАВАЙ

### 1

Гудит, летит электровоз  
Мимо сосен и берёз.  
Вслед,  
Гружённые пшеницей,  
Мчат вагоны вереницей.  
А за дальним светофором,  
За излучиной реки,  
Над холмом вечерний город  
Зажигает огоньки.

И подкатывает с ходу  
Эшелон к хлебозаводу.

Смолкли громкие колёса.  
Над платформой свет горит.  
Машинист с электровоза  
Хлебопёкам говорит:

— Из села народ колхозный  
Вам наказ прислал серьёзный!  
Вот: примите урожай  
Да затейте каравай  
С телебашню вышиной,

Во весь город шириной!  
Такой,  
Чтоб тут с излишком  
Хватило всем детишкам:  
Пионерам, октябрятам  
И детсадовским ребятам!

Улыбнулись хлебопёки,  
Засмеялись хлебопёки:  
— Что ж... По нраву нам заказ!  
Каравай затеем враз!  
Но сначала всё зерно  
Пойти на мельницу должно.

## 2

Всю ночь молола мельница,  
Ручьём текла мука  
В объёмистые дёжи  
Из длинного лотка.  
Всю ночь месили тесто  
Чугунные мешалки,  
Накаливались печи  
Электротоком жарким.  
Всю ночь у хлебопёков  
Кипела, шла работа;  
Не гасли до рассвета  
Огни хлебозавода.  
А на заре открылись  
Ворота с гулким стуком,  
И вот  
Автофургоны  
Помчались друг за другом!

Они  
Простором уличным  
Помчались прямо к булочным,  
Помчались в школу каждую  
И в каждый детский сад.  
А вслед за ними стлался,  
До неба поднимался  
Чудесный аромат.

Аромат горячих плюшек,  
И буханок, и ватрушек,  
Кренделей и калачей,

Пирожков и куличей,  
Сдобных шанег да слоёнок  
Для мальчишек и девчонок.

3

И в светлой утренней тиши  
К столам садятся малыши.  
И пышки-плюшки есть у всех,  
И вот уж ясно слышен  
Ребячий гам, задорный смех:  
— А каравай-то ВЫШЕЛ!

Потому что  
Если вместе  
Где-нибудь на чистом месте  
Ссыпать все буханки,  
Булки и баранки,  
То над городом с утра  
Встанет хлебная гора  
В сто кварталов шириной,  
С телебашню вышиной,  
С макушкою-помпончиком,  
Со сладким-сладким пончиком!

— Ух ты! Вот чудо так чудо!

— Мы на гору поглядим,  
Поглядим да поедим!  
Станем, словно колосок,  
Силы набираться,  
Как под солнышком лесок,  
Ростом прибавляться.

— Вот это правда! Так оно и будет!

— А когда мы подрастём,  
Сами смело поведём  
По полям бескрайним  
Трактора, комбайны.

— Исполнится и это! Только бы скорее!

— А как снимем урожай,  
Вновь затеем каравай —

Золотой, пахучий,  
Высотой до тучи!  
— Верно!  
Высотой до тучи,  
До небесной кручи,  
А в длину и в ширину —  
Во всю огромную страну!  
Во всю страну большую —  
Нашу  
Трудовую!

Ну а сейчас, пока мы не подросли, а каравай-то прекрасен, то давайте, как уговаривались с самого начала, всем тем людям, что раньше нас по утрам поднимаются и для нас стараются, скажем наше большое-пребольшое спа-си-бо!!!

---

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

<i>Анатолий Митяев. Писатель Лев Кузьмин . . .</i>	3
<b>ЧИСТЫЙ СЛЕД ГОРНОСТАЯ. Повести . . .</b>	<b>7</b>
Привет тебе, Митя Кукин! . . . . .	9
Малахай . . . . .	75
Чистый след горностая . . . . .	99
Олёшин гвоздь . . . . .	311
Луна над заставой . . . . .	355
<b>МАЛЫЕ ЗВОНЫ. Рассказы . . . . .</b>	<b>395</b>
Грустная Элизабет . . . . .	397
Беглец . . . . .	415
Любовь Николаевна . . . . .	427
Малые Звоны . . . . .	451
Полоса невезения . . . . .	465
Ключик-замочек . . . . .	485
<b>ВОТ КОМУ НАШЕ СПАСИБО. Маленькие рас-</b>	
<b>сказы . . . . .</b>	<b>515</b>
Палатки и ласточки . . . . .	—
Борька . . . . .	517
«Птичка-невеличка» . . . . .	519
Самоходная дорога . . . . .	521
Жёлтый, красный, голубой . . . . .	523
Солнечные окошки . . . . .	525
Полевой хозяин . . . . .	527
Ваня . . . . .	530
Ушастики . . . . .	531
«Бычок» . . . . .	532
Бригада . . . . .	534
Праздник . . . . .	536
Каравай . . . . .	539

*Литературно-художественное издание*

**ДЛЯ МЛАДШЕГО  
И СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА**

*Кузьмин Лев Иванович*

**ИЗБРАННОЕ**

Ответственный редактор

*Н. А. Терехова*

Художественный редактор

*О. К. Кондакова*

Технический редактор

*Н. Ю. Крапоткина*

Корректоры

*Э. Н. Сизова, Л. А. Лазарева*

**ИБ № 11093**

Сдано в набор 20.10.88. Подписано к печати 27.03.89.  
Формат 60×90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бум. типогр. № 1. Шрифт школь-  
ный. Печать высокая. Усл. печ. л. 84,13. Усл. кр.-отт.  
35,13. Уч.-изд. л. 23,18+1 вкл.=23,21. Тираж  
100 000 экз. Заказ № 741. Цена 1 р. 30 к. Орденов Тру-  
дового Красного Знамени и Дружбы народов издатель-  
ство «Детская литература» Государственного комитета  
РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной  
торговли. 103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1.  
Ордена Трудового Красного Знамени ПО «Детская кни-  
га» Росглавополиграфпрома Государственного комитета  
РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной  
торговли. 127018, Москва, Сущевский вал, 49.  
Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот».

**Кузьмин Л. И.**

**К89** Избранное/Предисл. **А. Митяева; Худож.**  
**В. Чапля.**— М.: Дет. лит., 1989.—543 с.: ил.

ISBN 5—08—000517—3

В книгу вошли лучшие повести и рассказы писателя,  
написанные для детей младшего и среднего школьного воз-  
раста: «Чистый след горностаея», «Привет тебе, Митя Кукин!»,  
«Луна над заставой».

**К 4803010201—280**  
**М101(03)-89** 227—89

**ББК 84Р7**











1р. 30к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА"